

ГАНС  
ХРИСТИАН  
АНДЕРСЕН  
СКАЗКИ  
И  
ИСТОРИИ

1







ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»



**Ленинградское  
отделение  
Ленинград  
1977**



ГАНС  
ХРИСТИАН  
АНДЕРСЕН

СКАЗКИ  
И  
ИСТОРИИ

*Перевод с датского*

ТОМ I

И (Дат)  
А 65

Составление  
Л. БРАУДЕ

Вступительная статья  
Т. СИЛЬМАН

Художники  
Г. А. В. ТРАУГОТ

© Издательство  
«Художественная литература»,  
1977 г., оформление

А  $\frac{70304-076}{028(01)-77}$  157-77

## СКАЗКИ АНДЕРСЕНА

### 1. АНДЕРСЕН И ЕГО ВРЕМЯ

Ганс Христиан Андерсен — один из немногих писателей мировой литературы, сумевших до конца отразить свое время, выразить свое отношение к вещам, свои мысли, чувства, свое мировоззрение не в романах, рассказах, драмах, а только в сказке.

В первой половине XIX века, вслед за немецкими романтиками, в Норвегии, Швеции и Дании разворачивается широкое собрание и изучение народных сказок. Интересно отметить, что, наряду с совершенно самобытными сказками, в сборниках, выходящих в середине века, широко представлены и сказочные сюжеты, имеющие всемирное распространение и, в частности, нашедшие место в собраниях немецких народных сказок братьев Гримм: «Сказка о трех лесных мужичках», «Белоснежка», «Одноглазка» и др.

Однако сюжеты своих сказок Андерсен черпал прежде всего не из книг, а из воспоминаний детства.

«Моя родина Дания, — говорит он в автобиографии, — поэтическая страна, богатая народными сказками, старинными песнями, историческим прошлым...»

В детстве мальчик часто слушал сказки из уст бедных старух богаделок, занятых рукоделием, и его первые сказки, такие, как «Огниво» или «Маленький Клаус и Большой Клаус», явились пересказом этих, когда-то им слышанных, народных сказок. С 1835 года Андерсен начинает печатать собрания своих сказок, причем вскоре к ним добавляется все нарастающее количество самостоятельно созданных сказок, в которых раскрывается вся безграничная творческая фантазия Андерсена, все богатство его наблюдений реального мира, его поэтический взгляд на жизнь, его любовь к людям.

В тематике своих сказок, в их образах Андерсен выходит далеко за пределы той архаической действительности, которая отразилась в датских народных сказках. И все это потому, что сказка была для Андерсена не литературным понятием, не жанром (вернее, не только жанром), не совокупностью фантастических событий, а чем-то значительно большим.

В сказке Андерсен нашел форму, в которой он органически сумел выразить свое отношение к жизни. Сказка в какой-то мере явилась для него способом видеть мир, способом познания мира.

Сказки Андерсена содержат целую жизненную философию.

Они учат нас большим человеческим чувствам, учат и детей и взрослых, их знают и любят дети и взрослые всего мира.

В «Сказке моей жизни» Андерсен поясняет, почему жизнь маленького мальчика, сына полунинных родителей, была так прекрасна:

«В 1805 году в городе Оденсе, в бедной каморке проживала молодая чета — муж и жена, бесконечно любившие друг друга. Это был молодой, двадцатидвухлетний башмачник, богато одаренная поэтическая натура, и его жена, несколькими годами старше, не знавшая ни жизни, ни света, но с редким сердцем. Муж только недавно вышел в мастера и собственными руками сколотил всю обстановку своей мастерской и брачную кровать. На эту кровать пошел деревянный помост, на котором незадолго перед тем стоял во время печальной церемонии гроб с останками графа Грампе. Уцелевшие на досках кровати полосы черного сукна еще напоминали о прежнем их назначении, но вместо графского тела, окутанного крепом и окруженного горящими свечами в подсвечниках, на этой постели лежал 2 апреля 1805 года живой, плачущий ребенок, я — Ганс Христиан Андерсен».

Сказка, по Андерсену, не связана с представлениями о веселой, радостной, внешне благополучной жизни. Радость и счастье — в стремлении к добру, в твердом сопротивлении человека мрачным силам действительности, в стойкости и самоотверженности, в бескорыстной борьбе за правду.

Мать Ганса Христиана выросла в нищете, и родители выгоняли ее из дому просить милостыню; она не могла решиться на это и целые дни просиживала в слезах под мостом у реки. Эта история уже предвосхищает знаменитый сюжет «Девочки со спичками».

Но где здесь «сказка»? Не в самой нищете и жестокости, конечно, а в героической твердости и сопротивлении, в душевной чистоте маленькой девочки. Столкновение этих двух сил и внутренняя победа добра над злом в условиях жестокого мира и создает «сказку» Андерсена.



И хотя сказки Андерсена по своей форме большей частью вполне доступны детям, тем не менее писатель умеет ставить в них большие жизненные проблемы.

Среди этих проблем видное место занимает проблема искусства. Андерсен полагает, что лишь такое искусство имеет право на существование, которое правдиво отражает жизнь и близко народу. Эти мысли он излагает в своей знаменитой сказке «Соловей», сохраняющей все очарование и всю душевную ясность андерсеновских сказок для детей.

Столкновение подлинного искусства и искусства ложного — тема этой сказки. И сущность подлинного искусства обрисована здесь вполне недвусмысленно: это искусство, близкое к природе.

Искусственная птица в сказке Андерсена является воплощением ложного искусства. Оно мертво, лишено подлинной силы и нравится разве лишь важничавшим придворным. Это они предпочитают мертвую, механическую имитацию живому существу. В то время как песня настоящего, живого соловья побеждает даже смерть, заводная игрушка в час испытания умолкает.

В эстетике Андерсена природа противопоставляется искусственности, жизнь — «механике». В этом противопоставлении ясно слышны отзвуки романтической эстетики. Но если механический соловей у Андерсена жалок и ничтожен, то это отнюдь не затрагивает области механики как таковой, не относится к подлинным завоеваниям техники и науки.

Андерсен высоко оценивает человеческие изобретения, технические завоевания, которые действительно служат человеку, раскрывают перед ним новые горизонты. Андерсен прославляет телеграф и железную дорогу; в споре с реакционными романтиками, возмечившими поэзию и принижавшими науку, он заявляет: «На мой взгляд, то явление, что ныне люди, страны, города сближаются между собой, соединяются посредством пара и электромагнетизма, так грандиозно и великолепно, что одна мысль о нем возвышает душу не менее любого вдохновенного поэтического произведения».

Сказки Андерсена подчас непосредственно вмешиваются в идейные споры его времени. В «Калошах счастья» советник юстиции Кнап нападает на статью ученого Эрстеда, в которой современность сопоставляется с феодальным прошлым и предпочтение отдается современности. Но разглагольствования советника тут же опровергаются самым наглядным образом: он надевает калоши счастья, после чего, испытав ряд малоприятных приключений в Копенгагене XVI века, с восторгом возвращается обратно в современность.

Попытки романтиков идеализировать феодальное средневековье вызывают гневный протест Андерсена. Для него характерна просве-

тительская вера в силу человеческого разума. И именно это просветительство, сложно переплетавшееся как с романтической направленностью, так и с сентиментально-религиозными тенденциями, сблизило Андерсена с прогрессивной датской идеологией его времени.

Сила просветительских традиций в период общего господства романтизма в европейской литературе составляет важнейшую своеобразную черту датской национальной культуры начала и середины XIX века, определяясь общими историческими условиями развития Дании в эту эпоху.

Глубокая связь Андерсена с прогрессивным направлением в датской национальной культуре первой половины XIX века не исключает, однако, и того, что Андерсен занимает в этом направлении свою особую позицию. Демократизм Андерсена несравненно глубже и непосредственнее, чем демократизм его современников Эленшлегера или Эрстеда. В датской литературе того времени один только Андерсен был подлинным певцом простого человека, труженика, бедняка.

И именно в этой связи мы находим в сказках Андерсена не только юмористическое обыгрывание смешных сторон датского мещанского быта, но и прямую сатиру на современные отношения, на ложь и несправие буржуазного общества, на бесчеловечность угнетателей. Андерсен бичует крепостников, показывает их жестокость в сказке «Всему свое место», уничтожающе рисует кулака-кровопийцу, эксплуатирующего бедняка, в сказке «Маленький Клаус и Большой Клаус».

Иногда сказки Андерсена настолько реалистичны по отраженным в них конфликтам и по изображаемой в них современной действительности, что перестают быть сказками и перерастают в повести лишь с некоторыми элементами фантастики. Такова сказка «Иб и Кристиночка», где показано, как бедность стоит на пути у любящих и как она безвозвратно губит их счастье.

Интересна сказка «Свинья-копилка», где игрушки вздумали играть в людей и где показано, что из этого получилось: какие они стали отвратительные и завистливые. Главную роль в этой сказке играет глиняная копилка в форме свиньи, господство которой над другими игрушками символизируется ее «возвышенным» положением, — она стоит на шкафу и взирает на всех сверху вниз.

Жизнь в буржуазном обществе, где всем повелевают деньги, есть, по Андерсену, некое «вечное движение», из которого нет выхода. Когда свинья падает на пол и разбивается, на шкаф ставят новую свинью, еще пустую, но с видами на накопление. Таков пессимистический взгляд Андерсена на современное ему общество.

В знаменитой сказке «Новое платье короля» сатира на лицемерие и ложь современного Андерсену буржуазного общества нашла гениальное воплощение в сюжете, заимствованном автором из старинных источников.

Сила сказки Андерсена в том, что в его изображении ложь и обман, на которых строятся отношения между королем и его придворными, становятся основным принципом государственной жизни.

Начавшись, казалось бы, с невинной уловки, история с несуществующим платьем короля перерастает в грандиозный спектакль, в который его основные актеры-лжецы стремятся втянуть и народ. И только маленький ребенок, чуждый всякой корысти и всякому преклонению перед условностями, произносит правду: «Да ведь король голый!»

По остроте, емкости и многоплановости сатирического звучания эта сказка Андерсена может быть поставлена в один ряд с лучшими произведениями Свифта и Сервантеса.

Но особенно гневным становится голос Андерсена, когда он говорит о войне. Чудовищный образ безжалостного завоевателя, упивающегося своей наглой силой, но обреченного на неминуемую гибель, Андерсен рисует в сказке «Злой князь». Глубочайшим состраданием к жертвам войны полна сказка «Блуждающие огоньки в городе». «Война — отвратительное чудовище, питающееся кровью и пылающими городами!» — восклицает Андерсен в одном из своих писем.

Единой и бесконечно повторяющейся темой сказок Андерсена является тема любви, борьбы светлых человеческих чувств с темными силами, данная и в плане социальном, историческом, и в общепсихологическом. Эта проходная тема превращает собрание сказок Андерсена в цельное захватывающее произведение, в гимн человеколюбию, самоотверженности, смелости и героизму человека.

Философской основой творчества Андерсена является мысль об органической взаимосвязи всего сущего. Это относится и к людям, и к животным, и к растениям. Отношения любви, дружбы, взаимопомощи охватывают в андерсеновских сказках весь мир. Прогрессивная взаимопомогающая сила разлита в окружающей нас жизни и в конечном счете торжествует над силами зла.

В знаменитой сказке «Снежная королева» великая сила любви и светлых человеческих чувств, мужества и стойкости показана особенно ярко.

Когда, в поисках Кая, Герда, верхом на олене, приближается ко дворцу Снежной королевы, олень просит мудрую финскую женщину наделить Герду небывалой силой — иначе ей не вернуть Кая.

Но вот что отвечает ему эта женщина: «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Неужто ты сам не видишь, как велика ее сила?»

Подумай, ведь ей служат и люди и животные! Она босиком обошла полсвета! И эта сила скрыта в ее сердце».

Такова сила любви в сказках Андерсена — она поистине движет горами, она побеждает горе и разлуку, она возвращает к жизни обреченных на смерть.

Иной раз, сохраняя общий демократический характер народной сказки, Андерсен придает ей оттенок «социальной жалости», характерной для буржуазно-демократической литературы середины XIX века. Отсюда его гадкий утенок одновременно напоминает и Золушку народной сказки и героя какого-нибудь диккенсовского романа, например Оливера Твиста.

Именно с ослаблением этого критерия активности и самостоятельности героя связано то, что помощь в сказках Андерсена иногда приходит к герою свыше, от бога. Именно здесь начинается путь Андерсена к сентиментально-религиозным мотивам, которые особенно сильно развиваются в его позднем творчестве. Однако не эти примирительные тенденции составляют своеобразие Андерсена как писателя.

В творчестве Андерсена, в той особой вселенной, какую представляет собой мир его сказок, господствует суровый нравственный закон. Ведь недаром же маленькая русалочка или бедная маргаритка, стойкий оловянный солдатик и его бумажная невеста жертвуют жизнью ради высокой любви.

Мотив немой, обреченной, но самоотверженной, верной до конца любви, всеильной наперекор обстоятельствам, наперекор беспомощности и униженности героя, постоянно повторяется в сказках Андерсена.

Это и есть подлинные герои Андерсена: беспомощные и униженные внешне, они полны мужества и великой нравственной силы. И перед лицом их трагической гибели прощать бездушных, пустых, корыстных, тщеславных — просто ради счастливой концовки — было бы кощунством с точки зрения автора. Поэтому так часто, в противовес традициям «happy end» буржуазной литературы середины века, сказки Андерсена заканчиваются печальной и скорбной нотой.

## 2. СКАЗОЧНЫЙ МИР АНДЕРСЕНА

Сам Андерсен говорил о мире своих сказок следующее:

«Сказочная поэзия — это самая широкая область поэзии, она простирается от кровавых могил древности до разноцветных картинок простодушной детской легенды, вбирает в себя народную литературу и художественные произведения, она для меня представительница всякой поэзии, и тот, кто ею овладел, может вложить в нее и траги-

ческое, и комическое, и наивное, и иронию, и юмор, к услугам его и струны лиры, и лепет ребенка, и речь естествоиспытателя».

И действительно, мир андерсеновских сказок всеобъемлющ, в него могут, наряду с вещами и животными, фантастическими существами и предметами домашнего обихода, на равных правах входить и новые явления науки и техники, как, например, «великий морской змей», то есть телеграфный кабель, проложенный между Европой и Америкой по дну океана. Погруженный в воду, он вступает в своеобразное общение с жителями подводного царства, становится одним из героев сказочной подводной драмы.

Всякий новый предмет, входящий в орбиту андерсеновской сказки, подчиняется ее закономерностям, так сказать получает свой паспорт, становится равноправным действующим лицом. Убедительность и правдоподобие действующих в сказках Андерсена персонажей держится в значительной мере на этой всеобщей погруженности в сказочную стихию, где нет границ и градаций одушевленности и неодушевленности.<sup>1</sup>

Всякой вещи, всякому живому существу, всякому фантастическому созданию в сказках Андерсена присущ свой характер, исходя из которого они живут и действуют. Все эти характеры увидены и показаны вполне реалистически в меру их принадлежности к какой-либо среде, в меру их роли и значения в природе и обществе. Вот почему описание повадки какого-либо животного, описание свойства какого-либо предмета или растения всегда у Андерсена звучит убедительно<sup>2</sup>. И все же наиболее андерсеновскими и в то же время наиболее близкими детям являются те сказки, материал для которых Андерсен черпал непосредственно из окружающего быта.

Простые домашние вещи: кухонная утварь, детские игрушки, предметы одежды, растения и цветы, которые можно встретить в поле, в огороде, в садике около дома; совсем обыкновенные, окружающие нас домашние животные и домашняя птица: собаки, кошки, куры, индюки; обитающие в саду певчие птички — все это излюбленные сказочные персонажи Андерсена, — каждый со своей историей, характером, манерой речи, своим юмором, капризами и причудами.

---

<sup>1</sup> Черта, характерная вообще для народной сказки. Ср. В. Я. Пропп, Морфология сказки, «Наука», М. 1969, стр. 11; Д. Лихачев, Внутренний мир художественного произведения. — «Вопросы литературы», 1968, № 8.

<sup>2</sup> См. предисловие Е. А. Лопыревой «Андерсен и его творчество», в кн.: Г. Х. Андерсен, Сказки и рассказы, т. I, «Academia», 1937, стр. XXII.

Необычайный, непревзойденный дар вселять в эти привычные, окружающие нас существа и предметы особую жизнь присущ был Андерсену. Он сам отдавал себе отчет в этом и сам об этом говорил: «Материала у меня бездна, больше, чем для любого другого рода поэзии; часто мне кажется, будто каждый плетень, каждый самый маленький цветочек говорят мне: «Только взгляни на меня, и тебе откроется история всей моей жизни». И действительно, стоит мне сделать так, как они велят, и рассказ о любом из них готов».

Как же достигаются это необычайное правдоподобие и убедительность, достоверность всех этих жизнеописаний? Почему кажется, что именно эта бабочка, именно этот цветок должны быть героями данной истории?

Дело в особом сочетании острейшей наблюдательности, точного знания действительной жизни всех этих существ с богатым воображением художника, которое и создает эффект этих рассказов.

В каждой маленькой сказочке такого рода как бы слились воедино две действительности. Одна — подлинная жизнь цветка, мухи, дерева, чашки или кофейника; другая — не менее подлинная жизнь человека. Чаще всего это люди городского, окружающего Андерсена общества, обыватели, светские жеманные барышни и кавалеры («Женит и невеста»), а то и прижимистые богачи («Свинья-копилка»); иной раз — сентиментальные герои-любовники («Пастушка и трубочист») или же подлинные романтические герои, храбрые и самоотверженные («Стойкий оловянный солдатик»). А в других случаях это биография человека, близкого Андерсену, почти что автобиография («Гадкий утенок»).

Две действительности сливаются воедино, склеиваются в удивительном взаимодействии, поддерживая и освещая друг друга, в редком сочетании юмора и пафоса, сатиры и идиллии.

А фантастика? Того, что принято называть фантастикой сказки, невероятных приключений, вымышленных сверхъестественных существ, фей, троллей, всякого рода чудиц в сказках Андерсена может и вовсе не быть, а если они встречаются, то не в них главное. Реалистичны (то есть правдоподобны в своих действиях, своими характерами) как сами герои, так, в основном, и их окружение, вполне последовательны их поступки, мысли, понятны их чувства, данные автором как результат воздействий на них окружающего мира. Фантастика начинается не в ущерб этой реальности, а как бы в виде свободного, творческого продолжения ее, в результате очень тонкого с ней сочетания.

Так, например, сказать, что серебряная монетка бродит и скитается по свету и при этом переживает множество приключений, что она — «бродяга», значит исходить из реальной сущности этого пред-

мета, в то время как сказать, что стул, или стол, или шкаф — «бродяги», означало бы обречь повествование на неизбежные натяжки, вызвать недоумение читателя.

Юмор, фантазия и в конечном счете реализм Андерсена в значительной мере проявляют себя в этой меткости и остроумной находчивости, в постоянно проводимых им блистательных аналогиях и параллелях, из которых вырастает двойная жизнь его образов.

В той легкости, простоте, убедительности, с какой Андерсен в едином сюжетном развитии сталкивает биографии предметов, животных, растений с жизнью человека, в истории какого-нибудь зверька или предмета домашней утвари провидит схему человеческой жизни — детство, юность, зрелость, старость, смерть, притом иногда в самой общей, обобщающей форме — во всем этом он является подлинным наследником народной сказки и одновременно подлинным новатором, сумевшим приблизить метод народного искусства к современной действительности.

Кажется, будто Андерсен, в начале своей творческой жизни находившийся под особым влиянием Генриха Гейне, воплотил в своих произведениях те основные черты народного творчества и народной литературы, которые Гейне сформулировал в своем «Путешествии по Гарцу», сопоставив при этом метод сказочного мышления с мышлением ребенка:

«Лишь благодаря такой глубине созерцательной жизни, благодаря «непосредственности» возникла немецкая волшебная сказка, своеобразие которой состоит в том, что не только животные и растения, но и предметы, кажущиеся совершенно неодушевленными, говорят и действуют. Мечтательному и наивному народу, в тишине и уюте его низеньких лесных и горных хижин, открылась внутренняя жизнь этих предметов, они приобрели неотторжимую от них, последовательную индивидуальность, восхитительную смесь фантастической прелести и чисто человеческого мышления; и вот мы встречаем в сказках чудесные и вместе с тем совершенно понятные нам вещи: иголка с булавкой уходит от портного и в темноте сбиваются с дороги; соломинка и уголек терпят крушение, переправляясь через ручей... По тем же причинам так бесконечно значительна наша жизнь и в детские годы: в то время все для нас одинаково важно, мы все слышим, все видим, все наши впечатления соразмерны, тогда как впоследствии мы проявляем больше преднамеренности...»<sup>1</sup>

Содержанием творчества Андерсена, как всякого большого писателя, является жизнь во всем ее объеме, выраженная и отражен-

---

<sup>1</sup> Генрих Гейне. Собр. соч. в 10 томах, т. 4, Гослитиздат, 1957, стр. 22—23.

ная по-своему в тех формах, в тех интонациях, тем голосом, той манерой, какая свойственна, необходима и доступна ему одному. Сказки Андерсена — это иносказание жизненной правды в форме фантастики.

Но присмотримся более внимательно к такого рода сказкам, попробуем разглядеть их внутреннее движение, их формулу. Начнем со сказки «Лен».

Это история промышленного растения, которое проходит все самые обычные стадии своего развития. В сказке рассказывается о том, как лен вырос и расцвел под влиянием солнца и дождя, как его затем вырвали с корнем из земли, как стали мять и трепать, а затем спряли пряжу, соткали холст, из холста спшили дюжину белья, которое в конце концов сносилось и было переравлено на бумагу, а на бумаге напечатали интересные и поучительные книжки.

Способ переработки льна, порядок следования технологических процессов — все это дано с полнейшей точностью и достоверностью, здесь нет ничего вымышленного.

Что же в таком случае превращает этот полезный для детей рассказ в пленительную сказку для детей и для взрослых? То, что каждая форма существования льна и все переходы из одной стадии развития в другую даны как периоды развития одушевленного существа, думающего, чувствующего, переживающего свои радости и невзгоды со всей естественностью живого человеческого характера.

Отсюда типичный процесс обработки льна становится индивидуальной биографией, технология превращается в поэзию.

На поэтизацию этого самого скромного и прозаического материала и направлен стиль Андерсена.

Вот первый абзац сказки про лен:

«Лен цвел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, даже еще нежнее! Солнце ласкало его, дождь поливал, и льну это было так же полезно и приятно, как маленьким детям, когда мать сначала умоет их, а потом поцелует; дети от этого хорошеют, хорошел и лен».

И вот уже нет здесь ничего напоминающего учебник ботаники или техническое руководство. Весь рассказ освещен изнутри переживаниями льна и улыбкой автора, который с такой нежностью относится к своему маленькому герою. Да и кто этот герой? Конечно, уже не просто лен, и история его — это не просто история растения, но полное драматизма жизнеописание человека, с его надеждами, радостями, разочарованиями, победами, взлетами и неизбежным концом, одновременно печальным и возвышенным, когда в пламени, охватившем связку старой бумаги, он возносится прямо к солнцу.



В одухотворении образов своих героев Андерсен поступает как тонкий «физиономист», за внешними чертами какого-нибудь цветка, букашки, предмета домашнего обихода угадывающий его внутреннюю душевную сущность и черты его биографии.

Казалось бы, что привлекательного и интересного в поношенном крахмальном воротничке, отданном в стирку? Но крахмальный воротничок сопровождал своего ветреного хозяина во всех его приключениях, следовательно, ему при желании есть чем похвастаться. А его знакомство с дамской подвязкой, одновременно и кокетливой, и застенчивой, и скрытной, как бы само собой наводит на игривые мысли.

А сколько приключений переживает воротничок, уже расставшись со своим хозяином! И притом ведь это действительно «его» приключения, которые ни с кем больше не могли произойти. Ведь его действительно стирают, крахмалят (после чего он входит в прежнюю силу — слово *Stivelse* по-датски означает крепость, силу и одновременно крахмал, накрахмаленность), а затем глядят (тут еще одна любовная история — с мадемуазель Утюжок, но эта барышня так обожгла его при первом знакомстве, что проделала в нем дыру, и ему пришлось поспешно отступить).

А ножницы, задача которых срезать нитки у обтрепанного воротничка? Здесь уже для Андерсена существенно не то, что они делают, а внешний вид ножниц, наводящий на ассоциации с грациозной и в то же время язвительной балериночкой, способной нанести поклоннику столько неисцелимых ран!

История стирки воротничка — это история взлетов и падений, надежд и разочарований. Чем дальше, тем прочнее однажды установленные связи закрепляются за героями, и мы с увлечением следим за тем виртуозным мастерством, с каким автор продолжает развивать намеченные им характеры и разворачивать свой сюжет.

Взять хотя бы подвязку. Что с ней случилось? Просто исчезла из нашего поля зрения? Нет, оказывается, уже на склоне лет воротничок хвастает, что несчастная влюбленная бросилась из-за него в ушат с мыльной водой! Факты изложены точно — добавлено лишь психологическое «из-за него»!

Так снова и снова обеспечивается двойной сюжет, двойной, иногда даже тройной ряд сюжетных мотивировок.

И мы не только следим за приключениями воротничка, но и послушно прослеживаем вторую — человеческую — линию развития, которая постоянно, многими способами, сохраняется и обновляется автором, — иногда отдельными, само собой понятными сюжетными ходами, иногда с помощью лексики, поскольку то или иное слово своим двойным значением обеспечивает такое сложное восприятие.

И если мы постараемся повнимательнее сравнить все эти андерсеновские сказочные сюжеты, то увидим, что история льна, бабочки, оловянного солдата — это все одна и та же история человеческой жизни, воплощенная в предельно конкретных и предельно индивидуализированных образах-характерах.

Здесь, правда, могут быть и различные вариации. Гадкий утенок достиг полноты счастья, а бабочка, а воротничок, а оловянный солдатик замерзли, сгорели, расплавились. Но все это одна и та же алгебраическая формула, только в различном буквенном выражении.

В своем бесконечном разнообразии Андерсен, можно сказать, одновременно и схематичен, он принципиально не доходит до сложных психологических глубин, лежащих не в вариациях сюжетной схемы, а в подробностях, в душевном их наполнении. Если бы это было иначе, сказка Андерсен», эта коротенькая история человеческой жизни, переросла бы в роман, в эпическое полотно.

### 3. СКАЗКИ-ПОВЕСТИ

К более углубленному изображению человеческой жизни Андерсен переходит внутри самого жанра сказки. Наряду с маленькими забавными историйками, в которых человеческая жизнь присутствует лишь в качестве обобщающей схемы, притом часто с юмористическим или социально-критическим оттенком, Андерсен уже в ранние годы творчества и позднее создает более обширные и психологические сказки-повести, среди которых наиболее замечательны «Русалочка» (1837), «Снежная королева» (1846), «Иб и Кристиночка» (1855), «Ледяная дева» (1861). Чаще всего эти сказки-повести посвящены истории молодого человека или девушки, начиная с дней раннего детства, за которыми следуют первые жизненные испытания и первая любовь. Но Андерсен строго судит о чувствах, он не прощает легкомыслия и тщеславия, и поэтому для его героев ранняя юношеская любовь есть главная и основная, покидающая их вместе с жизнью.

В первой из названных нами сказок-повестей, в «Русалочке», речь идет о любви фантастического существа к человеку. Но это лишь внешняя оболочка фавулы. На самом деле здесь рассказывается о бескорыстной, самоотверженной, все затмевающей, хотя и безответной, именно человеческой и человеческой любви.

И здесь также реально-человеческое и фантастическое сливаются до полного правдоподобия, при этом иной раз они, невзирая на трагический обертон, вызывают юмористический эффект. Так русалочка, дочь морского царя, рано лишилась матери, и «хозяйство

ведет» на дне морском ее бабушка, «женщина умная, но очень гордая своим родом: она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как всемогши имели право носить всего-навсего шесть».

Однако остроумное сплетение двух планов — реального и фантастического — уже не является в сказках-повестях самоцелью, как это мы наблюдали в «Счастливом семействе», в «Женихе и невесте» и в других сказках-шутках, где человеческая история выступала лишь как известная, легко узнаваемая схема.

Здесь, в «Русалочке», это скрепление двух планов, эти хитроумные многозначительные подробности становятся средством, ведущим к совсем иной, более глубокой цели — к раскрытию трагедии безответной любви.

История водяной феи и ее любовь к смертному, к человеку, неоднократно становилась темой художественной обработки. Но у Андерсена (вслед за «Ундиной» Фуке) история эта является не историей прекрасной коварной колдуньи, увлекающей полюбившегося ей человека (или всякого путника) в пучину («Лорелея» Гейне), а историей безнадежной любви прекрасного и беспомощного создания. Именно у Андерсена это создание жертвует собой в полном смысле слова для спасения и счастья любимого. Андерсен смог так по-детски просто и правдиво рассказать о жизни и характере мечтательной и тихой русалочки, что мы целиком поверили в нее и целиком верим ей, несмотря на ее сказочное обличье. Принц, которого любит русалочка, милый, незлой юноша, но он гораздо более схематичен, чем она со своим рыбьим хвостом и своими «водоплавающими» сестрами...

Трагические любовные перипетии и далее становятся основой для развернутых сказок-повестей Андерсена. Их уже нельзя безоговорочно называть сказками. Фантастический элемент там в различной дозировке еще сохранен, но он уже не играет главной формообразующей роли.

«Иб и Кристиночка» — повесть, в которой история любви, и притом любви горестной, трагической, стоит в центре повествования.

Здесь возникает тот же моральный конфликт, который является ведущим для сказок «Снежная королева» и «Ледяная дева». Это конфликт между бескорыстной привязанностью и суетным миром роскоши, богатства, преуспевания. Иб свободен от этих соблазнов, в то время как Кристиночка легко становится их жертвой и погибает.

Содержание сказки «Иб и Кристиночка» по своей психологической глубине и тому жизненному материалу, который в нее вложен, могло бы составить содержание целого романа. Однако у Андерсена эта история уместилась в произведении объемом менее одного печатного листа.

Чем и как это объясняется? Что в своей истории автор описывает наиболее подробно и что считает возможным дать кратко или вовсе обойти молчанием? Ответ на этот вопрос есть одновременно ответ на вопрос о том, каков метод Андерсена-повествователя и почему его повести, даже самые реальные, все же в конечном счете остаются сказками.

Попробуем разделить повесть Андерсена на отдельные части или главы и рассмотрим в их содержание. Это очень просто сделать, потому что повесть Андерсена сама собой распадается на четко отграниченные друг от друга эпизоды.

Первый эпизод, следующий после описания двух бедных хижин, где проходит детство героев, посвящен путешествию по реке с отцом Кристиночки. На обратном пути дети встречают в лесу цыганку, которая дарит им три волшебных ореха, заключающих в себе их будущую судьбу. Кристиночка забирает себе первые два ореха, в которых хранится золотая карета, запряженная золотыми лошадьми, десяток нарядных шалей, нарядные платья, шляпа, чулки, в то время как Ибу достается третий, маленький черный орешек, в котором должно храниться самое лучшее для него. На самом деле там оказывается труха, потому что орех был гнилой. Да и Кристиночка, думает Иб, навряд ли найдет столько роскоши в своих орехах.

Это символический эпизод, сказочный по форме, и все дальнейшее разворачивается, как его реализация.

Автор обходит молчанием целые значительные периоды жизни своих героев или же попросту кратко упоминает о них. И эта краткость органически входит в его художественный метод. Он устремлен к наиболее существенным этапам своей фабулы, он не терпит ничего лишнего, никаких лишних эпизодов и подробностей, как не терпит и лишних слов. Поэтому вслед за эпизодом с орехами мы читаем: «Пришла зима, пришел и Новый год.

И прошло несколько лет».

Затем следует отъезд Кристиночки к богатым людям в услужение, откуда она возвращается на побывку нарядная и похорошевшая (цыганка сказала правду?).

Иб и Кристиночка помолвлены, они жених и невеста.

Но проходит еще год, и начинают ползти слухи о том, что сын хозяев влюбился в Кристиночку и что она собирается выйти за него замуж (золотая карета?). Обмен письмами. Иб отказывается от Кристиночки, предоставляя ей свободу жить, как ей лучше.

«И прошли годы, не много лет, но это были долгие годы, как казалось Ибу...»

«И вереск стоял в цвету, и вереск отцвел...»

Иб находит в земле старинный клад, он впервые в жизни отправляется в Копенгаген, чтобы получить за него много денег, и на улицах большого города он встречает жалкую, бедную девочку Кристиночку, дочь его любимой. Сама Кристиночка умирает на его глазах, а его мы снова видим в лесу, на родине, где он сидит в своем новом, светлом доме, зажиточный человек, и на коленях у него — маленькая Кристиночка, лучшее, что осталось ему от прошлого. Так кончается повесть.

Сказочная интонация позволяет автору совсем кратко говорить о главном и вовсе не упоминать о несущественном. Это не роман с широким описательным фоном, а схема романа. Выхвачено из жизни героев самое существенное, лишь поворотные пункты их судьбы.

История довольно простая, обычная, традиционная. Подробно даны лишь наиболее значительные моменты, важные как для движения сюжета, так и для характеристики героев, в особенности Иба. Он охарактеризован наиболее подробно, потому что он наименее традиционен. И особенно подробно он показан там и тогда, когда переживания его, сильные и глубокие, не способны проявиться вовне, идут вразрез с его поведением. Такова его натура: застенчивый и скромный, робкий и неловкий, но внутренне прямой, честный, чистый человек, Иб благодаря этой чистоте проявляет твердость и неколебимость в душевных испытаниях.

Здесь Андерсен — прямой предшественник Кнута Гамсуна, а в особенности его всемирно известного романа «Виктория». Но у Гамсуна события даны в эпической развернутости, в то время как Андерсен в своем маленьком романе сохраняет за собой право на лаконизм и метафорическую образность сказки — иначе говоря, право быть только существенным, и ничего больше.

Андерсен свел действие и описание к нескольким мотивам и формам, которые можно передать простым, детским языком, несмотря на глубину и полноту их внутреннего психологического содержания.

Вариантами той же темы, но в ином, и притом более фантастическом оформлении, являются написанные в разное время «Снежная королева» и «Ледяная дева». Право быть счастливым и здесь остается только за бескорыстно, истинно любящими. Тот, кто поддался корыстным соблазнам, горько платится за это долгими днями наказания, а иной раз и жизнью.

Характерно, что в «Снежной королеве», более ранней повести, обстоятельства, разлучающие героев, носят более сказочно-фантастический характер, чем в поздних сказках этого же типа.

Здесь возникает тот аллегоризм, который, невзирая на двуплановость повествования, обычно отсутствует у Андерсена: осколок дьявольского зеркала, попавший Каю в сердце и заставляющий его

видеть все вокруг в дурном, искаженном свете, является возмездием за дерзкие слова, сказанные им о Снежной королеве. Такова завязка фантастического сюжета, символизирующего отпадение Кая от добра и человечности. На самом деле речь идет о внутреннем, душевном холоде, присущем ему с малых лет, что и является первопричиной всех его дальнейших злоключений. Только бескорыстная, горячая любовь Герды (ее «горячие» слезы растопили ледяной ком в его сердце) освобождает, «выручает» его из плена ледяного царства, иначе говоря — из тисков душевного холода и очерствения.

В «Ледяной деве» и юноша и девушка, и Руди и его возлюбленная Бабетта, поддаются под власть злых сил, так как для обоих в иных случаях внешний успех, легкомысленные приключения, боковые пути жизни становятся важнее их отношений друг к другу. И в «Ледяной деве» точно так же тщеславие, равнодушие, отсутствие моральной стойкости — символизированы образом феи ледников, царицы снежных горных вершин. Все же сюжет этой сказки-повести, несмотря на широко развернутую фантастику, ближе к реальной жизни благодаря звучащим здесь социальным мотивам. Общая атмосфера повествования также сближает эту повесть с романами Гамсуна.

#### 4. МЕТОД И СТИЛЬ

Итак, художественный метод Андерсена направлен на создание двух одновременно развивающихся сюжетных линий. На первом плане находится более простой, конкретно-предметный образ, переживающий детски-сказочные приключения, за которым стоит его «взрослый» двойник, история которого, понятная лишь благодаря сложной системе переносных смыслов, в конечном счете более обычна и жизненно реальна.

Оба эти образа то сближаются, то расходятся, в зависимости от требований разворачивающегося сюжета. Когда улитка сидит на лопухе, это, конечно, только улитка. Но когда «приемному сыну» подыскали невесту, то это уже и улитка на лопухе и обывательница у себя в доме, мечтающая о выгодном браке для своего приемыша.

Колебательные движения двойного образа, его «мерцательная» игра — момент чисто андерсеновской поэтики.

Основой такой двуединой подачи образа является опять-таки намеренное неразличение в повествовании одушевленных и неодушевленных предметов, животных и людей, что становится одновременно источником своеобразного андерсеновского юмора.

Одним из основных вопросов поэтики Андерсена является вопрос о степени индивидуализации и типизации при таком методе создания характеров.

Ответ напрашивается сам собою: самый выбор предметов-образов, так же как животных-образов (по некоторой аналогии с басней), делает возможным предельную краткость их описания. Называя предмет, вкратце характеризуя своего очередного героя, автор опирается на наше готовое представление о нем, тем самым ориентируясь на типовое, массовое в образе и оставляя тонкие индивидуальные нюансы в стороне. Одновременно обеспечивается и максимальный лаконизм повествования, известный схематизм сюжетного развития, известный «алгебраизм» жанра сказки.

Таков метод Андерсена и в маленьких сказочках, а в известной мере и в сказках-повестях более широкого психологического масштаба.

Русалочка или Ледяная дева — в фольклорной традиции — это материализованные образы сил природы. Их характер, если не целиком, то, во всяком случае, в пределах какой-то амплитуды колебаний, определяется своеобразием действия этих сил на человека (холод горных рек, страх путника перед снежными обвалами, коварная и опасная глубина сверкающих красотой озер, капризы морской стихии).

С другой стороны, социально направленное изображение мещанского мира дается в сказках Андерсена (вслед за «Котом Мурром» Э. Т. А. Гофмана) в образах представителей животного царства, и притом чаще всего в образах домашних животных и птиц<sup>1</sup>.

И, наконец, в добавление к этому Андерсен, как мы видели, создает и свою собственную «предметно-бытовую» мифологию узкого домашнего обихода.

Эта метафорическая образность, глубоко коренящаяся в существе сказки, доведена Андерсеном до предела и в его методе развертывания сюжета и также находится на службе у его лаконизма, основанного на подчеркнутой конкретности и в то же время типичности, жанровой закреплённости изображаемых характеров и событий, несмотря на их внешнее разнообразие.

В самом деле, гораздо проще сказать, что герой очутился на перекрестке трех дорог и что ему предстоит выбор — ехать ли направо, налево или прямо, чем рассказать с помощью сложного анализа, что он находится «на распутье» (кстати, и здесь мы имеем дело с метафорой, но только языковой, не материализовавшейся в

---

<sup>1</sup> Ср. Н. Я. Берковский, Э. Т. А. Гофман, Предисловие К сб. Э. Т. А. Гофман, Новеллы и повести, Гослитиздат, Л. 1936, стр. 86 и след.

действии) и что он при этом думал, и как сомневался, и как вопрошал то себя, то друзей, и как спорил и ссорился с близкими, и т. д., и т. п.

И намного сжатее и лаконичнее можно рассказать о юноше, если он ушел от своей подруги потому, что его «похитила Ледяная дева», чем если его увела к себе коварная разлучница, живая женщина. Уход из родного дома, охлаждение к возлюбленной в первом случае не должно быть особо мотивировано: таков уж характер Ледяной девы, что она охотится за смелыми юношами, вторгающимися в ее пределы, и убивает их своими морозными объятиями. А измена невесте с другой женщиной должна быть особо и подробно мотивирована — это уже удел психологического романа.

В «Ледяной деве», вслед за Гофманом и его «Котом Мурром», автор с какого-то момента расщепляет свое повествование на две линии — на любовную линию Руди и Бабетты, которая рассказана самим автором, и на сопровождающие обстоятельства более «низкого» плана, о которых читатель узнает из бесед двух кошек — привилегированной, комнатной, и нижестоящей, кухонной. Тем самым в рассказ привносится элемент юмористически окрашенной социальной сатиры, иначе говоря, тот изобразительный пласт, который был основным в чисто андерсеновских бытовых сказках.

Некоторые наиболее типовые моменты сюжета опять-таки не развиваются автором подробно, а даются как бы пунктиром, сквозь призму отношения двух кошек-наблюдательниц, то есть сквозь призму поданного юмористически обывательского острашения.

«— Знаешь, какая на мельнице новость? — спросила кошка, живущая в комнате. — Тайное обручение. Отец еще ничего не знает. Целый вечер Руди и Бабетта наступали друг другу на лапы, они и на меня раза два наступили, но я не стала мяукать, чтобы не привлечь внимания».

Или о разговоре Руди с отцом Бабетты.

«— Ну что же они говорили? — спросила кошка, живущая на кухне.

— Что говорили? Все говорили, что надо сказать, если идет сватовство. «Я люблю ее, она любит меня...»

Мы уже видели, что Андерсен стремится обходить молчанием или лишь мимоходом касаться наиболее традиционных эпизодов в развитии сюжета. Но вот первое объяснение с Бабеттой, или экспедиция за орленком на неприступные скалы, или встреча с Ледяной девой среди горных вершин — это описано подробно. И поэтому, хотя содержание повести Андерсена и напоминает роман, романом она все же не становится: вместо эпического развертывания событий — сказочное, даже, можно сказать, балладное скачкообразное движение от одного сюжетного узла к другому, от одной «вершины» к другой.



Готовые формулы, готовые образы и возвышенного и низкого плана (с одной стороны — сказочная мифология, романтическое олицетворение сил природы, с другой — мелкий, низменный быт, освещенный взглядом «обывателей» из животного царства) создают для автора готовый материал, благодаря чему сохраняется лаконизм там, где нет прямой необходимости углубляться в подробности.

Для проникновения в суть художественного метода Андерсена программным произведением является сказка «В детской».

Маленькая Анна вместе со своим крестным отцом осталась дома, в то время как родители, старшие братья и сестры ушли в театр смотреть комедию. «А у нас тоже будет комедия», — говорит крестный отец и сооружает для девочки театральную сцену из старого ящика, а затем набирает актеров.

Этот процесс «создания актеров» отражает самую суть художественного метода Андерсена.

Вот лежит обломок трубки, наводящий на мысль о табаке и дыме, — это отец семейства, сердитый, брюзгливый; а вот перчатка, по поводу которой уместно вспомнить о капризах, миловидности, кокетстве, — это его дочь; а вот старый братник шелковый жилет — это любовник, хотя и потертый, но все же молодцеватый, и так как в кармане жилета пусто, то речь идет скорее всего о несчастной любви, о любви фатоватого бедняка к хорошенькой барышне из богатого дома; а вот, наконец, сапожок Щелкунчика со шпорами (нарек на сказку Э. Т. А. Гофмана) — это неудачливый жених, которого невеста терпеть не может, так как он грубиян. Пусть это будет даже миниатюрный сапожок куклы — детское и сказочное мышление уравнивают масштабы, — но «характер» — грубоватый, несговорчивый, непривлекательный, все вокруг себя «попирающий» — останется. С этими «актерами» уже можно сыграть любую пьесу — трагедию или семейную драму.

Маленькая Анна требует драму, и перед ней тут же разгрызается схема сентиментальной пьесы: суровый отец насильственно отдает дочь за неполюбимого ею грубого молодчика (сапожок), но храбрый жилет, завладев сердцем красавицы, оказывается победителем в борьбе с отцом, которого он попросту засовывает (обломок трубки!) в свой карман, после чего отец на все соглашается.

Следует трогательная сцена помолвки и заключительная песенка.

Помимо того, что здесь дается гротескное изображение семейной драмы в духе сентиментального жанра XVIII и начала XIX веков, автор раскрывает перед нами и собственный метод персонификации окружающих предметов, их превращения в героев человеческой комедии (все это уже для взрослых читателей).

После того как амплуа распределены, крестному отцу (то есть автору) остается лишь подергать за традиционные ниточки сюжета, и схема чувствительной драмы разыграна перед глупенькой маленькой Анной, которой доступно лишь самое конкретное, самое внешнее в ходе спектакля, в то время как всякие литературные тонкости, естественно, проходят мимо нее.

Важно отметить, что в сюжете драмы нет никаких вне­традиционных ходов, — он взят в самой своей банальной, типичной форме, и все внимание зрителя (читателя) устремлено на процесс перевоплощения предметов и разыгрывания их «ролей», происходящий на наших глазах. Поэтому, хотя сюжет и весьма чувствительный, но сказка воспринимается как веселая пародия.

Собственно говоря, интерес большинства маленьких сказочек Андерсена подобного типа сводится к тому же — здесь нередко важно не только и не столько содержание рассказа, сколько постоянное двуединство действующих лиц, а следовательно, и двойная линия развития сюжета.

И еще один момент чрезвычайно важен: маленькая Анна, как уже было отмечено, далеко не все понимает из того, что перед ней происходит. «А наша пьеса не хуже той, что идет в театре?» — спрашивает она. «Наша намного лучше», — успокаивает ее крестный отец, — и это, конечно, ответ не только ей, но и взрослому читателю, ответ, иронически снижающий жанр сентиментальной семейной драмы.

Маленькая Анна и по ходу пьесы задает вопросы, свидетельствующие о том, что до ее сознания доходит далеко не все, что было ей показано. Ее внимание явно ослабевает в моменты, когда сюжет грозит затянуться и стать серьезным, и крестный отец принужден измышлять все новые и новые мотивы, чтобы оживить ее интерес.

То внезапно Анна заявляет: «Лучше пускай они говорят сти­хами», а то вдруг в середине действия спрашивает, не окончен ли спектакль. Больше всего ей нравятся те места пьесы, когда на сцене показаны шумные происшествия: когда сапожок, звеня шпорами, опрокидывает кулисы или же когда жилет прячет отца невесты на самое дно своего кармана.

Добродушно-лукавая игра старшего с ребенком, полное снисхо­дительного юмора противопоставление детского и взрослого созна­ния — не последняя тема этого маленького рассказа, в котором автор охотно раскрывает карты для интересующихся его творческим ме­тодом.

Вспомним концовку сказки про лен: когда лен, превращенный в бумагу, был брошен в горящую плиту, дети, выбежавшие из школы, запели над мертвой золой веселую песенку, на что вылетавшие в трубу «незримые крошечные существа» им отвечали:

«— Песенка никогда не кончается, вот что самое чудесное! Я это знаю и потому счастливее всех!»

Автор же по этому поводу добавляет:

«Но дети этого не слышали, а если бы и расслышали, то ничего вы не поняли. Да это и к лучшему, потому что детям не следует все знать!»

«Детское» и «взрослое» в сказках Андерсена часто идут различными путями, и это также один из важных элементов его поэтики.

Андерсен был одновременно писателем и для детей и для взрослых, и рассказывал он свои сказки детям и взрослым одновременно. Вернее сказать, он в первую очередь рассказывал их детям, а уж во вторую — взрослым при детях. И именно поэтому здесь постоянно имеются две темы одновременно: «тема № 1», то есть детская тема, и «тема № 2» — тема для взрослых, поданные в своеобразном соотношении и переплетении. Вот именно они и образуют то, что мы выше назвали двуединым сюжетом андерсеновской сказки.

Дети воспринимают лишь внешнюю, наиболее конкретную форму сказочного события, взрослые — стоящие за простой сказочной схемой более сложные человеческие отношения. С другой стороны, именно детская форма изложения делает эти более сложные отношения смешными в глазах взрослого читателя, оставляя для детей серьезное и даже патетическое восприятие многих сказочных событий.

В сказке «Маленький Клаус и Большой Клаус» имеется эпизод, широко известный в различных вариантах в сказочной литературе мира — антиклерикальный эпизод о дьячке, или пономаре, или другом подобном персонаже, который явился в гости к крестьянке в отсутствие ее мужа.

По тому, как Андерсен приспособил этот вполне «взрослый» эпизод к детскому восприятию, мы можем вообще судить о том, как в его творчестве соседствуют и уживаются эти два начала. Мы можем сделать также и некоторые наблюдения над тем, как эти две линии — детская и взрослая — уживаются в одном абзаце.

Сцена такая: накрытый стол, крестьянка угощает пономаря. Возвращается муж. Дальше читаем у Андерсена характеристику мужа, в которой говорится, что муж этот был человек хороший, но что у него была «странная болезнь», а именно, что он терпеть не мог пономарей и приходил в бешенство от одного только вида пономаря. Совершенно ясно поэтому, что жена испугана, услышав, что муж возвращается, и еще более естественно, что пономарь соглашается спрятаться в сундук, — потому что «он ведь знал, что бедняга хозяин терпеть не может пономарей».

Перед нами типичный пример андерсеновского совмещения двух линий — «детской» и «взрослой».

Для детей подозрительность и свирепость мужа действительно объясняется «странной болезнью» — для взрослых это есть юмористическое иносказание его ревнивого характера. Дети с интересом ждут, когда пономарь окажется в сундуке. Взрослые уже более или менее давно поняли, в чем дело и чем все это кончится, и сразу же начинают смеяться — не только смыслу рассказанного, не только заложенному здесь подтексту, но еще и тому иносказанию, в котором этот сюжет подается детям. Конец финальной фразы абзаца — «если бы муж увидал все это, он, конечно, спросил бы, кого она вздумала угощать» — сосредоточивает в себе юмористическую пуанту, является вершиной второй, то есть взрослой, комедийной линии повествования.

Сочетание этих двух повествовательных линий порождает и особый синтаксис Андерсена, в частности, особую структуру абзаца, смысловое развитие которого теснейшим образом связано с расчлениением рассказа на «детский» и «взрослый» варианты.

В то время как начало абзаца обычно отражает более непосредственное движение сказочного сюжета, в дальнейшем его развитии находят себе место своеобразные отступления от прямой сюжетной линии, носящие то юмористический, то лирический, а иногда даже трагический характер. Они-то и придают повествованию различные эмоциональные оттенки, делают его типично андерсеновским. Так именно внутри абзаца, от его начала к концу, осуществляется движение от конкретного и прямого смысла к обобщенному и переносному, от «детского» к «взрослому».

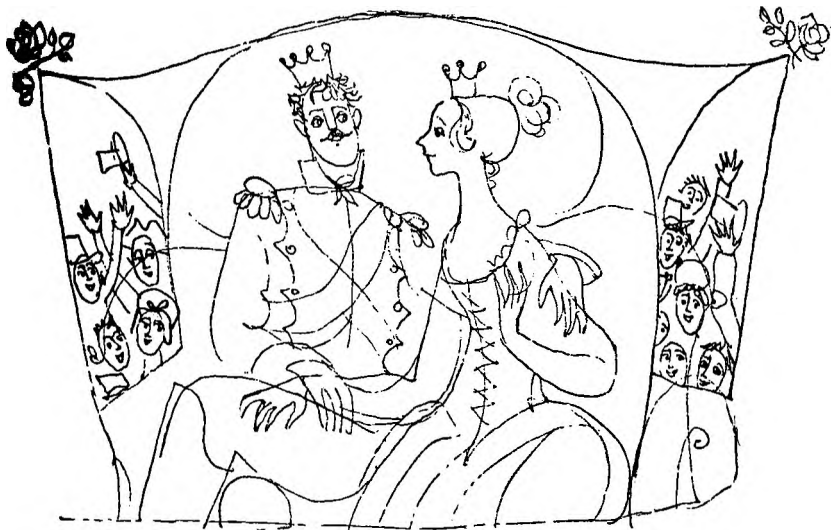
Этот второй план повествования, рассчитанный только на взрослого читателя, оказывается тем самым своего рода подтекстом, который прочитывается «между строк». Именно за счет этого своеобразного подтекста в значительной мере и оформляется вторая, «взрослая» линия андерсеновского повествования.

В этом сложном, виртуозно переплетенном, постоянно обновляющемся двуединстве сюжетного развития и в сложных, двойственных формах повествования — основа неповторимой андерсеновской стилистики.

*Т. Сильман*

СКАЗКИ  
И  
ИСТОРИИ





## ОГНИВО



Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку; он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма — безобразная, противная: нижняя губа висела у нее до самой груди.

— Здорово, служивый! — сказала она. — Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас ты получишь

денег, сколько твоей душе угодно.

— Спасибо, старая ведьма! — сказал солдат.

— Видишь вон то старое дерево? — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. — Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло, ты и спустишься в него, в самый низ! А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса, ты мне крикни, и я тебя вытащу.

— Зачем мне туда лезть? — спросил солдат.

— За деньгами! — сказала ведьма. — Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход; в нем горит больше сотни ламп, и там

совсем светло. Ты увидишь три двери; можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату; посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку: глаза у нее, словно чайные чашки! Но ты не бойся! Я дам тебе свой синий клетчатый передник, расстели его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку, посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег вволю. В этом сундуке одни медяки; захочешь серебра — ступай в другую комнату; там сидит собака с глазами, как мельничные колеса! Но ты не пугайся: сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, так достанешь и золота, сколько сможешь унести; пойдя только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза — каждый с Круглую башню.<sup>1</sup> Вот это собака! Злющая-презлющая! Но ты ее не бойся: посади на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золота, сколько хочешь!

— Оно бы недурно! — сказал солдат. — Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно?

— Я не возьму с тебя ни полушки! — сказала ведьма. — Только принеси мне старое огниво, его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз.

— Ну, обвязывай меня веревкой! — приказал солдат.

— Готово! — сказала ведьма. — А вот и мой синий клетчатый передник!

Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп.

Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата.

— Вот так молодец! — сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег, потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса.

— Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят! — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медяки и набил оба кармана и ранец серебром. Затем

---

<sup>1</sup> Круглая башня была построена в Копенгагене астрономом Тихо Браге (1546—1601), устроившим в ней обсерваторию.



солдат пошел в третью комнату. Фу ты пропасть! У этой собаки глаза были ни дать ни взять две Круглые башни И вертелись, точно колеса.

— Мое почтение! — сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал.

Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете! На все хватило бы! Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то он был с деньгами! Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал:

— Тащи меня, старая ведьма!

— Огниво взял? — спросила ведьма.

— Ах черт, чуть не забыл! — сказал солдат, пошел и взял огниво.

Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге, только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.

— Зачем тебе это огниво? — спросил солдат.

— Не твое дело! — ответила ведьма. — Получил деньги, и хватит с тебя! Ну, отдай огниво!

— Как бы не так! — сказал солдат. — Сейчас говори, зачем тебе оно, не то вытащу саблю да отрублю тебе голову.

— Не скажу! — уперлась ведьма.

Солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город.

Город был чудесный; солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда — теперь ведь он был богачом!

Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги, но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином, и ему рассказали обо

всех чудесах, какие были тут, в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.

— Как бы ее увидеть? — спросил солдат.

— Этого никак нельзя! — сказали ему. — Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а короли этого не любят!

«Вот бы на нее поглядеть!» — подумал солдат.

Да кто бы ему позволил?!

Теперь-то он зажил весело: ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал: он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане! Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей; все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил да тратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда, и осталось у него в конце концов всего-навсего две денежки! Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их; никто из друзей не навещал его, — уж очень высоко было к нему подниматься!

Раз как-то, вечером, сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него не было даже денег на свечку; он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами, точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье.

— Что угодно, господин? — пролаяла она.

— Вот так история! — сказал солдат. — Огниво-то, выходит, прелюбопытная вещичка: я могу получить все, что захочу! Эй ты, добудь мне деньжонок! — сказал он собаке. Раз — ее уж и след простыл, два — она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью! Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударить по кремню раз — является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами; ударить два — является та, которая сидела на серебре; ударить три — прибегает собака, что сидела на золоте.

Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в шегольском платье, и все его друзья сейчас же узнали его и ужасно полюбили.

Вот ему и приди в голову: «Как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят, а что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое огниво?» И он ударил по кремню раз — в тот же миг перед ним стояла собака с глазами, точно чайные чашки.

— Теперь, правда, уже ночь, — сказал солдат. — Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу, хоть на одну минуточку!

Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша; всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса, и солдат не утерпел и поцеловал ее, — он ведь был brave воин, настоящий солдат.

Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата: будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.

— Вот так история! — сказала королева.

И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху фрейлину — она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон, или что другое.

А солдату опять до смерти захотелось увидеть престелную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть, но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их найти!» — взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидела этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано: теперь фрейлина не могла отыскать нужные ворота — повсюду белели кресты.

Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездил принцесса ночью.

— Вот куда! — сказал король, увидев первые ворота с крестом.

— Нет, вот куда, муженек! — возразила королева, заметив крест на других воротах.

— Да и здесь крест и здесь! — зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться.

Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки штуку шелковой материи, сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездил принцесса.

Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату; солдат так полюбил принцессу, что начал жалеть, отчего он не принц, — так хотелось ему жениться на ней.

Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она



прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму.

Как там было темно и скучно! Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Очень было невесело услышать это, а огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе.

Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу: народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата; били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался вприпрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко.

— Эй ты, куда торопишься? — сказал мальчику солдат. — Без меня ведь дело не обойдется! А вот, если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монеты. Только живо!

Мальчишка был не прочь получить четыре монеты, он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем!

За городом построили огромную виселицу, вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета.

Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал, что, прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку, — это ведь будет последняя его трубочка на этом свете!

Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три — и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как Круглая башня.

— А ну, помогите мне избавиться от петли! — приказал солдат.

И собаки бросились на судей и на весь королевский совет: того за ноги, того за нос да кверху на несколько сажен, и все падали и разбивались вдребезги!

— Не надо! — закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их

кверху вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:

— Служивый, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!

Солдата посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали «ура». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю; собаки тоже сидели за столом и тарасили глаза.





## МАЛЕНЬКИЙ КЛАУС И БОЛЬШОЙ КЛАУС



**В** одной деревне жили два человека; обоих звали Клаусами, но у одного было четыре лошади, а у другого только одна; так вот, чтобы различить их, и стали звать того, у которого было четыре лошади, Большой Клаус, а того, у которого одна, Маленький Клаус. Послушаем-ка теперь, что с ними случилось; ведь это целая история!

Всю неделю, как есть, должен был Маленький Клаус пахать на своей лошадке поле Большого Клауса. Зато тот давал ему всех своих четырех, но только раз в неделю, по воскресеньям. Ух ты, как звонко шелкал кнутом Маленький Клаус над всей пятеркой, — сегодня ведь все лошадки были будто его собственные. Солнце сияло, колокола звонили к обедне, люди все были такие нарядные и шли с молитвенниками в руках в церковь послушать проповедь священника. Все они видели, что Маленький Клаус пашет на пяти лошадях, и он был очень доволен, пощелкивал кнутом и покрикивал:

— Эх вы, мои лошадушки!

— Не смей так говорить! — сказал ему как-то раз Большой Клаус. — У тебя ведь всего одна лошадь!

Но вот опять кто-нибудь проходил мимо, и Маленький Клаус забывал, что не смел говорить так, и опять покрикивал:

— Ну вы, мои лошадушки!

— Перестань сейчас же! — сказал ему наконец Большой Клаус. — Если ты скажешь это еще хоть раз, я возьму да хвачу твою лошадь по лбу. Ей тогда сразу конец придет!

— Не буду больше! — сказал Маленький Клаус. — Право же, не буду!

Да вдруг опять кто-то прошел мимо и поздоровался с ним, а он от радости, что пашет так важно на пяти лошадях, опять щелкнул кнутом и закричал:

— Ну вы, мои лошадушки!

— Вот я тебе понукаю твоих лошадушек! — сказал Большой Клаус.

Взял он обух, которым вколачивают в поле колья для привязи лошадей, и так хватил лошадь Маленького Клауса, что убил ее наповал.

— Эх, нет теперь у меня ни одной лошади! — проговорил Маленький Клаус и заплакал.

Потом он снял с лошади шкуру, высушил ее хорошенько на ветру, положил в мешок, взвалил мешок на спину и пошел в город продавать шкуру.

Идти пришлось очень далеко, через большой темный лес, а тут еще непогода разыгралась, и Маленький Клаус заблудился. Едва выбрался он на дорогу, как совсем стемнело, а до города было еще далеко, да и домой назад не близко; до ночи ни за что не добраться ни туда, ни сюда.

При дороге стоял большой крестьянский двор; ставни в доме были уже закрыты, но сквозь щели светился огонь.

«Вот тут я, верно, найду себе приют на ночь», — подумал Маленький Клаус и постучался.

Хозяйка отперла, узнала, что ему надо, и велела идти своей дорогой: мужа ее не было дома, а без него она не могла принимать гостей.

— Ну, тогда я переночую на дворе! — сказал Маленький Клаус, и хозяйка захлопнула дверь.

Возле дома стоял большой стог сена, а между стогом и домом — сарайчик с плоской соломенной крышей.



— Вон там я и улягусь! — сказал Маленький Клаус, увидев эту крышу. — Чудесная постель! Надеюсь, аист не слетит и не укусит меня за ногу!

Это он сказал потому, что на крыше дома в своем гнезде стоял живой аист.

Маленький Клаус влез на крышу сарая, растянулся на соломе и принялся ворочаться с боку на бок, стараясь улечься поудобнее. Ставни закрывали только нижнюю половину окон, и ему видна была вся горница.

А в горнице был накрыт большой стол; чего-чего только на нем не было: и вино, и жаркое, и чудеснейшая рыба; за столом сидели хозяйка и пономарь, — больше никого.

Хозяйка наливала гостю вино, а он уплетал рыбу, — он был большой до нее охотник.

«Вот бы мне присоседиться!» — подумал Маленький Клаус и, вытянув шею, заглянул в окно. Боже, какой дивный пирог он увидал! Вот так пир!

Но тут он услышал, что кто-то подъезжает к дому, — это вернулся домой хозяйкин муж. Он был очень добрый человек, но у него была странная болезнь: он терпеть не мог пономарей. Стоило ему встретить пономаря — и он приходил в бешенство. Поэтому пономарь и пришел в гости к его жене в то время, когда мужа не было дома, а добрая женщина постаралась угостить его на славу. Оба они очень испугались, услышав, что хозяин вернулся, и хозяйка попросила гостя поскорее влезть в большой пустой Сундук, который стоял в углу. Пономарь послушался, — он ведь знал, что бедняга хозяин терпеть не может пономарей, — а хозяйка проворно убрала все угощение в печку: если бы муж увидал все это, он, конечно, спросил бы, кого она вздумала угощать.

— А х ! — громко вздохнул Маленький Клаус на крыше, глядя, как она прятала кушанье и вино.

— Кто т а м ? — спросил крестьянин и вскинул глаза на Маленького Клауса. — Чего ж ты лежишь тут? Пойдем-ка лучше в горницу!

Маленький Клаус объяснил, что он заблудился и попросился ночевать.

— Ладно, — сказал крестьянин, — ночуй. Только сперва нам надо с тобой подкрепиться с дороги.

Жена приняла их обоих очень ласково, накрыла на стол и вынула из печки большой горшок каши.

Крестьянин проголодался и ел с аппетитом, а у Маленького Клауса из головы не шли жаркое, рыба и пирог, которые были спрятаны в печке.

Под столом, у ног Маленького Клауса, лежал мешок с лошадиной шкурой, с той самой, которую он нес продавать. Каша не лезла ему в горло, и вот он придавил мешок ногой; сухая шкура громко закрипела.

— Тсс! — сказал Маленький Клаус, а сам опять наступил на мешок, и шкура закрипела еще громче.

— Что там у тебя? — спросил хозяин.

— Да это все мой колдун! — сказал Маленький Клаус. — Говорит, что не стоит нам есть кашу, — он уже заколдовал для нас полную печку всякой всячины: там и жаркое, и рыба, и пирог!

— Вот так штука! — вскричал крестьянин, мигом открыл печку и увидел там чудесные кушанья. Мы-то знаем, что их спрятала туда его жена, а он подумал, что это все колдун заколдовал!

Жена не посмела сказать ни слова и живо поставила все на стол, а муж с гостем принялись уплетать и жаркое, и рыбу, и пирог. Но вот Маленький Клаус опять наступил на мешок, и шкура закрипела.

— А что он сейчас сказал? — спросил крестьянин.

— Да вот, говорит, что заколдовал нам еще три бутылки вина, они тоже в печке, — ответил Маленький Клаус.

Пришлось хозяйке вытащить и вино. Крестьянин выпил стаканчик, другой, и ему стало так весело! Да, такого колдуна, как у Маленького Клауса, он не прочь был заполучить!

— А может он вызвать черта? — спросил крестьянин. — Вот на кого бы я посмотрел; ведь мне сейчас весело!

— Может, — сказал Маленький Клаус, — мой колдун может сделать все, чего я захочу. Правда? — спросил он у мешка, а сам наступил на него, и шкура закрипела.

— Слышишь? Он отвечает «да». Только черт очень уж безобразный, не стоит и смотреть на него!

— Ну, я его ни капельки не боюсь. А каков он на вид?

— Да вылитый пономарь!

— Тьфу! — сплюнул крестьянин. — Вот мерзость! Надо тебе сказать, что я видеть не могу пономарей! Но все равно, я ведь знаю, что это черт, и мне будет не так про-

тивно! К тому же я сейчас набрался храбрости, это очень кстати! Только пусть он не подходит слишком близко!

— А вот я сейчас скажу колдуну! — проговорил Маленький Клаус, наступил на мешок и прислушался.

— Ну что?

— Он велит тебе пойти и открыть вон тот сундук в углу: там притаился черт. Только придерживай крышку, а то он выскочит.

— А ты помоги придержи а т ь ! — сказал крестьянин и пошел к сундуку, куда жена спрятала пономаря.

Пономарь был ни жив ни мертв от страха. Крестьянин приоткрыл крышку и заглянул в сундук.

— Тьфу! Видел, видел! — закричал он и отскочил прочь. — Точь-в-точь наш пономарь! Вот гадость-то!

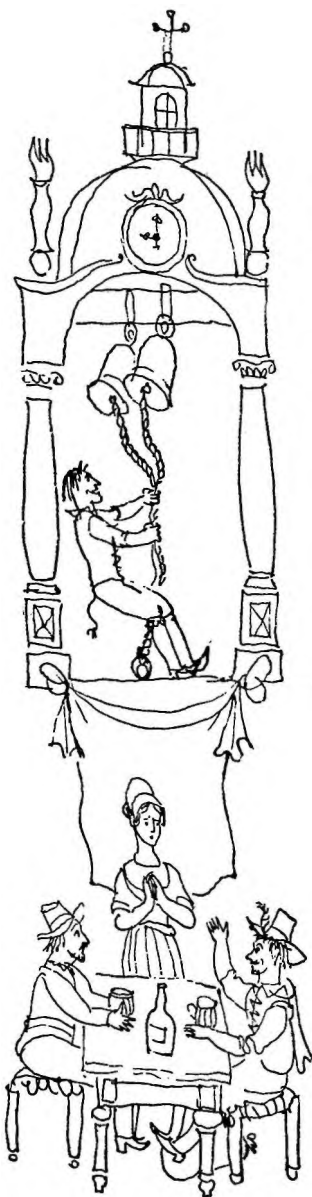
Такую неприятность надо было запить, и они пили до поздней ночи.

— А колдуна этого ты мне продай! — сказал крестьянин. — Проси сколько хочешь, хоть целую мерку денег!

— Нет, не могу! — сказал Маленький Клаус. — Подумай, сколько мне от него пользы!

— Продай! Мне страсть как хочется его получить! — сказал крестьянин и принялся упрашивать Маленького Клауса.

— Ну ладно, — ответил наконец Маленький Клаус, —



пусть будет по-твоему! Ты со мной ласково обошелся, пустил меня ночевать, так бери моего колдуна за мерку денег, только насыпай поплнее!

— Хорошо! — сказал крестьянин. — Но ты должен взять и сундук, я и часу не хочу держать его у себя в доме. Почему знать, может черт все еще там сидит.

Маленький Клаус отдал крестьянину свой мешок с высушенной шкурой и получил за него полную мерку денег, да еще большую тачку, чтобы было на чем везти деньги и сундук.

— Прощай! — сказал Маленький Клаус и покатил тачку с деньгами и с сундуком, в котором все еще сидел пономарь.

По ту сторону леса протекала большая глубокая река, такая быстрая, что едва можно было справиться с течением. Через реку был перекинут новый мост. Маленький Клаус встал посередине моста и сказал нарочно как можно громче, чтобы пономарь услышал:

— К чему мне этот дурацкий сундук? Он такой тяжелый, точно набит камнями! Я совсем измучусь с ним! Брошу-ка его в реку: приплывет он ко мне домой сам — ладно, а не приплывет — и не надо!

Потом он взялся за сундук одною рукою и слегка приподнял его, точно собираясь столкнуть в воду.

— П о с т о й ! — закричал из сундука пономарь. — Выпусти сначала меня!

— А й ! — вскрикнул Маленький Клаус, притворяясь, что испугался. — Он все еще тут! В воду его скорее! Пусть тонет!

— Нет, нет! Это не черт, это я! — кричал пономарь. — Выпусти меня, я тебе дам целую мерку денег!

— Вот это другое дело! — сказал Маленький Клаус и открыл сундук.

Пономарь мигом выскочил оттуда и столкнул пустой сундук в воду. Потом они пошли к пономарю, и Маленький Клаус получил еще целую мерку денег. Теперь тачка была полна деньгами.

— А ведь лошадка принесла мне недурной барыш! — сказал себе Маленький Клаус, когда пришел домой и высыпал на пол кучу денег. — Вот Большой Клаус-то разозлится, когда узнает, как я разбогател от своей единственной лошади! Только пусть не ждет, чтобы я сказал ему всю правду!

И он послал к Большому Клаусу мальчика попросить мерку, которою мерят зерно.

«На что она ему понадобилась?» — подумал Большой Клаус и слегка смазал дно меры дегтем, — авось, мол, к нему что-нибудь да пристанет. Так оно и вышло: получив мерку назад, Большой Клаус увидел, что ко дну прилипли три новеньких серебряных монетки.

— Вот так штука! — сказал Большой Клаус и сейчас же побежал к Маленькому Клаусу.

— Откуда у тебя столько денег?

— Я продал вчера вечером шкуру своей лошади.

— С барышом продал! — сказал Большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил всех своих четырех лошадей, снял с них шкуры и отправился в город продавать.

— Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! — кричал он по улицам.

Все сапожники и кожевники сбежались к нему и стали спрашивать, сколько он просит за шкуры.

— Мерку денег за штуку! — отвечал Большой Клаус.

— Да ты в уме? — возмутились покупатели. — У нас столько денег не водится, чтобы их мерками мерить!

— Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! — кричал он опять и всем, кто спрашивал, почему у него шкуры, отвечал: — Мерку денег за штуку!

— Да он нас дурачить вздумал! — закричали сапожники и кожевники, похватили кто ремни, кто кожаные передники и принялись хлестать ими Большого Клауса.

— «Шкуры! Шкуры!» — передразнивали они его. — Вот мы покажем тебе шкуры! Вон из города!

И Большой Клаус давай бог ноги! Сроду его так не колотили!

— Ну, — сказал он, добравшись до дому, — заплатится же мне за это Маленький Клаус! Убью его!

А у Маленького Клауса как раз умерла старая бабушка; она не очень-то ладила с ним, была злая и жадная, но он все-таки очень жалел ее и положил на ночь в свою теплую постель — авось отогреется и оживет, — а сам уселся в углу на стуле: ему не впервой было так ночевать.

Ночью дверь отворилась, и вошел Большой Клаус с топором в руках. Он знал, где стоит кровать Маленького Клауса, подошел к ней и ударил по голове того, кто на

ней лежал. Думал, что это Маленький Клаус, а там лежала мертвая бабушка.

— Вот тебе! Не будешь меня дурачить! — сказал Большой Клаус и пошел домой.

— Ну и злодей! — сказал Маленький Клаус. — Это он меня хотел убить! Хорошо, что бабушка-то была мертвая, а то бы ей не поздоровилось!

Потом он одел бабушку в праздничное платье, попросил у соседа лошадь, запряг ее в тележку, хорошенько усадил старуху на заднюю скамейку, чтобы она не свалилась, когда поедут, и покатил с ней через лес. Когда солнышко встало, они подъехали к большому постоялому двору. Маленький Клаус остановился и пошел спросить себе чего-нибудь закусить.

У хозяина постоялого двора было много-много денег, и сам он был человек очень добрый, но такой горячий, точно весь был начинен перцем и табаком.

— Здравствуй! — сказал он Маленькому Клаусу. — Чего это ты нынче спозаранку расфрантился?

— Да вот, — отвечал Маленький Клаус, — надо с бабушкой в город съездить; она там, в тележке, осталась — ни за что не хочет вылезать. Пожалуйста, отнесите ей туда стаканчик меду. Только говорите с ней погромче, она глуховата!

— Ладно! — согласился хозяин, взял большой стакан меду и понес старухе, а та сидела в тележке прямая, как палка.

— Вот, внучек прислал вам стаканчик медку! — сказал хозяин, подойдя к тележке, но старуха не ответила ни слова и даже не шевельнулась.

— Слышите? — закричал хозяин во все горло. — Ваш внук посылает вам стакан меду!

Еще раз прокричал он то же самое и еще раз, а она все не шевелилась; тогда он рассердился и запустил ей стаканом прямо в лицо, так что мед потек у нее по носу, а сама она опрокинулась навзничь. Маленький Клаус ведь не привязал ее, а просто прислонил к спинке скамейки.

— Что ты наделал? — завопил Маленький Клаус, выскочил из дверей и схватил хозяина за ворот. — Ты мою бабушку убил! Погляди, какая у нее дыра во лбу!

— Вот беда-то! — заохал хозяин, всплеснув руками. — И все это из-за моей горячности! Маленький Клаус, друг ты мой, я тебе целую мерку денег дам и бабушку твою

похороню, как свою собственную, только молчи об этом, не то мне отрубят голову, а ведь это ужасно неприятно!

И вот Маленький Клаус получил целую мерку денег, а хозяин схоронил его старую бабушку, точно свою собственную.

Маленький Клаус вернулся домой опять с целой кучей денег и сейчас же послал к Большому Клаусу мальчика попросить мерку.

— Как т а к ? — удивился Большой Клаус. — Разве я не убил его? Надо посмотреть самому!

И он сам понес меру Маленькому Клаусу.

— Откуда это у тебя такая куча д е н е г ? — спросил он и просто глаза вытаращил от удивления.

— Ты убил-то не меня, а мою бабушку, — сказал Маленький Клаус, — и я ее продал за мерку денег!

— С барышом продал! — сказал Большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил свою старую бабушку, потом положил ее в тележку, приехал с ней в город к аптекарю и предложил ему купить мертвое тело.

— Чье оно, и где вы его в з я л и ? — спросил аптекарь.

— Это моя ба б у ш к а ! — ответил Большой К л а у с . — Я убил ее, чтобы продать за мерку денег!

— Господи по м и л у й ! — воскликнул аптекарь. — Вы сами не знаете, что говорите! Смотрите, ведь это может стоить вам головы!

И он растолковал Большому Клаусу, что он такое наделал, какой он дурной человек и как его за это накажут. Большой Клаус перепугался, опрометью выскочил из аптеки, сел в тележку, хлестнул лошадей и помчался домой. Аптекарь и весь народ подумали, что он сумасшедший, и потому не задержали его.

— Поплатишься же ты мне за это, заплатишься, Маленький К л а у с ! — сказал Большой Клаус, выехав на дорогу, и, как только добрался до дому, взял большущий мешок, пошел к Маленькому Клаусу и сказал:

— Ты опять одурачил меня? Сперва я убил своих лошадей, а теперь и бабушку! Все это по твоей милости! Но уж больше тебе меня не дурачить!

И он схватил Маленького Клауса и засунул в мешок, а мешок завязал, вскинул на спину и крикнул:

— Пойду утоплю тебя!

До реки было не близко, и Большому Клаусу становилось тяжеленько тащить Маленького. Дорога шла мимо

церкви; оттуда слышались звуки органа, да и молящиеся красиво пели хором. Большой Клаус поставил мешок с Маленьким Клаусом у самых церковных дверей и подумал, что не худо было бы зайти в церковь, прослушать псалом, а потом уж идти дальше. Маленький Клаус не мог вылезти из мешка сам, а весь народ был в церкви. И вот Большой Клаус зашел в церковь.

— Ох, ох! — вздыхал Маленький Клаус, ворочаясь в мешке, но, как он ни старался, развязать мешок ему не удавалось. В это самое время мимо проходил старый, седой как лунь пастух с большой клюкой в руках; он погонял ею стадо. Коровы и быки набежали на мешок с Маленьким Клаусом и повалили его.

— О-ох! — вздохнул Маленький Клаус. — Такой я молодой еще, а уж должен отправляться в царство небесное!

— А я, несчастный, такой старый, дряхлый и все не могу попасть туда! — сказал пастух.

— Так развяжи мешок, — закричал Маленький Клаус. — Полезай на мое место — живо попадешь туда!

— С удовольствием! — сказал пастух и развязал мешок, а Маленький Клаус мигом выскочил на волю.

— Теперь тебе смотреть за стадом! — сказал старик и влез в мешок.

Маленький Клаус завязал его и погнал стадо дальше.

Немного погодя вышел из церкви Большой Клаус, взвалил мешок на спину, и ему сразу показалось, что мешок стал гораздо легче. — Маленький Клаус весил ведь чуть не вдвое больше против старого пастуха.

«Ишь как теперь легко стало! А все оттого, что я прослушал псалом!» — подумал Большой Клаус, дошел до широкой и глубокой реки, бросил туда мешок с пастухом и, полагая, что там сидит Маленький Клаус, закричал:

— Ну вот, вперед не будешь меня дурачить!

После этого он отправился домой, но у самого перепутья встретил... Маленького Клауса с целым стадом!

— Вот тебе раз! — вскричал Большой Клаус. — Разве я не утопил тебя?

— Конечно, утопил! — сказал Маленький Клаус. — Полчаса тому назад ты бросил меня в реку!

— Так откуда же ты взял такое большое стадо? — спросил Большой Клаус.



— А это водяное стадо! — ответил Маленький Клаус. — Я расскажу тебе целую историю. Спасибо тебе, что ты утопил меня, теперь я разбогател, как видишь! А страшно мне было в мешке! Ветер так и засвистел в ушах, когда ты бросил меня в холодную воду! Я сразу пошел ко дну, но не ушибся, — там внизу растет такая нежная, мягкая трава, на нее я и упал. Мешок сейчас же развязался, и прелестнейшая девушка в белом как снег платье, с венком из зелени на мокрых волосах, протянула мне руку и сказала: «А, это ты, Маленький Клаус? Ну вот, прежде всего бери это стадо, а в миле отсюда, на дороге пасется другое, побольше, — ступай, я тебе его дарю».

Тут я увидел, что река была для водяных жителей все равно что дорога: они ездили и ходили по дну от самого озера и до того места, где реке конец. Ах, как там было хорошо! Какие цветы, какая свежая трава! А рыбки шныряли мимо моих ушей точь-в-точь как у нас здесь птицы! Что за красивые люди попадались мне навстречу и какие чудесные стада паслись у изгородей и канав!

— Почему же ты так скоро вернулся? — спросил Большой Клаус. — Уж меня бы не выманили оттуда, если там так хорошо!

— Я ведь это неспроста сделал! — сказал Маленький Клаус. — Ты слышал, что водяная девушка велела мне отправиться за другим стадом, которое пасется на дороге всего в одной версте оттуда? Дорогой она называет реку — другой дороги они ведь там не знают, — а река так петляет, что мне пришлось бы сделать здоровый круг. Вот я и решил выбраться на сушу да пойти напрямик к тому месту, где ждет меня стадо; так я выиграю почти полмили!

— Экий счастливец! — сказал Большой Клаус. — А как ты думаешь, получу я стадо, если спущусь на дно?

— Конечно! — сказал Маленький Клаус. — Только я не могу тащить тебя в мешке до реки, ты больно тяжелый. А вот, коли хочешь, дойди сам да влезь в мешок, а я с удовольствием тебя сброшу в воду!

— Спасибо! — сказал Большой Клаус. — Но если я не получу там стада, я тебя изобью, так и знай!

— Ну-ну, не сердись! — сказал Маленький Клаус, и они пошли к реке.

Когда стадо увидело воду, оно так и бросилось к ней: скоту очень хотелось пить.

— Погляди, как они торопятся! — сказал Маленький Клаус. — Ишь, как соскучились по воде: домой, на дно, знать, захотелось!

— Но ты сперва помоги мне, а не то я тебя изобью! — сказал Большой Клаус и влез в большой мешок, который лежал на спине у одного из быков. — Да положи мне в мешок камень, а то я, пожалуй, не пойду ко дну!

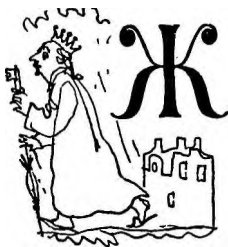
— Пойдешь! — сказал Маленький Клаус, но все-таки положил в мешок большой камень, крепко завязал мешок и толкнул его в воду. Бултых! И Большой Клаус пошел прямо ко дну.

— Ох, боюсь, не найдет он там ни коров, ни быков! — сказал Маленький Клаус и погнал свое стадо домой.





## ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ



Жил-был принц, и хотелось ему взять за себя тоже принцессу, только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесс-то было вволю, да были ли они настоящие? До этого он никак добраться не мог; так и вернулся домой ни с чем и очень горевал, — уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу.

Раз вечером разыгралась непогода: молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил как из ведра; ужас что такое!

Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять.

У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса!

«Ну, уж это мы узнаем!» — подумала старая королева, но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски

горошину; поверх горошины постлала двадцать тюфяков, а еще сверху двадцать пуховиков.

На эту постель и уложили принцессу на ночь.

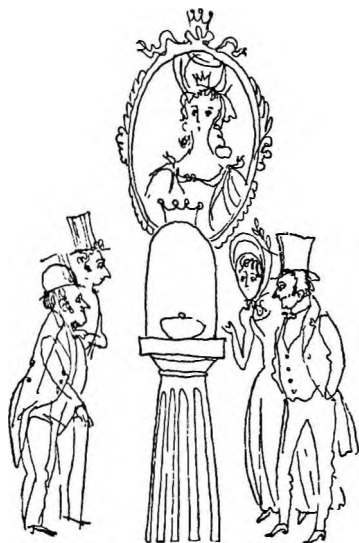
Утром ее спросили, как она почивала.

— Ах, очень дурно! — сказала принцесса. — Я почти глаз не сомкнула! Бог знает что у меня была за постель! Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках! Просто ужасно!

Тут-то все и увидали, что она была настоящею принцессой! Она почувствовала горошину через сорок тюфяков и пуховиков, — такую деликатною особой могла быть только настоящая принцесса.

И принц женился на ней. Теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу! А горошину отправили в кунсткамеру; там она и лежит, если только никто ее не украдет.

Знай, что история эта истинная!





## ЦВЕТЫ МАЛЕНЬКОЙ ИДЫ



**Б**едные мои цветочки совсем завяли! — сказала маленькая Ида. — Вчера вечером они были такие красивые, а теперь совсем повесили головки! Отчего это? — спросила она студента, сидевшего на диване.

Она очень любила этого студента, — он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезать презабавные фигурки: сердечки с крошками танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать. Большой забавник был этот студент!

— Что же с ними? — спросила она опять и показала ему свой завядший букет.

— Знаешь что? — сказал студент. — Цветы были сегодня ночью на балу, вот и повесили теперь головки!

— Да ведь цветы не танцуют! — сказала маленькая Ида.

— Танцуют! — отвечал студент. — По ночам, когда кругом темно и мы все спим, они так весело пляшут друг с другом, такие балы задают — просто чудо!

— А детям нельзя прийти к ним на бал?

— Отчего же, — сказал студент, — ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.

— А где танцуют самые красивые цветы? — спросила Ида.

— Ты ведь бывала за городом, там, где большой дворец, в котором летом живет король и где такой чудесный сад с цветами? Помнишь лебедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то и бывают настоящие балы!

— Я еще вчера была там с мамой, — сказала маленькая Ида, — но на деревьях нет больше листьев, и во всем саду ни одного цветка! Куда они все девались? Их столько было летом!

— Они все во дворце! — сказал студент. — Надо тебе сказать, что как только король и придворные переезжают в город, все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье! Вот бы тебе посмотреть! Две самые красивые розы садятся на трон — это король с королевой. Красные петушки гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются — это камер-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы, и начинается бал. Гиацинты и крокусы изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями — голубыми фиалками, а тюльпаны и большие желтые лилии — это пожилые дамы, они наблюдают за танцами и вообще за порядком.

— А цветочкам не может достаться за то, что они танцуют в королевском дворце? — спросила маленькая Ида.

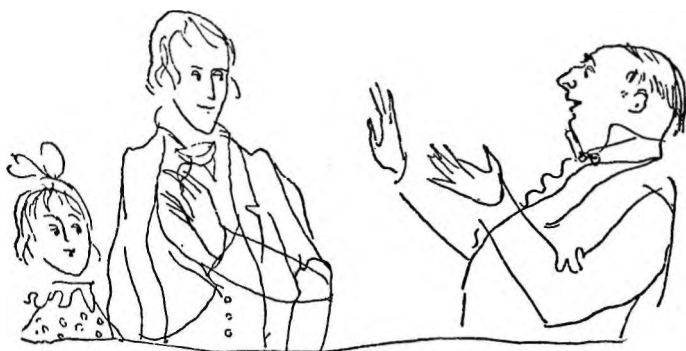
— Да ведь никто же не знает об этом! — сказал студент. — Правда, ночью заглянет иной раз во дворец старик смотритель с большою связкою ключей в руках, но цветы, как только слышат звяканье ключей, сейчас присмирели, спрячутся за длинные занавески, которые висят на окнах, и только чуть-чуть выглядывают оттуда одним глазом. «Тут что-то пахнет цветами!» — бормочет старик смотритель, а видеть ничего не видит.

— Вот забавно! — сказала маленькая Ида и даже в ладоши хлопала. — И я тоже не могу их увидеть?

— Можешь, — сказал студент. — Стоит только, как опять пойдешь туда, заглянуть в окошки. Вот я сегодня видел там длинную желтую лилию; она лежала и потягивалась на диване — воображала себя придворной дамой.

— А цветы из Ботанического сада тоже могут прийти туда? Ведь это далеко!

— Не бойся, — сказал студент, — они могут летать, когда захотят! Ты видела красивых красных, желтых и белых бабочек, похожих на цветы? Они ведь и были прежде цветами, только прыгнули со своих стебельков высоко в воздух, забили лепестками, точно крылышками, и полетели. Они вели себя хорошо, за то и получили позволение летать и днем; другие должны сидеть смиренно на своих стебельках, а они летают, и лепестки их стали наконец настоящими крылышками. Ты сама видела их! А впрочем, может быть, цветы из Ботанического сада и не бывают



в королевском дворце! Может быть, они даже и не знают, что там идет по ночам такое веселье. Вот что я скажу тебе: то-то удивится потом профессор ботаники — ты ведь его знаешь, он живет тут рядом! — когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце. Тот расскажет об этом остальным, и они все убегут. Профессор придет в сад, а там ни единого цветочка, и он в толк не возьмет, куда они девались!

— Да как же цветок расскажет другим? У цветов нет языка!

— Конечно, нет, — сказал студент, — зато они умеют объясняться знаками! Ты сама видела, как они качаются и шевелят своими зелеными листочками, чуть подует ветерок. Это у них так мило выходит — точно они разговаривают!

— А профессор понимает их знаки? — спросила маленькая Ида.

— Как же! Раз утром он пришел в свой сад и видит, что большая крапива делает листочками знаки прелестной красной гвоздике; этим она хотела сказать гвоздике: «Ты так мила, я очень тебя люблю!» Профессору это не понравилось, и он сейчас же ударил крапиву по листьям — листья у крапивы все равно, что пальцы, — да обжегся! С тех пор и не смеет ее трогать.

— Вот забавно! — сказала Ида и засмеялась.

— Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? — сказал скучный советник, который тоже пришел в гости и сидел на диване.

Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезывал затейливые, забавные фигурки, вроде человека на виселице и с сердцем в руках — его повесили за то, что он воровал сердца, — или старой ведьмы на помеле, с мужем на носу. Все это очень не нравилось советнику, и он всегда повторял:

— Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Но Иду очень позабавил рассказ студента о цветах, и она думала об этом целый день.

«Так цветочки повесили головки потому, что устали после бала!» И маленькая Ида пошла к своему столику, где стояли все ее игрушки; ящик столика тоже битком был набит разным добром. Кукла Софи лежала в своей кроватке и спала, но Ида сказала ей:

— Тебе придется встать, Софи, и полежать эту ночь в ящике: бедные цветы больны, их надо положить в твою постельку, — может быть, они и выздоровеют!

И она вынула куклу из кровати. Софи посмотрела на Иду очень недовольно и не сказала ни слова, — она рассердилась за то, что у нее отняли постель.

Ида уложила цветы, укрыла их хорошенько одеялом и велела им лежать смирно, за это она обещала напоить их чаем, и тогда они встали бы завтра утром совсем здоровыми! Потом она задернула полог, чтобы солнце не светило цветам в глаза.

Рассказ студента не шел у нее из головы, и, собираясь идти спать, Ида не могла удержаться, чтобы не заглянуть за спущенные на ночь оконные занавески; на окошках



стояли чудесные мамины цветы — тюльпаны и гиацинты, и маленькая Ида шепнула им:

— Я знаю, что у вас ночью будет бал!

Цветы стояли, как ни в чем не бывало, и даже не шелохнулись, ну да маленькая Ида что знала, то знала.

В постели Ида долго еще думала о том же и все представляла себе, как это должно быть мило, когда цветочки танцуют! «Неужели и мои цветы были на балу во дворце?» — подумала она и заснула.

Но посреди ночи маленькая Ида вдруг проснулась; она видела сейчас во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что тот набивает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел ночник, и папа с мамой крепко спали.

— Хотелось бы мне знать: спят ли мои цветы в постельке? — сказала маленькая Ида про себя и приподнялась с подушки, чтобы посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой были ее игрушки и цветы; потом она прислушалась, — ей показалось, что в той комнате играют на фортепьяно, но очень тихо и нежно; такой музыки она никогда еще не слыхала.

— Это, верно, цветы танцуют! — сказала Ида. — Господи, как бы мне хотелось посмотреть!

Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить папу с мамой.

— Хоть бы цветы вошли сюда! — сказала она.

Но цветы не входили, а музыка все продолжалась, такая тихая, нежная, просто чудо! Тогда Идочка не выдержала, потихоньку вылезла из кровати, прокралась на цыпочках к дверям и заглянула в соседнюю комнату. Что за прелесть была там!

В той комнате не горело ночника, а было все-таки светло, как днем, от месяца, глядевшего из окошка прямо на пол, где в два ряда стояли тюльпаны и гиацинты; на окнах не осталось ни единого цветка — одни горшки с землей. Цветы очень мило танцевали: они то становились в круг, то, взявшись за длинные зеленые листочки, точно за руки, кружились парами. На фортепьяно играла большая желтая лилия — это, наверное, ее маленькая Ида видела летом! Она хорошо помнила, как студент сказал: «Ах, как она похожа на фрекен Лину!» Все посмеялись тогда над ним, но теперь Иде и в самом деле показалось, будто длинная желтая лилия похожа на Лину; она и на рояле

играла так же, как Лина: поворачивала свое продолговатое лицо то в одну сторону, то в другую и кивала в такт чудесной музыке. Никто не заметил Иды.

Вдруг маленькая Ида увидела, что большой голубой крокус вскопал прямо на середину стола с игрушками, подошел к кукольной кровати и отдернул полог; там лежали больные цветы, но они живо поднялись и кивнули головками, давая знать, что и они тоже хотят танцевать. Старый Курилка со сломанной нижней губой встал и поклонился прекрасным цветам; они совсем не были похожи на больших — спрыгнули со стола и принялись веселиться вместе со всеми.

В эту минуту что-то стукнуло, как будто что-то упало на пол. Ида посмотрела в ту сторону — это была масляничная верба: она тоже спрыгнула со стола к цветам, считая, что она им сродни. Верба тоже была мила; ее украшали бумажные цветы, а на верхушке сидела восковая куколка в широкополой черной шляпе, точь-в-точь такой, как у советника. Верба прыгала посреди цветов и громко топала своими тремя красными деревянными ходульками, — она танцевала мазурку, а другим цветам этот танец не удавался, потому что они были слишком легки и не могли топать.

Но вот восковая кукла на вербе вдруг вытянулась, завертелась над бумажными цветами и громко закричала:

— Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Теперь кукла была точь-в-точь советник, в черной широкополой шляпе, такая же желтая и сердитая! Но бумажные цветы ударили ее по тонким ножкам, и она опять съежилась в маленькую восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха.

Верба продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось плясать вместе с нею, все равно — вытягивался ли он во всю длину, или оставался маленькою восковою куколкой в черной широкополой шляпе. Наконец уж цветы, особенно те, что лежали в кукольной кровати, стали просить за него, и верба оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике, где лежала кукла Софи и другие игрушки. Курилка побежал по краю стола, лег на живот и приотворил ящик. Софи встала и удивленно огляделась.

— Да у вас, оказывается, бал! — проговорила она. — Что же это мне не сказали?

— Хочешь танцевать со мной? — спросил Курилка.

— Хорошо кавалер! — сказала Софи и повернулась к нему спиной; потом уселась на ящик и стала ждать — авось ее пригласит кто-нибудь из цветов, но никто и не думал ее приглашать. Она громко кашлянула, но и тут никто не подошел к ней. Курилка плясал один, и очень недурно!

Видя, что цветы и не глядят на нее, Софи вдруг свалилась с ящика на пол и наделала такого шума, что все сбежалось к ней и стали спрашивать, не ушиблась ли она? Все разговаривали с нею очень ласково, особенно те цветы, которые только что спали в ее кровати; Софи несколько не ушиблась, и цветы маленькой Иды стали благодарить ее за чудесную постельку, потом увели с собой в лунный кружок на полу и принялись танцевать с ней, а другие цветы кружились вокруг них. Теперь Софи была очень довольна и сказала цветочкам, что охотно уступает им свою кровать, — ей хорошо и в ящике!

— Спасибо! — сказали цветы. — Но мы не можем жить так долго! Утром мы совсем умрем! Скажи только маленькой Иде, чтобы она схоронила нас в саду, где зарыта канарейка; летом мы опять вырастем и будем еще красивее!

— Нет, вы не должны умирать! — сказала Софи и поцеловала цветы. В это время дверь отворилась, и в комнату вошла целая толпа цветов. Ида никак не могла понять, откуда они взялись, — должно быть, из королевского дворца. Впереди шли две прелестные розы с маленькими золотыми коронами на головах — это были король с королевой. За ними, раскланиваясь во все стороны, шли чудесные левкой и гвоздики. Музыканты — крупные маки и пионы — дули в шелуху от горошка и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и все они танцевали — и голубые фиалки, и красные ноготки, и маргаритки, и ландыши. Цветы так мило танцевали и целовались, что просто загляденье!

Наконец все пожелали друг другу спокойной ночи, а маленькая Ида тихонько пробралась в свою кровать, и ей всю ночь снились цветы и все, что она видела.

Утром она встала и побежала к своему столику посмотреть, там ли ее цветочки.

Она отдернула полог — да, они лежали в кроватке, но совсем, совсем завяли! Софи тоже лежала на своем месте в ящике и выглядела совсем сонной.

— А ты помнишь, что тебе надо передать мне? — спросила ее Ида.

Но Софи глупо смотрела на нее и не раскрывала рта.

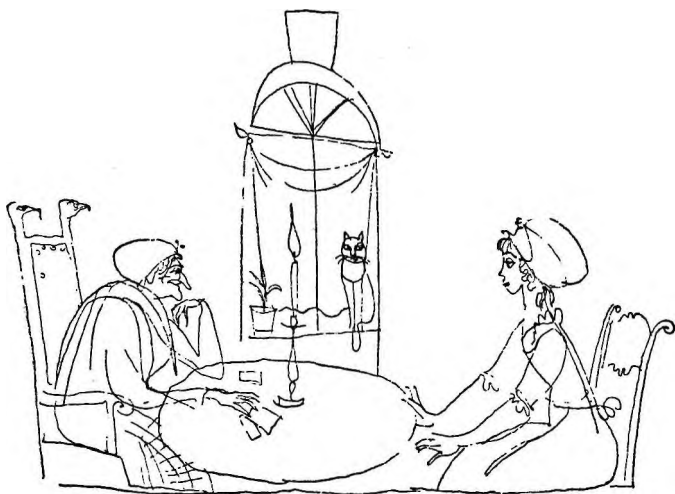
— Какая же ты нехорошая! — сказала Ида. — А они еще танцевали с тобой!

Потом она взяла картонную коробочку с нарисованною на крышке хорошенькою птичкой, открыла коробочку и положила туда мертвые цветы.

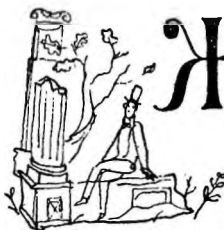
— Вот вам и гробик! — сказала она. — А когда придут мои норвежские кузены, мы вас зароем в саду, чтобы на будущее лето вы выросли еще красивее!

Йонас и Адольф, норвежские кузены, были бойкие мальчуганы; отец подарил им по новому луку, и они пришли показать их Иде. Она рассказала им про бедные умершие цветы и позволила помочь их похоронить. Мальчики шли впереди с луками на плечах; за ними маленькая Ида с мертвыми цветами в коробке. Вырыли в саду могилу, Ида поцеловала цветы и опустила коробку в яму, а Йонас с Адольфом выстрелили над могилкой из луков, — ни ружей, ни пушек у них ведь не было.





## ДЮЙМОВОЧКА



**Ж**ила-была женщина; очень ей хотелось иметь ребенка, да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей:

— Мне так хочется иметь ребеночка; не скажешь ли ты, где мне его достать?

— Отчего же! — сказала колдунья. — Вот тебе ячменное зерно; это не простое зерно, не из тех, что крестьяне сеют в поле или бросают курам; посади-ка его в цветочный горшок — увидишь, что будет!

— Спасибо! — сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов; потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок вроде тюльпана, но лепестки его были еще плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.

— Какой славный цветок! — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки.

Что-то шелкнуло, и цветок распустился совсем. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зеленом

студийке сидела крошечная девочка. Она была такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, ее и прозвали Дюймовочкой.

Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькою, голубые фиалки — матрацем, а лепесток розы — одеяльцем; в эту колыбельку ее укладывали на ночь, а днем она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов; длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нем Дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую; вместо весел у нее были два белых конских волоса. Все это было прелесть как мило! Дюймовочка умела и петь, и такого нежного, красивого голоса никто еще не слышивал!

Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная! Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепестком Дюймовочка.

— Вот и жена моему сынку! — сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

Там протекала большая, широкая река; у самого берега было топко и вязко; здесь-то, в тине, и жила жаба с сыном. У! Какой он был тоже гадкий, противный! Точь-в-точь мамаша.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог он сказать, когда увидел прелестную крошку в ореховой скорлупке.

— Тише ты! Она еще проснется, пожалуй, да убежит от нас, — сказала старуха жаба. — Она ведь легче лебединого пуха! Высадим-ка ее посредине реки на широкий лист кувшинки — это ведь целый остров для такой крошки, оттуда она не сбежит, а мы пока приберем там, внизу, наше гнездышко. Вам ведь в нем жить да поживать.

В реке росло множество кувшинок; их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега; к этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой.

Бедная крошка проснулась рано утром, увидела, куда она попала, и горько заплакала: со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу!

А старая жаба сидела внизу, в тине, и убирала свое жилие тростником и желтыми кувшинками — надо же было приукрасить все для молодой невестки! Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела Дюймовочка, чтобы взять прежде всего ее хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:

— Вот мой сынок, твой будущий муж! Вы славно заживете с ним у нас в тине.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог сказать сынок.



Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна-одинешенька на зеленом листе и горько-горько плакала, — ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно, видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку невесту. А как они увидели ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать же этому!

Рыбки столпились внизу, у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами; листок с девочкой поплыл по течению, дальше, дальше... Теперь уж жабе ни за что было не догнать крошку!

Дюймовочка плыла мимо разных прелестных местечек, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав ее, пели:

— Какая хорошенькая девочка!

А листок все плыл да плыл, и вот Дюймовочка попала за границу.

Красивый белый мотылек все время порхал вокруг нее и наконец уселся на листок — уж очень ему понравилась Дюймовочка! А она ужасно радовалась: гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво! Солнце так и горело золотом на воде! Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл еще быстрее.

Мимо летел майский жук, увидел девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево, а зеленый листок поплыл дальше, и с ним мотылек — он ведь был привязан и не мог освободиться.

Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево! Особенно ей жаль было хорошенького мотылька, которого она привязала к листку: ему придется теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало.

Он уселся с крошкой на самый большой зеленый лист, покормил ее сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем непохожа на майского жука.

Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни шевелили усиками и говорили:

— У нее только две ножки! Жалко смотреть!

— У нее нет усиков!

— Какая у нее тонкая талия! Фи! Она совсем как человек! Как некрасиво! — сказали в один голос все жуки женского пола.

Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, который принес ее, она тоже очень понравилась сначала, а тут вдруг и он нашел, что она безобразна, и не захотел



больше держать ее у себя — пусть идет, куда знает. Он слетел с нею с дерева и посадил на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная: даже майские жуки не захотели держать ее у себя! А на самом-то деле она была прелестнейшим созданием: нежная, ясная, точно лепесток розы.

Целое лето прожила Дюймовочка одна-одинешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила ее под большой лопушиный лист — там дождик не мог достать ее. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу, а пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так прошли лето и осень; но вот дело пошло к зиме, длинной холодной зиме. Все певуньи птички разлетелись, кусты и цветы увяли, большой лопушиный лист, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, весь засох и свернулся в трубочку. Сама крошка мерзла от холода: платье ее все разорвалось, а она была такая маленькая, нежная — замерзай, да и все тут! Пошел снег, и каждая снежинка была для нее то же, что для нас целая лопата снега; мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм! Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала как лист.

Возле леса, куда она попала, лежало большое поле; хлеб давно был убран, одни голые, сухие стебельки торчали из мерзлой земли; для Дюймовочки это был целый лес. Ух! Как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши; дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: все амбары были битком набиты хлебными зернами; кухня и кладовая ломились от припасов! Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зерна — она два дня ничего не ела!

— Ах ты бедняжка! — сказала полевая мышь: она была, в сущности, добрая старуха. — Ступай сюда, погрейся да поешь со мною!

Девочка понравилась мыши, и мышь сказала:

— Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты да рассказывай мне сказки — я до них большая охотница.

И Дюймовочка стала делать все, что приказывала ей мышь, и зажила отлично.

— Скоро, пожалуй, у нас будут гости, — сказала как-то полевая мышь. — Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет еще куда лучше меня: у него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубке. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж! Ты бы зажила на славу! Беда только, что он слеп и не может видеть тебя; но ты расскажи ему самые лучшие сказки, какие только знаешь.

Но девочке мало было дела до всего этого: ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа — ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Правда, он носил черную бархатную шубку, был очень богат и учен; по словам полевой мыши, помещение у него было раз в двадцать просторнее, чем у нее, но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветов и отзывался о них очень дурно — он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела две песенки: «Майский жук, лети, лети» и «Бродит по лугам монах», да так мило, что крот прямо-таки в нее влюбился. Но он не сказал ни слова — он был такой степенный и солидный господин.

Крот недавно прорыл под землей длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицы, которая лежала там. Это была настоящая птица, с перьями, с клювом; она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и была зарыта в землю как раз там, где крот прорыл свою галерею.

Крот взял в рот гнилушку — в темноте это ведь все равно, что свечка, — и пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробрался дневной свет. В самой середине галереи лежала мертвая ласточка; хорошенькие крылья были крепко прижаты к телу, лапки и головка спрятаны в перышки; бедная птичка, верно, умерла от холода. Девочке стало ужасно жаль ее, она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки, но крот толкнул птичку своей короткой лапой и сказал:

— Небось не свистит больше! Вот горькая участь родиться пичужкой! Слава богу, что моим детям нечего

бояться этого! Этакая птичка только и умеет чирикать — поневоле замерзнешь зимой!

— Да, да, правда ваша, умные слова приятно слышать, — сказала полевая мышь. — Какой прок от этого чирикания? Что оно приносит птице? Холод и голод зимой? Много, нечего сказать!

Дюймовочка не сказала ничего, но, когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. «Может быть, эта самая так чудесно распевала летом! — подумала девочка. — Сколько радости доставила ты мне, милая, хорошая птичка!»

Крот опять заткнул дыру в потолке и проводил дам обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постели, сплела из сухих былинки большой славный ковер, снесла его в галерею и завернула в него мертвую птичку; потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им всю ласточку, чтобы ей было потеплее лежать на холодной земле.

— Прощай, миленькая птичка, — сказала Дюймовочка. — Прощай! Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зеленые, а солнышко так славно грело!

И она склонила голову на грудь птички, но вдруг испугалась — внутри что-то застучало. Это забилося сердечко птицы: она не умерла, а только окоченела от холода, теперь же согрелась и ожила.

Осенью ласточки улетают в теплые края, а если которая запоздает, то от холода окоченеет, упадет замертво на землю, и ее засыплет холодным снегом.

Девочка вся задрожала от испуга — птица ведь была в сравнении с крошкой просто великаном, — но все-таки собралась с духом, еще больше закутала ласточку, потом сбегала принесла листок мяты, которым закрывалась вместо одеяла сама, и покрыла им голову птички.

На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птичка совсем уже ожила, только была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед нею с кусочком гнилушки в руках, — другого фонаря у нее не было.

— Благодарю тебя, милая крошка! — сказала больная ласточка. — Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко.

— Ах, — сказала девочка, — теперь так холодно, идет снег! Останься лучше в своей теплой постельке, я буду ухаживать за тобой.

И Дюймовочка принесла птичке воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала девочке, как поранила себе крыло о терновый куст и потому не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края, как упала на землю и... Да больше она уж ничего не помнила и как попала сюда — не знала.

Всю зиму прожила тут ласточка, и Дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом — они ведь совсем не любили птичек.

Когда настала весна и пригрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и Дюймовочка ототкнула дыру, которую проделал крот.

Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с ней, — пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес! Но Дюймовочка не захотела бросить полевую мышь — она ведь знала, что старуха очень огорчится.

— Нет, нельзя! — сказала девочка ласточке.

— Прощай, прощай, милая добрая крошка! — сказала ласточка и вылетела на солнышко.

Дюймовочка посмотрела ей вслед, и у нее даже слезы навернулись на глазах, — уж очень полюбилась ей бедная птичка.

— Кви-вить, кви-вить! — прошебетала птичка и скрылась в зеленом лесу.

Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле так все заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом.

— Летом тебе придется готовить себе приданое! — сказала ей полевая мышь.

Оказалось, что скучный сосед в бархатной шубе посватался за девочку.

— Надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, а там выйдешь замуж за крота и подавно ни в чем нуждаться не будешь!

И девочке пришлось прясть по целым дням, а старуха мышь наняла четырех пауков для тканья, и они работали день и ночь.

Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости и все только и болтал о том, что вот скоро лету будет конец, солнце перестанет так палить землю, — а то она совсем уж как камень стала, — и тогда они сыграют свадьбу. Но девочка была совсем не рада: ей не нравился скучный крот. Каждое утро на восходе солнышка и каждый вечер на закате Дюймовочка выходила на порог мышиной норки; иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло, как хорошо там, на воле!» — думала девочка и вспоминала о ласточке; ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно: должно быть, она летала там, далеко-далеко, в зеленом лесу!

К осени Дюймовочка приготовила все свое приданое.

— Через месяц твоя свадьба! — сказала девочке полевая мышь.

Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота.

— Пустяки! — сказала старуха мышь. — Только не капризничай, а то я укушу тебя — видишь, какой у меня белый зуб? У тебя будет чудеснейший муж. У самой королевы нет такой бархатной шубки, как у него! Да и в кухне и в погребе у него не пусто! Благодарите бога за такого мужа!

Наступил день свадьбы. Крот пришел за девочкой. Теперь ей приходилось идти за ним в его нору, жить там, глубоко-глубоко под землей, и никогда не выходить на солнце, — крот ведь терпеть его не мог! А бедной крошке было так тяжело навсегда распрощаться с красным солнышком! У полевой мыши она все-таки могла хоть изредка любоваться на него.

И Дюймовочка вышла взглянуть на солнце в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые, засохшие стебли. Девочка отошла от дверей подальше и протянула к солнцу руки:

— Прощай, ясное солнышко, прощай!

Потом она обняла ручонками маленький красный цветочек, который рос тут, и сказала ему:

— Кланяйся от меня милой ласточке, если увидишь ее!

— Кви-вить, кви-вить! — вдруг раздалось над ее головой.



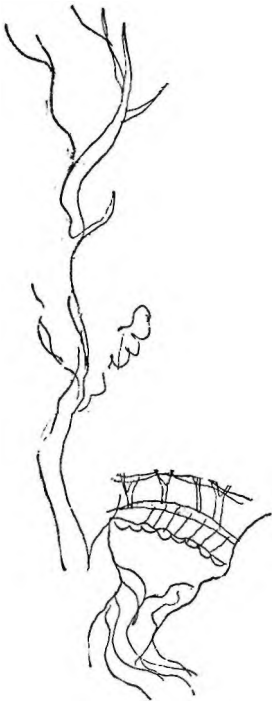
Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась, а девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за противного крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглянет солнышко.

— Скоро придет холодная зима, — сказала ласточка, — и я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Ты можешь сесть ко мне на спину — только привяжи себя покрепче поясом, — и мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, далеко за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудные цветы! Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной, холодной яме.

— Да, да, я полечу с тобой! — сказала Дюймовочка, села птичке на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и крепко привязала себя поясом к самому большому перу.

Ласточка взвилась стрелой и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было страшно холодно. Дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки и только головку высунула, чтобы любоваться всеми прелестями, которые встречались в пути.

Но вот и теплые края! Тут солнце сияло уже гораздо ярче, небо стояло выше, а около канав и изгородей рос зеленый и чер-



ный виноград. В лесах зрели лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали прелестные ребятишки и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше и дальше, и чем дальше, тем было все лучше. На берегу красивого голубого озера, посреди зеленых кудрявых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились ласточкины гнезда. В одном из них и жила ласточка, что принесла Дюймовочку.

— Вот мой дом! — сказала ласточка. — А ты выбери себе внизу какой-нибудь красивый цветок, я тебя посажу в него, и ты чудесно заживешь!

— Вот было бы хорошо! — сказала крошка и захлопала в ладоши.

Внизу лежали большие куски мрамора, — это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска, между ними росли крупные белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот диво! В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, точно хрустальный. На голове у него сияла прелестная золотая корона, за плечами развевались блестящие крылышки, а сам он был не больше Дюймовочки.

Это был эльф. В каждом цветке живет эльф, мальчик или девочка, а тот, который сидел рядом с Дюймовочкой, был сам король эльфов.

— Ах, как он хорош! — шепнула Дюймовочка ласточке.

Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему просто чудовищем. Зато он очень обрадовался, увидав нашу крошку, — он никогда еще не видывал такой хорошенькой девочки! И он снял свою золотую корону, надел ее Дюймовочке на голову и спросил, как ее зовут и хочет ли она быть его женой, королевой эльфов и царицей цветов? Вот это так муж! Не то что сын жабы или крот в бархатной шубе! И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы — мальчики и девочки — такие хорошенькие, что просто прелесть! Все они поднесли Дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных стрекозиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки,

и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок! Вот -- была радость! А ласточка сидела наверху, в своем гнездышке, и пела им, как только умела. Но самой ей было очень грустно: она крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней.

— Тебя больше не будут звать Дюймовочкой! — сказал эльф. — Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая! Мы будем звать тебя Майей!

— Прощай, прощай! — прошептала ласточка и опять полетела из теплых краев далеко, далеко — в Данию. Там у нее было маленькое гнездо, как раз над окном человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела свое «кви-вить, кви-вить», а потом и мы узнали эту историю.







## СКВЕРНЫЙ МАЛЬЧИШКА



# Ж

ил-был старый поэт, настоящий хороший поэт и очень добрый. Раз вечером сидел он дома, а на дворе разыгралась непогода. Дождь лил как из ведра, но старому поэту было так уютно и тепло возле кафельной печки, где ярко горел огонь и, весело шипя, пеклись яблоки.

— Плохо попасть в такую непогоду — нитки сухой не останутся! — сказал он.

Он был очень добрый.

— Впустите, впустите меня! Я озяб и весь промок! — закричал вдруг за дверями ребенок.

Он плакал и стучал в дверь, а дождь так и лил, ветер так и бился в окна.

— Бедняжка! — сказал старый поэт и пошел отворять двери.

За дверями стоял маленький мальчик, совсем голенький. С его длинных золотистых волос стекала вода, он дрожал от холода; если бы его не впустили, он бы, наверное, погиб.

— Бедняжка! — сказал старый поэт и взял его за руку. — Пойдем ко мне, я обогрею тебя, дам тебе винца и яблоко; ты такой хорошенький мальчуган!

Он и в самом деле был прехорошенький. Глаза у него сияли, как две яркие звезды, а мокрые золотистые волосы вились кудрями — ну, совсем ангелочек! — хоть он весь и посинел от холода и дрожал как осиновый лист. В руках у него был чудесный лук; беда только — он весь испортился от дождя, краска на длинных стрелах слиняла.

Старый поэт уселся поближе к печке, взял малютку на колени, выжал его мокрые скудри, согрел ручонки в своих руках и вскипятил ему сладкого вина. Мальчик повеселел, щеки у него зарумянились, он спрыгнул на пол и стал плясать вокруг старого поэта.

— Ишь, какой ты веселый мальчуган! — сказал старик поэт. — А как тебя зовут?

— Амур! — отвечал мальчик. — Ты разве не знаешь меня? Вот и лук мой. Я умею стрелять! Посмотри, погода разгулялась, месяц светит.

— А лук-то твой испортился! — сказал старый поэт.

— Вот было бы горе! — сказал мальчуган, взял лук и стал его осматривать. — Он совсем высох, и ему ничего не сделалось! Тетива натянута как следует! Сейчас я его испробую.

И он натянул лук, положил стрелу, прицелился и выстрелил старику поэту прямо в сердце!

— Вот видишь, мой лук совсем не испорчен! — закричал он, громко засмеялся и убежал.

Скверный мальчишка! Выстрелил в старика поэта, который пустил его обогреться, приласкал, напоил вином и дал самое лучшее яблоко!

Добрый старик лежал на полу и плакал: он был ранен в самое сердце. Потом он сказал:

— Фу, какой скверный мальчишка этот Амур! Я расскажу о нем всем хорошим детям, чтобы они береглись, не связывались с ним, — он и их обидит.

И все хорошие дети — и мальчики и девочки — стали остерегаться этого Амура, но он все-таки умеет иногда обмануть их; такой плут!

Идут студенты с лекций, и он рядом: книжка под мышкой, в черном сюртуке, и не узнаешь его! Они думают, что он тоже студент, возьмут его под руку, а он и пустит им стрелу прямо в грудь.

Или вот идут девушки от священника или в церковь — он тоже тут как тут; вечно гоняется за людьми! А то заберется иногда в большую люстру в театре и горит там ярким пламенем; люди-то думают сначала, что это лампа, и уж потом только разберут в чем дело. Бегает он и по королевскому саду и по крепостной стене. А раз так он ранил в сердце твоих родителей! Спроси-ка у них, они тебе расскажут. Да, скверный мальчишка этот Амур, ты лучше не связывайся с ним! Он только и делает, что бегает за людьми. Подумай, раз он пустил стрелу даже в твою старую бабушку! Было это давно, давно прошло и быльем поросло, а все-таки не забылось, да и не забудется никогда! Фу! Злой Амур! Но теперь ты знаешь про него, знаешь, какой это скверный мальчишка!





## ДОРОЖНЫЙ ТОВАРИЩ



**Б**едняга Йоханнес был в большом горе: отец его лежал при смерти. Они были одни в своей каморке; лампа на столе догорала; дело шло к ночи.

— Ты был мне добрым сыном, Йоханнес! — сказал больной. — Бог не оставит тебя своей милостью!

И он ласково-серьезно взглянул на Йоханнеса, глубоко вздохнул и умер, точно заснул. Йоханнес заплакал. Теперь он остался круглым сиротой: ни отца у него, ни матери, ни сестер, ни братьев! Бедняга Йоханнес! Долго стоял он на коленях перед кроватью и целовал руки умершего, заливаясь горькими слезами, но потом глаза его закрылись, голова склонилась на край постели, и он заснул.

И приснился ему удивительный сон.

Он видел, что солнце и месяц преклонились перед ним, видел своего отца опять свежим и бодрым, слышал его смех, каким он всегда смеялся, когда бывал особенно весел; прелестная девушка с золотой короной на чудных длинных волосах протягивала Йоханнесу руку, а отец его

говорил: «Видишь, какая у тебя невеста? Первая красавица на свете!»

Тут Йоханнес проснулся, и прощай все это великолепие! Отец его лежал мертвый, холодный, и никого не было у Йоханнеса! Бедняга Йоханнес!

Через неделю умершего хоронили; Йоханнес шел за гробом. Не видать ему больше своего доброго отца, который так любил его! Йоханнес слышал, как ударялась о крышку гроба земля, видел, как гроб засыпали: вот уж виден только один краешек, еще горсть земли — и гроб скрылся совсем. У Йоханнеса чуть сердце не разорвалось от горя. Над могилой пели псалмы; чудное пение растрогало Йоханнеса до слез, он заплакал, и на душе у него стало полегче. Солнце так приветливо озаряло зеленые деревья, как будто говорило: «Не тужи, Йоханнес! Посмотри, какое красивое голубое небо — там твой отец молится за тебя!»

— Я буду вести хорошую жизнь! — сказал Йоханнес. — И тогда я тоже пойду на небо к отцу. Вот будет радость, когда мы опять свидимся! Сколько у меня будет рассказов! А он покажет мне все чудеса и красоту неба и опять будет учить меня, как учил, бывало, здесь, на земле. Вот будет радость!

И он так живо представил себе все это, что даже улыбнулся сквозь слезы. Птички, сидевшие на ветвях каштанов, громко чирикали и пели; им было весело, хотя они только что присутствовали при погребении, но они ведь знали, что умерший теперь на небе, что у него выросли крылья, куда красивее и больше, чем у них, и что он вполне счастлив, так как вел здесь, на земле, добрую жизнь. Йоханнес увидел, как птички вспорхнули с зеленых деревьев и взвились высоко-высоко, и ему самому захотелось улететь куда-нибудь подальше. Но сначала надо было поставить на могиле отца деревянный крест. Вечером он принес крест и увидел, что могила вся усыпана песком и убрана цветами, — об этом позаботились посторонние люди, очень любившие доброго его отца.

На другой день рано утром Йоханнес связал все свое добро в маленький узелок, спрятал в пояс весь капитал, что достался ему в наследство, — пятьдесят талеров и несколько серебряных монет, и был готов пуститься в путь-дорогу. Но прежде он отправился на кладбище, на могилу отца, прочел над ней «Отче наш» и сказал:

— Прощай, отец! Я постараюсь всегда быть хорошим, а ты помолись за меня на небе!

Потом Йоханнес свернул в поле. В поле росло много свежих, красивых цветов; они грелись на солнце и качали на ветру головками, точно говорили: «Добро пожаловать! Не правда ли, как у нас тут хорошо?» Йоханнес еще раз обернулся, чтобы взглянуть на старую церковь, где его крестили ребенком и куда он ходил по воскресеньям со своим добрым отцом петь псалмы. Высоко-высоко, на самом верху колокольни, в одном из круглых окошечек Йоханнес увидел крошку домового в красной остроконечной шапочке, который стоял, заслонив глаза от солнца правой рукой. Йоханнес поклонился ему, и крошка домовой высоко взмахнул в ответ своей красной шапкой, прижал руку к сердцу и послал Йоханнесу несколько воздушных поцелуев — вот как горячо желал он Йоханнесу счастливого пути и всего хорошего!

Йоханнес стал думать о чудесах, которые ждали его в этом огромном, прекрасном мире и бодро шел вперед, все дальше и дальше, туда, где он никогда еще не был; вот уже пошли чужие города, незнакомые лица, — он забрался далеко-далеко от своей родины.

Первую ночь ему пришлось провести в поле, в стогу сена, — другой постели взять было негде. «Ну и что ж, — думалось ему, — лучшей спальни не найдется у самого короля!» В самом деле, поле с ручейком, стог сена и голубое небо над головой — чем не спальня? Вместо ковра — зеленая трава с красными и белыми цветами, вместо букетов в вазах — кусты бузины и шиповника, вместо умывальника — ручеек с хрустальной свежей водой, заросший тростником, который приветливо кланялся Йоханнесу и желал ему и доброй ночи и доброго утра. Высоко под голубым потолком висел огромный ночник — месяц; уж этот ночник не подожжет занавесок! И Йоханнес мог заснуть совершенно спокойно. Так он и сделал, крепко проспал всю ночь и проснулся только рано утром, когда солнце уже сияло, а птицы пели:

— Здравствуй! Здравствуй! Ты еще не встал?

Колокола звали в церковь, было воскресенье; народ шел послушать священника; пошел за ним и Йоханнес, пропел псалом, послушал слова божьего, и ему показалось, что он был в своей собственной церкви, где его крестили и куда он ходил с отцом петь псалмы.

На церковном кладбище было много могил, совсем заросших сорной травой. Йоханнес вспомнил о могиле отца, которая могла со временем принять такой же вид, — некому ведь было больше ухаживать за ней! Он присел на землю и стал вырывать сорную траву, поправил покачнувшиеся кресты и положил на место сорванные ветром венки, думая при этом: «Может статься, кто-нибудь делает то же на могиле моего отца».

У ворот кладбища стоял старый калека нищий; Йоханнес отдал ему всю серебряную мелочь и весело пошел дальше по белу свету.

К вечеру собралась гроза; Йоханнес спешил укрыться куда-нибудь на ночь, но скоро наступила полная темнота, а он успел дойти только до часовенки, одиноко возвышавшейся на придорожном холме; дверь, к счастью, была отперта, и он вошел туда, чтобы переждать непогоду.

— Тут я и посижу в уголке! — сказал Йоханнес. — Я очень устал, и мне надо отдохнуть.

И он опустил на пол, сложил руки, прочел вечернюю молитву и еще какие знал, потом заснул и спал спокойно, пока в поле сверкала молния и грохотал гром.

Когда Йоханнес проснулся, гроза уже прошла, и месяц светил прямо в окна. Посреди часовни стоял раскрытый гроб с покойником, которого еще не успели похоронить. Йоханнес нисколько не испугался, — совесть у него была чиста, и он хорошо знал, что мертвые никому не делают зла, не то что живые злые люди. Двое таких как раз и стояли возле мертвого, поставленного в часовню в ожидании погребения. Они хотели обидеть бедного умершего — выбросить его из гроба за порог.

— Зачем вы это делаете? — спросил их Йоханнес. — Это очень дурно и грешно! Оставьте его покоиться с миром!

— Вздор! — сказали злые люди. — Он надул нас! Взял у нас деньги, не отдал и умер! Теперь мы не получим с него ни гроша; так вот хоть отомстим ему — пусть валяется, как собака, за дверями!

— У меня всего пятьдесят талеров, — сказал Йоханнес, — это все мое наследство, но я охотно отдам его вам, если вы дадите мне слово оставить бедного умершего в покое! Я обойдусь и без денег, у меня есть пара здоровых рук, да и бог не оставит меня!

— Ну, — сказали злые люди, — если ты заплатишь нам за него, мы не сделаем ему ничего дурного, будь спокоен!

И они взяли у Йоханнеса деньги, посмеялись над его простотой и пошли своей дорогой, а Йоханнес хорошенько уложил покойника в гробу, скрестил ему руки, простился с ним и с веселым сердцем вновь пустился в путь.

Идти пришлось через лес; между деревьями, освещенными лунным сиянием, резвились прелестные малютки эльфы; они ничуть не пугались Йоханнеса; они хорошо знали, что он добрый, невинный человек, а ведь только злые люди не могут видеть эльфов. Некоторые из малюток были белокурые волосы золотыми гребнями, другие качались на больших каплях росы, лежавших на листьях и стебельках травы; иногда капля скатывалась, а с нею и эльфы, прямо в густую траву, и тогда между остальными малютками подымались такой хохот и возня! Ужасно забавно было! Они пели, и Йоханнес узнал все хорошенькие песенки, которые он певал еще ребенком. Большие пестрые пауки с серебряными коронами на головах должны были перекидывать для эльфов с куста на куст висячие мосты и ткать целые дворцы, которые, если на них попадала капля росы, сверкали при лунном свете чистым хрусталем. Но вот встало солнце, малютки эльфы вскарабкались в чашечки цветов, а ветер подхватил их мосты и дворцы и понес по воздуху, точно простые паутинки.

Йоханнес уже вышел из леса, как вдруг позади него раздался звучный мужской голос:

— Эй, товарищ, куда путь держишь?

— Куда глаза глядят! — сказал Йоханнес. — У меня нет ни отца, ни матери, я круглый сирота, но бог не оставит меня!

— Я тоже иду по белу свету, куда глаза глядят, — сказал незнакомец. — Не пойти ли нам вместе?

— Пойдем! — сказал Йоханнес, и они пошли вместе.

Скоро они очень полюбились друг другу: оба они были славные люди. Но Йоханнес заметил, что незнакомец был гораздо умнее его, обошел чуть не весь свет и умел порасказать обо всем.

Солнце стояло уже высоко, когда они присели под большим деревом закусить. И тут появилась дряхлая старуха, вся сгорбленная, с клюкой в руках; за спиной у нее



была вязанка хвороста, а из высоко подоткнутого передника торчали три больших пучка папоротника и ивовых прутьев. Когда старуха поравнялась с Йоханнесом и его товарищем, она вдруг поскользнулась, упала и громко вскрикнула: бедняга сломала себе ногу.

Йоханнес сейчас же предложил товарищу отнести старуху домой, но незнакомец открыл свою котомку, вынул оттуда баночку и сказал старухе, что у него есть такая мазь, которая сразу вылечит ее, и она пойдет домой, как ни в чем не бывало. Но за это она должна подарить ему те три пучка, которые у нее в переднике.

— Плата хорошая! — сказала старуха и как-то странно покачала головой. Ей не хотелось расставаться со своими прутьями, но и лежать со сломанной ногой было тоже неприятно, и вот она отдала ему прутья, а он сейчас же помазал ей ногу мазью; раз, два — и старушка вскочила и зашагала живее прежнего. Вот так мазь была! Такой не достанешь в аптеке!

— На что тебе эти прутья? — спросил Йоханнес у товарища.

— А чем не букеты? — сказал тот. — Они мне очень понравились: я ведь чудак!

Потом они прошли еще добрый конец.

— Смотри, как заволакивает, — сказал Йоханнес, указывая перед собой пальцем. — Вот так облака!

— Нет, — сказал его товарищ, — это не облака, а горы, высокие горы, по которым можно добраться до самых облаков. Ах, как там хорошо! Завтра мы будем уже далеко-далеко!

Горы были совсем не так близко, как казалось: Йоханнес с товарищем шли еще целый день, прежде чем добрались до того места, где начинались темные леса, взбиравшиеся чуть не к самому небу, и лежали каменные громады величиной с город; подняться на горы было не шуткой, и потому Йоханнес с товарищем зашли отдохнуть и собраться с силами на постоянный двор, приютившийся внизу.

В нижнем этаже, в пивной, собралось много народа: хозяин марионеток поставил там, посреди комнаты, свой маленький театр, а народ уселся перед ним полукругом, чтобы полюбоваться представлением. Впереди всех, на самом лучшем месте, уселся толстый мясник с большущим бульдогом. У, как свирепо глядел бульдог! Он тоже уселся на полу и таранился на представление.

Представление началось и шло прекрасно: на бархатном троне восседали король с королевой с золотыми коронами на головах и в платьях с длинными-длинными шлейфами, — средства позволяли им такую роскошь. У всех входов стояли чудеснейшие деревянные куклы со стеклянными глазами и большими усами и распахивали двери, чтобы проветрить комнаты. Словом, представление было чудесное и совсем не печальное; но вот королева встала, и только она прошла несколько шагов, как бог знает что сделалось с бульдогом: хозяин не держал его, он вскочил прямо на сцену, схватил королеву зубами за тоненькую талию и — крак! — перекусил ее пополам. Вот был ужас!

Бедный хозяин марионеток страшно перепугался и огорчился за бедную королеву: это была самая красивая из всех его кукол, и вдруг гадкий бульдог откусил ей голову! Но вот народ разошелся, и товарищ Йоханнеса сказал, что починит королеву, вынул баночку с той же мазью, которой мазал сломанную ногу старухи, и помазал куклу; кукла сейчас же опять стала целехонька и вдобавок начала сама двигать всеми членами, так что ее больше не нужно было дергать за веревочки; выходило, что кукла была совсем как живая, только говорить не могла. Хозяин марионеток остался этим очень доволен: теперь ему не нужно было управлять королевой, она могла сама танцевать, не то что другие куклы!

Ночью, когда все люди в гостинице легли спать, кто-то вдруг завздыхал так глубоко и протяжно, что все повставали посмотреть, что и с кем случилось, а хозяин марионеток подошел к своему маленькому театру, — вздохи слышались оттуда. Все деревянные куклы, и король и телохранители, лежали вперемешку, глубоко вздыхали и тарасили свои стеклянные глаза; им тоже хотелось, чтобы их смазали мазью, как королеву, — тогда бы и они могли двигаться сами! Королева же встала на колени и протянула свою золотую корону, как бы говоря: «Возьмите ее, только помажьте моего супруга и моих придворных!» Бедняга хозяин не мог удержаться от слез, так ему жаль стало своих кукол, пошел к товарищу Йоханнеса и пообещал отдать ему все деньги, которые соберет за нечернее представление, если тот помажет мазью четыре-пять лучших из его кукол. Товарищ Йоханнеса сказал, что денег он не возьмет, а пусть хозяин отдаст ему



большую саблю, которая висит у него на боку. Получив ее, он помазал шесть кукол, которые сейчас же заплясали, да так весело, что, глядя на них, пустились в пляс и все живые, настоящие девушки, заплясали и кучер, и кухарка, и лакей, и горничные, все гости и даже кочерга со щипцами; ну, да эти-то двое растянулись с первого же прыжка. Да, веселая выдалась ночька!

На следующее утро Йоханнес и его товарищ ушли из гостиницы, взобрались на высокие горы и вступили в необозримые сосновые леса. Путники поднялись наконец так высоко, что колокольни внизу казались им какими-то красненькими ягодками в зелени, и, куда ни оглянься, видно было на несколько миль кругом. Такой красоты Йоханнес еще не видывал; теплое солнце ярко светило с голубого прозрачного неба, в горах раздавались звуки охотничьих рогов, кругом была такая благодать, что у Йоханнеса выступили от радости на глазах слезы, и он не мог не воскликнуть:

— Боже ты мой! Как бы я расцеловал тебя за то, что ты такой добрый и создал для нас весь этот чудесный мир!

Товарищ Йоханнеса тоже стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на леса и города, освещенные солнцем. В эту минуту над головами их раздалось чудесное пение; они подняли головы — в воздухе плыл большой прекрасный белый лебедь и пел, как не петь ни одной птице; но голос его звучал все слабее и слабее, он склонил голову и тихо-тихо опустился на землю: прекрасная птица лежала у ног Йоханнеса и его товарища мертвой!

— Какие чудные крылья! — сказал товарищ Йоханнеса. — Такие большие и белые, цены им нет! Они могут нам пригодиться! Видишь, хорошо, что я взял с собой саблю!

И он одним ударом отрубил у мертвого лебеда оба крыла.

Потом они прошли по горам еще много-много миль и наконец увидели перед собой большой город с сотнями башен, которые блестели на солнце, как серебряные; посреди города стоял великолепный мраморный дворец с крышей из червонного золота; тут жил король.

Йоханнес с товарищем не захотели сейчас же идти осматривать город, а остановились на одном постоялом дворе, чтобы немножко пообчиститься с дороги и принарядиться, прежде чем показаться на улицах. Хозяин по-

стоялого двора рассказал им, что король — человек очень добрый и никогда не сделает людям ничего худого, но что дочь у него злая-презлая. Конечно, она первая красавица на свете, но что толку, если она при этом злая ведьма, из-за которой погибло столько прекрасных принцев. Дело в том, что всякому — и принцу и нищему — было позволено свататься за нее: жених должен был только отгадать три вещи, которые задумывала принцесса; отгадай он — она вышла бы за него замуж, и он стал бы, по смерти ее отца, королем над всей страной, нет — и ему грозила смертная казнь. Вот какая гадкая была красавица принцесса! Старик король, отец ее, очень грустил об этом, но не мог ничего с ней поделать и раз навсегда отказался иметь дело с ее женихами, — пусть-де она ведается с ними сама, как знает. И вот являлись женихи за женихом, их заставляли отгадывать и за неудачу казнили — пусть не суются, ведь их предупреждали заранее!

Старик король, однако, так грустил об этом, что раз в год по целому дню простаивал в церкви на коленях, да еще со всеми своими солдатами, моля бога о том, чтобы принцесса стала добрее, но она и знать ничего не хотела. Старухи, любившие выпить, окрашивали водку в черный цвет, — чем иначе могли они выразить свою печаль?

— Гадкая принцесса! — сказал Йоханнес. — Ее бы следовало высечь. Уж будь я королем-отцом, я бы задал ей перцу!

В эту самую минуту народ на улице закричал «ура». Мимо проезжала принцесса; она в самом деле была так хороша, что все забывали, какая она злая, и кричали ей «ура». Принцессу окружали двенадцать красавиц на вороных конях; все они были в белых шелковых платьях, с золотыми тюльпанами в руках. Сама принцесса ехала на белой как снег лошади; вся сбруя была усыпана бриллиантами и рубинами; платье на принцессе было из чистого золота, а хлыст в руках сверкал, точно солнечный луч; на голове красавицы сияла корона, вся сделанная будто из настоящих звездочек, а на плечи был наброшен плащ, сшитый из сотни тысяч прозрачных стрекозиных крыльев, но сама принцесса была все-таки лучше всех своих нарядов.

Йоханнес взглянул на нее, покраснел, как маков цвет, и не мог вымолвить ни слова: она как две капли воды

была похожа на ту девушку в золотой короне, которую он видел во сне в ночь смерти отца. Ах, она была так хороша, что Йоханнес не мог не полюбить ее. «Не может быть, — сказал он сам себе, — чтобы она в самом деле была такая ведьма и приказывала вешать и казнить людей, если они не отгадывают того, что она задумала. Всем позволено свататься за нее, даже последнему нищему; пойду же и я во дворец! От судьбы, видно, не уйдешь!»

Все стали отговаривать его, — ведь и с ним случилось бы то же, что с другими. Дорожный товарищ Йоханнеса тоже не советовал ему пробовать счастья, но Йоханнес решил, что, бог даст, все пойдет хорошо, вычистил сапоги и кафтан, умылся, причесал свои красивые белокурые волосы и пошел один-одинешенек в город, а потом во дворец.

— Войдите! — сказал старик король, когда Йоханнес постучал в дверь.

Йоханнес отворил дверь, и старый король встретил его одетый в халат; на ногах у него были вышитые шлепанцы, на голове корона, в одной руке скипетр, в другой — держава.

— Постой! — сказал он и взял державу под мышку, чтобы протянуть Йоханнесу руку.

Но как только он услышал, что перед ним новый жених, он начал плакать, выронил из рук и скипетр и державу и принялся утирать слезы полами халата. Бедный старичок король!

— И не пробуй лучше! — сказал он. — С тобой будет то же, что со всеми! Вот погляди-ка!

И он свел Йоханнеса в сад принцессы. Брр... какой ужас! На каждом дереве висело по три, по четыре принца, которые когда-то сватались за принцессу, но не сумели отгадать того, что она задумала. Стоило подуть ветерку, и кости громко стучали одна о другую, пугая птиц, которые не смели даже заглянуть в этот сад. Колышками для цветов там служили человечески кости, в цветочных горшках торчали черепа с оскаленными зубами — вот так сад был у принцессы!

— Вот видишь! — сказал старик король. — И с тобой будет то же, что с ними! Не пробуй лучше! Ты ужасно огорчаешь меня, я так близко принимаю это к сердцу!

Йоханнес поцеловал руку доброму королю и сказал, что все-таки попробует, очень уж полюбилась ему красавица принцесса.

В это время во двор въехала принцесса со своими дамами, и король с Йоханнесом вышли к ней поздороваться. Она была в самом деле прелестна, протянула Йоханнесу руку, и он полюбил ее еще больше прежнего. Нет, конечно, она не могла быть такою злой, гадкой ведьмой, как говорили люди.



Они отправились в залу, и маленькие пажи стали обносить их вареньем и медовыми пряниками, но старик король был так опечален, что не мог ничего есть, да и пряники были ему не по зубам!

Было решено, что Йоханнес придет во дворец на другое утро, а судьи и весь совет соберутся слушать, как он будет отгадывать. Справится он с задачей на первый раз — придет еще два раза; но никому еще не удавалось отгадать и одного раза, все платились головой за первую же попытку.

Йоханнеса ничуть не заботила мысль о том, что будет с ним; он был очень весел, думал только о прелестной принцессе и крепко верил, что бог не оставит его своей помощью; каким образом поможет он ему — Йоханнес не

знал, да и думать об этом не хотел, а шел себе, приплясывая, по дороге, пока наконец не пришел обратно на постоялый двор, где его ждал товарищ.

Йоханнес без умолку рассказывал о прелестной принцессе, о том, как ласково она приняла его, и дожидаться не мог завтрашнего дня, когда пойдет наконец во дворец попытать счастья.

Но дорожный товарищ Йоханнеса грустно покачал головой и сказал:

— Я так люблю тебя, мы могли бы провести вместе еще много счастливых дней, и вдруг мне придется лишиться тебя! Мой бедный друг, я готов заплакать, но не хочу огорчать тебя: сегодня, может быть, последний день, что мы вместе! Повеселимся же хоть сегодня! Успею наплакаться и завтра, когда ты уйдешь во дворец!

Весь город сейчас же узнал, что у принцессы новый жених, и все страшно опечалились. Театр закрылся, торговки сладостями обвязали своих сахарных поросят черным крепом, а король и священники собрались в церкви и на коленях молились богу. Горе было всеобщее: ведь и с Йоханнесом должно было случиться то же, что с прочими женихами.

Вечером товарищ Йоханнеса приготовил пунш и предложил Йоханнесу хорошенько повеселиться и выпить за здоровье принцессы. Йоханнес выпил два стакана, и ему ужасно захотелось спать, глаза у него закрылись сами собой, и он уснул крепким сном. Товарищ поднял его со стула и уложил в постель, а сам, дождавшись ночи, взял два больших крыла, которые отрубил у мертвого лебедя, привязал их к плечам, сунул в карман самый большой пучок розог из тех, что получил от старухи, сломавшей себе ногу, открыл окно и полетел прямо ко дворцу. Там он уселся в уголке под окном принцессиной спальни и стал ждать.

В городе было тихо, тихо; вот пробило три четверти двенадцатого, окно распахнулось, и вылетела принцесса в длинном белом плаще, с большими черными крыльями за спиной. Она направилась прямо к высокой горе, но дорожный товарищ Йоханнеса сделался невидимкой и полетел за ней следом, хлеща ее розгами до крови. Брр... вот так был полет! Ее плащ раздувался на ветру, точно парус, и через него просвечивал месяц.



— Что за град! Что за град! — говорила принцесса при каждом ударе розог, и поделом ей было.

Наконец она добралась до горы и постучала. Тут будто гром загремел, и гора раздалась; принцесса вошла, а за ней и товарищ Йоханнеса — ведь он стал невидимкой, никто не видал его. Они прошли длинный-длинный коридор с какими-то странно сверкающими стенами, — по ним бегали тысячи огненных пауков, горевших как жар. Затем принцесса и ее невидимый спутник вошли в большую залу из серебра и золота; на стенах сияли большие красные и голубые цветы вроде подсолнечников, но боже упаси сорвать их! Стебли их были отвратительными ядовитыми змеями, а самые цветы — пламенем, выходившим у них из пасти. Потолок был усеян светляками и голубоватыми летучими мышами, которые беспрерывно хлопали своими тонкими крыльями; удивительное было зрелище! Посреди залы стоял трон на четырех лошадиных остовах вместо ножек; сбруя на лошадях была из огненных пауков, самый трон из молочно-белого стекла, а подушки на нем из черненьких мышек, вцепившихся друг другу в хвосты зубами. Над троном был балдахин из ярко-красной паутины, усеянной хорошенькими зелеными мухами, блестящими не хуже драгоценных камней. На троне сидел старый тролль; его безобразная голова была увенчана короной, а в руках он держал скипетр. Тролль поцеловал принцессу в лоб и усадил ее рядом с собой на драгоценный трон. Тут заиграла музыка; большие черные кузнечики играли на губных гармониках, а сова била себя крыльями по животу — у нее не было другого барабана. Вот был концерт! Маленькие гномы, с блуждающими огоньками на шапках, плясали по залу. Никто не видал дорожного товарища Йоханнеса, а он стоял позади трона и видел и слышал все!

В зале было много много нарядных и важных придворных; но тот, у кого были глаза, заметил бы, что придворные эти не больше ни меньше, как простые палки с кочнами капусты вместо голов, — тролль оживил их и нарядил в расшитые золотом платья; впрочем, не все ли равно, если они служили только для парада!

Когда пляска кончилась, принцесса рассказала троллю о новом женихе и спросила, о чем бы ей загадать на следующее утро, когда он придет во дворец.

— Вот что, — сказал тролль, — надо взять что-нибудь самое простое, чего ему и в голову не придет. Задумай, например, о своем башмаке. Ни за что не отгадает! Вели тогда отрубить ему голову, да не забудь принести мне завтра ночью его глаза, я их съем!

Принцесса низко присела и сказала, что не забудет. Затем тролль раскрыл гору, и принцесса полетела домой, а товарищ Йоханнеса опять летел следом и так хлестал ее розгами, что она стонала и жаловалась на сильный град и изо всех сил торопилась добраться до окна своей спальни. Дорожный товарищ Йоханнеса полетел обратно на постоялый двор; Йоханнес еще спал; товарищ его отвязал свои крылья и тоже улегся в постель, — еще бы, устал порядком!

Чуть занялась заря, Йоханнес был уже на ногах; дорожный товарищ его тоже встал и рассказал ему, что ночью он видел странный сон — будто принцесса загадала о своем башмаке, и потому просил Йоханнеса непременно назвать принцессе башмак. Он ведь как раз слышал это в горе у тролля, но не хотел ничего рассказывать Йоханнесу.

— Что ж, для меня все равно, что ни назвать! — сказал Йоханнес. — Может быть, твой сон и в руку: я ведь все время думал, что бог поможет мне! Но я все-таки прощусь с тобой — если я не угадаю, мы больше не увидимся.

Они поцеловались, и Йоханнес отправился во дворец. Зала была битком набита народом; судьи сидели в креслах, прислонившись головами к подушкам из гагачьего пуха, — им ведь приходилось так много думать! Старик король стоял и вытирал глаза белым носовым платком. Но вот вошла принцесса; она была еще краше вчерашнего, мило раскланялась со всеми, а Йоханнесу подала руку и сказала:

— Ну, здравствуй!

Теперь надо было отгадывать, о чем она задумала. Господи, как ласково смотрела она на Йоханнеса! Но как только он произнес: «башмак», она побелела как мел и задрожала всем телом. Делать, однако, было нечего — Йоханнес угадал.

Эхма! Старик король даже кувыркнулся на радостях, все и рты разинули! И принялись хлопать королю, да и Йоханнесу тоже — за то, что он правильно угадал.



Спутник Йоханнеса так и засиял от удовольствия, когда узнал, как все хорошо получилось, а Йоханнес набожно сложил руки и поблагодарил бога, надеясь, что он поможет ему и в следующие разы. Ведь на другой день надо было приходиться опять.

Вечер прошел так же, как и накануне. Когда Йоханнес заснул, товарищ его опять полетел за принцессой и хлестал ее еще сильнее, чем в первый раз, так как взял с собой два пучка розог; никто не видал его, и он опять подслушал совет тролля. Принцесса должна была на этот раз загадать о своей перчатке, что товарищ и передал Йоханнесу, снова сославшись на свой сон. Йоханнес угадал и во второй раз, и во дворце пошло такое веселье, что только держись! Весь двор стал кувыркаться — ведь сам король подал вчера пример. Зато принцесса лежала на диване и не хотела даже разговаривать. Теперь все дело было в том, отгадает ли Йоханнес в третий раз: если да, то женится на красавице принцессе и наследует по смерти старика короля все королевство, нет — его казнят, и тролль съест его прекрасные голубые глаза.

В этот вечер Йоханнес рано улегся в постель, прочел молитву на сон грядущий и спокойно заснул, а товарищ его привязал себе крылья, пристегнул сбоку саблю, взял все три пучка розог и полетел ко дворцу.

Тьма была — хоть глаз выколи; бушевала такая гроза, что черепицы валились с крыш, а деревья в саду со скелетами гнулись от ветра, как тростинки. Молния сверкала ежеминутно, и гром сливался в один сплошной раскат. И вот открылось окно, и вылетела принцесса, бледная как смерть; но она смеялась над непогодой — ей все еще было мало; белый плащ ее бился на ветру, как огромный парус, а дорожный товарищ Йоханнеса до крови хлестал ее всеми тремя пучками розог, так что под конец она едва могла лететь и еле-еле добралась до горы.

— Град так и сечет! Ужасная гроза! — сказала она. — Сроду не приходилось мне вылетать из дома в такую непогоду.

— Да, видно, что тебе порядком досталось! — сказал тролль.

Принцесса рассказала ему, что Йоханнес угадал и во второй раз; случись то же и в третий, он выиграет дело, и ей нельзя будет больше прилетать в гору и колдовать. Было поэтому о чем печалиться.

— Не угадает он больше! — сказал тролль. — Я найду что-нибудь такое, чего ему и в голову прийти не может, иначе он тролль почище меня. А теперь будем плясать!

И он взял принцессу за руки, и они принялись танцевать вместе с гномами и блуждающими огоньками, а пауки весело прыгали вверх и вниз по стенам, точно живые огоньки. Сова била в барабан, сверчки свистели, а черные кузнечики играли на губных гармониках. Развеселый был бал!

Натанцевавшись вдоволь, принцесса стала торопиться домой, иначе ее могли там хватиться; тролль сказал, что проводит ее, и они, таким образом, подольше побудут вместе.

Они летели, а товарищ Йоханнеса хлестал их всеми тремя пучками розог; никогда еще троллю не случалось вылетать в такой град.

Перед дворцом он простился с принцессой и шепнул ей на ухо:

— Загадай о моей голове!

Товарищ Йоханнеса, однако, расслышал его слова, и в ту самую минуту, как принцесса скользнула в окно, а тролль хотел повернуть назад, схватил его за длинную черную бороду и срубил саблей его гадкую голову по самые плечи!

Троль и глазом моргнуть не успел! Тело тролля дорожный товарищ Йоханнеса бросил в озеро, а голову окунул в воду, затем завязал в шелковый платок и полетел с этим узлом домой.

Наутро он отдал Йоханнесу узел, но не велел ему развязывать его, пока принцесса не спросит, о чем она загадала.

Большая дворцовая зала была битком набита народом; люди жались друг к другу, точно сельди в бочонке. Совет заседал в креслах с мягкими подушками под головами, а старик король разделся в новое платье, корона и скипетр его были вычищены на славу; зато принцесса была бледна и одета в траур, точно собралась на похороны.

— О чем я загадала? — спросила она Йоханнеса.

Тот сейчас же развязал платок и сам испугался безобразной головы тролля. Все вздрогнули от ужаса, а принцесса сидела, как окаменелая, не говоря ни слова. Наконец она встала, подала Йоханнесу руку — он ведь угадал — и, не глядя ни на кого, сказала с глубоким вздохом:

— Теперь ты мой господин! Вечером сыграем свадьбу!  
— Вот это я люблю! — сказал старик король. — Вот это дело!

Народ закричал «ура», дворцовая стража заиграла марш, колокола зазвонили, и торговки сластями сняли с сахарных поросят траурный креп — теперь повсюду была радость! На площади были выставлены три жареных быка с начинкой из уток и кур — все могли подойти и отрезать себе по куску; в фонтанах било чудеснейшее вино, а в булочных каждому, кто покупал кренделей на два гроша, давали в придачу шесть больших пышек с изюмом!

Вечером весь город был иллюминирован, солдаты палили из пушек, мальчишки — из хлопушек, а во дворце ели, пили, чокались и плясали. Знатные кавалеры и красивые девицы танцевали друг с другом и пели так громко, что на улице было слышно:

Много тут девиц прекрасных,  
Любо им плясать и петь!  
Так играйте ж плясовую,  
Полно девицам сидеть!  
Эй, девица, веселей,  
Башмачков не пожалей!

Но принцесса все еще оставалась ведьмой и совсем не любила Йоханнеса; дорожный товарищ его не забыл об этом, дал ему три лебединых пера и пузырек с какими-то каплями и велел поставить перед кроватью принцессы чан с водой; потом Йоханнес должен был вылить туда эти капли и бросить перья, а когда принцесса станет ложиться в постель, столкнуть ее в чан и погрузить в воду три раза, — тогда принцесса освободится от колдовства и крепко его полюбит.

Йоханнес сделал все так, как ему было сказано. Принцесса, упав в воду, громко вскрикнула и забилась у Йоханнеса в руках, превратившись в большого, черного как смоль лебедя с сверкающими глазами; во второй раз она вынырнула из воды уже белым лебедем и только на шею оставалось узкое черное кольцо; Йоханнес воззвал к богу и погрузил птицу в третий раз — в то же мгновение она опять сделалась красавицей принцессой. Она была еще лучше прежнего и со слезами на глазах благодарила Йоханнеса за то, что он освободил ее от чар.

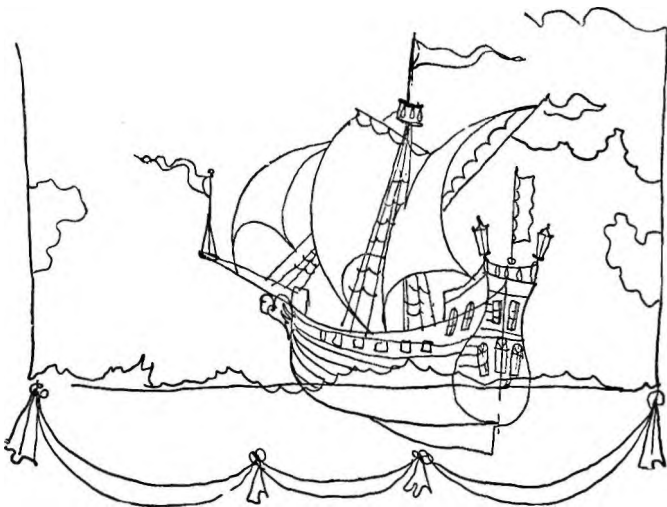
Утром явился к ним старик король со всюю свитой, и пошли поздравления. После всех пришел дорожный товарищ Йоханнеса с палкой в руках и котомкой за плечами. Йоханнес расцеловал его и стал просить остаться — ему ведь был он обязан своим счастьем! Но тот покачал головой и ласково сказал:

— Нет, настал мой час! Я только заплатил тебе свой долг. Помнишь бедного умершего человека, которого хотели обидеть злые люди? Ты отдал им все, что имел, только бы они не тревожили его в гробу. Этот умерший — я!

В ту же минуту он скрылся.

Свадебные торжества продолжались целый месяц. Йоханнес и принцесса крепко любили друг друга, и старик король прожил еще много счастливых лет, качая на коленях и забавляя своими скипетром и державой внучат, в то время как Йоханнес правил королевством.





## РУСАЛОЧКА



**В** открытом море вода совсем синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная, как чистое стекло, — но зато и глубоко там! Ни один якорь не достанет до дна; на дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен, только тогда бы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки.

Не подумайте, что там, на дне, один голый белый песок; нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы большие и маленькие — точь-в-точь как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются смотря по тому, прилив или отлив; это очень красиво: ведь в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы.



Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать, женщина умная, но очень гордая своим родом: она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего шесть. Вообще же она была особа, достойная всяческих похвал, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все шестеро принцесс были прехорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но и у нее, как у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост.

День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытке янтарные окна вplывали рыбки, как у нас, бывает, влетают ласточки; рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить.

Возле дворца был большой сад; там росли огненно-красные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися ветвями и листьями; плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы — как огоньки. Земля была усыпана мелким голубоватым, как серное пламя, песком, и потому там на всем лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск, — можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, по и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце; оно казалось пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет.

У каждой принцессы был в саду свой уголок; тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и посадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка: такая тихая, задумчивая... Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая пышно разрослась; ветви ее обвивали статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень, — вершина и корни точно играли и целовались друг с другом!

Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, — не то что тут, в море! — что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее: они ведь сроду не видывали птиц.

— Когда вам исполнится пятнадцать лет, — говорила бабушка, — вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться пятнадцать лет, но другим сестрам — а они были погодки — приходилось еще ждать, и дольше всех — самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день, — рассказов бабушки им было мало, им хотелось знать обо всем поподробнее.

Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок! Она могла разглядеть сквозь воду месяц и звезды; они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал кит, или проходил корабль с сотнями людей; они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к киллю корабля свои белые ручки.

Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря.

Сколько было рассказов, когда она вернулась назад! Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любясь раскинувшимся по берегу городом: там, точно сотни звезд, горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да,

именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище.

Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра! Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов.

Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда она захочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... да тут у нее уж и слов не хватало! Пурпуровые и фиолетовые, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая лебедей; русалочка тоже поплыла было к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря.

Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса; эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы; солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде; она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море; это была собака, но русалка ведь никогда еще не видала собак.

И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть у них и нет рыбьего хвоста!

Четвертая сестра не была такой смелой; она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего: куда ни глянь, на много-много миль вокруг одна вода да небо, опрокинувшееся, точно огромный стеклянный купол; вдали, как морские чайки, пронеслись большие корабли, играли и кувыркалились веселые дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты.

Потом пришла очередь предпоследней сестры; ее день рождения был зимой, и поэтому она увидела то, чего не видели другие: море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы — ни дать ни взять жемчужины, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми! Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую, ветер развевал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загредел гром и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убрали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море.

Вообще каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз, — все было для них ново и поэтому нравилось; но, получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали говорить, что везде хорошо, а дома, на дне, лучше.

Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, подымались на поверхность; у всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле, и вот, когда начиналась буря и они видели, что корабль обречен на гибель, они подплывали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно; но моряки не могли разобрать слов; им казалось, что это просто шумит буря; да им все равно и не удалось бы увидеть на дне никаких чудес — если корабль погибал, люди тонули и приплывали ко дворцу морского царя уже мертвыми.

Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать, но русалки не умеют плакать, и от этого ей было еще тяжелей.

— Ах, когда же мне будет пятнадцать лет? — говорила она. — Я знаю, что очень люблю и тот мир и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.

— Ну вот, вырастили и тебя! — сказала бабушка, вдовствующая королева. — Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер!

И она надела русалочке на голову венок из белых лилий, — каждый лепесток был половинкой жемчужины — потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту восьми устрицам.

— Да это больно! — сказала русалочка.

— Ради красоты и потерпеть не грех! — сказала старуха.

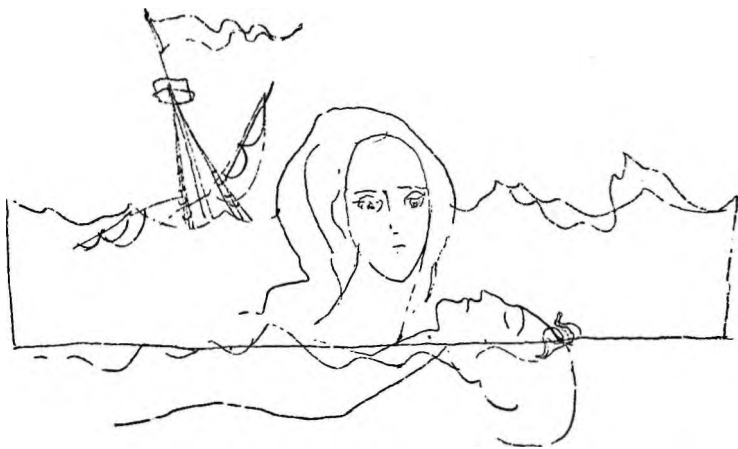
Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок, — красные цветы из ее садика шли ей куда больше, но она не посмела!

— Прощайте! — сказала она и легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность.

Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались ясные вечерние звезды; воздух был мягок и свеж, а море — как зеркало. Неподалеку от того места, где нырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом, — не было ведь ни малейшего ветерка; на вантах и ряях сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков; казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет; в тот день праздновалось его рождение, оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвились сотни ракет, и стало светло как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову, и ей показалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи: большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц!

Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи.

Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль стал набирать скорость, паруса развевались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились и



где-то вдали засверкала молния. Начиналась буря! Матросы принялись убирать паруса; огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам; вокруг корабля вставали высокие волны, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля, но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу; вот грот-мачта переломилась, как тростинка, корабль перевернулся набок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность; ей и самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так

темно, что хоть глаз выколи; но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей; каждый спасался, как умел. Русалочка отыскивала глазами принца и, когда корабль разбился на части, увидела, что он погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть! И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами; но вот наконец она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю; руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись; он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и представила волнам нести их обоих куда угодно.

К утру непогода стихла; от корабля не осталось и щепки; солнце опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску, но глаза его все еще не открывались.

Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб; ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее и саду; она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде цѣркиви или монастыря. В роще росли апельсинные и лимонные деревья, а у ворот здания — высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом; там вода была очень тиха, но глубока; сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка и положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце.

В это время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за высокие камни, которые торчали из воды, покрыла себе волосы и грудь морской пеной — теперь никто не различил бы в этой пене ее

лица — и стала ждать: не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Ждать пришлось недолго: к принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой.

И прежде она была тихой и задумчивой, теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала.

Часто и вечером и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали, видела, как стаял снег на высоких горах, но принца так больше и не видела и возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за цветами она больше не ухаживала; они росли, как хотели, по тропинкам и на дорожках, переплелись своими стеблями и листьями с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно.

Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер; за ней узнали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок, ну, а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где находится королевство принца.

— Поплыли вместе, сестрица! — сказали русалочке сестры и рука об руку поднялись на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены укра-



шены большими картинами. Загляденье да и только! Посреди самой большой залы журчал большой фонтан; струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она; она же заплывала и в узкий канал, который проходил как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца одинешенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развевающимися флагами, — русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развевающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями.

Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу; они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого носило по волнам; она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней, она ему и присниться не могла!

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее и сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный; они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко, ее и глазом не охватить! Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к бабушке: старуха хорошо знала «высший свет», как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

— Если люди не тонут, — спрашивала русалочка, — тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

— Ну что ты! — отвечала старуха. — Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, но, когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких,

у нас нет даже могил, мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем; мы — как тростник: вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь! У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах; она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам! Как мы можем подняться со дна морского и увидеть землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда!

— А почему у нас нет бессмертной души? — грустно спросила русалочка. — Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо.

— Вздор! Нечего и думать об этом! — сказала старуха. — Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

— Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнца! Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?

— Можешь, — сказала бабушка, — пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу; тогда частица его души сообщится тебе и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным; они ничего не смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжих подпорки — ноги, как они их называют.

Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

— Будем жить — не тужить! — сказала старуха. — Повеселимся вволю свои триста лет — срок немалый, тем слаще будет отдых после смерти! Сегодня вечером у нас во дворце бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине; огни эти ярко освещали

всю залу, а через стеклянные стены — и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи и больших и маленьких рыб и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром.

Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца и, пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими мыслями, ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни! На все бы я пошла — только бы мне быть с ним и обрести бессмертную душу! Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме; я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой; тут не росли ни цветы, ни даже трава — кругом только голый серый песок; вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что только встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами; дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырившийся ил; **это** место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные-полурастения, похожие на стоголовых змей, росших прямо из песка; ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки, они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Русалочка

испуганно приостановилась, сердечко ее забилось от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бес- смертной душе и собралась с духом: крепко обвязала во- круг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепи- лись полипы, скрестила на груди руки, и, как рыба, по- плыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить: белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие, жирные водяные ужи. Посреди поляны был вы- строен дом из белых человеческих костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой ноздреватой, как губка, груди.

— Знаю, знаю, зачем ты пришла! — сказала руса- лочке морская ведьма. — Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе — тебе же на беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить, как люди; хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмерт- ную душу!

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с нее и растянулись на песке.

— Ну ладно, ты пришла в самое время! — продол- жала ведьма. — Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я из- готовлю тебе питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидят, скажут, что такой прелестной де- вушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную, скользкую походку — ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но помни, что ты будешь ступать как по ост- рым ножам, так что изранишь свои ножки в кровь. Вытер- пишь все это? Тогда я помогу тебе.

— Да! — сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.

— Помни, — сказала ведьма, — что раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер! А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской!

— Пусть! — сказала русалочка и побледнела как смерть.

— А еще ты должна мне заплатить за помощь, — сказала ведьма. — И я недешево возьму! У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.

— Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне? — спросила русалочка.

— Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся; высунешь язычок, я и отрежу его в уплату за волшебный напиток!

— Хорошо! — сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

— Чистота — лучшая красота! — сказала она и обтерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, и скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов, на вид он казался прозрачайшей ключевой водой!

— Бери! — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток; потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая — не могла больше ни петь, ни говорить!

— Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь назад, — сказала ведьма, — брызни на них каплю этого

питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!

Но русалочке не пришлось этого делать — полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда, — ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря.

Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом; она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял красавец принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами; она потупилась и увидела, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее две ножки, беленькие и маленькые, как у ребенка. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные, густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами: говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду: каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам; но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легкая, как пузырек воздуха; принц и все окружающие только дивились ее чудной, скользящей походке.

Русалочку раздели в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей; русалочке стало очень грустно: когда-то и

она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него!»

Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц, он назвал русалочку своим маленьким найденышем, и русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви касались ее плеч; они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетающих в чужие страны.

Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыла из воды рука об руку ее сестры И запели печальную песню; она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидела в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове; они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только, как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла ведь обрести бессмертной

души и должна была, в случае его женитьбы на другой, превратиться в морскую пену.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.

— Да, я люблю тебя! — говорил принц. — У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я любить! Ты похожа на нее, и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобой!

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! — думала русалочка. — Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня! — И русалочка глубоко-глубоко вздыхала, плакать она не могла. — Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся! Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плаванье. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу; с ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась — она ведь лучше всех знала мысли принца.

— Я должен ехать! — говорил он ей. — Мне надо посмотреть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда не полюблю ее! Она ведь непохожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!



И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и бессмертной души.

— Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? — говорил он, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля.

И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубинах, и о том, что видели там водолазы, а она только улыбалась, слушая его рассказы, — она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны; и ей показалось, что она видит отцовский дворец; старуха бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры; они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили в колокола, с высоких башен раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было, — она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она.

Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.

— Это ты! — сказал принц. — Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту.

— Ах, я так счастлив! — сказал он русалочке. — То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!

Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли: его свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену!

Колокола в церквах звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. В алтарях в драгоценных сосудах курились благовония. Священники кадили ладаном, жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, раздетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии, она думала о своем смертном часе и о том, что она теряет с жизнью.

В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, на палубе был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками; в шатре новобрачные должны были провести эту тихую, прохладную ночь.

Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся в открытое море.

Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге: никогда еще она не танцевала так чудесно! Ее нежные ножки резало, как ножами, но она не чувствовала этой боли — сердцу ее было еще больнее. Она знала, что лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души! Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала с смертельной мукой в сердце; принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями; наконец

рука об руку удалились они в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, только рулевой остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные, роскошные волосы не развевались больше по ветру — они были обрезаны.

— Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! А она дала нам вот этот нож — видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем превратишься в соленую морскую пену. Но спеш! Или он, или ты — один из вас должен умереть до восхода солнца! Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы, а нам остригла волосы своими ножницами ведьма! Убей принца и вернись к нам! Поспеш, видишь на небе показалась красная полоска? Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены — она одна была у него в мыслях! — и нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута — и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью, в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти: она видела ясное солнце и каких-

то прозрачных, чудных созданий, сотнями реявших над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе; голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка увидела, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.

— К кому я иду? — спросила она, поднимаясь в воздух, и ее голос звучал такую же дивною музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки.

— К дочерям воздуха! — ответили ей воздушные создания. — У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может, только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они могут заслужить ее добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду. Пройдет триста лет, во время которых мы будем сильно творить добро, и мы получим в награду бессмертную душу и сможем изведать вечное блаженство, доступное людям. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести ее через триста лет!

И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

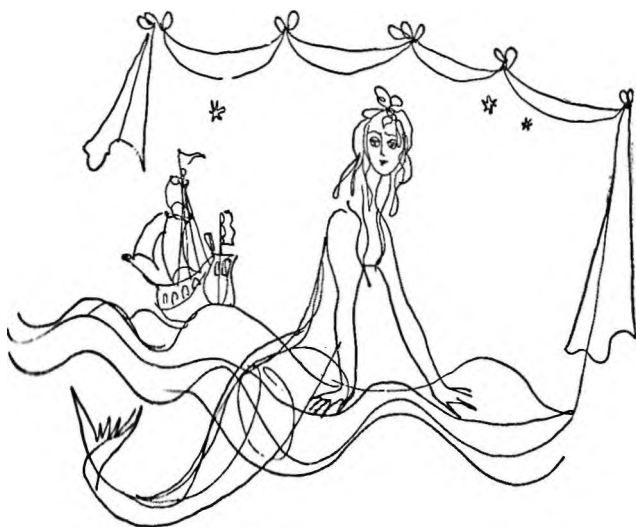
На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая, поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

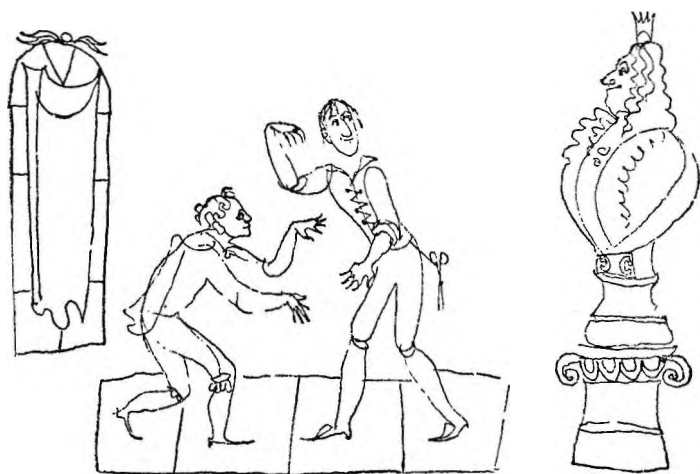
— Через триста лет мы войдем в божье царство!

— Может быть, и раньше! — прошептала одна из дочерей воздуха. — Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети, и если находим там доброе, послушное

дита, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся.

Ребенок не видит нас, когда мы летаем по комнате, и если мы радуемся, глядя на него, наш трехсотлетний срок сокращается на год. Но если мы увидим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания лишний день!





## НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ



**М**ного лет назад жил-был на свете король; он так любил наряжаться, что тратил на новые платья все свои деньги, и парады, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог тогда показаться в новом наряде. На каждый час дня у него был особый наряд, и как про других королей часто говорят: «Король в совете», так про него говорили: «Король в гардеробной».

В столице этого короля жилось очень весело; почти каждый день приезжали иностранные гости, и вот раз явилось двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что могут изготовлять такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя: кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличается еще удивительным свойством — становиться невидимой для всякого человека, который не на своем месте или непроходимо глуп.

«Да, вот это будет платье! — подумал король. — Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на сво-

ем месте и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят для меня такую ткань».

И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело.

Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Нимало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота, все это припрятывали в карманы и просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи.

«Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело!» — думал король. Но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но... все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой! А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или непригодности своего ближнего.

«Пошлю-ка я к ним своего честного старика министра, — подумал король. — Уж он-то рассмотрит ткань: он умен и с честью занимает свое место».

И вот старик министр вошел в залу, где за пустыми станками сидели обманщики.

«Господи помилуй! — подумал министр, тараща глаза, — Да ведь и ничего не вижу!»

Только он не сказал этого вслух.

Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как ни тарашил глаза, все-таки ничего не видел. Да и видеть было нечего.

«Ах ты господи! — думал он. — Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал! Упаси господь, кто-нибудь узнает!.. А может, я не гожусь для своей должности?.. Нет, нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани!»

— Что ж вы ничего не скажете нам? — спросил один из ткачей.

— О, это премило! — ответил старик министр, глядя сквозь очки. — Какой узор, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа!

— Рады стараться! — сказали обманщики и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетания

красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал.

Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота; но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут.

Потом король послал к ткачам другого достойного сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же самое, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел, а все равно ничего, кроме пустых станков, не высмотрел.

— Ну, как вам нравится? — спросили его обманщики, показывая ткань и объясняя узоры, которых и в помине не было.

«Я не глуп, — думал сановник. — Значит, я не на своем месте? Вот тебе раз! Однако нельзя и виду подавать!»

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, восхищаясь красивым рисунком и сочетанием красок.

— Премило, премило! — доложил он королю.

Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани.

Наконец и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка.

С целою свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим изо всех сил на пустых станках.

— *Magnifique!*<sup>1</sup> Не правда ли? — вскричали уже побывавшие здесь сановники. — Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок... а краски!

И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань.

«Что за ерунда! — подумал король. — Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего!»

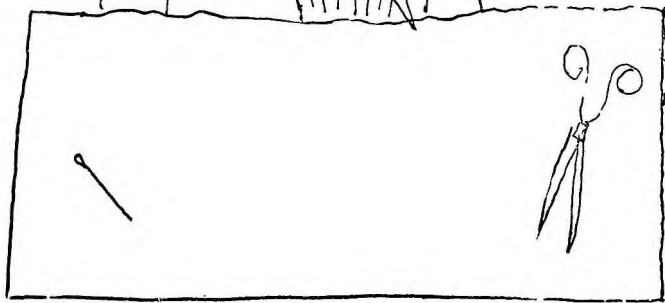
— О да, очень, очень мило! — сказал наконец король. — Вполне заслуживает моего одобрения!

И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки, — он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше, чем он сам; и тем не менее все в один голос повторяли: «Очень, очень мило!» — и советовали королю

---

<sup>1</sup> Чудесно! (*франц.*).





сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии.

— Magnifique! Чудесно! Excellent! <sup>1</sup> — только и слышалось со всех сторон; все были в таком восторге! Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал им звание придворных ткачей.

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше шестнадцати свечей, — всем было ясно, что они очень старались кончить к сроку новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, кроят ее большими ножницами и потом шьют иглками без ниток.

Наконец они объявили:

— Готово!

Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали вверх руки, будто держали что-то, приговаривая:

— Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! Чудесный наряд! Легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле! Но в этом-то вся и прелесть!

— Да, да! — говорили придворные, но они ничего не видели — нечего ведь было и видеть.

— А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом! — сказали королю обманщики. — Мы оденем вас!

Король разделся догола, и обманщики принялись наряжать его: они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой и наконец прикрепляют что-то в плечах и на талии, — это они надевали на него королевскую мантию! А король поворачивался перед зеркалом во все стороны.

— Боже, как идет! Как чудно сидит! — шептали в свите. — Какой узор, какие краски! Роскошное платье!

— Балдахин ждет! — доложил обер-церемониймейстер.

— Я готов! — сказал король. — Хорошо ли сидит платье?

И он еще раз повернулся перед зеркалом: надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд.

Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с

---

<sup>1</sup> Превосходно! (франц.).

пола, и пошли за королем, вытягивая перед собой руки, — они не смели и виду подать, что ничего не видят.

И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, собравшиеся на улицах, говорили:

— Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!

Ни единый человек не сознался, что ничего не видит, никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов.

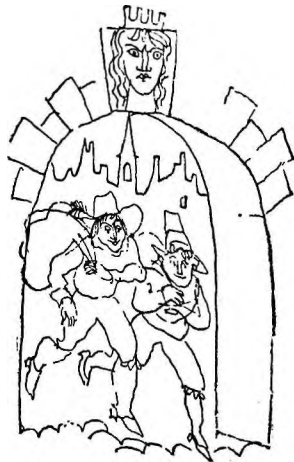
— Да ведь он голый! — закричал вдруг какой-то маленький мальчик.

— Послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

— Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он совсем не одет! — закричал наконец весь народ.

И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца!

И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.





## РОМАШКА



**В**от послушайте-ка!

За городом, у самой дороги, стояла дача. Вы, верно, видели ее? Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеною деревянною решеткой.

Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые цвели в саду перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем — желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно белых мелких лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве; нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко-высоко в небе жаворонок.

Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а на самом-то деле был всего только

понедельник; все дети смиренно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников; наша ромашка тоже смиренно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей окружающей природы, училась познавать благодать божью. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в его громких, звучных песнях звучит как раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую порхающую певунью птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь вижу и слышу все! — думала она. — Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!»

В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки — им все хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавы. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная певунья птичка! Слава богу, что я расту так близко — увижу все, налюбуюсь вдоволь!» Вдруг раздалось «квир-квир-вит!», и жаворонок спустился... не в сад к пионам и тюльпанам, а прямехонько в траву, к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть!

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая славная мягкая травка! Какой миленький цветочек и серебряном платянце, с золотым сердечком!»

Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а ослепительно белые лепестки отливали серебром.

Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась к синему небу. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы — они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть! Хорошо, что они не умели говорить — досталось бы от них

ромашке! Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.

В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула. «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село, она свернула лепестки и заснула, но и во сне все видела милую птичку и красное солнышко.

Утром цветок опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлomu солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка; птичка пела, но как грустно! Бедняжка попала в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело было у бедной птички на сердце — она была в плену!

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестили ее серебристые лепестки; ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот; которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно.

— Вот здесь можно вырезать славный кусок дерна для нашего жаворонка! — сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.

— Давай вырвем цветок! — сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику!

— Нет, пусть лучше останется! — сказал первый из мальчиков. — Так красивее!

И ромашка попала в клетку к жаворонку.

Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро.

— Тут нет воды! — жаловался жаворонок. — Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни капельки воды! У меня совсем пересохло в горлышке! Я весь горю, и меня знобит! Здесь такая духота! Ах, я умру, не видать мне больше ни красного солнышка, ни свежей зелени, ни всего божьего мира!

Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил клюв в свежий, прохладный дерн, увидел ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и сказал:

— И ты завянешь здесь, бедный цветок! Тебя да этот клочок зеленого дерна — вот что они дали мне взамен всего мира! Каждая травинка должна быть для меня теперь зеленым деревом, каждый твой лепесток — благоухающим цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!

«Ах, чем бы мне утешить его!» — думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю траву.

Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала:

— Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков и заснуть, как накануне: она была совсем больна и стояла грустно повесив головку.

Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мертвого жаворонка, горько-горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю украсили ее цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку — его хотели похоронить по-царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней, оставили ее умирать в клетке от жажды, а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!

Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о той, которая все-таки больше всех любила бедную птичку и всем сердцем желала ее утешить.



## СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК



**Б**ыло когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери — старой оловянной ложке; ружье на плече, голова прямо, красный с синим мундир — ну, прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они услышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатiki!» Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатiki были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух; и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.

На столе, где очутились солдатiki, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркала, которое изображало озеро, стояли де-



ревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, — она была танцовщицей, — а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик ее и не увидел, и подумал, что красавица тоже одноногая, как он.

«Вот бы мне такую жену! — подумал он. — Только она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть, что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место! Но познакомиться все же не мешает».

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе; отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая все стояла на одной ноге, не теряя равновесия.

Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал. Оловянные солдатикки принялись стучать в стенки коробки — они тоже хотели играть, да не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувырчался, грифель плясал по доске; поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик: она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз.

Пробило двенадцать. Щелк! — табакерка раскрылась.

Там не было табаку, а сидел маленький черный тролль; табакерка-то была с фокусом!

— Оловянный солдатик, — сказал тролль, — нечего тебе заглядываться!

Оловянный солдатик будто и не слышал.

— Ну постой же! — сказал тролль.

Утром дети встали, и оловянного солдатика поставили на окно.

Вдруг — по милости ли тролля или от сквозняка — окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз

с третьего этажа, — только в ушах засвистело! Минута — и он уже стоял на мостовой кверху ногой: голова его в каске и ружье застряли между камнями мостовой.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но, сколько ни старались, найти солдата не могли, они чуть не наступали на него ногами и все-таки не замечали его. Закричи он им: «Я тут!» — они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице: он ведь носил мундир!

Начал накрапывать дождик; сильнее, сильнее, наконец хлынул ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек.

— Гляди! — сказал один. — Вон оловянный солдатик! Отправим его в плавание!

И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канаву. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Ну и ну! Вот так волны ходили по канавке! Течение так и несло, — не мудрено после такого ливня!

Лодочку бросало и вертело во все стороны, так что оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко: ружье на плече, голова прямо, грудь вперед!

Лодку понесло под длинные мостки: стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку.

«Куда меня несет? — думал он. — Да, это все штуки гадкого тролля! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица — по мне, будь хоть вдвое темнее!

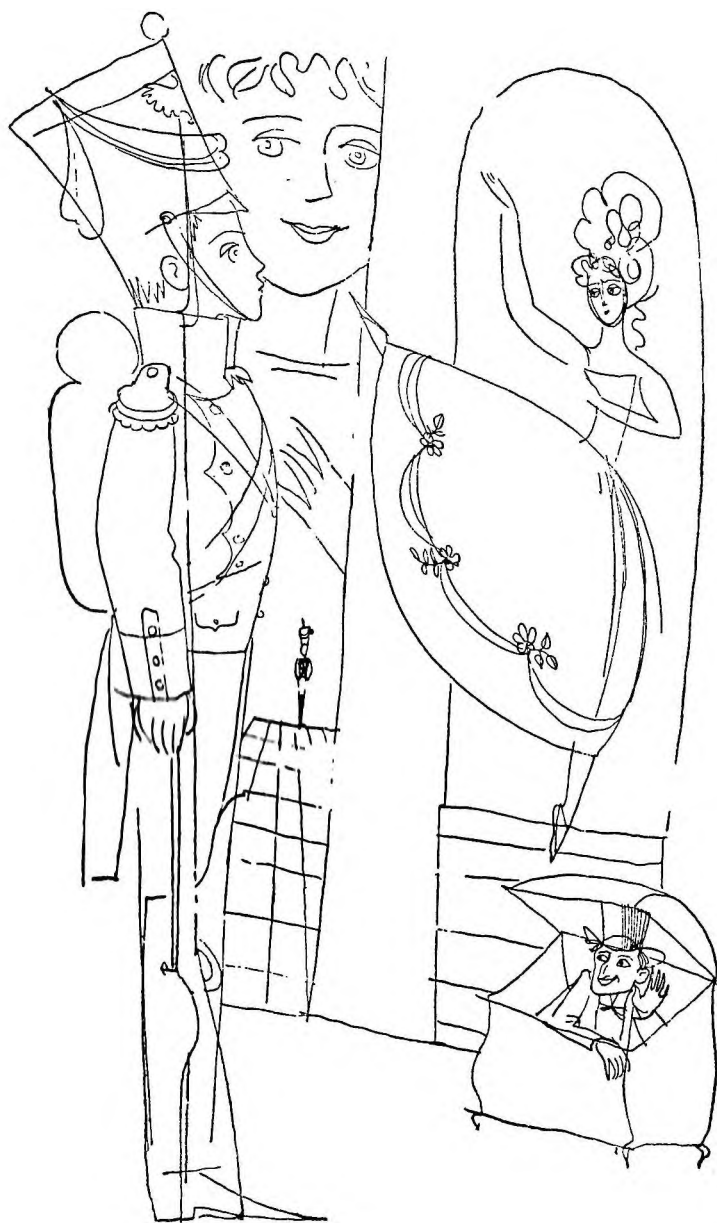
В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса.

— Паспорт есть? — спросила она. — Давай паспорт!

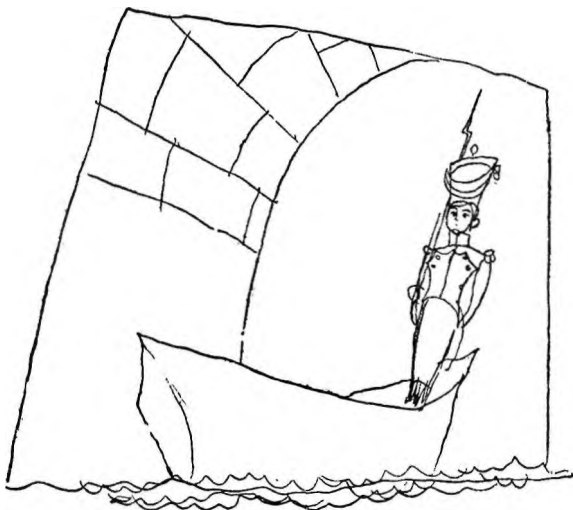
Но оловянный солдатик молчал и еще крепче сжимал ружье. Лодку несло, а крыса плыла за ней вдогонку. У! Как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

— Держи, держи его! Он не внес пошлины, не показывал паспорта!

Но течение несло лодку все быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе, у конца мостика вода из канавки устремлялась в большой канал! Это было для солдатика так же страшно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду.



Но солдатика несло все дальше, остановиться было нельзя. Лодка с солдатиком скользнула вниз; бедняга держался по-прежнему стойко и даже глазом не моргнул. Лодка завертелась... Раз, два — наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик очутился по горло в воде; дальше больше... вода покрыла его с головой! Тут



он подумал о своей красавице: не видеть ему ее больше. В ушах у него звучало:

Вперед стремись, о воин,  
И смерть спокойно встреть!

Бумага разорвалась, и оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба.

Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да еще страх как тесно! Но оловянный солдатик держался стойко и лежал, вытянувшись во всю длину, крепко прижимая к себе ружье.

Рыба металась туда и сюда, выделявала самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в нее ударила молния. Блеснул свет, и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок,

потом она попала на кухню, и кухарка распоролa ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик ничуть не загордился. Его поставили на стол, и — чего-чего не бывает на свете! —

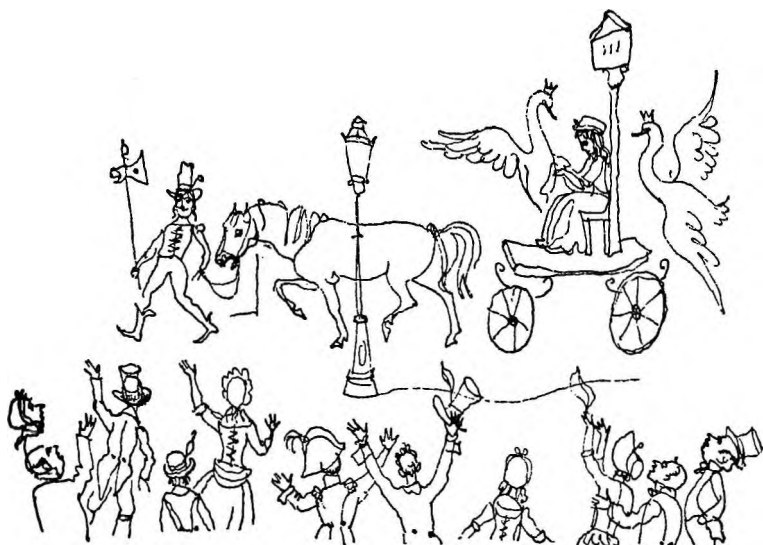


он оказался в той же самой комнате, увидел тех же детей, те же игрушки и чудесный дворец с прелестной маленькой танцовщицей! Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость! Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на нее, она на него, но они не обмолвились ни словом.

Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, это все тролль подстроил! Оловянный солдатик стоял охваченный пламенем: ему было ужасно жарко, от огня или от любви — он и сам не знал. Краски с него совсем слезли, он весь полинял; кто знает отчего — от дороги или от горя? Он смотрел на танцовщицу, она на него,

и он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко, с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом и — конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выгребала из печки золу и нашла маленькое оловянное сердечко; от танцовщицы же осталась одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь.





## ДИКИЕ ЛЕБЕДИ



**Д**алеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. У него было одиннадцать сыновей и одна дочка, Элиза. Одиннадцать братьев-prinцев уже ходили в школу; на груди у каждого красовалась звезда, а сбоку гремела сабля; писали они на золотых досках алмазными грифельями и отлично умели читать, хоть по книжке, хоть наизусть — все равно. Сразу было слышно, что читают настоящие принцы! Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства.

Да, хорошо жилось детям, только недолго!

Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая невзлюбила бедных детей. Им пришлось испытать это в первый же день: во дворце шло веселье, и дети затеяли игру в гости, но мачеха вместо разных рожных и печеных яблок, которых они всегда получали вдоволь, дала им чайную чашку песка и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню каким-то крестьянам, а прошло еще немало времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.

— Летите-ка подобру-поздорову на все четыре стороны! — сказала злая королева. — Летите большими птицами без голоса и промышляйте о себе сами!

Но она не могла сделать им такого зла, как бы ей хотелось, — они превратились в одиннадцать прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из дворцовых окон и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись летать над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто не слышал и не видел их; так им и пришлось улететь ни с чем. Высоко-высоко взвились они к самым облакам и полетели в большой, темный лес, что тянулся до самого моря.

Бедняжка Элиза стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком — других игрушек у нее не было; она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев; когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи.

Дни шли за днями, один как другой. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» — розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли в воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтырь, а ветер переворачивал листы, говоря книге: «Есть ли кто набожнее тебя?» — книга отвечала: «Элиза набожнее!» И розы и псалтырь говорили сущую правду.

Но вот Элизе минуло пятнадцать лет, и ее отправили домой. Увидав, какая она хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь.

И вот рано утром королева пошла в мраморную, всю убранную чудными коврами и мягкими подушками купальню, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой:



— Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню; пусть она станет такою же тупой и ленивой, как ты! А ты сядь ей на лоб! — сказала она другой. — Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и отец не узнает ее! Ты же ляг ей на сердце! — шепнула королева третьей жабе. — Пусть она станет злой и мучится от этого!

Затем она спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь; но Элиза даже не заметила этого, и, как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы; девушка была так набожна и невинна, что колдовство никак не могло подействовать на нее.

Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ей личико вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек, но кто же стал бы слушать бедных тварей!

Заплакала Элиза и подумала о своих выгнанных братьях, тайком ушла из дворца и целый день брела по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так истосковалась по своим братьям, которые тоже были изгнаны из родного дома, что решила искать их повсюду, пока не найдет.

Недолго пробыла она в лесу, как уже настала ночь, и Элина совсем сбилась с дороги; тогда она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пень. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали, точно зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем.

Всю ночь снились Элизе братья: все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стояла полкоролевства. Но писали они на досках не черточки и нулики, как бывало прежде, — нет, они описывали все, что видели и пережили. Все картины в книжке были живые: птицы распевали, а люди сходили со страниц

и разговаривали с Элизой и ее братьями; но стоило ей захотеть перевернуть лист, — они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница.

Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко; она даже не могла хорошенько видеть его за густою листвою деревьев, но отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве; от зелени шел чудный запах, а птички чуть не садились Элизе на плечи. Невдалеке слышалось журчание источника; оказалось, что тут бежало несколько больших ручьев, вливавшихся в пруд с чудным песчаным дном. Пруд был окружен живой изгородью, но в одном месте дикие олени проломали для себя широкий проход, и Элиза могла спуститься к самой воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная; не шевели ветер ветвей деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья и кусты нарисованы на дне, так ясно они отражались в зеркале вод.

Увидав в воде свое лицо, Элиза совсем перепугалась, такое оно было черное и гадкое; но вот она зачерпнула горстью воды, потеряла глаза и лоб, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась совсем и вошла в прохладную воду. Такой хорошенькой принцессы поискать было по белу свету!

Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику, напилась воды прямо из пригоршни и потом пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она думала о своих братьях и надеялась, что бог не покинет ее: это он ведь повелел расти диким лесным яблокам, чтобы напитать ими голодных; он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в самую чашу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршанье каждого сухого листка, попадавшего ей под ноги. Ни единой птички не залетало в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь сплошную чашу ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены; никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой.

Ночью стало еще темнее; во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись и на нее глянул добрыми очами сам господь бог;



маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук.

Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву.

Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой ягод; старушка дала девушке горсточку ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут, по лесу, одиннадцатый принцев.

— Нет, — сказала старушка, — но вчера я видела здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простирившие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и они все же добивались своего.

Элиза простилась со старушкой и пошла к устью реки, впадавшей в открытое море.

И вот перед молодой девушкой открылось чудное безбрежное море, но на всем его просторе не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла пуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем, — вода отшлифовала их так, что они стали совсем гладкими и круглыми. Все остальные выброшенные морем предметы: стекло, железо и камни — тоже носили следы этой шлифовки, а между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала: «Волны неустанно катятся одна за другой и наконец шлифуют самые твердые предметы. Буду же и я трудиться неустанно! Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны! Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем сухих водорослях лежали одиннадцать белых лебединых перьев; Элиза собрала и связала их в пучок; на перьях еще блестели капли — росы или слез, кто знает? Пустынно было на берегу, но Элиза не чувствовала этого: море представляло собою вечное разнообразие; в несколько часов тут можно было насмотреться больше, чем в целый год где-нибудь на берегах пресных внутренних озер. Если на небо надвигалась боль-

шая черная туча и ветер крепчал, море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть!» — начинало бурлить, волноваться и покрывалось белыми барашками. Если же облака были розоватого цвета, а ветер спал, — море было похоже на лепесток розы; иногда оно становилось зеленым, иногда белым; но какая бы тишь ни стояла в воздухе и как бы спокойно ни было само море, у берега постоянно было заметно легкое волнение, — вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка.

Когда солнце было близко к закату, Элиза увидела вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах; всех лебедей было одиннадцать, и летели они один за другим, вытянувшись длинною белою лентой. Элиза взобралась на верх обрыва и спряталась за куст. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали своими большими белыми крыльями.

В ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперение с лебедей вдруг спало, и на земле очутились одиннадцать красавцев принцев, Элизиных братьев! Элиза громко вскрикнула; она сразу узнала их, несмотря на то, что они успели сильно измениться; сердце подсказало ей, что это они! Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидав и узнав сию сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха.

— Мы, братья, — сказал самый старший, — летаем в виде диких лебедей весь день, от восхода до самого заката солнечного; когда же солнце заходит, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю: случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем же мы не тут; далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна, приходится перелетать через все море, а по пути нет ни единого острова, где бы мы могли провести ночь. Только по самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как и можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим бога и за такое пристанище: не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины — и теперь-то

для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину; мы можем оставаться здесь одиннадцать дней и летать над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились и где живет наш отец, и колокольню церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными; тут по равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, и здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка! Два дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны улететь за море, в чудную, но не родную нам страну! Как же нам взять тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки!

— Как бы мне освободить вас от чар? — спросила братьев сестра.

Так они проговорили почти всю ночь и задремали только на несколько часов.

Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев; лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные, и, когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.

— Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь! — сказал младший брат. — Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Мои руки довольно сильны, чтобы пронести тебя через лес, — неужели же мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море?

— Да, возьмите меня с собой! — сказала Элиза.

Всю ночь провели они за плетением сетки из гибкого лозняка и тростника; сетка вышла большая и прочная; в нее положили Элизу; превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвились с милой, спавшей еще крепким сном, сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая ее от солнца своими широкими крыльями.

Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву, так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежали ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных корней; их набрал и положил к ней самый младший из братьев, и она благодарно улыбнулась ему, — она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями.

Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако — настоящая гора! — и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Вот была картина! Таких ей еще не приходилось видеть! Но по мере того как солнце подымалось выше и облако оставалось все дальше и дальше позади, воздушные тени мало-помалу исчезли.

Целый день летели лебеди, как пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного; теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру, поднялась непогода; Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце, — одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди как-то усиленно машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее! Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут! И она от всего сердца стала молиться богу, но утес все не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу; молния сверкала за молнией.

Одним своим краем солнце почти уже касалось воды; сердце Элизы затрепетало; лебеди вдруг полетели вниз с невероятною быстротой, и девушка подумала уже, что все они падают; но нет, они опять продолжали лететь. Солнце наполовину скрылось под водой, и тогда только Элиза увидела под собой утес, величиною не больше тюлена; высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало; теперь оно казалось только небольшою блестящею звездочкой; но вот лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку; все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем

брызг; небо пылало от молний, и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливавший в их сердца утешение и мужество.

На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо; с восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, точно несметные стаи лебедей, белая пена.

Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну с массами блестящего льда на скалах; между скалами возвышался огромный замок, обвитый какими-то смелыми воздушными галереями из колонн; внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы, величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не это ли та страна, куда они летят, но лебеди покачали головами: она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок фата-морганы; туда они не смели принести ни единой человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, и из них образовались двадцать одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Теперь церкви были совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей; Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины! Но вот наконец показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами, — так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями.

— Посмотрим, что приснится тебе тут ночью! — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню.

— Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар! — сказала она, и эта мысль так и не выходила у нее из головы.

Элиза стала усердно молиться богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку фата-морганы и что фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и пре-



красная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах.

— Твоих братьев можно спасти, — сказала она. — Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук и все-таки шлифует камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы; у воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться; заметь же ее! Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов; потом разомнешь ее ногами, ссучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетишь из них одиннадцать рубашек-панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей; тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть будут в твоих руках! Помни же все это!

И фея коснулась ее руки жгучею крапивой; Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу.

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль: только бы удалось ей спасти милых братьев! Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно.

С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал; слезы его падали ей на руки, и там, куда упала слезинка, исчезали жгучие волдыри, утихла боль.

Ночь Элиза провела за своей работой; отдых не шел ей на ум; она думала только о том, как бы поскорее

освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна-одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка-панцирь была готова, и девушка принялась за следующую.

Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов; Элиза испугалась; звуки все приближались, затем раздались лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пучок и села на него.

В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья; они громко лаяли и бегали взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники; самый красивый из них был король той страны; он подошел к Элизе, — никогда еще не встречал он такой красавицы!

— Как ты попала сюда, прелестное дитя? — спросил он, но Элиза только покачала головой; она ведь не смела говорить: от ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидел, как она страдает.

— Пойдем со мной! — сказал он. — Здесь тебе нельзя оставаться! Если ты так добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце! — И он посадил ее на седло перед собой; Элиза плакала и ломала себе руки, но король сказал: — Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня!

И повез ее через горы, а охотники скакали следом.

К вечеру показалась великолепная столица короля, с церквами и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были изукрашены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что, плакала и тосковала; безучастно отдалась она в распоряжение прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки.

Богатые уборы так шли к ней, она была в них так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой, хотя архиепископ и покачивал головой, нашептывая королю, что

лесная красавица, должно быть, ведьма, что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля.

Король, однако, не стал его слушать, подал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои, она же оставалась по-прежнему грустной и печальной. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу; на полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка-панцирь; все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников.

— Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище! — сказал король. — Тут и работа твоя; может быть, ты пожелаешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом!

Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела; она подумала о спасении братьев и поцеловала у короля руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой.

Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля, и свадьба состоялась. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону; с досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно, но она даже не обратила на это внимания: что значила для нее телесная боль, если сердце ее изнывало от тоски и жалости к милым братьям! Губы ее по-прежнему были сжаты, ни единого слова не вылетело из них — она знала, что от ее молчания зависит жизнь братьев, — зато в глазах светилась горячая любовь к доброму красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О! Если бы она могла довериться ему, высказать ему свои страдания, но — увы! — она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку-панцирь за другой, но когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно.

Она знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но ведь она должна была рвать ее сама, как же быть?

«О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающею мое сердце! — думала Элиза. — Я должна решиться! Господь не оставит меня!»

Сердце ее сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунною ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы; они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. Элизе пришлось пройти мимо них, и они так и тарасили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой.

Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее — архиепископ; теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву; итак, она была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ.

Когда король пришел к нему в исповедальню, архиепископ рассказал ему о том, что видел и что подозревал; злые слова так и сыпались у него с языка, а резные изображения святых качали головами, точно хотели сказать: «Неправда, Элиза невинна!» Но архиепископ перетолковывал это по-своему, говоря, что и святые свидетельствуют против нее, неодобрительно качая головами. Две крупные слезы покатались по щекам короля, сомнение и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит, на самом же деле сон бежал от него. И вот он увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни; в следующие ночи повторилось то же самое; он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потаенной комнате.

Чело короля становилось все мрачнее и мрачнее; Элиза замечала это, но не понимала причины; сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям; на королевский пурпур катились горькие слезы, блестящие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые уборы, желали быть на месте королевы! Но скоро-скоро конец ее работе; недоставало всего одной рубашки, и тут у Элизы опять не хватило волокна. Еще раз, последний раз, нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Она с ужа-

сом подумала о пустынном кладбище и о страшных ведьмах; но решимость ее спасти братьев была непоколебима, как и вера в бога.

Элиза отправилась, но король с архиепископом следили за ней и увидели, как она скрылась за кладбищенскою оградой; подойдя поближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм, и король повернул назад: между этими ведьмами находилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди!

— Пусть судит ее народ! — сказал он.

И народ присудил — сжечь королеву на костре.

Из великолепных королевских покоев Элизу перевели в мрачное, сырое подземелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врывается ветер. Вместо бархата и шелка дали бедняжке связку набранной ею на кладбище крапивы; эта жгучая связка должна была служить Элизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие рубашки-панцири — постелью и коврами; но дороже всего этого ей ничего и не могли дать, и она с молитвой на устах вновь принялась за свою работу. С улицы доносились до Элизы оскорбительные песни насмехавшихся над нею уличных мальчишек; ни одна живая душа не обратилась к ней со словом утешения и сочувствия.

Вечером у решетки раздался шум лебединых крыл — это отыскала сестру самый младший из братьев, и она громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь; зато работа ее подходила к концу, и братья были тут!

Архиепископ пришел провести с нею ее последние часы, — так обещал он королю, — но она покачала головой и взором и знаками попросила его уйти; в эту ночь ей ведь нужно было кончить свою работу, иначе пропали бы даром все ее страдания, и слезы, и бессонные ночи! Архиепископ ушел, понося ее бранными словами, но бедняжка Элиза знала, что она невинна, и продолжала работать.

Чтобы хоть немножко помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своею веселою песенкой.

На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились одиннадцать братьев Элизы и потребовали,

чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя: король еще спал и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать; явилась стража, а затем вышел и сам король узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и никаких братьев больше не было — над дворцом взвились одиннадцать диких лебедей.

Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза; на нее накинули плащ из грубой мешковины; ее чудные длинные волосы были распущены по плечам, в лице не было ни кровинки, губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы; десять рубашек-панцирей лежали у ее ног совсем готовые, одиннадцатую она плела. Толпа глумилась над нею.

— Посмотрите на ведьму! Ишь, бормочет! Небось не молитвенник у нее в руках — нет, все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее да разорвем в клочки.

И они теснились вокруг нее, собираясь вырвать из ее рук работу, как вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила.

— Это знамение небесное! Она невинна, — шептали многие, но не смели сказать этого вслух.

Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно набросила на лебедей одиннадцать рубашек, и... перед ней встали одиннадцать красавцев принцев, только у самого младшего не хватало одной руки, вместо нее было лебединое крыло: Элиза не успела закончить последней рубашки, и в ней недоставало одного рукава.

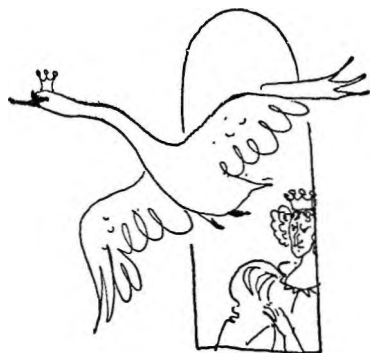
— Теперь я могу говорить! — сказала она. — Я невинна!

И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой, но она без чувств упала в объятия братьев — так действовали на нее неустанное напряжение сил, страх и боль.

— Да, она невинна! — сказал самый старший брат и рассказал все, как было; и пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, точно от множества роз — это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и образовался высокий благоухающий куст, покрытый крас-

ными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и на счастье!

Все церковные колокола зазвонили сами собой, птицы слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное шествие, какого не видал еще ни один король!





## РАЙСКИЙ САД



**Ж**

ил-был принц; ни у кого не было столько хороших книг, как у него; он мог прочесть в них обо всем на свете, обо всех странах и народах, и все было изображено в них на чудесных картинках. Об одном только не было сказано ни слова: о том, где находится Райский сад, а вот это-то как раз больше всего и интересовало принца.

Когда он был еще ребенком и только что принимался за азбуку, бабушка рассказывала ему, что каждый цветок в Райском саду — сладкое пирожное, а тычинки налиты тончайшим вином; в одних цветах лежит история, в других — география или таблица умножения; стоило съесть такой цветок-пирожное — и урок выучивался сам собой. Чем больше, значит, кто-нибудь ел пирожных, тем больше узнавал из истории, географии и арифметики!

В то время принц еще верил всем таким рассказам, но по мере того как подрастал, учился и делался умнее, стал понимать, что в Райском саду должны быть совсем другие прелести.



— Ах, зачем Ева послушалась змия! Зачем Адам вкусил запретного плода! Будь на их месте я, никогда бы этого не случилось, никогда бы грех не проник в мир!

Так говорил он не раз и повторял то же самое теперь, когда ему было уже семнадцать лет; Райский сад заполнял все его мысли.

Раз пошел он в лес один-одинешенек, — он очень любил гулять один. Дело было к вечеру; набежали облака, и полил такой дождь, точно небо было одною сплошною плотиною, которую вдруг прорвало и из которой зараз хлынула вся вода; настала такая тьма, какая бывает разве только ночью на дне самого глубокого колодца. Принц то скользил по мокрой траве, то спотыкался о голые камни, торчавшие из скалистой почвы; вода лила с него ручьями; на нем не оставалось сухой нитки. То и дело приходилось ему перебираться через огромные глыбы, обросшие мхом, из которого сочилась вода. Он уже чуть не падал от усталости, как вдруг услышал какой-то странный свист и увидел перед собой большую освещенную пещеру. Посреди пещеры был разведен огонь, над которым можно было изжарить целого оленя; да так оно и было: на вертеле, укрепленном между двумя срубленными соснами, жарился огромный олень с большими ветвистыми рогами. У костра сидела пожилая женщина, такая крепкая и высокая, словно это был переодетый мужчина, и подбрасывала в огонь одно полено за другим.

— Войди, — сказала она. — Сядь у огня и обсушись.

— Здесь ужасный сквозняк, — сказал принц, подсев к костру.

— Ужо, как вернутся мои сыновья, еще хуже будет! — отвечала женщина. — Ты ведь в пещере ветров; мои четверо сыновей — ветры. Понимаешь?

— А где твои сыновья?

— На глупые вопросы не легко отвечать! — сказала женщина. — Мои сыновья не на помочах ходят! Играют, верно, в лапту облаками, там, в большой зале!

И она указала пальцем на небо.

— Вот как! — сказал принц. — Вы выражаетесь несколько резко, не так, как женщины нашего круга, к которым я привык.

— Да тем, верно, и делать-то больше нечего! А мне приходится быть резкой и суровой, если хочу держать в повиновении моих сыновей! А я держу их в руках, даром

что они у меня упрямые головы! Видишь, вон те четыре мешка, что висят на стене? Сыновья мои боятся их так же, как ты, бывало, боялся пучка розог, заткнутого за зеркало! Я гну их в три погибели и сажаю в мешок без всяких церемоний! Они и сидят там, пока я не смилююсь! Но вот один уж пожаловал!

Это был Северный ветер. Он внес с собой в пещеру леденящий холод; поднялась метель, и по земле запрыгал град. Одет он был в медвежьи штаны и куртку; на уши спускалась шапка из тюленьей шкуры; на бороде висели ледяные сосульки, а с воротника куртки скаты-валились градины.

— Не подходите сразу к огню! — сказал принц. — Вы отморозите себе лицо и руки!

— Отморозю! — сказал Северный ветер и громко захохотал. — Отморозю! Да лучше мороза, по мне, нет ничего на свете! А ты что за кислятина? Как ты попал в пещеру ветров?

— Он мой гость! — сказала старуха. — А если тебе этого объяснения мало, можешь отправляться в мешок! Понимаешь?

Угроза подействовала, и Северный ветер рассказал, откуда он явился и где пробыл почти целый месяц.

— Я прямо с Ледовитого океана! — сказал он. — Был на Медвежьем острове, охотился на моржей с русскими промышленниками. Я сидел и спал на руле, когда они отплывали с Нордкапа; просыпаясь время от времени, я видел, как под ногами у меня шныряли буревестники. Презабавная птица! Ударит раз крыльями, а потом распластает их, да так и держится на них в воздухе долго-долго!..

— Нельзя ли покороче! — сказала мать. — Ты, значит, был на Медвежьем острове, что же дальше?

— Да, был. Там чудесно! Вот так пол для пляски! Ровный, гладкий, как тарелка! Повсюду рыхлый снег пополам со мхом, острые камни да остовы моржей и белых медведей, покрытые зеленой плесенью, — ну, словно кости великанов! Солнце, право, туда никогда, кажется, и не заглядывало. Я слегка подул и разогнал туман, чтобы рассмотреть какой-то сарай; оказалось, что это было жилье, построенное из корабельных обломков и покрытое моржовыми шкурами, вывернутыми наизнанку; на крыше сидел белый медведь и ворчал. Потом я пошел на берег, видел там птичьи гнезда, а в них голых птенцов; они пицали и разе-

вали рты; я взял да и дунул в эти бесчисленные глотки — небось живо отучились смотреть разинув рот! У самого моря играли, будто живые кишки или исполинские черви с свиными головами и аршинными клыками, моржи!

— Славно рассказываешь, сынок! — сказала мать. — Просто слюнки текут, как послушаешь!

— Ну, а потом началась ловля! Как всадят гарпун моржу в грудь, так кровь и брызнет фонтаном на лед! Тогда и я задумал себя потешить, завел свою музыку и велел моим кораблям — ледяным горам — сдавить лодки промышленников. У! Вот пошел свист и крик, да меня не пересвистишь! Пришлось им выбрасывать убитых моржей, ящики и снасти на льдины! А я вытряхнул на них целый ворох снежных хлопьев и погнал их стиснутые льдами



суда к югу — пусть похлебают соленькой водицы! Не вернуться им на Медвежий остров!

— Так ты порядком набедокурил! — сказала мать.

— О добрых делах моих пусть расскажут другие! — сказал он. — А вот и брат мой с запада! Его я люблю больше всех: он пахнет морем и дышит благодатным холодком.

— Так это маленький зефир? — спросил принц.

— Зефир-то зефир, только не из маленьких! — сказала старуха. — В старину и он был красивым мальчуганом, ну, а теперь не то!

Западный ветер выглядел дикарем; на нем была мягкая, толстая, предохраняющая голову от ударов и ушибов шапка, а в руках палица из красного дерева, срубленного в американских лесах, на другую он бы не согласился!

— Где был? — спросила его мать.

— В девственных лесах, где между деревьями повисли целые изгороди из колючих лиан, а во влажной траве лежат огромные ядовитые змеи и где, кажется, нет никакой надобности в человеке! — отвечал он.

— Что ж ты там делал?

— Смотрел, как низвергается со скалы большая, глубокая река, как поднимается от нее к облакам водяная пыль, служащая подпорой радуге. Смотрел, как переплывал реку дикий буйвол; течение увлекало его с собой, и он плыл вниз по реке вместе со стаей диких уток, но те вспорхнули перед самым водопадом, а буйволу пришлось полететь головой вниз; это мне понравилось, и я учинил такую бурю, что вековые деревья поплыли по воде и превратились в щепки.

— И это все? — спросила старуха.

— Еще я кувыркался в саваннах, гладил диких лошадей и рвал кокосовые орехи! О, у меня много о чем найдется порассказать, но не все же говорить, что знаешь. Так-то, старая!

И он так поцеловал мать, что та чуть не опрокинулась навзничь; такой уж он был необузданный парень.

Затем явился Южный ветер в чалме и развевающимся плаще бедуинов.

— Экая у вас тут стужа! — сказал он и подбросил в костер дров. — Видно, что Северный первым успел пожаловать!

— Здесь такая жарница, что можно изжарить белого медведя! — возразил тот.

— Сам-то ты белый медведь! — сказал Южный.

— Что, в мешок захотели? — спросила старуха. — Садись-ка вот тут на камень да рассказывай, откуда ты.

— Из Африки, матушка, из земли кафров! — отвечал Южный ветер. — Охотился на львов с готтентотами! Какая трава растет там на равнинах! Чудесного оливкового цвета! Сколько там антилоп и страусов! Антилопы плясали, а страусы бегали со мной наперегонки, да я быстрее их на ногу! Я дошел и до желтых песков пустыни — она похожа на морское дно. Там настиг я караван. Люди зарезали последнего своего верблюда, чтобы из его желудка добыть воды для питья, да немногим пришлось им поживиться! Солнце пекло их сверху, а песок поджаривал снизу. Конца не было безграничной пу-

стыне! А я принялся валяться по мелкому, мягкому песку и крутить его огромными столбами; вот так пляска пошла! Посмотрела бы ты, как столпились в кучу драмадеры, а купец накинул на голову капюшон и упал передо мною ниц, точно перед своим аллахом. Теперь все они погребены под высокой пирамидой из песка. Если мне когда-нибудь вздумается смести ее прочь, солнце выбелит их кости, и другие путники по крайней мере увидят, что тут бывали люди, а то трудно и поверить этому, глядя на голую пустыню!

— Ты, значит, только и делал одно зло! — сказала мать. — Марш в мешок!

И не успел Южный ветер опомниться, как мать схватила его за пояс и упрятала в мешок; он было принялся кататься в мешке по полу, но она уселась на него, и ему пришлось лежать смиренно.

— Бойкие же у тебя сыновья! — сказал принц.

— Ничего себе! — отвечала она. — Да я умею управляться с ними! А вот и четвертый!

Это был Восточный ветер, одетый китайцем.

— А, ты оттуда! — сказала мать. — Я думала, что ты был в Райском саду.

— Туда я полечу завтра! — сказал Восточный ветер. — Завтра будет ведь ровно сто лет, как я не был там! Теперь же я прямо из Китая, плясал на фарфоровой башне, так что все колокольчики звенели! Внизу, на улице, наказывали чиновников; бамбуковые трости так и гуляли у них по плечам, а это все были мандарины от первой до девятой степени! Они кричали: «Великое спасибо тебе, отец и благодетель!» — про себя же думали совсем другое. А я в это время звонил в колокольчики и припевал: «Тзинг, тзанг, тзу!»

— Шалун! — сказала старуха. — Я рада, что ты завтра отправляешься в Райский сад, это путешествие всегда приносит тебе большую пользу. Напейся там из источника Мудрости, да зачерпни из него полную бутылку воды и для меня!

— Хорошо! — сказал Восточный ветер. — Но за что ты посадила в мешок брата Южного? Выпусти его! Он мне расскажет про птицу Феникс, о которой все спрашивает принцесса Райского сада. Развяжи мешок, милая, дорогая мамаша, а я подарю тебе целых два кармана зеленого свежего чаю, только что с куста!

— Ну, разве за чай, да еще за то, что ты мой любимчик, так и быть, развяжу его!

И она развязала мешок; Южный ветер вылез оттуда с видом мокрой курицы: еще бы, чужой принц видел, как его наказали.

— Вот тебе для твоей принцессы пальмовый лист! — сказал он Восточному. — Я получил его от старой птицы Феникс, единственной в мире; она начертила на нем клювом историю своей столетней земной жизни. Теперь принцесса может прочесть обо всем, что ей захотелось знать. Птица Феникс на моих глазах сама подожгла свое гнездо и была охвачена пламенем, как индийская вдова! Как затрещали сухие ветки, какие пошли от них дым и благоухание! Наконец пламя пожрало все, и старая птица Феникс превратилась в пепел, но снесенное ею яйцо, горевшее в пламени, как жар, вдруг лопнуло с сильным треском, и оттуда вылетел молодой Феникс. Он проклюнул на этом пальмовом листе дырочку: это его поклон принцессе!

— Ну, теперь пора нам подкрепиться немножко! — сказала мать ветров.

Все уселись и принялись за оленя. Принц сидел рядом с Восточным ветром, и они скоро стали друзьями.

— Скажи-ка ты мне, — спросил принц у соседа, — что это за принцесса, про которую вы столько говорили, и где находится Райский сад?

— Ого! — сказал Восточный ветер. — Коли хочешь побывать там, полетим завтра вместе! Но я должен тебе сказать, что со времен Адама и Евы там не бывало ни единой человеческой души! А что было с ними, ты, наверное, уж знаешь?

— Знаю! — сказал принц.

— После того как они были изгнаны, — продолжал Восточный, — Райский сад ушел в землю, но в нем царит прежнее великолепие, по-прежнему светит солнце и в воздухе разлиты необыкновенные свежесть и аромат! Теперь в нем обитает королева фей. Там же находится чудно-прекрасный остров Блаженства, куда никогда не заглядывает Смерть! Сядешь мне завтра на спину, и я снесу тебя туда. Я думаю, что это удастся. А теперь не болтай больше, я хочу спать!

И все заснуло.

На заре принц проснулся, и ему сразу стало жутко: оказалось, что он уже летит высоко-высоко под облаками! Он сидел на спине у Восточного ветра, и тот добросовестно

держал его, но принцу все-таки было боязно: они неслись так высоко над землею, что леса, поля, реки и моря казались нарисованными на огромной раскрашенной карте.

— Здравствуй! — сказал принцу Восточный ветер. — Ты мог бы еще поспать, смотреть-то пока не на что! Разве церкви вздумалешь считать! Видишь, сколько их? Стоят, точно меловые точки на зеленой доске!

Зеленою доской он называл поля и луга.

— Как это вышло невежливо, что я не простился с твоею матерью и твоими братьями! — сказал принц.

— Сонному приходится извинить! — сказал Восточный ветер, и они полетели еще быстрее; это было заметно по тому, как шумели под ними верхушки лесных деревьев, как вздымались морские волны и как глубоко ныряли в них грудью, точно лебеди, корабли.

Под вечер, когда стемнело, было очень забавно смотреть на большие города, в которых то там, то сям вспыхивали огоньки, — казалось это перебегают по зажженной бумаге мелкие искорки, словно дети бегут домой из школы. И принц, глядя на это зрелище, захолопал в ладоши, но Восточный ветер попросил его вести себя потише да держаться покрепче — не мудрено ведь было и свалиться да повиснуть на каком-нибудь башенном шпиле.

Быстро и легко несся на своих могучих крыльях дикий орел, но Восточный ветер несся еще легче, еще быстрее; по равнине вихрем мчался казак на своей маленькой лошадке, да куда ему было угнаться за принцем!

— Ну вот тебе и Гималаи! — сказал Восточный ветер. — Это высочайшая горная цепь в Азии; скоро мы доберемся и до Райского сада!

Они свернули к югу, и вот в воздухе разлились сильный пряный аромат и благоухание цветов. Финики, гранаты и виноград с синими и красными ягодами росли здесь. Восточный ветер спустился с принцем на землю, и оба улеглись отдохнуть в мягкую траву, где росло множество цветов, кивавших им головками, как бы говоря: «Милости просим!»

— Мы уже в Райском саду? — спросил принц.

— Ну что ты! — отвечал Восточный ветер. — Но скоро попадем и туда! Видишь эту отвесную, как стена, скалу и в ней большую пещеру, над входом которой спускаются, будто зеленый занавес, виноградные лозы? Мы должны пройти через эту пещеру! Завернись хорошенько в плащ:



тут палит солнце, но один шаг — и нас охватит мороз. У птицы, пролетающей мимо пещеры, одно крыло чувствует летнее тепло, а другое — зимний холод!

— Так вот она, дорога в Райский сад! — сказал принц.

И они вошли в пещеру. Брр... как им стало холодно! Но, к счастью, ненадолго.

Восточный ветер распростер свои крылья, и от них разлился свет, точно от яркого пламени. Нет, что это была за пещера! Над головами путников нависали огромные, имевшие самые причудливые формы каменные глыбы, с которых капала вода. Порой проход так суживался, что им приходилось пробираться ползком, иногда же своды пещеры опять поднимались на недосягаемую высоту, и путники шли точно на вольном просторе под открытым небом. Пещера казалась какою-то гигантскою усыпальницей с немymi органами трубами и знаменами, выточенными из камня.

— Мы идем в Райский сад дорогой смерти! — сказал принц, но Восточный ветер не ответил ни слова и указал перед собою рукою: навстречу им струился чудный голубой свет; каменные глыбы мало-помалу стали редеть, таять и превращаться в какой-то туман. Туман становился все более и более прозрачным, пока наконец не стал походить на пушистое белое облачко, сквозь которое просвечивает месяц. Тут они вышли на вольный воздух — чудный, мягкий воздух, свежий, как на горной вершине и благоуханный, как в долине роз.



Тут же струилась река; вода в ней спорила прозрачностью с самим воздухом. А в реке плавали золотые и серебряные рыбки, и пурпурово-красные угри сверкали при каждом движении голубыми искрами; огромные листья кувшинок пестрели всеми цветами радуги, а чашечки их горели желто-красным пламенем, поддерживаемым чистой водой, как пламя лампы поддерживается маслом. Через реку был переброшен мраморный мост такой тонкой и искусной работы, что, казалось, был сделан из кружев и бус; мост вел на остров Блаженства, на котором находился сам Райский сад.

Восточный ветер взял принца на руки и перенес его через мост. Цветы и листья пели чудесные песни, которые принц слышал еще в детстве, но теперь они звучали такую дивную музыкой, какой не может передать человеческий голос.

А это что? Пальмы или гигантские папоротники? Таких сочных, могучих деревьев принц никогда еще не видел. Диковинные ползучие растения обвивали их, спускались вниз, переплетались и образовывали самые причудливые, отливавшие по краям золотом и яркими красками гирлянды; такие гирлянды можно встретить разве только в заставках и начальных буквах старинных книг. Тут были и яркие цветы, и птицы, и самые затейливые завитушки. В траве сидела, блестя распущенными хвостами, целая стая павлинов. Да павлинов ли? Конечно, павлинов! То-то что нет: принц потрогал их, и оказалось, что это вовсе не птицы, а растения, огромные кусты репейника, блестящего самыми яркими красками! Между зелеными благоухающими кустами прыгали, точно гибкие кошки, львы и тигры; кусты пахли оливками, а звери были совсем ручные; дикая лесная голубка, с жемчужным отливом на перьях, хлопала льва крылышками по гриве, а антилопа, вообще такая робкая и пугливая, стояла возле них и кивала головой, словно давая знать, что и она не прочь поиграть с ними.

Но вот появилась сама фея; одежды ее сверкали, как солнце, а лицо сияло такою лаской и приветливою улыбкой, как лицо матери, радующейся на своего ребенка. Она была молода и чудо как хороша собой; ее окружали красавицы девушки с блестящими звездами в волосах.

Восточный ветер подал ей послание птицы Феникс. и глаза феи заблестали от радости. Она взяла принца за

руку и повела его в свой замок; стены замка были похожи на лепестки тюльпана, если их держать против солнца, а потолок был блестящим цветком, опрокинутым вниз чашечкой, углублявшейся тем больше, чем дольше в нее всматривались. Принц подошел к одному из окон, поглядел в стекло, и ему показалось, что он видит дерево познания добра и зла; в ветвях его пряталась змея, а возле стояли Адам и Ева.

— Разве они не изгнаны? — спросил принц.

Фея улыбнулась и объяснила ему, что на каждом стекле время начертало неизгладимую картину, озаренную жизнью: листья дерева шевелились, а люди двигались, — ну вот как бывает с отражениями в зеркале! Принц подошел к другому окну и увидел на стекле сон Иакова: с неба спускалась лестница, а по ней сходили и восходили ангелы с большими крыльями за плечами. Да, все, что было или совершилось когда-то на свете, по-прежнему жило и двигалось на оконных стеклах замка; такие чудесные картины могло начертать своим неизгладимым резцом лишь время.

Фея, улыбаясь, ввела принца в огромный, высокий покой, со стенами из прозрачных картин, — из них повсюду выглядывали головки, одна прелестнее другой. Это были сонмы блаженных духов; они улыбались и пели; голоса их сливались в одну дивную гармонию; самые верхние из них были меньше бутонов розы, если их нарисовать на бумаге в виде крошечных точек. Посреди этого покоя стояло могучее дерево, покрытое зеленью, в которой сверкали большие и маленькие золотистые, как апельсины, яблоки. То было дерево познания добра и зла, плодов которого вкусили когда-то Адам и Ева. С каждого листика капала блестящая красная роса, — дерево точно плакало кровавыми слезами.

— Сядем теперь в лодку! — сказала фея. — Нас ждет там такое угощенье, что чудо! Представь, лодка только покачивается на волнах, но не двигается, а все страны света сами проходят мимо!

И в самом деле, это было поразительное зрелище: лодка стояла, а берега двигались! Вот показались высокие снежные Альпы с облаками и темными сосновыми лесами на вершинах, протяжно-жалобно прозвучал рог, и раздалась звучная песня горного пастуха. Вот над лодкой свесились длинные гибкие листья бананов; поплыли

стаи черных как смоль лебедей; показались удивительнейшие животные и цветы, а вдаль поднялись голубые горы; это была Новая Голландия, пятая часть света. Вот послышалось пение жрецов, и под звуки барабанов и костяных флейт закружились в бешеной пляске толпы дикарей. Мимо проплыли вздымавшиеся к облакам египетские пирамиды, низверженные колонны и сфинксы, наполовину погребенные в песке. Вот осветились северным сиянием потухшие вулканы севера. Да, кто бы мог устроить



подобный фейерверк? Принц был вне себя от восторга: еще бы, он-то видел ведь во сто раз больше, чем мы тут рассказываем.

— И я могу здесь остаться навсегда? — спросил он.

— Это зависит от тебя самого! — отвечала фея. — Если ты не станешь добиваться запрещенного, как твой прародитель Адам, то можешь остаться здесь навеки!

— Я не дотронусь до плодов познания добра и зла! — сказал принц. — Тут ведь тысячи других прекрасных плодов!

— Испытай себя, и если борьба покажется тебе слишком тяжелою, улетай обратно с Восточным ветром, который вернется сюда опять через сто лет! Сто лет пролетят для тебя, как сто часов, но это довольно долгий срок, если дело идет о борьбе с греховным соблазном. Каждый вечер, расставаясь с тобой, буду я звать тебя: «Ко мне, ко мне!» Стану манить тебя рукой, но ты не тро-

гайся с места, не иди на мой зов; с каждым шагом тоска желания будет в тебе усиливаться и наконец увлечет тебя в тот покой, где стоит дерево познания добра и зла. Я буду спать под его благоухающими пышными ветвями, и ты наклонись, чтобы рассмотреть меня поближе; я улыбнусь тебе, и ты поцелуешь меня... Тогда Райский сад уйдет в землю еще глубже и будет для тебя потерян. Резкий ветер будет пронизывать тебя до костей, холодный дождь — мочить твою голову; горе и бедствия будут твоим уделом!

— Я остаюсь! — сказал принц.

Восточный ветер поцеловал принца в лоб и сказал:

— Будь тверд, и мы свидимся опять через сто лет! Прощай, прощай!

И Восточный ветер взмахнул своими большими крыльями, блеснувшими, как зарница во тьме осенней ночи или как северное сияние во мраке полярной зимы.

— Прощай! Прощай! — запели все цветы и деревья. Стаи аистов и пеликанов полетели, точно развевающиеся ленты, проводить Восточного ветра до границ сада.

— Теперь начнутся танцы! — сказала фея. — Но на закате солнца, танцуя с тобой, я начну манить тебя рукой и звать: «Ко мне! Ко мне!» Не слушай же меня! В продолжение ста лет каждый вечер будет повторяться то же самое, но ты с каждым днем будешь становиться все сильнее и сильнее и под конец перестанешь даже обращать на мой зов внимание. Сегодня вечером тебе предстоит выдержать первое испытание! Теперь ты предупрежден!

И фея повела его в обширный покой из белых прозрачных лилий с маленькими, игравшими сами собою, золотыми арфами вместо тычинок. Прелестные стройные девушки в прозрачных одеждах понеслись в воздушной пляске и запели о радостях и блаженстве бессмертной жизни в вечно цветущем Райском саду.

Но вот солнце село, небо засияло, как расплавленное золото, и на лилии упал розовый отблеск. Принц выпил пенистого вина, поднесенного ему девушками, и почувствовал прилив несказанного блаженства. Вдруг задняя стена покоя раскрылась, и принц увидел дерево познания добра и зла, окруженное ослепительным сиянием; из-за дерева неслась тихая, ласкающая слух песня; ему почудился голос его матери, певшей: «Дитя мое! Мое милое, дорогое дитя!»

И фея стала манить его рукой и звать нежным голосом: «Ко мне, ко мне!» Он двинулся за нею, забыв свое обещание в первый же вечер! А она все манила его и улыбалась... Пряный аромат, разлитый в воздухе, становился все сильнее; арфы звучали все слаще; казалось, что это пели хором сами блаженные духи: «Все нужно знать! Все надо изведать! Человек — царь природы!» Принцу показалось, что с дерева уже не капала больше кровь, а сыпались красные блестящие звездочки. «Ко мне! Ко мне!» — звучала воздушная мелодия, и с каждым шагом щеки принца разгорались, а кровь волновалась все сильнее и сильнее.

— Я должен идти! — говорил он. — В этом ведь нет и не может еще быть греха! Зачем убегать от красоты и наслаждения? Я только полюбуюсь, посмотрю на нее спящую! Я ведь не поцелую ее! Я достаточно тверд и смею совладать с собой!

Сверкающий плащ упал с плеч феи; она раздвинула ветви дерева и в одно мгновение скрылась за ним.

— Я еще не нарушил обещания! — сказал принц. — И не хочу его нарушать!

С этими словами он раздвинул ветви... Фея спала такая прелестная, какую может быть только фея Райского сада. Улыбка играла на ее устах, но на длинных ресницах дрожали слезинки.

— Ты плачешь из-за меня? — прошептал он. — Не плачь, очаровательная фея! Теперь только я понял райское блаженство; оно течет огнем в моей крови, воспламеняет мысли, я чувствую неземную силу и мощь во всем своем существе!.. Пусть же настанет для меня потом вечная ночь — одна такая минута дороже всего в мире!

И он поцеловал слезы, дрожавшие на ее ресницах, уста его прикоснулись к ее устам.

Раздался страшный удар грома, какого не слышал еще никогда никто, и все смешалось в глазах принца; фея исчезла, цветущий Райский сад ушел глубоко в землю. Принц видел, как он исчезал во тьме непроглядной ночи, и вот от него осталась только маленькая сверкающая вдали звездочка. Смертный холод сковал его члены, глаза закрылись, и он упал как мертвый.

Холодный дождь мочил ему лицо, резкий ветер леденил голову, и он очнулся.

— Что я сделал! — вздохнул он. — Я нарушил свой обет, как Адам, и вот Райский сад ушел глубоко в землю!

Он открыл глаза; вдали еще мерцала звездочка, последний след исчезнувшего рая. Это сияла на небе утренняя звезда.

Принц встал; он был опять в том же лесу, у пещеры ветров; возле него сидела мать ветров. Она сердито посмотрела на него и грозно подняла руку.

— В первый же вечер! — сказала она. — Так я и думала! Да, будь ты моим сыном, сидел бы ты теперь в мешке!

— Он еще попадет туда! — сказала Смерть — это был крепкий старик с косою в руке и большими черными крыльями за спиной. — И он уляжется в гроб, хоть и не сейчас. Я лишь отмечу его и дам ему время пострадать по белу свету и искупить свой грех добрыми делами! Потом я приду за ним в тот час, когда он меньше всего будет ожидать меня, упрячу его в черный гроб, поставлю себе на голову и отнесу его вон на ту звезду, где тоже цветет Райский сад; если он окажется добрым и благочестивым, он вступит туда, если же его мысли и сердце будут по-прежнему полны греха, гроб опустится с ним еще глубже, чем опустился Райский сад. Но каждую тысячу лет я буду приходить за ним, для того чтобы он погрузился еще глубже, или остался бы навеки на сияющей небесной звезде!





## СУНДУК-САМОЛЕТ

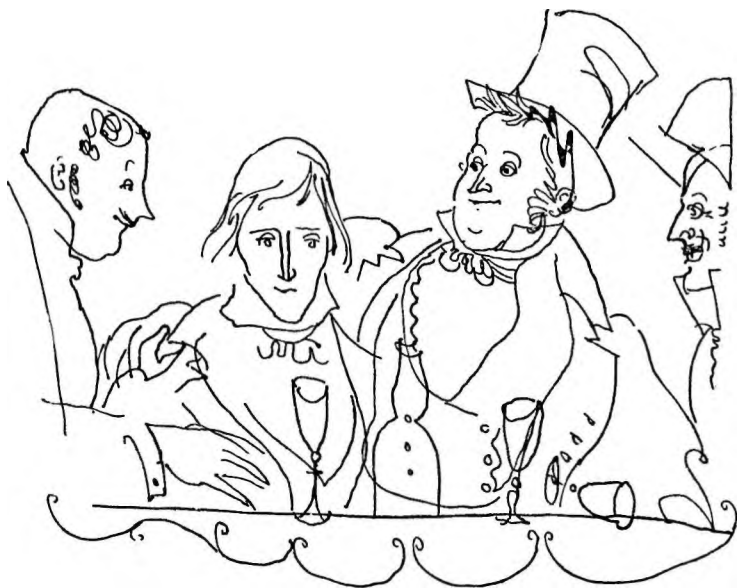


**Ж**

ил-был купец, такой богат, что мог бы вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулочек в придачу; этого, однако, он не делал, — он знал, куда девать деньги, и уж если расходовал скиллинг, то наживал целый далер. Так вот какой был купец! Но вдруг он умер, и все денежки достались его сыну.

Весело зажил сын купца: каждую ночь — в маскараде, змеев пускал из кредитных бумажек, а круги по воде — вместо камешков золотыми монетами. Не мудрено, что денежки прошли у него между пальцев и под конец из всего наследства осталось только четыре скиллинга, и из платья — старый халат да пара туфель-шлепанцев. Друзья и знать его больше не хотели — им ведь тоже неловко было теперь показаться с ним на улице; но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом: укладываться! Отлично; одно горе — нечего ему было укладывать; он взял да уселся в сундук сам!

А сундук-то был не простой. Стоило нажать на замок — и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фьють! — сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко, под самыми облаками, — только дно потрескивало! Купеческий сын поэтому крепко побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги; славный прыжок пришлось бы тогда совершить ему! Боже упаси! Но



вот он прилетел в Турцию, зарыл свой сундук в лесу в кучу сухих листьев, а сам отправился в город, — тут ему нечего было стесняться своего наряда: в Турции все ведь ходят в халатах и туфлях. На улице встретила ему кормилица с ребенком, и он сказал ей:

— Послушай-ка, турецкая мамка! Что это за большой дворец тут, у самого города, еще окна так высоко от земли?

— Тут живет принцесса! — сказала кормилица. — Ей предсказано, что она будет несчастной по милости своего жениха; вот к ней и не смеет являться никто иначе, как в присутствии самих короля с королевой.



— Спасибо! — сказал купеческий сын, пошел обратно в лес, уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно.

Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху, и ей это очень понравилось.

Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки: о ее глазах, это были два чудных темных озера, в которых плавали русалочки-мысли; о ее белом лбе: это была снежная гора, скрывавшая в себе чудные покои и картины; наконец, об аистах, которые приносят людям крошечных миленьких деток.

Да, чудесные были сказки! А потом он посватался за принцессу, и она согласилась.

— Но вы должны прийти сюда в субботу! — сказала она ему. — Ко мне придут на чашку чая король с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога, но вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше — мои родители очень любят сказки. Только мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша — веселое, чтобы можно было посмеяться.

— Я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки! — сказал купеческий сын.

Принцесса же подарила ему на прощанье саблю, всю выложенную червонцами, а их-то ему и не доставало. С тем они и расстались.

Сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку; надо ведь было сочинить ее к субботе, а это не так-то просто, как кажется.

Но вот сказка была готова, и настала суббота.

Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая. Купеческого сына приняли как нельзя лучше.

— Ну-ка, расскажите нам сказку! — сказала королева. — Только что-нибудь серьезное, поучительное.

— Но чтобы и посмеяться можно было! — прибавил король.

— Хорошо! — отвечал купеческий сын и стал рассказывать.

Слушайте же хорошенько!

— Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением: глава их семьи, то есть сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве.

— Да, хорошо нам жилось, когда мы были молоды-зелены (мы ведь тогда и в самом деле были зеленые!), — говорили они. — Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай — роса, день-деньской светило на нас в ясную погоду солнышко, а птички должны были рассказывать нам свои сказки! Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье: лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю и на летнюю одежду. Но вот явились раз дровосеки, и начались великие перемены! Погибла и вся наша семья! Глава семьи — ствол получил после того место грот-мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать кругом всего света, если б только захотел; ветви же разбрелись кто-куда, а нам вот выпало на долю служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы!

— Ну, со мной все было по-другому! — сказал котелок, рядом с которым лежали спички. — С самого моего появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о существенном и, говоря по правде, занимаю здесь в доме первое место. Единственное мое баловство — это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которое бывает иногда во дворе; новости же нам приносит корзинка для провизии; она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе! На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок! Да, немножко легкомысленна она — скажу я вам!

— Уж больно ты разболтался! — сказала вдруг огниво, и сталь так ударила по кремню, что посыпались искры. — Не устроить ли нам лучше вечеринку?

— Конечно, конечно. Побеседуем о том, кто из нас всех важнее! — сказали спички.

— Нет, я не люблю говорить о самой себе, — сказала глиняная миска. — Будем просто вести беседу! Я начну и

расскажу кое-что из жизни, что будет знакомо и понятно всем и каждому, а это ведь приятнее всего. Так вот: на берегу родного моря, под тенью датских буков...

— Чудесное начало! — сказали тарелки. — Вот это будет история как раз по нашему вкусу!

— Там в одной мирной семье провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели.

— Как вы интересно рассказываете! — сказала метелка. — В вашем рассказе так и слышна женщина, чувствуется какая-то особая чистоплотность!

— Да, да! — сказала ведро и от удовольствия даже подпрыгнуло, плеснув на пол воду.

Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала.

Тарелки загремели от восторга, а метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску; она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала: «Если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра!»

— Теперь мы попляшем! — сказали угольные щипцы и пустились в пляс. И боже мой, как они вскидывали то одну, то другую ногу! Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула!

— А нас увенчают? — спросили щипцы, и их тоже увенчали.

«Все это одна чернь!» — думали спички.

Теперь была очередь за самоваром: он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что может петь лишь тогда, когда внутри у него кипит, — он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ.

На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка; в нем не было ничего замечательного, кроме разве того, что оно слишком глубоко было обмокнуто в чернильницу, но именно этим оно и гордилось!

— Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо! — сказала оно. — За окном висит в клетке соловей — пусть он споет! Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем.

— По-моему, это в высшей степени неприлично — слушать какую-то пришлую птицу! — сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара. —

Разве это патриотично? Пусть рассудит корзинка для провизии!

— Я просто из себя выхожу! — сказала корзинка. — Вы не поверите, до чего я выхожу из себя! Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всеми! Тогда дело пошло бы совсем иначе!

— Давайте шуметь! — закричали все.

Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и — все присмирели, никто ни гугу; но не было ни единого горшка, который бы не мечтал про себя о своей знатности и о том, что он мог бы сделать. «Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье!» — думал про себя каждый.

Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже ты мой, как они зафыркали, загораясь!

«Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны! — думали они. — Какой от нас блеск, сколько света!»

Тут они и сгорели.

— Чудесная сказка! — сказала королева. — Я точно сама посидела в кухне вместе со спичками! Да, ты достоин руки нашей дочери.

— Конечно! — сказал король. — Свадьба будет в понедельник!

Теперь они уже говорили ему ты — он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи.

Итак, день свадьбы был объявлен, и вечером в городе устроили иллюминацию, а в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «ура» и свистели в пальцы; великолепие было несказанное.

«Надо же и мне устроить что-нибудь!» — подумал купеческий сын; он накупил ракет, хлопушек и прочего, положил все это в свой сундук и взвился в воздух.

Пиф, паф! Шш-пшш! Вот так трескотня пошла, вот так шипенье!

Турки подпрыгивали так, что туфли летели через головы; никогда еще не видывали они такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог.

Вернувшись в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне!» И не мудрено, что ему захотелось узнать это.

Ну и рассказов же ходило по городу! К кому он ни обращался, всякий, оказывается, рассказывал о виденном по-своему, но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище.

— Я видел самого турецкого бога! — говорил один. — Глаза у него что твои звезды, а борода что пена морская!

— Он летел в огненном плаще! — рассказывал другой. — А из складок выглядывали прелестнейшие ангелочки.

Да, много чудес рассказали ему, а на другой день должна была состояться и свадьба.

Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук, да куда же он девался? Сгорел! Купеческий сын заронил в него искру от фейерверка, сундук тлел, тлел, да и вспыхнул; теперь от него оставалась одна зола. Так и не удалось купеческому сыну опять прилететь к своей невесте.

А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его, да ждет и до сих пор! Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки, только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках!





## АИСТЫ



**Н**а крыше самого крайнего домика в одном маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие черные клювы, — они у них еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну ногу, сам папаша; ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах без дела. Можно было подумать, что он вырезан из дерева, до того он был неподвижен.

«Вот важно, так важно! — думал он. — У гнезда моей жены стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать, что я наряжен сюда в караул. То-то важно!» И он продолжал стоять на одной ноге.

На улице играли ребяташки; увидав аиста, самый озорной из мальчуганов затянул, как умел и помнил, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные:

Аист, аист белый,  
Что стоишь день целый,  
Словно часовой,  
На ноге одной?  
Или деток хочешь  
Уберечь своих?  
Попусту хлопочешь, —  
Мы изловим их!  
Одного повесим,  
В пруд швырнем другого,  
Третьего заколем,  
Младшего ж живого  
На костер мы бросим  
И тебя не спросим!

— Послушай-ка, что поют мальчишки! — сказали птенцы. — Они говорят, что нас повесят и утопят!

— Не нужно обращать на них внимания! — сказала им мать. — Только не слушайте, ничего и не будет!

Но мальчуганы не унимались, пели и дразнили аистов; только один из мальчиков, по имени Петер, не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных. А мать утешала птенцов.

— Не обращайтесь внимания! — говорила она. — Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, и это на одной-то ноге!

— А нам страшно! — сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали головки в гнездо.

На другой день ребятишки опять высыпали на улицу, увидели аистов и опять запели:

Одного повесим,  
В пруд швырнем другого...

— Так нас повесят и утопят? — опять спросили птенцы.

— Да нет же, нет! — отвечала мать. — А вот скоро мы начнем ученье! Вам нужно выучиться летать! Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости клягушкам. Они будут приседать перед нами в воде и петь: «ква-ква-ква!» А мы съедим их — вот будет веселье!

— А потом? — спросили птенцы.

— Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует! Это очень важно! Того, кто будет летать плохо, генерал

проколет своим острым клювом! Так вот, старайтесь изо всех сил, когда учење начнется!

— Так нас все-таки заколют, как сказали мальчики! Слушай-ка, они опять поют!

— Слушайте меня, а не их! — сказала мать. — После маневров мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за темные леса, в теплые края, в Египет! Там есть треугольные каменные дома; верхушки их упираются в самые облака, а зовут их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один аист и представить себе не может! Там есть тоже река, которая разливается, и тогда весь берег покрывается илом! Ходишь себе по илу и кушаешь лягушек!

— О! — сказали птенцы.

— Да! Вот прелесть! Там день-деньской только и делаешь, что ешь. А вот в то время как нам там будет так хорошо, здесь на деревьях не останется ни единого листика, наступит такой холод, что облака застынут кусками и будут падать на землю белыми крошками!

Она хотела рассказать им про снег, да не умела объяснить хорошенько.

— А эти нехорошие мальчики тоже застынут кусками? — спросили птенцы.

— Нет, кусками они не застынут, но померзнуть им придется. Будут сидеть и скучать в темной комнате и носу не посмеют высунуть на улицу! А вы-то будете летать в чужих краях, где цветут цветы и ярко светит теплое солнышко.

Прошло немного времени, птенцы подросли, могли уже вставать в гнезде и озираться кругом. Папаша-аист каждый день приносил им славных лягушек, маленьких ужей и всякие другие лакомства, какие только мог достать. А как потешал он птенцов разными забавными штуками! Доставал головою свой хвост, щелкал клювом, точно у него в горле сидела трещотка, и рассказывал им разные болотные истории.

— Ну, пора теперь и за учење приняться! — сказала им в один прекрасный день мать, и всем четверым птенцам пришлось вылезть из гнезда на крышу. Батюшки мои, как они шатались, балансировали крыльями и все-таки чуть-чуть не свалились!

— Смотрите на меня! — сказала мать. — Голову вот так, ноги так! Раз-два! Раз-два! Вот что поможет вам



пробить себе дорогу в жизни! — и она сделала несколько взмахов крыльями. Птенцы неуклюже подпрыгнули и — бац! — все так и растянулись! Они были еще тяжелы на подъем.

— Я не хочу учиться! — сказал один птенец и вскарабкался назад в гнездо. — Я вовсе не хочу лететь в теплые края!

— Так ты хочешь замерзнуть тут зимой? Хочешь, чтобы мальчишки пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Постой, я сейчас позову их!

— Ай, нет, нет! — сказал птенец и опять выпрыгнул на крышу.

На третий день они уже кое-как летали и вообразили, что могут также держаться в воздухе на распластанных крыльях. «Незачем все время ими махать, — говорили они. — Можно и отдохнуть». Так и сделали, но... сейчас же шлепнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями.

В это время на улице собрались мальчишки и запели:

Аист, аист белый!

— А что, слетим да выклюем им глаза? — спросили птенцы.

— Нет, не надо! — сказала мать. — Слушайте лучше меня, это куда важнее! Раз-два-три! Теперь полетим направо; раз-два-три! Теперь налево, вокруг трубы! Отлично! Последний взмах крыльями удался так чудесно, что я позволю вам завтра отправиться со мной на болото. Там соберется много других милых семейств с детьми и, — вот и покажите себя! Я хочу, чтобы вы были самыми миленькими из всех. Держите головы повыше, так гораздо красивее и внушительнее!

— Но неужели мы так и не отомстим этим нехорошим мальчишкам? — спросили птенцы.

— Пусть они себе кричат что хотят! Вы-то полетите к облакам, увидите страну пирамид, а они будут мерзнуть здесь зимой, не увидят ни единого зеленого листика, ни сладкого яблочка!

— А мы все-таки отомстим! — шепнули птенцы друг другу и продолжали ученье.

Задорнее всех из ребяташек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку об аистах. Ему было не больше шести лет, хотя птенцы-то и думали, что ему лет

сто, — он был ведь куда больше их отца с матерью, а что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей! И вот вся месть птенцов должна была обрушиться на этого мальчика, который был зачинщиком и самым неугомонным из насмешников. Птенцы были на него ужасно сердиты и чем больше подрастали, тем меньше хотели сносить от него обиды. В конце концов матери пришлось обещать им как-нибудь отомстить мальчугану, но не раньше, как перед самым отлетом их в теплые края.

— Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших маневрах! Если дело пойдет плохо и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчишки ведь будут правы. Вот увидим!

— Увидишь! — сказали птенцы и усердно принялись за упражнения. С каждым днем дело шло все лучше, и наконец они стали летать так легко и красиво, что просто любо!

Настала осень; аисты начали готовиться к отлету на зиму в теплые края. Вот так маневры пошли! Аисты летали взад и вперед над лесами и озерами: им надо было испытать себя — предстояло ведь огромное путешествие! Наши птенцы отличились и получили на испытании не по нулю с хвостом, а по двенадцати с лягушкой и ужом! Лучше этого балла для них и быть не могло: лягушек и ужей можно ведь было съесть, что они и сделали.

— Теперь будем мстить! — сказали они.

— Хорошо! — сказала мать. — Вот что я придумала — это будет лучше всего. Я знаю, где тот пруд, в котором сидят маленькие дети до тех пор, пока аист не возьмет их и не отнесет к папе с мамой. Прелестные крошечные детки спят и видят чудные сны, каких никогда уже не будут видеть после. Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям — крошечного братца или сестрицу. Полетим к пруду, возьмем оттуда малюток и отнесем к тем детям, которые не дразнили аистов; нехорошие же насмешники не получают ничего!

— А тому злему, который первый начал дразнить нас, ему что будет? — спросили молодые аисты.

— В пруде лежит один мертвый ребенок, он заспался до смерти; его-то мы и отнесем злему мальчику. Пусть поплачет, увидав, что мы принесли ему мертвого братца.

А вот тому доброму мальчику, — надеюсь, вы не забыли его, — который сказал, что грешно дразнить животных, мы принесем зараз и братца и сестрицу. Его зовут Петер, будем же и мы в честь его зваться Петерами!

Как сказано, так и было сделано, и вот всех аистов зовут с тех пор Петерами.





## ОЛЕ-ЛУКОЙЕ



**Н**икто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. Вот мастер-то рассказывать!

Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних чулках он тихо-тихо подымается по лестнице; потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует — и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно, — у Оле-Лукойе нет ведь злого умысла; он хочет только, чтобы дети уgomонились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки.

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета — он отликает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он разворачивает над нехорошими детьми; ну, они и спят всю ночь как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне!

Послушаем же о том, как Оле-Лукойе навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки! Это будет целых семь сказок, — в неделе ведь семь дней.

#### ПОНЕДЕЛЬНИК

— Ну вот, — сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель, — теперь украсим комнату!

И в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку; вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом (если бы только вы захотели его попробовать) слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара.

— Что там такое? — сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.

Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка; он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара; просто ужас брал, слушая ее! На каждой ее странице в начале каждой строки стояли чудесные большие и маленькие буквы, — это была пропись; возле же

шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять.

— Вот как надо держаться! — говорила пропись. — Вот так, с легким наклоном вправо!

— Ах, мы бы и рады, — отвечали буквы Яльмара, — да не можем! Мы такие плохонькие!

— Так вас надо немного подтянуть! — сказал Оле-Лукойе.

— Ай, нет, нет! — закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.

— Ну, теперь нам не до сказок! — сказал Оле-Лукойе. — Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде.

## ВТОРНИК

Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе дотронулся своею волшебною спринцовкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою; все, кроме плевательницы; эта молчала и сердилась про себя на их суетность: говорят только о себе да о себе и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность: высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов, за лес, в далекое море.

Оле-Лукойе дотронулся волшебною спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понесли по небу; видно было даже, как скользила по картине их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красною и белую краской, паруса бле-



стели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах с сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки.

Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а майские жуки гудели «Бум! Бум!»; всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове сказка.

Да, вот это было плаванье!

Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка, — такого редко купишь у торговки. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою долю: Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками, — вот что значит настоящие-то принцы!

Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее; она кланялась, посылая ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:

Мой Яльмар, тебя вспоминаю  
Почти каждый день, каждый час!  
Сказать не могу, как желаю  
Тебя увидеть вновь хоть раз!  
Тебя ведь я в люльке качала,  
Учила ходить, говорить,



И в щечки и в лоб целовала,  
Так как мне тебя не любить!  
Люблю тебя, ангел ты мой дорогой!  
Да будет вовеки господь бог с тобой!

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал сказку.

#### СРЕДА

Ну и дождь лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с подоконником. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.

— Хочешь прокатиться, Яльмар? — спросил Оле. — Побываешь ночью в чужих землях, а к утру — опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви, — кругом было одно сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинною вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распушенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими еще раза два, но... напрасно! Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и — бах! — упал прямо на палубу.

Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.

— Ишь какой! — сказали куры.

А индейский петух надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и кричали: «Дур-рак! Дур-рак!»

И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

— Ну не дурак ли он?

— Конечно, дурак! — сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке.

— Какие у вас чудесные тонкие ноги! — сказал индейский петух. — Почему аршин?

— Кряк! Кряк! Кряк! — закрякали смешливые утки, но аист как будто и не слышал.

— Могли бы и вы посмеяться с нами! — сказал аисту индейский петух. — Очень забавно было сказано! Да куда, это, верно, слишком низко для него! Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью! Что ж, будем забавлять себя сами!

И курицы кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло.

Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу, — он уже успел отдохнуть. И вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А курицы кудахтали, утки закрякали, индейский же петух так надулся, что гребебок у него весь налил кровью.

— Завтра из вас сварят суп! — сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кровати.

Славное путешествие сделали они ночью с Оле-Лукойе!

#### ЧЕТВЕРГ

— Знаешь что? — сказал Оле-Лукойе. — Только не пугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! — И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка. — Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят!

— А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар.

— Уж положишь на меня! — сказал Оле-Лукойе. — Ты у меня сделаешься маленьким.

И он дотронулся до мальчика своею волшебною спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, умень-

шаться и наконец сделался величиною всего с пальчик.

— Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдата. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим: мундир ведь так красит, ты же идешь в гости!

— Ну хорошо! — согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдата.

— Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? — сказала Яльмару мышка. — Я буду иметь честь отвезти вас.

— Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, фрёкен! — сказал Яльмар, и вот они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.

— Ведь чудный запах? — спросила мышка-возница. — Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы, — мышки-кавалеры, а посередине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и страшно целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом; другого угощенья и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно.

Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдата.

## ПЯТНИЦА

— Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе! — сказал Оле-Лукойе. — Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле, — говорят они мне, — мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! — добавляют они с глубоким вздохом. — Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньгами!

— Что будем делать сегодня ночью? — спросил Яльмар.

— Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой; кроме того, сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков!

— Знаю, знаю! — сказал Яльмар. — Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз!

— Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им было о чем задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вот вся мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал карандаш:

Затянем песенку дружной,  
Как ветер пусть несется!  
Хотя чета наша, ей-ей,  
Ничем не отзовется.  
Из лайки оба и торчат  
На палках без движенья,  
Зато роскошен их наряд —  
Глазам на загляденье!

Итак, прославим песней их:  
Ура невеста и жених!

Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного: они были сыты своей любовью.

— Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? — спросил молодой.

На совет пригласили опытную путешественницу ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы расцветены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.

— Там нет зато нашей кудрявой капусты! — сказала курица. — Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно! Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

— Да ведь один кочан похож на другой как две капли воды! — сказала ласточка. — К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

— Ну, к этому можно привыкнуть! — сказала курица.

— А какой тут холод! Того и гляди замерзнешь! Ужасно холодно!

— То-то и хорошо для капусты! — сказала курица. — Да, наконец, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарыща-то была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самую лучшую в мире! Такой недостойн и жить в ней! — Тут курица заплакала. — Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

— Да, курица — особа вполне достойная! — сказала кукла Берта. — Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам — то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

— А сегодня будешь рассказывать? — спросил Яльмар, как только Оле-Лукойе уложил его в постель.

— Сегодня некогда! — ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. — Погляди-ка вот на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами.

— Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! — продолжал Оле. — Завтра ведь праздник, воскресенье! Мне надо пойти на колокольню — посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола, не то они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле — посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их, все по местам, иначе они плохо будут держаться и посыпятся с неба одна за другой!

— Послушайте-ка вы, господин Оле-Лукойе! — сказал вдруг висевший на стене старый портрет. — Я прадедушка Яльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки; но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды — такие же светила, как наша Земля, тем-то они и хороши!

— Спасибо тебе, прадедушка! — отвечал Оле-Лукойе. — Спасибо! Ты — глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; римляне и греки звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими и с малыми! Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.

— Ну уж, нельзя и высказать своего мнения! — сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

— Добрый вечер! — сказал Оле-Лукойе.

Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

— А теперь ты расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иголкой.

— Ну, хорошенького понемножку! — сказал Оле-Лукойе. — Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, но он ни к кому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. Он знает только две: одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать — как!

Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

— Сейчас увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках! Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развеивается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала всегда спрашивал:

— Какие у тебя отметки за поведение?

— Хорошие! — отвечали все.

— Покажи-ка! — говорил он.

Приходилось показывать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, — позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли — они сразу крепко прирастали к седлу.

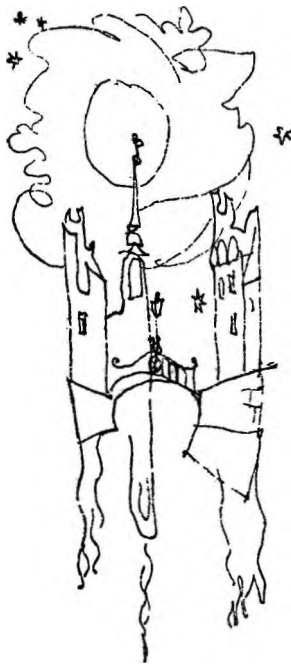
— Но ведь Смерть — чудеснейший Оле-Лукойе! — сказал Яльмар. — И я ничуть не боюсь его!

— Да и нечего бояться! — сказал Оле. — Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки!

— Вот это поучительно! — пробормотал прадедушкин портрет. — Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение!

Он был очень доволен.

Вот тебе и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.







## ЭЛЬФ РОЗОВОГО КУСТА



**В** саду красовался розовый куст, весь усыпанный чудными розами. В одной из них, самой прекрасной меж всеми, жил эльф, такой крошечный, что человеческим глазом его и не разглядеть было. За каждым лепестком розы у него было по спальне; сам он был удивительно нежен и мил, ну точь-в-точь хорошенький ребенок, только с большими крыльями за плечами. А какой аромат стоял в его комнатах, как красивы и прозрачны были их стены! То были ведь нежные лепестки розы.

Весь день играл эльф на солнышке, порхал с цветка на цветок, плясал на крыльях у резвых мотыльков и подсчитывал, сколько шагов пришлось бы ему сделать, чтобы обежать все дорожки и тропинки на одном липовом листе. За дорожки и тропинки он принимал жилки листа, да они и были для него бесконечными дорогами! Раз не успел он обойти и половины их, глядь — солнышко уж закатилось; он и начал-то, впрочем, не рано.

Стало холодно, пала роса, подул ветер, эльф рассудил, что пора домой, и заторопился изо всех сил, но когда добрался до своей розы, оказалось, что она уже закрылась и он не мог попасть в нее; успели закрыться и все остальные розы. Бедный крошка эльф перепугался: никогда еще не оставался он на ночь без приюта, всегда сладко спал между розовыми лепестками, а теперь!.. Ах, верно, не миновать ему смерти!

Вдруг он вспомнил, что на другом конце сада есть беседка, вся увитая чудеснейшими каприфолиями; в одном из этих больших пестрых цветков, похожих на рога, он и решил проспать до утра.

И вот он полетел туда. Тсс! Тут были люди: красивый молодой человек и премиленькая девушка. Они сидели рядышком и хотели бы век не расставаться — они так горячо любили друг друга, куда горячее, нежели самый добрый ребенок любит своих маму и папу.

— Увы! Мы должны расстаться! — сказал молодой человек. — Твой брат не хочет нашего счастья и потому отсылает меня с поручением далеко-далеко за море! Прощай же, дорогая моя невеста! Ведь я все-таки имею право назвать тебя так!

И они поцеловались. Молодая девушка заплакала и дала ему на память о себе розу, но сначала запечатлела на ней такой крепкий и горячий поцелуй, что цветок раскрылся. Эльф сейчас же влетел в него и прислонился голловкой к нежным, душистым стенкам.

Вот раздалось последнее «прощай», и эльф почувствовал, что роза заняла место на груди молодого человека. О, как билось его сердце! Крошка эльф просто не мог заснуть от этой стукотни.

Недолго, однако, пришлось розе покониться на груди. Молодой человек вынул ее и, проходя по большой темной роще, целовал цветок так часто и так крепко, что крошка эльф чуть не задохся. Он ощущал сквозь лепестки цветка, как горели губы молодого человека, да и сама роза раскрылась, словно под лучами полуденного солнца.

Тут появился другой человек — мрачный и злой, это был брат красивой молодой девушки. Он вытащил большой острый нож и убил молодого человека, целовавшего цветок, затем отрезал ему голову и зарыл ее вместе с туловищем в рыхлую землю под липой.

«Теперь о нем не будет и помина! — подумал злой брат. — Небось не вернется больше. Ему предстоял далекий путь за море, а в таком пути нетрудно проститься с жизнью; ну вот так оно и случилось! Вернуться он больше не вернется, и спрашивать о нем сестра меня не посмеет».

И он нашвырял ногами на то место, где схоронил убитого, сухих листьев и пошел домой. Но шел он во тьме ночной не один: с ним был крошка эльф. Эльф сидел в сухом, свернувшемся в трубочку, липовом листке, упавшем злодею на голову в то время, как тот зарывал яму. Окончив работу, убийца надел на голову шляпу; под ней было страшно темно, и крошка эльф весь дрожал от ужаса и от негодования на злодея.

На заре злой человек воротился домой, снял шляпу и прошел в спальню сестры. Молодая цветущая красавица спала и видела во сне того, кого она так любила и кто уехал теперь, как она думала, за море. Злой брат наклонился над ней и засмеялся злобным, дьявольским смехом; сухой листок выпал из его волос на одеяло сестры, но он не заметил этого и ушел к себе соснуть до утра. Эльф выкарабкался из сухого листка, забрался в ухо молодой девушки и рассказал ей во сне об ужасном убийстве, описал место, где оно произошло, цветущую липу, под которой убийца зарыл тело, и наконец добавил: «А чтобы ты не приняла всего этого за простой сон, я оставлю на твоей постели сухой листок». И она нашла этот листок, когда проснулась.

О, как горько она плакала! Но никому не смела бедняжка доверить своего горя. Окно стояло открытым целый день, крошка эльф легко мог выпорхнуть в сад и лететь к розам и другим цветам, но ему не хотелось оставлять бедняжку одну. На окне в цветочном горшке росла роза; он уселся в один из ее цветов и глаз не сводил с убитой горем девушки. Брат ее несколько раз входил в комнату и был злобно-весел; она же не смела и заикнуться ему о своем горе.

Как только настала ночь, девушка потихоньку вышла из дома, отправилась в рощу прямо к липе, разбросала сухие листья, разрыла землю и нашла убитого. Ах, как она плакала и молила бога, чтобы он послал смерть и ей.

Она бы охотно унесла с собой дорогое тело, да нельзя было, и вот она взяла бледную голову с закрытыми глазами, поцеловала холодные губы и отряхнула землю с прекрасных волос.

— Оставлю же себе хоть это! — сказала она, зарыла тело и опять набросала на то место сухих листьев, а голову унесла с собой, вместе с небольшою веточкой жасмина, который цвел в роще.

Придя домой, она отыскала самый большой цветочный горшок, положила туда голову убитого, засыпала ее землей и посадила жасминовую веточку.

— Прощай! Прощай! — прошептал крошка эльф: он не мог вынести такого печального зрелища и улетел в сад к своей розе, но она уже отцвела, и вокруг зеленого плода держалось всего два-три поблекших лепестка.

— Ах, как скоро приходит конец всему хорошему и прекрасному! — вздохнул эльф.

В конце концов он отыскал себе другую розу и уютно зажил между ее благоухающими лепестками. Но каждое утро летал он к окну несчастной девушки и всегда находил ее всю в слезах подле цветочного горшка. Горькие слезы ручьями лились на жасминовую веточку, и по мере того как сама девушка день ото дня бледнела и худела, веточка все росла да зеленела, пуская один отросток за другим. Скоро появились и маленькие белые бутончики; девушка целовала их, а злой брат сердился и спрашивал, не сошла ли она с ума; иначе он ничем не мог объяснить себе эти вечные слезы, которые она проливала над цветком. Он ведь не знал, чьи закрытые глаза, чьи розовые губы превратились в землю в этом горшке. А бедная сестра его склонила раз голову к цветку, да так и задремала; как раз в это время прилетел крошка эльф, прильнул к ее уху и стал рассказывать ей о последнем ее свидании с милым в беседке, о благоухании роз, о любви эльфов... Девушка спала так сладко, и среди этих чудных грез незаметно отлетела от нее жизнь. Она умерла и соединилась на небе с тем, кого так любила.

На жасмине раскрылись белые цветы, похожие на колокольчики, и по всей комнате разлился чудный, нежный аромат — только так могли цветы оплакать усопшую.

Злой брат посмотрел на красивый цветущий куст, взял его себе в наследство после умершей сестры и поставил у себя в спальне возле самой кровати. Крошка эльф

последовал за ним и стал летать от одного колокольчика к другому: в каждом жил маленький дух, и эльф рассказал им всем об убитом молодом человеке, о злом брате и о бедной сестре.

— Знаем! Знаем! Ведь мы выросли из глаз и из губ убитого! — ответили духи цветов и при этом как-то странно покачали головками.

Эльф не мог понять, как могут они оставаться такими равнодушными, полетел к пчелам, которые собирали мед, и тоже рассказал им о злом брате. Пчелы пересказали это своей царице, и та решила, что все они на следующее же утро накажут убийцу.

Но ночью — это была первая ночь после смерти сестры, — когда брат спал близ благоухающего жасминового куста, каждый колокольчик раскрылся, и оттуда вылетел невидимый, но вооруженный ядовитым копьём дух цветка. Все они подлетели к уху спящего и стали нашептывать ему страшные сны, потом сели на его губы и вонзили ему в язык свои ядовитые копыя.

— Теперь мы отомстили за убитого! — сказали они и опять спрятались в белые колокольчики жасмина.

Утром окно в спальне вдруг распахнулось, и влетели эльф и царица пчел с своим роем; они явились убить злого брата.

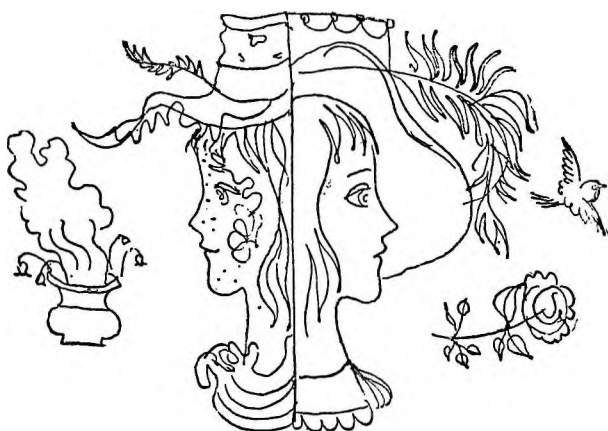
Но он уже умер. Вокруг постели толпились люди и говорили:

— Его убил сильный запах цветов.

Тогда эльф понял, что то была месть цветов, и рассказал об этом царице пчел, а она со всем своим роем принялась летать и жужжать вокруг благоухающего куста. Нельзя было отогнать пчел, и кто-то из присутствовавших хотел унести куст в другую комнату, но одна пчела ужалила его в руку, он уронил цветочный горшок, и тот разбился вдребезги.

Тут все увидали череп убитого и поняли, кто был убийца.

А царица пчел с шумом полетела по воздуху и жужжала о мести цветов, об эльфе и о том, что даже за самым крошечным лепестком скрывается кто-то, кто может рассказать о преступлении и наказать преступника.



## СВИНОПАС



**Ж**ил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-премаленькое, но жениться все-таки было можно, а жениться-то принцу хотелось.

Разумеется, с его стороны было несколько смело спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Да вот, ждите-ка этого от императорской дочки!

Послушаем же, как было дело.

На могиле у отца принца вырос розовый куст несказанной красоты; цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем всего одна-единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впивая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Еще был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И роза и соловей предназначены были в дар принцессе; их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней.

Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости; других занятий у нее не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши.

— Ах, если бы тут была маленькая киска! — сказала она.

Но появилась прелестная роза.

— Ах, как это мило сделано! — сказали все фрейлины.

— Больше чем мило! — сказал император. — Это прямо недурно!

Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

— Фи, папа! — сказала она. — Она не искусственная, а настоящая!

— Фи! — повторили все придворные. — Настоящая!

— Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! — возразил император.

И вот из ларца появился соловей и запел так чудесно, что нельзя было сейчас же найти какого-нибудь недостатка.

— *Superbe! Charmant!*<sup>1</sup> — сказали фрейлины; все они болтали по-французски, одна хуже другой.

— Как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы! — сказал один старый придворный. — Да, тот же тон, та же манера давать звук!

— Да! — сказал император и заплакал, как ребенок.

— Надеюсь, что птица не настоящая? — спросила принцесса.

— Настоящая! — ответили ей доставившие подарки послы.

— Так пусть она летит! — сказала принцесса и так и не позволила принцу явиться к ней самому.

Но принц не унывал, вымазал себе все лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался.

— Здравствуйте, император! — сказал он. — Не найдется ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?

— Много вас тут ходит да ищет! — ответил император. — Впрочем, стой, мне нужен свинопас! У нас пропасть свиней!

И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую, крошечную каморку рядом со свинными закутками. Весь день просидел он за работой и к вечеру

---

<sup>1</sup> Бесподбно! Прелестно! (франц.).

смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку:

Ах, мой милый Августин,  
Все прошло, прошло, прошло!

Занимательнее же всего было то, что, держа над подымавшимся из горшочка паром руку, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек был не чета какой-нибудь розе!

Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услышала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся просияла: она тоже умела наигрывать на фортепиано «Ах, мой милый Августин». Только одну эту мелодию она и наигрывала, зато одним пальцем.

— Ах, ведь и я это играю! — сказала она. — Так свинопас-то у нас образованный! Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, что стоит этот инструмент.

Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор.

— Что возьмешь за горшочек? — спросила она.

— Десять принцессиных поцелуев! — отвечал свинопас.

— Как можно! — сказала фрейлина.

— А дешевле нельзя! — отвечал свинопас.

— Ну, что он сказал? — спросила принцесса.

— Право, и передать нельзя! — отвечала фрейлина. — Это ужасно!

— Так шепни мне на ухо!

И фрейлина шепнула принцессе.

— Вот невежа! — сказала принцесса и пошла было, но... бубенчики зазвенели так мило:

Ах, мой милый Августин,  
Все прошло, прошло, прошло!

— Послушай! — сказала принцесса фрейлине. — Пойди спроси, не возьмет ли он десять поцелуев моих фрейлин?

— Нет, спасибо! — ответил свинопас. — Десять поцелуев принцессы, или горшочек останется у меня.

— Как это скучно! — сказала принцесса. — Ну, придется вам стать вокруг, чтобы никто нас не увидел!

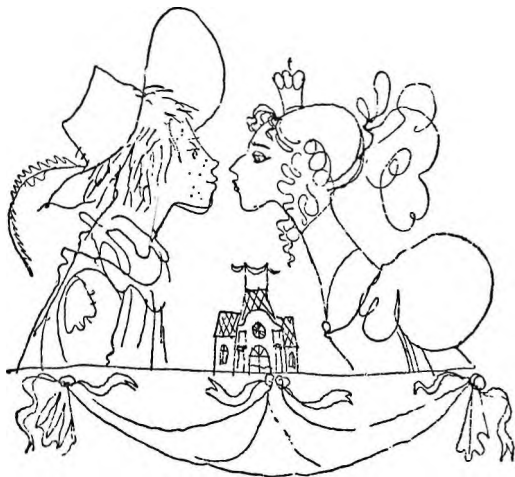
Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки; свинопас получил десять принцессиных поцелуев, а принцесса — горшочек.



Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага, и в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до сапожниковой, о которой бы они не знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши.

— Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

— Еще бы! — подтвердила обер-гофмейстерина.



— Да, по держите язык за зубами, я ведь императорская дочка!

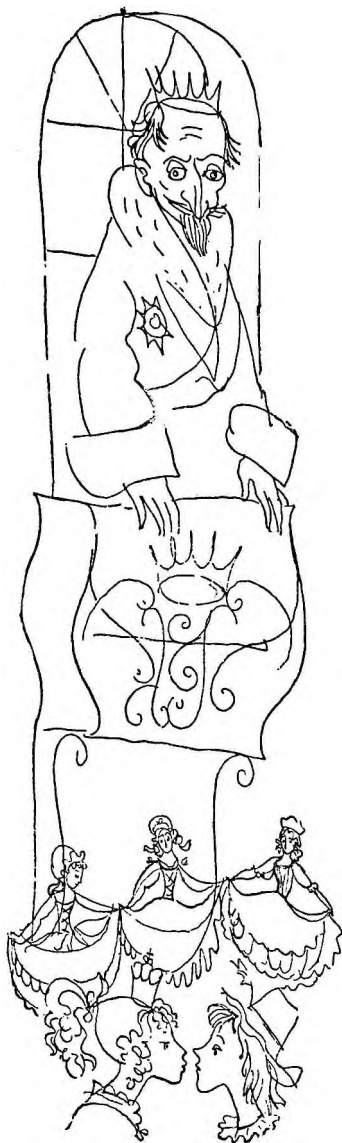
— Помилуйте! — сказали все.

А свинопас (то есть принц, но для них-то он был ведь свинопасом) даром времени не терял и смастерил трещотку; когда ею начинали вертеть по воздуху, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только есть на белом свете.

— Но это superbe! — сказала принцесса, проходя мимо. — Вот так попури! Лучше этого я ничего не слыхала! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану!

— Он требует сто принцессиних поцелуев! — доложила фрейлина, побывав у свинопаса.

— Да что он, в уме? — сказала принцесса и пошла своєю дорогой, но сделала два шага и остановилась.



— Надо поощрять искусство! — сказала она. — Я ведь императорская дочь! Скажите ему, что я дам ему по-вчерашнему десять поцелуев, а остальные пусть дополучит с моих фрейлин!

— Ну, нам это вовсе не по вкусу! — сказали фрейлины.

— Пустяки! — сказала принцесса. — Уж если я могу целовать его, то вы и по давню! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!

И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу.

— Сто принцессиных поцелуев! — повторил он. — А нет — каждый останется при своем.

— Становитесь вокруг! — скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас принялся ее целовать.

— Что это за сборище у свиних закуток? — спросил, выйдя на балкон, император, протер глаза и надел очки. — Э, да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задники своих домашних туфель. Туфлями служили ему стоптанные башмаки. Эх ты, ну, как он быстро зашлепал в них!

Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счетом поцелуев, —

надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной и свинопас не получил ни больше, ни меньше, чем ему следовало. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки.

— Это еще что за штуки! — сказал он, увидав целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй. — Вон! — закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу и свинопаса.

Принцесса стояла и плакала, свинопас бранился, а дождик так и лил на них.

— Ах, я несчастная! — плакала принцесса. — Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурю краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе, и так он был хорош собой, что принцесса сделала реверанс.

— Теперь я только презираю тебя! — сказал он. — Ты не захотела выйти за честного принца! Ты не поняла толку в соловье и розе, а свинопаса целовала за игрушки! Поделом же тебе!

И он ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось стоять да петь:

Ах, мой милый Августин,  
Все прошло, прошло, прошло!





## ГРЕЧИХА



Часто, когда после грозы идешь полем, видишь, что гречиху опалило дочерна, будто по ней пробежал огонь; крестьяне в таких случаях говорят: «Это ее опалило молнией!» Но почему?

А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречишного поля, — дерево такое большое, почтенное и старос-престарое, все корявое, с трещиною посредине. Из трещины растут трава и ежевика; ветви дерева, словно длинные зеленые кудри, свешиваются до самой земли.

Поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом — чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими желтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем ниже склоняли они в смиреннии свои головы к земле.

Тут же, возле старой ивы, было поле с гречихой; гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо.

— Я не беднее хлебных колосьев! — говорила она. — Да к тому же еще красивее. Мои цветы не уступят цветам яблони. Любо-дорого посмотреть! Знаешь ли ты, старая ива, кого-нибудь красивее меня?

Но ива только качала головой, как бы желая сказать: «Конечно, знаю!» А гречиха надменно говорила:

— Глупое дерево, у него от старости из желудка трава растет!

Вдруг поднялась страшная непогода; все полевые цветы свернули лепестки и склонили свои головки; одна гречиха красовалась по-прежнему.

— Склони голову! — говорили ей цветы.

— Незачем! — отвечала гречиха.

— Склони голову, как мы! — закричали ей колосья. — Сейчас промчится под облаками ангел бури! Крылья его доходят до самой земли! Он снесет тебе голову, прежде чем ты успеешь взломиться о пощаде!

— Ну, а я все-таки не склоню головы! — сказала гречиха.

— Сверни лепестки и склони голову! — сказала ей и старая ива. — Не гляди на молнию, когда она раздирает облака! Сам человек не дерзает этого: в это время можно заглянуть в самое небо господне, а за такой грех господь карает человека слепотой. Что же ожидает тогда нас? Ведь мы, бедные полевые злаки, куда ниже, ничтожнее человека!

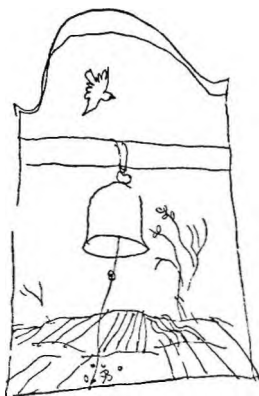
— Ниже? — сказала гречиха. — Так вот же я возьму и загляну в небо господне!

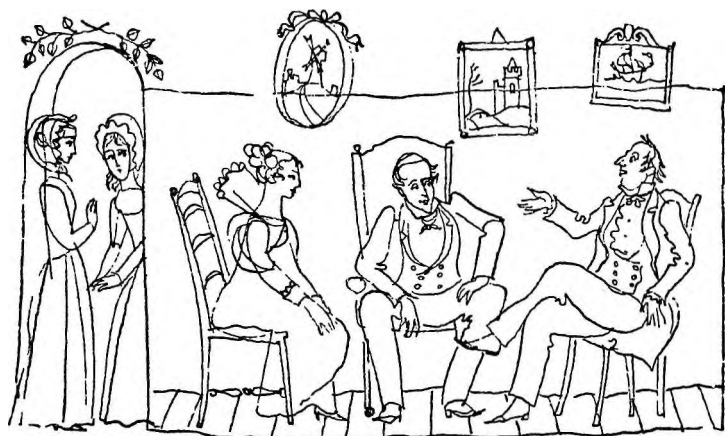
И она в самом деле решилась на это в своем горделивом упорстве. Тут такая сверкнула молния, как будто весь мир загорелся, когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освещенные и омытые дождем, радостно вдыхали в себя мягкий, чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией, она погибла и никуда больше не годилась.

Старая ива тихо шевелила ветвями на ветру; с зеленых листьев падали крупные дождевые капли; дерево будто плакало, и воробьи спросили его:

— О чем ты? Посмотри, как славно кругом, как светит солнышко, как бегут облака! А что за аромат несется от цветов и кустов! О чем же ты плачешь, старая ива?

Тогда ива рассказала им о высокомерной гордости и о казни гречихи; гордость всегда ведь бывает наказана. От воробьев же услышал эту историю и я: они прошебетали мне ее как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку.





## КАЛОШИ СЧАСТЬЯ

### 1. НАЧАЛО



ело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой королевской площади. В одном доме собралось большое общество — иногда ведь приходится все-таки принимать гостей; зато, глядишь, и сам дождешься когда-нибудь приглашения. Гости разбились на две большие группы: одна немедленно засела за ломберные столы, другая же образовала кружок вокруг хозяйки, которая предложила «придумать что-нибудь поинтереснее», и беседа потекла сама собой. Между прочим, речь зашла про средние века, и многие находили, что в те времена жилось гораздо лучше, чем теперь. Да, да! Советник юстиции Кнап отстаивал это мнение так рьяно, что хозяйка тут же с ним согласилась, и они вдвоем накинулись на бедного Эрстеда, который доказывал в своей статье в «Альманахе», что наша эпоха кое в чем все-таки выше средневековья. Советник утверждал, что времена короля Ганса были лучшей и счастливейшей порой в истории человечества.

Пока ведется этот жаркий спор, который прервался лишь на мгновение, когда принесли вечернюю газету (впрочем, читать в ней было решительно нечего), пройдем в переднюю, где гости оставили свои пальто, палки, зонтики и калоши. Сюда только что вошли две женщины: молодая и старая. На первый взгляд их можно было принять за горничных, сопровождающих каких-нибудь старых барынь, которые пришли сюда в гости, но, приглядевшись повнимательнее, вы бы заметили, что эти женщины ничуть не похожи на служанок: слишком уж мягки и нежны были у них руки, слишком величавы осанка и все движение, а платье отличалось каким-то особо смелым покроем. Вы, конечно, уже догадались, что это были феи. Младшая была если и не самой феей Счастья, то, уж наверно, камеристкой одной из ее многочисленных камер-фрейлин и занималась тем, что приносила людям разные мелкие дары Счастья. Старшая казалась гораздо более серьезной — она была феей Печали и всегда управлялась со своими делами сама, не перепоручая их никому: так по крайней мере она знала, что все наверняка будет сделано как следует.

Стоя в передней, они рассказывали друг другу о том, где побывали за день. Камеристка камер-фрейлины Счастья сегодня выполнила всего лишь несколько мало-важных поручений: спасла от ливня чью-то новую шляпу, передала одному почтенному человеку поклон от высокопоставленного ничтожества и все в том же духе. Но зато в запасе у нее осталось нечто совершенно необыкновенное.

— Нужно тебе сказать, — закончила она, — что у меня сегодня день рождения, и в честь этого события мне дали пару калош, с тем чтобы я отнесла их людям. Эти калоши обладают одним замечательным свойством: того, кто их наденет, они могут мгновенно перенести в любое место или в обстановку любой эпохи — куда си только пожелает, — и он, таким образом, сразу обретет счастье.

— Ты так думаешь? — отозвалась фея Печали. — Знай же: он будет самым несчастным человеком на земле и благословит ту минуту, когда наконец избавится от твоих калош.

— Ну, это мы еще посмотрим! — проговорила камеристка Счастья. — А пока что я поставлю их у дверей.



Авось кто-нибудь их наденет по ошибке вместо своих и станет счастливым.

Вот какой между ними произошел разговор.

## II. ЧТО ПРОИЗОШЛО С СОВЕТНИКОМ ЮСТИЦИИ

Было уже поздно. Советник юстиции Кнап собирался домой, все еще размышляя о временах короля Ганса. И надо же было так случиться, чтобы вместо своих калош он надел калоши Счастья. Как только он вышел в них на улицу, волшебная сила калош немедленно перенесла его во времена короля Ганса, и ноги его тотчас же утонули в непролазной грязи, потому что при короле Гансе улиц не мостили.

— Ну и гряззища! Просто ужас что такое! — пробормотал советник. — И к тому же ни один фонарь не горит.

Луна еще не взошла, стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке. На углу перед изображением мадонны висела лампада, но она чуть теплилась, так что советник заметил картину, лишь поравнявшись с нею, и только тогда разглядел божью мать с младенцем на руках.

«Здесь, наверно, была мастерская художника, — решил он, — а вывеску позабыли убрать».

Тут мимо него прошло несколько человек в средневековых костюмах.

«Чего это они так вырядились? — подумал советник. — Должно быть, с маскарада идут».

Но внезапно послышался барабанный бой и свист дудок, замелькали факелы, и взорам советника представилось удивительное зрелище! Навстречу ему по улице двигалась странная процессия: впереди шли барабанщики, искусно выбивая дробь палочками, а за ними шагали стражники с луками и арбалетами. По-видимому, то была свита, сопровождавшая какое-то важное духовное лицо. Изумленный советник спросил, что это за шествие и кто этот сановник.

— Епископ Зеландский! — послышалось в ответ.

— Господи помилуй! Что еще такое приключилось с епископом? — вздохнул советник Кнап, грустно покачивая головой. — Нет, вряд ли это епископ.

Размышляя обо всех этих чудесах и не глядя по сторонам, советник медленно шел по Восточной улице, пока наконец не добрался до площади Высокого моста. Однако моста, ведущего к Дворцовой площади, на месте не оказалось, — бедный советник едва разглядел в кромешной тьме какую-то речонку и в конце концов заметил лодку, в которой сидело двое парней.

— Прикажете переправить вас на остров? — спросили они.

— На остров? — переспросил советник, не зная еще, что он теперь живет во время средневековья. — Мне нужно попасть в Христианову гавань, на Малую торговую улицу.

Парни вытаращили на него глаза.

— Скажите мне хотя бы, где мост? — продолжал советник. — Ну что за безобразие! Фонари не горят, а грязь такая, что кажется, будто по болоту бродишь!

Но чем больше он говорил с перевозчиками, тем меньше мог разобраться в чем-нибудь.

— Не понимаю я вашей борнхольмской тарабарщины! — рассердился он наконец и повернулся к ним спиной.

Но моста он все-таки не нашел; каменный парапет набережной исчез тоже. «Что делается! Вот безобразие!» — думал он. Да, никогда еще действительность не казалась ему такой жалкой и мерзкой, как в этот вечер. «Нет, лучше взять извозчика, — решил он. — Но, господи, куда же они все запропалились? Как назло, ни одного! Вернусь-ка я на Новую королевскую площадь — там, наверное, стоят экипажи, а то мне вовек не добраться до Христиановой гавани!»

Он снова вернулся на Восточную улицу и успел уже пройти ее почти всю, когда взошла луна.

«Господи, что это здесь понастроили такое?» — изумился советник, увидев перед собой Восточные городские ворота, которые в те далекие времена стояли в конце Восточной улицы.

Наконец он отыскал калитку и вышел на теперешнюю Новую королевскую площадь, которая в те времена была просто большим лугом. На лугу там и сям торчали кусты, и он был пересечен не то широким каналом, не то рекой. На противоположном берегу расположились жалкие лавчонки халландских шкиперов, отчего место это называлось Халландской высотой.

— Боже мой! Или это мираж, фата-моргана, или я — господи... пьян? — застонал советник юстиции. — Что же это такое? Что же это такое?

И советник опять повернул назад, подумав, что заболел. Шагая по улице, он теперь внимательнее приглядывался к домам и заметил, что все они старинной постройки и многие покрыты соломой.

— Да, конечно, я заболел, — вздыхал он, — а ведь всего-то стаканчик пунша выпил, но мне и это повредило. И надо же додуматься — угощать гостей пуншем и горячей лососиной! Нет, я непременно поговорю об этом с агентшей. Вернуться разве к ним и рассказать, какая со мной приключилась беда? Нет, неудобно. Да они, уж пожалуй, давно спать улеглись.

Он стал искать дом одних своих знакомых, но его тоже не оказалось на месте.

— Нет, это просто бред какой-то! Не узнаю Восточной улицы. Ни одного магазина! Все только старые, жалкие лачуги — можно подумать, что я попал в Роскилле или Рингстед. Да, плохо мое дело! Ну что уж тут стесняться, вернусь к агенту! Но, черт возьми, как мне найти его дом? Я больше не узнаю его. Ага, здесь, кажется, еще не спят!.. Ах, я совсем расхворался, совсем расхворался.

Он наткнулся на полуоткрытую дверь, из-за которой лился свет. Это был один из тех старинных трактиров, которые походили на теперешние наши пивные. Общая комната напоминала голштинскую харчевню. В ней сидело несколько завсегдатаев — шкипера, копенгагенские бюргеры и еще какие-то люди, с виду ученые. Попивая пиво из кружек, они вели какой-то жаркий спор и не обратили ни малейшего внимания на нового посетителя.

— Простите, — сказал советник подошедшей к нему хозяйке, — мне вдруг стало дурно. Вы не достанете мне извозчика? Я живу в Христиановой гавани.

Хозяйка посмотрела на него и грустно покачала головой, потом что-то сказала по-немецки. Советник подумал, что она плохо понимает по-датски, и повторил свою просьбу на немецком языке. Хозяйка уже заметила, что посетитель одет как-то странно, а теперь, услышав немецкую речь, окончательно убедилась в том, что перед ней иностранец. Решив, что он плохо себя чувствует, она принесла ему кружку солоноватой колодезной воды.

Советник оперся головой на руку, глубоко вздохнул и задумался: куда же все-таки он попал?

— Это вечерний «День»? — спросил он, просто чтобы сказать что-нибудь, увидев, как хозяйка убирает большой лист бумаги.

Она его не поняла, но все-таки протянула ему лист: это была старинная гравюра, изображавшая странное свечение неба, которое однажды наблюдали в Кельне.

— Антикварная картина! — сказал советник, увидев гравюру, и сразу оживился. — Где вы достали эту редкость? Очень, очень интересно, хотя и сплошная выдумка. На самом деле это было просто северное сияние, как объясняют теперь ученые; и, вероятно, подобные явления вызываются электричеством.

Те, что сидели близко и слышали его слова, посмотрели на него с уважением; один человек даже встал, почти-точно снял шляпу и сказал с самым серьезным видом:

— Вы, очевидно, крупный ученый, мосье?

— О нет, — ответил советник, — просто я могу поговорить о том о сем, как и всякий другой.

— Modestia<sup>1</sup> — прекраснейшая добродетель, — изрек его собеседник. — Впрочем, о сути вашего высказывания mihi secus videtur<sup>2</sup>, хотя и с удовольствием воздержусь пока высказывать мое собственное iudicium<sup>3</sup>.

— Осмелюсь спросить, с кем имею удовольствие беседовать? — осведомился советник.

— Я бакалавр богословия, — ответил тот.

Эти слова все объяснили советнику — незнакомец был одет в соответствии со своим ученым званием. «Должно быть, это какой-то старый сельский учитель, — подумал он, — человек не от мира сего, каких еще можно встретить в отдаленных уголках Ютландии».

— Здесь, конечно, не locus docendi<sup>4</sup>, — говорил богослов, — но я все-таки очень прошу вас продолжать свою речь. Вы, конечно, весьма начитаны в древней литературе?

— О да! Вы правы, я частенько-таки почитываю древних авторов, то есть все их хорошие произведения; но

---

<sup>1</sup> Скромность (лат.).

<sup>2</sup> Я другого мнения (лат.).

<sup>3</sup> Суждение (лат.).

<sup>4</sup> Место ученых бесед (лат.).

очень люблю и новейшую литературу, только не «Обыкновенные истории»;<sup>1</sup> их хватает и в жизни.

— Обыкновенные истории? — переспросил богослов.

— Да, я говорю об этих новых романах, которых столько теперь выходит.

— О, они очень остроумны и пользуются успехом при дворе, — улыбнулся бакалавр. — Король особенно любит романы об Ифвенте и Гаудиане, в которых рассказывается о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, и даже изволил шутить по этому поводу со своими приближенными<sup>2</sup>.

— Этих романов я еще не читал, — сказал советник юстиции. — Должно быть, это Хейберг что-нибудь новое выпустил?

— Нет, что вы, не Хейберг, а Готфред фон Гемен, — ответил бакалавр.

— Так вот кто автор! — воскликнул советник. — Какое древнее имя! Ведь это наш первый датский книгопечатник, не так ли?

— Да, он наш первопечатник! — подтвердил богослов.

Таким образом, пока что все шло прекрасно. Когда один из горожан заговорил о чуме, свирепствовавшей здесь несколько лет назад, а именно в 1484 году, советник подумал, что речь идет о недавней эпидемии холеры, и разговор благополучно продолжался. А после как было не вспомнить окончившуюся совсем недавно пиратскую войну 1490 года, когда английские каперы захватили стоящие на рейде датские корабли. Тут советник, вспомнив о событиях 1801 года, охотно присоединил свой голос к общим нападкам на англичан. Но дальше разговор что-то перестал клеиться и все чаще прерывался гробовой тишиной. Добрый бакалавр был очень уж невежественный: самые простые суждения советника казались ему чем-то необычайно смелым и фантастичным. Собеседники смотрели

---

<sup>1</sup> Намек на «Обыкновенные истории» датской писательницы Гюльембург.

<sup>2</sup> Знаменитый датский писатель Хольберг рассказывает в своей «Истории Датского государства», что, прочитав роман о рыцарях Круглого стола, король Ганс однажды сказал в шутку своему приближенному Отто Руду, которого очень любил: «Эти господа Ифвент и Гаудиан, о которых говорится в этой книге, были замечательные рыцари. Таких теперь больше не встретишь». На что Отто Руд ответил: «Если бы теперь встречались такие короли, как король Артур, то, наверное, нашлось бы немало таких рыцарей, как Ифвент и Гаудиан». (Примечание Андерсена.)

друг на друга со все возрастающим недоумением, и, когда наконец окончательно перестали понимать один другого, бакалавр, пытаясь поправить дело, заговорил по-латыни, но это мало помогло.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спросила хозяйка, потянув советника за рукав.

Тут он опомнился и в изумлении воззрился на своих собеседников, потому что за разговором совсем забыл, что с ним происходит.

«Господи, где я?» — подумал он, и при одной мысли об этом у него закружилась голова.

— Давайте пить кларет, мед и бременское пиво! — кричал один из гостей. — И вы с нами!

Вошли две девушки, одна из них была в двухцветном чепчике;<sup>1</sup> они подливали гостям вино и низко приседали. У советника даже мурашки забегали по спине.

— Что же это такое? Что это такое? — шептал он, но вынужден был пить вместе со всеми. Собутельники так на него надели, что бедный советник пришел в совершеннейшее смятение, и когда кто-то сказал, что он, должно быть, пьян, ничуть в этом не усомнился и только попросил, чтобы ему наняли извозчика. Но все подумали, что он говорит по-московитски. Никогда в жизни советник не попадал в такую грубую и неотесанную компанию. «Можно подумать, — говорил он себе, — что мы вернулись ко временам язычества. Нет, это ужаснейшая минута в моей жизни!»

Тут ему пришло в голову: а что, если залезть под стол, подползти к двери и улизнуть? Но когда он был уже почти у цели, гуляки заметили, куда он ползет, и схватили его за ноги. К счастью, калоши свалились у него с ног, а с ними рассеялось и волшебство.

При ярком свете фонаря советник отчетливо увидел большой дом, стоявший прямо перед ним. Он узнал и этот дом и все соседние, узнал и Восточную улицу. Сам он лежал на тротуаре, упираясь ногами в чьи-то ворота, а рядом сидел ночной сторож, спавший крепким сном.

— Господи! Значит, я заснул прямо на улице, вот тебе и на! — сказал советник. — Да, вот и Восточная улица...

---

<sup>1</sup> При короле Гансе, в 1495 году, был выпущен указ, по которому женщины легкого поведения должны были носить чепчики бросающейся в глаза расцветки.

Как здесь светло и красиво! Но кто бы мог подумать, что один стакан пунша подействует на меня так сильно!

Спустя две минуты советник уже ехал на извозчике в Христианову гавань. Всю дорогу он вспоминал пережитые им ужасы и от всего сердца благословлял счастливую действительность и свой век, который, несмотря на все



его пороки и недостатки, все-таки был лучше того, в котором ему только что довелось побывать. И надо сказать, что на этот раз советник юстиции мыслил вполне разумно.

### III. ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТОРОЖА

— Гм, кто-то оставил здесь свои калоши! — сказал сторож. — Это, наверно, лейтенант, что живет наверху. Вот ведь какой, бросил их у самых ворот!

Честный сторож, конечно, хотел было немедленно позвонить и отдать калоши их законному владельцу, тем более что у лейтенанта еще горел свет, — но побоялся разбудить соседей.

— Ну и тепло, должно быть, ходить в таких калошах! — сказал сторож. — А кожа до чего мягкая!

Калоши пришлись ему как раз впору.

— И ведь как странно устроен мир, — продолжал он. — Взять хотя бы этого лейтенанта: мог бы сейчас спокойно спать в теплой постели, — так нет же, всю ночь шагает взад и вперед по комнате. Вот кому счастье! Нет у него ни жены, ни детей, ни тревог, ни забот; каждый вечер по гостям разъезжает. Хорошо бы мне поменяться с ним местами: я тогда стал бы самым счастливым человеком на земле!

Не успел он это подумать, как волшебной силой ка-лош мгновенно перевоплотился в того офицера, что жил наверху. Теперь он стоял посреди комнаты, держа в руках листок розовой бумаги со стихами, которые написал сам лейтенант. Да и к кому иной раз не является поэтическое вдохновение! Вот тогда-то мысли и выливаются в стихи. На розовом листке было написано следующее:

Будь я богат  
«Будь я богат, — мальчишкой я мечтал, —  
Я непременно б офицером стал,  
Носил бы форму, саблю и плюмаж!»  
Но оказалось, что мечты — мираж.  
Шли годы — эполеты я надел,  
Но, к сожаленью, бедность — мой удел.

Веселым мальчиком, в вечерний час,  
Когда, ты помнишь, я бывал у вас,  
Тебя я детской сказкой забавлял,  
Что составляло весь мой капитал.  
Ты удивлялась, милое дитя,  
И целовала губы мне шутя.

Будь я богат, я б и сейчас мечтал  
О той, что безвозвратно потерял...  
Она теперь красива и умна,  
Но до сих пор сума моя бедна,  
А сказки не заменят капитал,  
Которого всевышний мне не дал.

Будь я богат, я б горечи не знал  
И на бумаге скорбь не изливал,  
Но в эти строки душу я вложил  
И посвятил их той, которую любил.  
В стихи мои вложил я пыл любви!  
Бедняк я. Бог тебя благослови!

Да, влюбленные вечно пишут подобные стихи, но люди благоразумные их все-таки не печатают. Чин лейтенанта, любовь и бедность — вот злополучный треугольник, или,



вернсе, треугольная половина игральной кости, брошенной на счастье и расколовшейся. Так думал и лейтенант, опустив голову на подоконник и тяжело вздыхая:

«Бедняк сторож и тот счастливей, чем я. Он не знает моих мучений. У него есть домашний очаг, а жена и дети делят с ним и радость и горе. Ах, как бы мне хотелось быть на его месте, ведь он гораздо счастливей меня!»

И в тот же миг ночной сторож снова стал ночным сторожем: ведь офицером он сделался лишь благодаря калошам, но, как мы видели, не стал от этого счастливее и захотел вернуться в свое прежнее состояние. Итак, ночной сторож опять сделался ночным сторожем.

«Какой скверный сон мне приснился! — сказал о н . — А впрочем, довольно забавный. Приснилось мне, что я стал тем самым лейтенантом, который живет у нас наверху, — и до чего же скучно он живет! Как мне не хватало жены и ребятишек: кто-кто, а они всегда готовы зацеловать меня до смерти».

Ночной сторож сидел на прежнем месте и кивал в такт своим мыслям. Сон никак не выходил у него из головы, а на ногах все еще были надеты калоши счастья. По небу покати́лась звезда.

«Ишь как покати́лась, — сказал себе сторож. — Ну ничего, их там еще много осталось. А хорошо бы увидеть поближе все эти небесные штуковины. Особенно луну: она не то что звезда, меж пальцев не проскользнет. Студент, которому моя жена белье стирает, говорит, что после смерти мы будем перелетать с одной звезды на другую. Это, конечно, вранье, а все же как было бы интересно этак попутешествовать! Эх, если б только мне удалось допрыгнуть до неба, а тело пусть бы лежало здесь, на ступеньках».

Есть вещи, о которых вообще нужно говорить очень осторожно, особенно если на ногах у тебя калоши счастья! Вот послушайте, что произошло со сторожем.

Мы с вами наверняка ездили на поезде или на пароходе, которые шли на всех парах. Но по сравнению со скоростью света их скорость все равно что скорость ленивца или улитки. Свет бежит в девятнадцать миллионов раз быстрее самого лучшего скорохода, но не быстрее электричества. Смерть — это электрический удар в сердце, и на крыльях электричества освобожденная душа улетает из тела. Солнечный луч пробегает двадцать миллионов



милей всего за восемь минут с секундами, но душа еще быстрее, чем свет, покрывает огромные пространства, разделяющие звезды.

Для нашей души пролететь расстояние между двумя небесными светилами так же просто, как нам самим дойти до соседнего дома. Но электрический удар в сердце может стоить нам жизни, если на ногах у нас нет таких калош счастья, какие были у сторожа.

В несколько секунд ночной сторож пролетел пространство в пятьдесят две тысячи миль, отделяющее землю от луны, которая, как известно, состоит из вещества гораздо более легкого, чем наша земля, и она примерно такая же мягкая, как только что выпавшая пороша.

Сторож очутился на одной из тех бесчисленных лунных кольцевых гор, которые известны нам по большим лунным картам доктора Мэдлера. Ведь ты тоже видел их, не правда ли?

В горе образовался кратер, стенки которого почти отвесно обрывались вниз на целую датскую милю, а на самом дне кратера находился город. Город этот напоминал яичный белок, выпущенный в стакан воды, — такими прозрачными и легкими казались его башни, купола и парусообразные

балконы, слабо колыхавшиеся в разреженном воздухе луны. А над головой сторожа величественно плыл огромный огненно-красный шар — наша земля.

На луне было множество живых существ, которых мы бы назвали людьми, если б они не так сильно отличались от нас и по своей внешности и по языку. Трудно было ожидать, чтобы душа сторожа понимала этот язык, — однако она прекрасно его понимала.

Да, да, можете удивляться, сколько хотите, но душа сторожа сразу научилась языку жителей луны. Чаще всего они спорили о нашей земле. Они очень и очень сомневались в том, что на земле есть жизнь, ибо воздух там, говорили они, слишком плотный, и разумное лунное создание не могло бы им дышать. Они утверждали далее, что жизнь возможна только на луне — единственной планете, где уже давным-давно зародилась жизнь.

Но вернемся на Восточную улицу и посмотрим, что стало с телом сторожа.

Безжизненное, оно по-прежнему сидело на ступеньках; палка со звездой на конце, — у нас ее прозвали «утренней звездой», — выпала из рук, а глаза уставились на луну, по которой сейчас путешествовала душа сторожа.

— Эй, сторож, который час? — спросил какой-то прохожий; не дождавшись ответа, он слегка щелкнул сторожа по носу. Тело потеряло равновесие и во всю длину растянулось на тротуаре.

Решив, что сторож умер, прохожий пришел в ужас, а мертвый так и остался мертвым. Об этом сообщили куда следует, и утром тело отвезли в больницу.

Вот заварилась бы каша, если бы душа вернулась и, как и следовало ожидать, принялась бы искать свое тело там, где рассталась с ним, то есть на Восточной улице. Обнаружив пропажу, она скорей всего сразу же кинулась бы в полицию, в адресный стол, оттуда в бюро розыску вещей, чтобы дать объявление о пропаже в газете, и лишь в последнюю очередь отправилась бы в больницу. Впрочем, о душе беспокоиться нечего — когда она действует самостоятельно, все идет прекрасно, и лишь тело мешает ей и заставляет ее делать глупости.

Так вот, когда сторожа доставили в больницу и внесли в мертвецкую, с него первым делом, конечно, сняли калоши, и душе волей-неволей пришлось прервать свое путешествие и возвратиться в тело. Она сразу же отыскала

его, и сторож немедленно ожил. Потом он уверял, что это была самая бредовая ночь в его жизни. Он даже за две марки не согласился бы вновь пережить все эти ужасы. Впрочем, теперь все это позади.

Сторожа выписали в тот же день, а калоши остались в больнице.

#### IV. «ГОЛОВОЛОМКА». ДЕКЛАМАЦИЯ. СОВЕРШЕННО НЕОБЫЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Каждый житель Копенгагена много раз видел главный вход в городскую фредериксбергскую больницу, но так как эту историю, возможно, будут читать не только копенгагенцы, нам придется дать кое-какие разъяснения.

Дело в том, что больницу отделяет от улицы довольно высокая решетка из толстых железных прутьев. Прутья эти расставлены так редко, что многие практиканты, если только они худошавы, ухитряются протиснуться между ними, когда в неурочный час хотят выбраться в город. Трудней всего им просунуть голову, так что и в этом случае, как, впрочем, нередко бывает в жизни, большоголовым приходилось труднее всего... Ну, для вступления об этом хватит.

В этот вечер в больнице как раз дежурил один молодой медик, о котором хоть и можно было сказать, что «голова у него большая», но... лишь в самом прямом смысле слова. Шел проливной дождь; однако, невзирая на непогоду и дежурство, медик все-таки решил сбегать в город по каким-то неотложным делам, — хотя бы на четверть часика. «Незачем, — думал он, — связываться с привратником, если можно легко пролезть сквозь решетку». В вестибюле все еще валялись калоши, забытые сторожем. В такой ливень они были очень кстати, и медик надел их, не догадываясь, что это калоши счастья. Теперь осталось только протиснуться между железными прутьями, чего ему еще ни разу не приходилось делать.

— Господи, только бы просунуть голову, — промолвил он.

И в тот же миг голова его, хотя и очень большая, благополучно проскочила между прутьями, — не без помощи калош, разумеется.

Теперь дело было за туловищем, но ему никак не удалось пролезть.

— Ух, какой я толстый! — сказал студент. — А я-то думал, что голову просунуть всего труднее будет. Нет, не пролезть мне!

Он хотел было сразу же втянуть голову обратно, но не тут-то было: она застряла безнадежно, он мог лишь крутить ею сколько угодно и без всякого толка. Сначала медик просто рассердился, но вскоре настроение его испортилось вконец; калоши поставили его прямо-таки в жуткое положение.

К несчастью, он никак не догадывался, что надо пожелать освободиться, и сколько ни вертел головой, она не пролезала обратно. Дождь все лил и лил, и на улице ни души не было. До звонка к дворнику все равно никак было не дотянуться, а сам освободиться он не мог. Он думал, что, чего доброго, придется простоять так до утра: ведь только утром можно будет послать за кузнецом, чтобы он перепилил решетку. И вряд ли удастся перепилить ее быстро, а на шум сбегутся школьники, все окрестные жители, — да, да, сбегутся и будут глазеть на медика, который скорчился, как преступник у позорного столба; глазеть, как в прошлом году на огромную агаву, когда она расцвела.

— Ой, кровь так и приливает к голове. Нет, я так с ума сойду! Да, да, сойду с ума! Ох, только бы мне освободиться!

Давно уже нужно было медику сказать это: в ту же минуту голова его освободилась, и он стремглав кинулся назад, совершенно обезумев от страха, в который повергли его калоши счастья.

Но если вы думаете, что этим дело и кончилось, то глубоко ошибаетесь. Нет, самое худшее еще впереди.

Прошла ночь, наступил следующий день, а за калошами все никто не являлся.

Вечером в маленьком театре, расположенном на улице Каннике, давали представление. Зрительный зал был полон. В числе других артистов один чтец декламировал стихотворение под названием «Бабушкины очки»:

У бабушки моей был дар такой,  
Что раньше бы сожгли ее живой.  
Ведь ей известно все и даже боле:  
Грядущее узнать — в ее то было воле,

В сороковые проникала взором,  
Но просьба рассказать всегда кончалась спором.  
«Скажи мне, говорю, грядущий год,  
Какие нам события принесет?  
И что произойдет в искусстве, в государстве?»  
Но бабушка, искусная в коварстве,  
Молчит упрямо, и в ответ ни слова.  
И разбранить меня подчас готова.  
Но как ей устоять, где взять ей сил?  
Ведь я ее любимцем был.

«По-твоему пусть будет в этот раз, —  
Сказала бабушка и мне тотчас  
Очки свои дала. — Иди-ка ты туда,  
Где собирается народ всегда,  
Надень очки, поближе подойди  
И на толпу людскую погляди.  
В колоду карт вдруг обратятся люди.  
По картам ты поймешь, что было и что будет».

Сказав спасибо, я ушел проворно.  
Но где найти толпу? На площади, бесспорно.  
На площади? Но не люблю я стужи.  
На улице? Там всюду грязь да лужи.  
А не в театре ли? Что ж, мысль на славу!  
Вот где я встречу целую ораву.  
И наконец я здесь! Мне стоит лишь очки достать,  
И стану я оракулу под стать.  
А вы сидите тихо по местам:  
Ведь картами казаться надо вам,  
Чтоб будущее было видно ясно.  
Молчанье ваше — знак, что вы согласны.  
Сейчас судьбу я спрошу, и не напрасно,  
Для пользы собственной и для народа.  
Итак, что скажет карт живых колода.

*(Надевает очки.)*

Что вижу я! Ну и потеха!  
Вы, право, лопнули б от смеха,  
Когда увидели бы всех тузов бубновых,  
И нежных дам, и королей суровых!  
Все пики, трефы здесь чернее снов дурных.  
Посмотрим же как следует на них.  
Та дама пик известна знаньем света —  
И вот влюбилась вдруг в бубнового валета.  
А эти карты что нам предвещают?  
Для дома много денег обещают  
И гостя из далекой стороны,  
А впрочем, гости вряд ли нам нужны.  
Беседу вы хотели бы начать  
С сословий? Лучше помолчать!  
А вам я дам один благой совет:  
Вы хлеб не отбивайте у газет.  
Иль о театрах? Закулисных тренях?

Ну нет! С дирекцией не порчу отношенья.  
О будущем моем? Но ведь известно:  
Плохое знать совсем неинтересно.  
Я знаю все — какой в том прок:  
Узнаете и вы, когда наступит срок!  
Что, что? Кто всех счастливей среди вас?  
Ага! Счастливица я найду сейчас...  
Его свободно можно б отличить,  
Да остальных пришлось бы огорчить!  
Кто дольше проживет? Ах, он? Прекрасно!  
Но говорить на сей сюжет опасно.  
Сказать? Сказать? Сказать или нет?  
Нет, не скажу — вот мой ответ!  
Боюсь, что оскорбить могу я вас,  
Уж лучше мысли ваши я прочту сейчас,  
Всю силу волшебства призвав тотчас.  
Угодно вам узнать? Скажу себе в укор:  
Вам кажется, что я, с каких уж пор,  
Болтаю перед вами вздор.  
Тогда молчу, вы правы, без сомненья,  
Теперь я сам хочу услышать ваше мнение.

Декламировал чтец превосходно, в зале загремели аплодисменты.

Среди публики находился и наш злосчастный медик. Он, казалось, уже забыл свои злключения, пережитые прошлой ночью. Отправляясь в театр, он опять надел калоши, — их пока еще никто не востребовал, а на улице была слякоть, так что они могли сослужить ему хорошую службу. И сослужили!

Стихи произвели большое впечатление на нашего медика. Ему очень понравилась их идея, и он подумал, что хорошо бы раздобыть такие очки. Немного наострившись, можно было бы научиться читать в сердцах людей, а это гораздо интереснее, чем заглядывать в будущий год, — ведь он все равно наступит рано или поздно, а вот в душу к человеку иначе не заглянешь.

«Взять бы, скажем, зрителей первого ряда, — думал медик, — и посмотреть, что делается у них в сердце, — должен же туда вести какой-то вход, вроде как в магазин. Чего бы я там ни посмотрелся, надо полагать! У этой вот дамы в сердце, наверное, помещается целый галантерейный магазин. А у этой он уже опустел, только надо бы его как следует помыть да почистить. Есть среди них и солидные магазины. Ах, — вздохнул медик, — знаю я один такой магазин, но, увы, приказчик для него уже нашелся, и это единственный его недостаток. А из многих других,

наверное, зазывали бы: «Заходите, пожалуйста, к нам, милости просим!» Да, вот зайти бы туда в виде крошечной мысли, прогуляться бы по сердцам!»

Сказано — сделано! Только пожелай — вот все, что надо калошам счастья. Медик вдруг весь как-то съежился, стал совсем крохотным и начал свое необыкновенное путешествие по сердцам зрителей первого ряда.

Первое сердце, в которое он попал, принадлежало одной даме, но бедняга медик сначала подумал, что очутился в ортопедическом институте, где врачи лечат больных, удаляя различные опухоли и выправляя уродства. В комнате, куда вошел наш медик, были развешаны многочисленные гипсовые слепки с этих уродливых частей тела. Вся разница только в том, что в настоящем институте слепки снимаются, как только больной туда поступает, а в этом сердце они изготовлялись тогда, когда из него выписывался здоровый человек.

Среди прочих в сердце этой дамы хранились слепки, снятые с физических и нравственных уродств всех ее подруг.

Так как слишком задерживаться не полагалось, то медик быстро перекочевал в другое женское сердце, — и на этот раз ему показалось, что он вступил в светлый обширный храм. Над алтарем парил белый голубь — олицетворение невинности. Медик хотел было преклонить колена, но ему нужно было спешить дальше, в следующее сердце, и только в ушах его еще долго звучала музыка органа. Он даже почувствовал, что стал более хорошим и чистым, чем был раньше, и достоин теперь войти в следующее святилище, оказавшееся жалкой каморкой, где лежала больная мать. Но в открытые настежь окна лились теплые солнечные лучи, чудесные розы, расцветшие в ящичке под окном, качали головками, кивая больной, две небесно-голубые птички пели песенку о детских радостях, а больная мать просила счастья для своей дочери.

Потом наш медик на четвереньках переполз в мясную лавку; она была завалена мясом, — и куда бы он ни сунулся, всюду наткался на туши. Это было сердце одного богатого, всеми уважаемого человека, — его имя, наверно, можно найти в справочнике по городу.

Оттуда медик перекочевал в сердце его супруги. Оно представляло собой старую, полуразвалившуюся голубятню. Портрет мужа был водружен на ней вместо флюгера; к ней же была прикреплена входная дверь, которая то от-



крывалась, то закрывалась — в зависимости от того, куда поворачивался супруг.

Потом медик попал в комнату с зеркальными стенами, такую же, как во дворце Розенбург, но здесь зеркала были увеличительные, они все увеличивали во много раз. Посреди комнаты восседало на троне маленькое «я» обладателя этого сердца и восхищалось своим собственным величием.

Оттуда медик перебрался в другое сердце, и ему показалось, что он попал в узкий игольник, набитый острыми



иголками. Он было решил, что это сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся: оно принадлежало награжденному множеством орденов молодому военному, о котором говорили, что он «человек с сердцем и умом».

Наконец бедный медик выбрался из последнего сердца и, совершенно ошалев, еще долго никак не мог собраться с мыслями. Во всем он винил свою разыгравшуюся фантазию.

«Бог знает что такое! — вздохнул он. — Нет, я определенно схожу с ума. И какая дикая здесь жара! Кровь так и приливает к голове. — Тут он вспомнил о своих вчерашних злоключениях у больничной ограды. — Вот когда я заболел! — подумал он. — Нужно вовремя взяться за лечение. Говорят, что в таких случаях всего полезнее русская баня. Ах, если бы я уже лежал на полке».

И он действительно очутился в бане на самом верхнем полке, но лежал там совсем одетый, в сапогах и калошах, а с потолка на лицо ему капала горячая вода.

— Ой! — закричал медик и побежал скорее принять душ.

Банщик тоже закричал: он испугался, увидев в бане одетого человека.

Наш медик, не растерявшись, шепнул ему:

— Не бойся, это я на пари, — но, вернувшись домой, первым делом поставил себе один большой пластырь из шпанских мушек на шею, а другой на спину, чтобы вытянуть дурь из головы.

Наутро вся спина у него набухла кровью — вот и все, чем его благодетельствовали калоши счастья.

#### V. ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПИСАРЯ

Наш знакомый сторож между тем вспомнил про калоши, которые нашел на улице, а потом оставил в больнице, и забрал их оттуда. Но ни лейтенант, ни соседи не признали этих калош своими, и сторож отнес их в полицию.

— Да они как две капли воды похожи на мои! — сказал один из полицейских писарей, поставив находку рядом со своими калошами и внимательно ее рассматривая. — Тут и опытный глаз сапожника не отличил бы одну пару от другой.

— Господин писарь, — обратился к нему полицейский, вошедший с какими-то бумагами.

Писарь поговорил с ним, а когда опять взглянул на обе пары калош, то уж и сам перестал понимать, которая из них его пара — та ли, что стоит справа, или та, что слева.

«Мои, должно быть, вот эти, мокрые», — подумал он и ошибся: это были как раз калоши счастья. Что ж, полиция тоже иногда ошибается.

Писарь надел калоши и, сунув одни бумаги в карман, а другие — под мышку (ему нужно было кое-что перечитать и переписать дома), вышел на улицу. День был воскресный, стояла чудесная погода, и полицейский писарь подумал, что неплохо было бы прогуляться по Фредериксбергу.

Молодой человек отличался редким прилежанием и усидчивостью, так что пожелаем ему приятной прогулки после многих часов работы в душной канцелярии.

Сначала он шел, ни о чем не думая, и калошам поэтому все не представлялось удобного случая проявить свою чудодейственную силу.

Но вот он повстречал в одной аллее своего знакомого, молодого поэта, и тот сказал, что завтра отправляется путешествовать на все лето.

— Эх, вот вы опять уезжаете, а мы остаемся, — сказал писарь. — Счастливые вы люди, летаете себе, где хотите и куда хотите, а у нас цепи на ногах.

— Да, но ими вы прикованы к хлебному дереву, — возразил поэт. — Вам нет нужды заботиться о завтрашнем дне, а когда вы состаритесь, получите пенсию.

— Так-то так, но вам все-таки живется гораздо привольнее, — сказал писарь. — Писать стихи — что может быть лучше! Публика носит вас на руках, и вы сами себе господа. А вот попробовали бы вы посидеть в суде, как мы сидим, да повозиться с этими скучнейшими делами!

Поэт покачал головой, писарь тоже покачал головой, и они разошлись в разные стороны, оставшись каждый при своем мнении.

«Удивительный народ эти поэты, — думал молодой чиновник. — Хотелось бы поближе познакомиться с такими натурами, как он, и самому стать поэтом. Будь я на их месте, я бы в своих стихах не стал хныкать. Ах, какой сегодня чудесный весенний день, сколько в нем красоты, свежести, поэзии! Какой необыкновенно прозрачный воздух! Какие причудливые облака! А трава и листья так сладостно благоухают! Давно уже я так остро не ощущал этого, как сейчас».

Вы, конечно, заметили, что он уже стал поэтом. Но внешне совсем не изменился, — нелепо думать, что поэт не такой же человек, как все прочие. Среди простых людей часто встречаются натуры гораздо более поэтические, чем многие прославленные поэты. Только у поэтов гораздо лучше развита память, и все идеи, образы, впечатления хранятся в ней до тех пор, пока не найдут своего поэтического выражения на бумаге. Когда простой человек становится поэтически одаренной натурой, происходит своего

рода превращение, — и такое именно превращение произошло с писарем.

«Какое восхитительное благоухание! — думал он. — Оно напоминает мне фиалки у тетушки Лоны. Да, я был тогда еще совсем маленьким. Господи, и как это я ни разу не вспомнил о ней раньше! Добрая старая тетушка! Она жила как раз за Биржей. Всегда, даже в самую лютую стужу, на окнах у нее зеленели в банках какие-нибудь веточки или росточки, фиалки наполняли комнату ароматом; а я прикладывал нагретые медяки к обледенелым стеклам, чтобы можно было смотреть на улицу. Какой вид открывался из этих окон! На канале стояли вмерзшие в лед корабли, огромные стаи ворон составляли весь их экипаж. Но с наступлением весны суда преображались. С песнями и криками «ура» матросы обкалывали лед; корабли смолдили, оснащали всем необходимым, и они наконец уплывали в заморские страны. Они-то уплывают, а я вот остаюсь здесь; и так будет всегда; всегда я буду сидеть в полицейской канцелярии и смотреть, как другие получают заграничные паспорта. Да, таков мой удел!» — и он глубоко-глубоко вздохнул, но потом вдруг опомнился: «Что это такое со мной делается сегодня? Раньше мне ничего подобного и в голову не приходило. Верно, это весенний воздух так на меня действует. А сердце сжимается от какого-то сладостного волнения».

Он полез в карман за своими бумагами. «Возьмусь за них, буду думать о чем-нибудь другом», — решил он и пробежал глазами первый попавшийся под руку лист бумаги. «Фру Зигбрит», оригинальная трагедия в пяти действиях», — прочитал он. «Что такое? Странно, почерк мой! Неужели это я написал трагедию? А это еще что? «Интрига на валу, или Большой праздник; водевиль». Но откуда все это у меня? Наверное, кто-нибудь подсунул. Да тут еще письмо...»

Письмо прислала дирекция одного театра; она не очень вежливо извещала автора, что обе его пьесы никуда не годятся.

— Гм, — произнес писарь, усаживаясь на скамейку.

В голову его вдруг хлынуло множество мыслей, а сердце исполнилось неизъясимой нежности... к чему — он и сам не знал. Машинально он сорвал цветок и залюбовался им. Это была простая маленькая маргаритка, но она в течение одной минуты сообщила ему о себе больше, чем

можно узнать, выслушав несколько лекций по ботанике. Она рассказала ему предание о своем рождении, рассказав о том, как могуч солнечный свет, — ведь это благодаря ему распустились и стали благоухать ее нежные лепестки. А поэт в это время думал о суровой жизненной борьбе, пробуждающей в человеке еще неведомые ему силы и чувства. Воздух и свет — возлюбленные маргаритки, но свет — ее главный покровитель, перед ним она благоговит; а когда он уходит вечером, она засыпает в объятиях воздуха.

— Свет одарил меня красотой! — сказала маргаритка.

— А воздух дает тебе жизнь! — шепнул ей поэт.

Неподалеку стоял мальчуган и хлопал палкой по воде в грязной канавке — брызги разлетались в разные стороны. И писарь задумался вдруг о тех миллионах живых, невидимых простым глазом существ, которые взлетают вместе с водяными каплями на огромную, по сравнению с их собственными размерами, высоту, — вот как если бы мы, например, очутились над облаками. Размышляя об этом, а также о своем превращении, наш писарь улыбнулся: «Я просто сплю и вижу сон. Но какой это все-таки удивительный сон! Оказывается, можно грезить наяву, сознавая, что это тебе только снится. Хорошо бы вспомнить обо всем этом завтра утром, когда я проснусь. Какое странное состояние! Сейчас я все вижу так четко, так ясно, чувствую себя таким бодрым и сильным — и в то же время хорошо знаю, что если утром попытаюсь что-нибудь припомнить, в голову мне ползет только чепуха. Сколько раз это бывало со мной! Все эти чудесные вещи похожи на золото гномов: ночью, когда их получаешь, они кажутся драгоценными камнями, а днем превращаются в кучу щебня и увядших листьев».

Вконец расстроенный, писарь грустно вздыхал, поглядывая на птичек, которые весело распевали свои песенки, перепархивая с ветки на ветку.

«И им живется лучше, чем мне. Уметь летать — какая чудесная способность! Счастлив тот, кто ею одарен. Если бы только я мог превратиться в птичку, я бы стал вот таким маленьким жаворонком!»

И в ту же минуту рукава и фалды его куртки превратились в крылья и обросли перьями, а вместо калош появились коготки. Он сразу заметил все эти превращения и



улыбнулся. «Ну, теперь я вижу, что это сон. Но таких дурацких снов мне еще не приходилось видеть», — подумал он, взлетел на зеленую ветку и запел.

Однако в его пении уже не было поэзии, так как он перестал быть поэтом: калоши, как и все, кто хочет чего-нибудь добиться, выполняли только одно дело зараз. Захотел писарь стать поэтом — стал, захотел превратиться в птичку — превратился, но зато утратил свои прежние свойства.

«Забавно, нечего сказать! — подумал он. — Днем я сижу в полицейской канцелярии, занимаясь важнейшими делами, а ночью мне снится, что я жаворонком летаю по Фредериксбергскому парку. Да об этом, черт возьми, можно написать целую народную комедию!»

И он слетел на траву, завертел головкой и принялся весело клевать гибкие травинки, казавшиеся ему теперь огромными африканскими пальмами.

Внезапно вокруг него стало темно, как ночью; ему почудилось, будто на него набросили какое-то гигантское одеяло! На самом же деле это мальчик из слободки накрыл его своей шапкой. Мальчик запустил руку под шапку и схватил писаря за спинку и крылья; тот сначала запищал от страха, потом вдруг возмущился:

— Ах ты негодный щенок! Как ты смеешь! Я полицейский писарь!

Но мальчишка услышал только жалобное «пи-и, пи-и-и». Он шелкнул птичку по клюву и пошел с нею дальше, на горку.

По дороге он встретил двух школьников; оба они были в высшем классе — по своему положению в обществе, и в низшем — по умственному развитию и успехам в науках. Они купили жаворонка за восемь скиллингов. Таким образом полицейский писарь вернулся в город и оказался в одной квартире на Готской улице.

— Черт побери, хорошо, что это сон, — сказал писарь, — а не то я бы здорово рассердился! Сначала я стал поэтом, потом — жаворонком. И ведь это моя поэтическая натура внушила мне желание превратиться в такую малютку. Однако невеселая это жизнь, особенно когда попадешь в лапы к подобным сорванцам. Хотел бы я узнать, чем все это кончится?

Мальчишки принесли его в красиво обставленную комнату, где их встретила толстая улыбающаяся женщина. Она ничуть не обрадовалась «простой полевой птичке», как она назвала жаворонка, тем не менее разрешила мальчишкам оставить его и посадить в клетку на подоконнике.

— Быть может, он немного развлечет попочку! — добавила она и с улыбкой взглянула на большого зеленого попугая, который важно покачивался на кольце в роскошной металлической клетке. — Сегодня у попочки день рождения, — сказала она, глупо улыбаясь, — и полевая птичка хочет его поздравить.

Попугай, ничего на это не ответив, все так же важно раскачивался взад и вперед. В это время громко запела красивая канарейка, которую сюда привезли прошлым летом из теплой и благоухающей родной страны.

— Ишь, крикунья! — сказала хозяйка и набросила на клетку белый носовой платок.

— Пи-пи! Какая ужасная метель! — вздохнула канарейка и умолкла.

Писаря, которого хозяйка называла «полевой птичкой», посадили в маленькую клетку, рядом с клеткой канарейки и по соседству с попугаем. Попугай мог внятно выговаривать только одну фразу, нередко звучавшую очень комично: «Нет, будем людьми!», а все остальное получалось у него столь же невразумительным, как щебет канарейки. Впрочем, писарь, превратившись в птичку, отлично понимал своих новых знакомых.

— Я порхала над зеленой пальмой и цветущим миндальным деревом, — пела канарейка, — вместе с братьями и сестрами я летала над чудесными цветами и зеркальной гладью озер, и нам приветливо кивали отражения прибрежных растений. Я видела стаи красивых попугаев, которые рассказывали множество чудеснейших историй.

— Это дикие птицы, — отозвался попугай, — не получившие никакого образования. Нет, будем людьми! Что же ты не смеешься, глупая птица? Если этой остроте смеется и сама хозяйка и ее гости, так почему бы не посмеяться и тебе? Не ценить хороших остроумцев — это очень большой порок, должен вам сказать. Нет, будем людьми!

— А ты помнишь красивых девушек, что плясали под сенью цветущих деревьев? Помнишь сладкие плоды и прохладный сок диких растений.

— Конечно, помню, — отвечал попугай, — но здесь мне гораздо лучше! Меня прекрасно кормят и всячески убажуют. Я знаю, что я умен, и с меня довольно. Нет, будем людьми! У тебя, что называется, поэтическая натура, а я сведущ в науках и остроумен. В тебе есть эта самая гениальность, но не хватает рассудительности. Ты метишь слишком высоко, поэтому люди тебя осаживают. Со мной они так поступать не станут, потому что я обошелся им дорого. Я внушаю уважение уже одним своим клювом, а болтовней своей могу кого угодно поставить на место. Нет, будем людьми!

— О моя теплая, цветущая родина, — пела канарейка, — я буду петь о твоих темно-зеленых деревьях, чьи ветви целуют прозрачные воды тихих заливов, о светлой радости моих братьев и сестер, о вечнозеленых хранителях влаги в пустыне — кактусах.

— Перестань хныкать! — проговорил попугай. — Скажи лучше что-нибудь смешное. Смех — это знак высшей степени духовного развития. Вот разве могут, к примеру, смеяться собака или лошадь? Нет, они могут только плакать, а способностью смеяться одарен лишь человек. Ха-ха-ха! — расхохотался попочка и окончательно сразил собеседников своим «нет, будем людьми!»

— И ты, маленькая серая датская птичка, — сказала канарейка жаворонку, — ты тоже стала пленницей. В твоих лесах, наверное, холодно, но зато в них ты свободна. Лети же отсюда! Смотри, они забыли запереть твою клетку! Форточка открыта, лети же — скорей, скорей!



Писарь так и сделал, вылетел из клетки и уселся возле нее. В этот миг дверь в соседнюю комнату открылась, и на пороге появилась кошка, гибкая, страшная, с зелеными горящими глазами. Кошка уже совсем было приготовилась к прыжку, но канарейка заметалась в клетке, а попугай захлопал крыльями и закричал: «Нет, будем людьми!» Писарь похолодел от ужаса и, вылетев в окно, полетел над домами и улицами. Летел, летел, наконец устал, — и вот увидел дом, который показался ему знакомым. Одно окно в доме было открыто. Писарь влетел в комнату и уселся на стол. К своему изумлению, он увидел, что это его собственная комната.

«Нет, будем людьми!» — машинально повторил он излюбленную фразу попугая и в ту же минуту вновь стал полицейским писарем, только зачем-то усевшимся на стол.

— Господи помилуй, — сказал писарь, — как это я попал на стол, да еще заснул? И какой дикий сон мне приснился. Какая чепуха!

#### VI. ЛУЧШЕЕ. ЧТО СДЕЛАЛИ КАЛОШИ

На другой день рано утром, когда писарь еще лежал в постели, в дверь постучали, и вошел его сосед, снимающий комнату на том же этаже, — молодой студент-богослов.

— Одолжи мне, пожалуйста, свои калоши, — сказал он. — Хоть в саду и сыро, да больно уж ярко светит солнышко. Хочу туда сойти выкурить трубочку.

Он надел калоши и вышел в сад, в котором росло только два дерева — слива и груша; впрочем, даже столь скудная растительность в Копенгагене большая редкость.

Студент прохаживался взад и вперед по дорожке. Время было раннее, всего шесть часов утра. На улице заиграл рожок почтового дилижанса.

— О, путешествовать, путешествовать! — вырвалось у него. — Что может быть лучше! Это предел всех моих мечтаний. Если бы они осуществились, я бы тогда, наверное, уgomонился и перестал метаться. Как хочется уехать подальше отсюда, увидеть волшебную Швейцарию, поехать по Италии!

Хорошо еще, что калоши счастья выполняли желания немедленно, а то бы студент, пожалуй, забрался слишком

далеко и для себя самого и для нас с вами. В тот же миг он уже путешествовал по Швейцарии, упрятанный в почтовый дилижанс вместе с восемью другими пассажирами. Голова у него трещала, шею ломило, ноги затекли и болели, потому что сапоги жали немилосердно. Он не спал и не бодрствовал, но был в состоянии какого-то мучительного оцепенения. В правом кармане у него лежал аккредитив, в левом — паспорт, а в кожаном мешочке на груди было зашито несколько золотых. Стоило нашему путешественнику клонуть носом, как ему тут же начинало мерещиться, что он уже потерял какое-нибудь из этих своих сокровищ, и тогда его бросало в дрожь, а рука его судорожно описывала треугольник — справа налево и на грудь, — чтобы проверить, все ли цело. В сетке над головами пассажиров болтались зонтики, палки, шляпы, и все это мешало студенту наслаждаться прекрасным горным пейзажем. Но он все смотрел, смотрел и не мог насмотреться, а в сердце его звучали строки стихотворения, которое написал, хотя и не стал печатать, один известный нам швейцарский поэт:

Прекрасный край! Передо мной  
Монблан белеет вдалеке.  
Здесь был бы, право, рай земной,  
Будь больше денег в кошельке.

Природа здесь была мрачная, суровая и величественная. Хвойные леса, покрывавшие заоблачные горные вершины, издали казались просто зарослями вереска. Пошел снег, подул резкий, холодный ветер.

— Ух! — вздохнул студент. — Если бы мы уже были по ту сторону Альп! Там теперь наступило лето, и я наконец получил бы по аккредитиву свои деньги. Я так за них боюсь, что все эти альпийские красоты перестали меня пленять. Ах, если б я уже был там!

И он немедленно очутился в самом сердце Италии, где-то на дороге между Флоренцией и Римом. Последние лучи солнца озаряли лежащее между двумя темно-синими холмами Тразименское озеро, превращая его воды в расплавленное золото. Там, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, теперь виноградные лозы мирно обвивали друг друга своими зелеными плетями. У дороги, под сенью благоухающих лавров, прелестные полуголые ребятишки пасли стадо черных как смоль свиней. Да, если бы описать

эту картину как следует, все бы только и твердили: «Ах, восхитительная Италия!» Но, как ни странно, ни богослов, ни его спутники этого не думали. Тысячи ядовитых мух и комаров тучами носились в воздухе; напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками, насекомые все равно кусали и жалили их. В карете не было человека, у которого не распухло бы все лицо, искусанное в кровь. У лошадей был еще более несчастный вид: бедных животных сплошь облепили огромные рои насекомых, так что кучер время от времени слезал с козел и отгонял от лошадей их мучителей, но уже спустя мгновение налетали новые полчища. Скоро зашло солнце, и путешественников охватил пронизывающий холод — правда, ненадолго, но все равно это было не слишком приятно. Зато вершины гор и облака окрасились в непередаваемо красивые зеленые тона, отливающие блеском последних солнечных лучей. Эта игра красок не поддается описанию, ее нужно видеть. Зрелище изумительное, все с этим согласились, но в желудке у каждого было пусто, тело устало, душа жаждала приюта на ночь, а где его найти? Теперь все эти вопросы занимали путешественников гораздо больше, чем красоты природы.

Дорога проходила через оливковую рошу, и казалось, что едешь где-нибудь на родине, между родными узловатыми ивами. Вскоре карета подъехала к одинокой гостинице. У ворот ее сидело множество нищих-калек, и самый бодрый из них казался «достигшим зрелости старшим сыном голода». Одни калеки ослепли; у других высохли ноги — эти ползали на руках; у третьих на изуродованных руках не было пальцев. Казалось, сама нищета тянулась к путникам из этой кучи тряпья и лохмотьев. «Eccelsenza, miserabili!»<sup>1</sup> — хрипели они, показывая свои уродливые конечности. Путешественников встретила хозяйка гостиницы, босая, нечесаная, в грязной кофте. Двери в комнатах держались на веревках, под потолком порхали летучие мыши, кирпичный пол был весь в выбоинах, а вонь стояла такая, что хоть топор вешай...

— Лучше уж пусть она накроет нам стол в конюшне, — сказал кто-то из путешественников. — Там по крайней мере знаешь, чем дышишь.

---

<sup>1</sup> Господин, помогите несчастным! (*итал.*).

Открыли окно, чтобы впустить свежего воздуха, но тут в комнату протянулись высохшие руки и послышалось извечное нытье: «Eccelenza, miserabili!»

Стены комнаты были сплошь исписаны, и половина надписей ругательно ругала «прекрасную Италию».

Принесли обед: водянистый суп с перцем и прогорклым оливковым маслом, потом приправленный таким же маслом салат и, наконец, несвежие яйца и жареные петушинные гребешки — в качестве украшения пиршества; даже вино казалось не вином, а какой-то микстурой.

На ночь дверь забаррикадировали чемоданами, и одному путешественнику поручили стоять в часах, а остальные уснули. Часовым был студент-богослов. Ну и духота стояла в комнате! Жара нестерпимая, комары, — а тут еще «miserabili», которые стонали во сне, мешая уснуть.

— Да, путешествовать, конечно, было бы не плохо, — вздохнул студент, — не будь у нас тела. Пусть бы оно лежало себе да отдыхало, а дух летал бы где ему угодно. А то, куда бы я ни приехал, всюду тоска гложет мне сердце. Хотелось бы чего-то большего, чем мгновенная радость бытия. Да, да, большего, высшего, наивысшего! Но где оно? В чем? Что это такое? Нет, я же знаю, к чему стремлюсь, чего хочу. Я хочу прийти к конечной и счастливейшей цели земного бытия, самой счастливой из всех!

И только он произнес последние слова, как очутился у себя дома. На окнах висели длинные белые занавески, посреди комнаты на полу стоял черный гроб, а в нем смертным сном спал богослов. Его желание исполнилось: тело его отдыхало, а душа странствовала. «Никого нельзя назвать счастливым раньше, чем он умрет», — сказал Солон; и теперь его слова снова подтвердились.

Каждый умерший — это сфинкс, неразрешимая загадка. И этот «сфинкс» в черном гробу уже не мог ответить нам на тот вопрос, какой он сам себе задавал за два дня до смерти.

О злая смерть! Ты всюду сеешь страх,  
Твой след — одни могилы да моления.  
Так что ж, и мысль повергнута во прах?  
А я ничтожная добыча тленья?

Что стонов хор для мира суеты!  
Ты одиноким весь свой век прожил,  
И жребий твой был тяжелей плиты,  
Что на твою могилу кто-то положил.

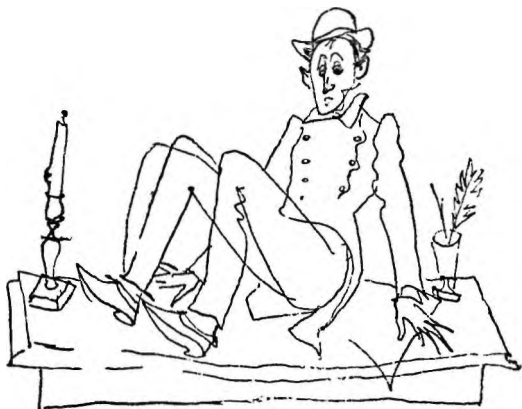
В комнате появились две женщины. Мы их знаем: то были фея Печали и вестница Счастья, и они склонились над умершим.

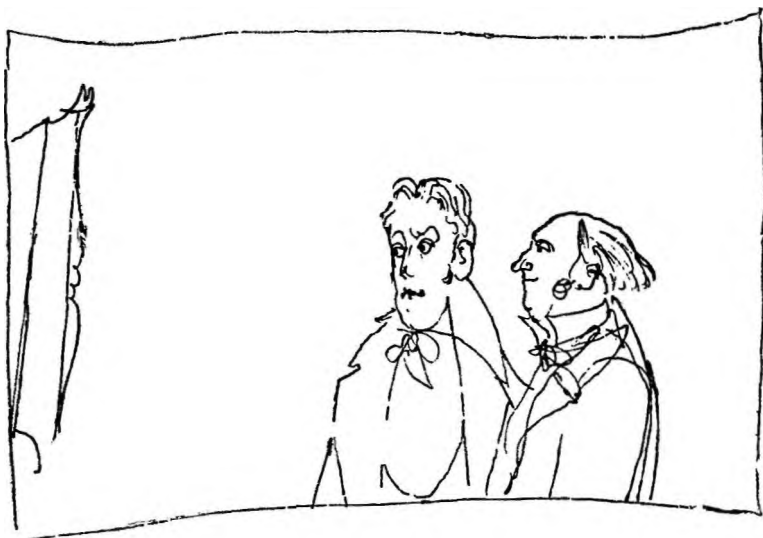
— Ну, — спросила Печаль, — много счастья принесли человечеству твои калоши?

— Что ж, тому, кто лежит здесь, они по крайней мере дали вечное блаженство! — ответила фея Счастья.

— О нет, — сказала Печаль. — Он сам ушел из мира раньше своего срока. Он еще не настолько окреп духовно, чтобы овладеть теми сокровищами, которыми должен был овладеть по самому своему предназначению. Ну, я окажу ему благодеяние! — И она стащила калоши со студента.

Смертный сон прервался. Мертвец воскрес и встал. Фея Печали исчезла, а с ней и калоши. Должно быть, она решила, что теперь они должны принадлежать ей.





## БРОНЗОВЫЙ КАБАН

*Быль*



**В**о Флоренции неподалеку от пьяцца дель Грандукка есть переулочек под названием, если не запамятовал, Порта-Росса. Там перед овощным ларьком стоит бронзовый кабан отличной работы. Из пасти струится свежая, чистая вода. А сам он от старости позеленел дочерна, только морда блестит, как полированная. Это за нее держались сотни ребятишек и лаццарони, подставлявших рты, чтобы напиться. Любо глядеть, как пригожий полубоушанный мальчуган обнимает искусно отличного зверя, прикладывая свежие губки к его пасти!

Всякий приезжий без труда отыщет во Флоренции это место: достаточно спросить про бронзового кабана у любого нищего, и тот укажет дорогу.

Стояла зима, на горах лежал снег. Давно стемнело, но светила луна, а в Италии лунная ночь не темней тусклого северного зимнего дня. Она даже светлей, потому что воз-

дух светится и ободряет нас, тогда как на севере холодное свинцовое небо нас давит к земле, к холодной сырой земле, которая, придет черед, придавит когда-нибудь крышку нашего гроба.

В саду герцогского дворца, под сенью пиний, где зимой цветут розы, целый день сидел маленький оборванец, которого можно было бы счесть воплощением Италии — красивый, веселый и, однако же, несчастный. Он был голоден и хотел пить, но ему не подали ни гроша, а когда стемнело и сад должны были запираить, сторож его выгнал. Долго стоял он, призадумавшись на перекинутом через Арно великолепном мраморном мосту дель Тринита и глядел на звезды, сверкавшие в воде.

Он пошел к бронзовому кабану, нагнулся к нему, обхватил его шею руками, приложил губы к морде и стал жадно тянуть свежую воду. Поблизости валялись листья салата и несколько каштанов, они составили его ужин. На улице не было ни души, мальчик был совсем один; он залез бронзовому кабану на спину, склонил маленькую курчавую головку на голову зверя и сам не заметил, как заснул.

В полночь бронзовый кабан пошевелился; мальчик отчетливо услышал:

— Держись крепче, малыш, теперь я побегу! — и кабан помчался вскачь. Это была необычайная прогулка. Сперва они попали на пьядца дель Грандукка, и бронзовая лошадь под герцогом громко заржала, пестрые гербы на старой ратуше стали как бы прозрачными, а Микеланджелов Давид взмахнул пращей; удивительная пробудилась жизнь! Бронзовые группы «Персей» и «Похищение сабинянок» ожили: над пустынной площадью раздались крики ужаса.

Под аркой близ дворца Уффици, где в карнавальную ночь веселится знать, бронзовый кабан остановился.

— Держись крепко! — сказал зверь. — Держись как можно крепче! Тут ступеньки! — Малыш не вымолвил ни слова, он и дрожал от страха и ликовал.

Они вступили в большую галерею, хорошо малышу известную — он и прежде там бывал; на стенах висели картины, тут же стояли бюсты и статуи, освещенные, словно в ясный день; но прекраснее всего стало, когда отворилась дверь в соседнюю залу; конечно, малыш помнил

все здешнее великолепие, но этой ночью тут было особенно красиво.

Здесь стояла прекрасная обнаженная женщина, так хороша могла быть лишь природа, запечатленная в мраморе великим художником; статуя ожила, дельфины прыгали у ее ног, бессмертие сияло в очах. Мир называет ее Венерой Медицейской. Рядом с ней красовались прекрасные обнаженные мужи: один точил меч — он звался точильщиком, по соседству боролись гладиаторы, и то и другое совершалось во имя богини красоты.

Мальчика едва не ослепил этот блеск, стены лучились всеми красками, и все тут было жизнь и движение. Он увидел еще одну Венеру, земную Венеру, плотскую и горячую, какой она осталась в сердце Тициана. Это тоже была прекрасная женщина; ее дивное обнаженное тело покоилось на мягких подушках, грудь вздымалась, пышные локоны ниспадали на округлые плечи, а темные глаза горели пламенем страсти. Но изображения не отваживались выйти из рам. И богиня красоты, и гладиаторы, и точильщик также оставались на местах: их зачаровало величие, излучаемое мадонной, Иисусом и Иоанном. Священные изображения не были уже изображениями, это были сами святые.

Какой блеск и какая красота открывались в каждой зале! Малыш увидел все, бронзовый кабан шаг за шагом обошел всю эту роскошь и великолепие. Впечатления сменялись, но лишь одна картина прочно запечатлелась в его душе — на ней были изображены радостные, счастливые дети, малыш уже однажды видел их днем.

Многие, разумеется, прошли бы мимо, не обратив на картину внимания, а в ней между тем заключено поэтическое сокровище: она изображает Христа, сходящего в ад; но вокруг него мы видим отнюдь не осужденных на вечные муки, а язычников. Принадлежит картина кисти флорентинца Анджело Бронзино; всего лучше воплотилась там уверенность детей, что они идут на небеса: двое малышей уже обнимаются, один протягивает другому, стоящему ниже, руку и указывает на себя, словно бы говоря: «Я буду на небесах». Взрослые же пребывают в сомнении, уповают на бога и смиренно склоняют головы перед Христом.

На этой картине взор мальчика задержался дольше, нежели на остальных, и бронзовый кабан тихо ждал; раз-



дался вздох; из картины он вырвался или из груди зверя? Мальчик протянул руки к веселым детям, но зверь, пробежав через вестибюль, понес его прочь.

— Спасибо тебе, чудный зверь! — сказал мальчик и погладил бронзового кабана, который — топ-топ — сбежал с ним по ступеням.

— Тебе спасибо! — сказал бронзовый кабан. — Я помог тебе, а ты мне: я ведь могу бежать лишь тогда, когда несу на себе невинное дитя. А тогда, поверь, я могу пройти и под лучами лампы, зажженной пред ликом мадонны. Я могу пронести тебя куда захочешь, лишь бы не в церковь. Но и туда я могу заглянуть с улицы, если ты со мной. Не слезай же с меня: ведь если ты слезешь, я сразу окажусь мертвым, как днем, когда ты видишь меня в Порта-Росса.

— Я останусь с тобой, милый зверь! — сказал малыш, и они понеслись по улицам Флоренции к площади перед церковью Санта-Кроче.

Двустворчатые двери распахнулись, свечи горели пред алтарем, озаряя церковь и пустую площадь.

Удивительный свет исходил от надгробия в левом приделе, точно тысячи звезд лучились над ним. Могилу украшал щит с гербом: красная, словно горящая в огне, лестница на голубом поле; это могила Галилея, памятник скромен, но красная лестница на голубом поле исполнена глубокого смысла, она могла бы стать гербом самого искусства, всегда пролагающего свои пути по пылающей лестнице, однако же — на небеса. Все провозвестники духа, подобно пророку Илье, восходят на небеса.

Направо от прохода словно бы ожили статуи на богатых саркофагах. Тут стоял Микеланджело, там — Данте с лавровым венком на челе, Алфьери, Макиавелли, здесь бок о бок покоились великие мужи, гордость Италии<sup>1</sup>. Эта прекрасная церковь много красивее мраморного флорентинского собора, хоть и не столь велика.

---

<sup>1</sup> Против гробницы Галилея расположена гробница Микеланджело, его надгробие состоит из бюста и трех фигур — Скульптуры, Живописи и Архитектуры; поблизости гробница Данте (прах его покоится в Равенне), над гробницей изображение Италии, указывающей на гигантскую статую Данте. Поэзия рыдает о том, кого утратила. В нескольких шагах — гробница Алфьери, украшенная лаврами, лирой и масками. Над его гробом плачет Италия. Макиавелли завершает этот ряд прославленных титанов. (*Примечание Андерсена.*)

Мраморные одеяния, казалось, шевелились, огромные статуи поднимали, казалось, головы и под пение и музыку взирали на лучистый алтарь, где одетые в белое мальчики машут золотыми кадилъницами; прятный аромат проникал из церкви на пустую площадь.

Мальчик простер руки к свету, но бронзовый кабан тотчас же побежал прочь, и малыш еще крепче обнял зверя; ветер засвистел в ушах, петли церковных дверей за скрипели, точно двери захлопнулись, но в этот миг сознание оставило ребенка; он ощутил ледящий холод и раскрыл глаза.

Сияло утро, мальчик наполовину сполз со спины бронзового кабана, стоящего, как и положено, в Порта-Росса.

Страх и ужас охватили ребенка при мысли о той, кого он называл матерью, пославшей его вчера раздобыть денег; ничего он не достал, и хотелось есть и пить. Еще раз обнял он бронзового кабана за шею, поцеловал в морду, кивнул ему и свернул в самую узкую улочку, по которой и осел едва пройдет с поклажей. Огромные обитые железом двери были полурастворены, он поднялся по каменной лестнице с грязными стенами, с канатом вместо перил и вошел в открытую, увешанную тряпьем галерею; отсюда шла лестница во двор, где от колодца во все этажи тянулась толстая железная проволока, по которой, под скрип колеса, одно за другим проплывали по воздуху ведра с водой, и вода плескалась на землю. Опять мальчик поднимался по развалившейся каменной лестнице, двое матросов — это были русские — весело сбегали вниз, едва не сшибив малыша. Они возвращались с ночного кутежа. Их провожала немолодая, но еще ладная женщина с пышными черными волосами.

— Что принес? — спросила она мальчика.

— Не сердись! — взмолился он. — Мне не подали ничего, ровно ничего, — и схватил мать за подол, словно хотел его поцеловать.

Они вошли в комнату. Не станем ее описывать, скажем только, что там стоял глиняный горшок с ручками, полный пылающих углей, то, что здесь называют марито; она взяла марито в руки, погрела пальцы и толкнула мальчика локтем:

— Ну, денежки-то у тебя есть? — спросила она.

Ребенок заплакал, она толкнула его ногой, он громко заревел.

— Заткнись, не то башку твою горластую разможду! — И она подняла горшок с углями, который держала в руках; ребенок, завопив, прижался к земле. Тут вошла соседка, тоже держа марито в руках:

— Феличита, что ты делаешь с ребенком?

— Ребенок мой! — отрезала Феличита. — Захочу — его убью, а заодно и тебя, Джанина. — И она замахнулась горшком; соседка, защищаясь, подняла свой, и горшки так сильно стукнулись друг о друга, что черепки, уголь и зола полетели по комнате; но мальчик уже выскользнул за дверь и побежал через двор из дому. Бедный ребенок так бежал, что едва не задохся; у церкви Санта-Кроче, огромные двери которой растворились перед ним минувшей ночью, он остановился и вошел в храм. Все сияло, он преклонил колена перед первой могилой справа — это была могила Микеланджело — и громко зарыдал. Люди входили и выходили, служба окончилась, никто мальчугана не замечал; один только пожилой горожанин остановился, поглядел на него и пошел себе дальше, как все остальные.

Голод и жажда совсем истомили малыша; обессиленный и больной, он залез в угол между стеной и надгробием и заснул. Был вечер, когда кто-то его растолкал; он вскочил, перед ним стоял прежний старик.

— Ты болен? Где ты живешь? Ты провел тут целый день? — выспрашивал старик у малыша. Мальчик отвечал, и старик повел его к себе, в небольшой домик на одной из соседних улиц. Они вошли в перчаточную мастерскую; там сидела женщина и усердно шила. Маленькая белая болонка, стриженная до того коротко, что видна была розовая кожа, вскочила на стол и стала прыгать перед мальчиком.

— Невинные души узнают друг друга! — сказала женщина и погладила собаку и ребенка. Добрые люди накормили его, напоили и сказали, что он может у них переночевать, а завтра папаша Джузеппе поговорит с его матерью. Его уложили на бедную, жесткую постель, но для него, не раз ночевавшего на жестких камнях мостовой, это была королевская роскошь; он мирно спал, и ему снились прекрасные картины и бронзовый кабан.

Утром папаша Джузеппе ушел; бедный мальчик этому не радовался, он понимал, что теперь его отведут обратно к матери; мальчик целовал резвую собачку, а хозяйка кивала им обоим.

С чем же папаша Джузеппе пришел? Он долго разговаривал с женой, и она кивала головой и гладила ребенка.

— Он славный мальчик, — сказала она, — он сможет стать отличным перчаточником вроде тебя, — пальцы у него тонкие, гибкие. Мадонна назначила ему быть перчаточником.

Мальчик остался в доме, и хозяйка учила его шить; он хорошо ел и хорошо спал, повеселел и стал даже дразнить Белиссиму — так звали собачку; хозяйка грозила ему пальцем, сердилась и бранилась, мальчик расстраивался и огорченный сидел в своей комнате. Там сушились шкурки; выходила комната на улицу; перед окном торчали толстые железные прутья. Однажды ребенок не мог заснуть — думал о бронзовом кабане, и вдруг с улицы донеслось — топ-топ. Это наверняка был он! Мальчик подскочил к окну, но ничего не увидел, кабан уже убежал.

— Помоги синьору донести ящик с красками! — сказала мадам мальчику утром, когда из дома вышел их молодой сосед, художник, тащивший ящик и огромный свернутый холст. Мальчик взял ящик и пошел за живописцем, они направились в галерею и поднялись по лестнице, которая с той ночи, как он скакал на бронзовом кабане, была хорошо ему знакома. Он помнил и статуи, и картины, и прекрасную мраморную Венеру и писанную красками; он опять увидел мать божью, Иисуса и Иоанна.

Они остановились перед картиной Бронзино, где Христос нисходит в ад и дети вокруг него улыбаются в сладостном ожидании царства небесного; бедное дитя тоже улыбнулось, ибо здесь оно чувствовало себя словно на небесах.

— Ступай-ка домой, — сказал живописец; он успел установить мольберт, а мальчик все не уходил.

— Позвольте поглядеть, как вы пишете, — попросил мальчик, — мне хочется увидеть, как вы перенесете картину на этот белый холст.

— Но я еще не пишу, — сказал молодой человек и взял кусок угля; рука его быстро двигалась, глаз схватывал всю картину, и хотя на холсте появились лишь легкие штрихи, Христос уже парил, точь-в-точь как на картине в красках.

— Ну, ступай же! — сказал живописец, и мальчик молча пошел домой, сел за стол и принялся за обучение перчаточному делу.

Но мысли его целый день были у картины, и потому он колол себе пальцы, не справлялся с работой и даже не дразнил Белиссиму. Вечером, пока не заперли входную дверь, он выбрался из дому; было холодно, но ясное небо усыпало звезды, прекрасные и яркие, он пошел по улицам, уже совсем притихшим, и вскоре стоял перед бронзовым кабаном; он склонился к нему, поцеловал и залез ему на спину.

— Милый зверь! — сказал он. — Я по тебе соскучился. Мы должны этой ночью совершить прогулку.

Бронзовый кабан не шелохнулся, свежий ключ бил из его пасти. Мальчик сидел на звере верхом, вдруг кто-то дернул его за одежду, он оглянулся — это была Белиссима, маленькая голеньякая Белиссима. Собака выскочила из дома и побежала за мальчиком, а он и не заметил. Белиссима лаяла, словно хотела сказать: «Смотри, я тоже здесь! А ты зачем сюда залез?» И огненный дракон не напугал бы мальчика так, как эта собачонка. Белиссима на улице, и притом раздетая, как говорила в таких случаях хозяйка! Что же будет? Зимой собака выходила на улицу лишь одетая в овечью попонку, по ней скроенную и специально сшитуую. мех завязывали на шее красной лентой с бантами и бубенцами, так же подвязывали его и на животе. Когда собачка в зимнюю пору шла рядом с хозяйкой в таком наряде, она была похожа на ягненокка. Белиссима раздетая! Что же теперь будет? Тут уж не до фантазий; мальчик поцеловал бронзового кабана и взял Белиссиму на руки; она тряслась от холода, и ребенок побежал со всех ног.

— Что это у тебя? — закричали двое полицейских; когда они попались навстречу, Белиссима залаяла.

— У кого ты стащил собачку? — спросили они и отобрали ее.

— Отдайте мне собаку, отдайте! — молил мальчик.

— Если ты ее не стащил, скажешь дома, чтобы зашли за собакой в участок. — Они назвали адрес, ушли и унесли Белиссиму.

Вот это была беда! Мальчик не знал, броситься ли ему в Арно, или пойти домой и повиниться; конечно, думал он, его избьют до смерти. «Ну и пускай, я буду только рад, я умру и попаду на небо, к Иисусу и к мадонне». И он отправился домой, главным образом затем, чтобы его избили до смерти.

Дверь заперта, до колотушки ему не достать, на улице никого; мальчик поднял камень и стал стучать.

— Кто там? — спросили из-за двери.

— Это я! — сказал он. — Беллссима пропала. Отоприте и убейте меня!

Все перепугались, в особенности мадам, за бедную Беллссиму. Мадам взглянула на стену, где обычно висела собачья одежда: маленькая попонка была на месте.

— Беллссима в участке! — громко закричала она. — Ах ты скверный мальчишка! Как же ты ее выманил? Она ведь замерзнет! Нежное существо в руках у грубых солдат!

Пришлось папаше сейчас же идти в участок. Хозяйка причитала, а ребенок плакал, сбежались все жильцы, вышел и художник; он посадил мальчика к себе на колени, стал расспрашивать и по обрывкам восстановил историю с бронзовым кабаном и галереей; она была довольно малопонятна. Художник утешил мальчика и стал уговаривать старуху, но та успокоилась не прежде, чем папаша вернулся с Беллссимой, побывавшей в руках солдат. Тут-то уж все обрадовались, а художник приласкал мальчика и дал ему пачку картинок.

О, среди них были чудесные вещицы, забавные головки. Но лучше всех, как живой, был бронзовый кабан. Ничего прекрасней и быть не могло. Два-три штриха, и он возник на бумаге, и даже вместе с домом, стоявшим на заднем плане.

«Вот бы рисовать, ко мне весь мир бы собрался».

На следующий день, едва мальчик оказался один, он схватил карандаш и попытался нарисовать на чистой стороне картинки бронзового кабана; ему посчастливилось — что-то, правда, вышло криво, что-то выше, что-то ниже, одна нога толще, другая тоньше, и все-таки узнать было можно, и мальчик остался доволен. Карандаш еще шел не так, как надо, он это видел, и на другой день рядом со вчерашним появился еще один бронзовый кабан, который был в сто раз лучше; третий был уже настолько хорош, что узнать его мог всякий.

Но с шитьем перчаток пошло худо, и доставка заказов двигалась медленно, бронзовый кабан открыл мальчику, что все можно запечатлеть на бумаге, а город Флоренция — это целый альбом, начни только листать. На пьядца дель Тринита стоит стройная колонна, и на самом ее

верху — богиня Правосудия с завязанными глазами держит в руках весы. Скоро и она оказалась на бумаге, и перенес ее туда маленький ученик перчаточника. Собрание рисунков росло, но входили в него покамест лишь неодушевленные предметы; однажды перед мальчиком запрыгала Беллссима.

— Стой смирно, — сказал он, — тогда ты выйдешь красивой и попадешь в мое собрание картин!

Но Беллссима не желала стоять смирно, пришлось ее привязать; уже были привязаны и голова и хвост, а она лаяла и скакала; нужно было потуже натянуть веревки; тут вошла синьора.

— Безбожник! Бедняжка! — Она и вымолвить ничего больше не смогла, оттолкнула мальчика, подтолкнула его ногой, выгнала из своего дома — ведь это же неблагодарный бездельник, безбожное создание! И она, рыдая, целовала свою маленькую полузадушенную Беллссиму.

В эту пору по лестнице подымался художник, и... здесь поворотная точка всей истории.

В 1834 году во Флоренции в Академии художеств состоялась выставка. Две висевшие рядом картины привлекли множество зрителей. На меньшей был изображен веселый мальчуган, он сидел и рисовал белую, стриженую собачку, но натурщица не желала смирно стоять и была поэтому привязана за голову и за хвост; картина дышала жизнью и правдой, что всех и привлекало. Говорили, будто художника ребенком подобрал на улице старый перчаточник, который его и воспитал, а рисовать он выучился сам. Некий прославленный ныне живописец открыл в нем талант, когда малыша, привязавшего любимую хозяйкину собачку, чтобы она ему позировала, выгоняли из дому.

Ученик перчаточника стал большим художником. Это подтверждала и маленькая картина и в особенности большая, висевшая рядом. На ней была изображена одна лишь фигура — пригожий мальчуган в лохмотьях; он спал в переулке Порта-Росса, сидя верхом на бронзовом кабане<sup>1</sup>. Все зрители знали это место. Ручки ребенка лежали

---

<sup>1</sup> Бронзовый кабан — это копия, античный подлинник сделан из мрамора и стоит у входа в галерею дворца Уффици. (*Примечание Андерсена.*)

у кабана на голове; малыш крепко спал, и лампада пред образом мадонны ярко и эффектно освещала бледное, миловидное личико. Прекрасная картина! Она была в большой позолоченной раме; сбоку на раме висел лавровый венок, а меж зеленых листьев вилась черная лента и свисал длинный траурный флер.

Молодой художник как раз в те дни скончался.







## ПОБРАТИМЫ



**М**ы только что сделали маленькое путешествие и опять пустились в новое, более далекое. Куда? В Спарту! В Микены! В Дельфы! Там тысячи мест, при одном названии которых сердце вспыхивает желанием путешествовать. Там приходится пробираться верхом, взбираться по горным тропинкам, продирается сквозь кустарники и ездить не

иначе, как целым караваном. Сам едешь верхом рядом с проводником, затем идет выючная лошадь с чемоданом, палаткой и провизией и, наконец, для прикрытия, двое солдат.

Там уж нечего надеяться отдохнуть после утомительного дневного перехода в гостинице; кровом путнику должна служить его собственная палатка; проводник готовит к ужину пилав; тысячи комаров жужжат вокруг палатки; какой уж тут сон! А наутро предстоит переезжать вброд широко разлившиеся речки; тогда крепче держись в седле — как раз снесет!

Какая же награда за все эти мытарства? Огромная, драгоценнейшая! Природа предстает здесь перед человеком

во всем своем величии; с каждым местом связаны бессмертные исторические воспоминания — глазам и мыслям полное раздолье! Поэт может воспеть эти чудные картины природы, художник — перенести их на полотно, но самого обаяния действительности, которое навеки запечатлевается в душе всякого, видевшего их воочию, не в силах передать ни тот, ни другой.

Одинокий пастух, обитатель диких гор, расскажет путешественнику что-нибудь из своей жизни, и его простой, бесхитростный рассказ представит, пожалуй, в нескольких живых штрихах страну эллинов куда живее и лучше любого путеводителя.

Так пусть же он рассказывает! Пусть расскажет нам о прекрасном обычае побратимства.

— Мы жили в глиняной мазанке; вместо дверных косяков были рубчатые мраморные колонны, найденные отцом. Покатая крыша спускалась чуть не до земли; я помню ее уже некрасивою, почерневшею, но когда жильё крыли, для нее принесли с гор цветущие олеандры и свежие лавровые деревья. Мазанка была стиснута голыми серыми отвесными, как стена, скалами. На вершинах скал зачастую покоились, словно какие-то живые белые фигуры, облака. Никогда не слыхал я здесь ни пения птиц, ни музыкальных звуков волынки, не видал веселых плясок молодежи; зато самое место было освящено преданиями старины; имя его само говорит за себя: Дельфы! Темные, угрюмые горы покрыты снегами; самая высокая гора, вершина которой долгие всех блестит под лучами заходящего солнца, зовется Парнасом. Источник, журчавший как раз позади нашей хижины, тоже слыл в старину священным; теперь его мутят своими ногами ослы, но быстрая струя мчится без отдыха и опять становится прозрачной. Как знакомо мне тут каждое местечко, как сжился я с этим глубоким священным уединением! Посреди мазанки разводили огонь, и когда от костра оставалась только горячая зола, в ней пекли хлебы. Если мазанку нашу заносило снегом, мать моя становилась веселее, брала меня за голову обеими руками, целовала в лоб и пела те песни, которых в другое время петь не смела: их не любили наши властители турки. Она пела: «На вершине Олимпа, в сосновом лесу, старый плакал олень, плакал горько, рыдал неутешно, и зеленые, синие, красные слезы лились на землю ручьями, а мимо тут лань

проходила. «Что плачешь, олень, что роняешь зеленые, синие, красные слезы?» — «В наш город нагрянули турки толпой, а с ними собак кровожадных стаи!» — «Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубину!» — Так лань говорила, но вечер настал — ах, лань уж убита, и загнан олень!»

Тут на глазах матери навертывались слезы и повисали на длинных ресницах, но она смахивала их и переворачивала пекшиеся в золе черные хлебы на другую сторону. Тогда я сжимал кулаки и говорил: «Мы убьем этих турок!» Но мать повторяла слова песни: «Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубину!» — Так лань говорила, но вечер настал — ах, лань уж убита и загнан олень!»

Много ночей и дней проводили мы одни-одинешеньки с матерью; но вот приходил отец. Я знал, что он принесет мне раковин из залива Лепанто или, может быть, острый, блестящий нож. Но раз он принес нам ребенка, маленькую нагую девочку, которую нес завернутую в козью шкуру под своим овчинным тулупом. Он положил ее матери на колени, и когда ее развернули, оказалось, что на ней нет ничего, кроме трех серебряных монет, вплетенных в ее черные волосы. Отец рассказал нам, что турки убили



родителей девочки, рассказал и еще много другого, так что я целую ночь бредил во сне. Мой отец и сам был ранен; мать перевязала ему плечо; рана была глубока, толстая овчина вся пропиталась кровью. Девочка должна была стать моею сестрою. Она была премиленькая, с нежною, прозрачною кожей, и даже глаза моей матери не были добрее и нежнее глаз Анастасии — так звали девочку. Она должна была стать моею сестрой, потому что отец ее был побратимом моего; они побратались еще в юности, согласно древнему, сохраняющемуся у нас обычаю. Мне много раз рассказывали об этом прекрасном обычае; покровительницей такого братского союза избирается всегда самая прекрасная и добродетельная девушка в округе.

И вот малютка стала моею сестрой; я качал ее на своих коленях, приносил ей цветы и птичьи перышки; мы пили вместе с ней из Парнасского источника, спали рядышком под лавровой крышей нашей мазанки и много зим подряд слушали песню матери об олене, плакшем зелеными, синими и красными слезами; но тогда я еще не понимал, что в этих слезах отражались скорби моего народа.

Раз пришли к нам трое иноземцев, одетых совсем не так, как мы; они привезли с собою на лошадях палатки и постели. Их сопровождало более двадцати турок, вооруженных саблями и ружьями, — иноземцы были друзьями паши и имели от него письмо. Они прибыли только для того, чтобы посмотреть на наши горы, потом взобраться к снегам и облакам на вершину Парнаса и наконец увидеть причудливые черные отвесные скалы вокруг нашей мазанки. Всем им нельзя было уместиться в ней на ночь, да они и не переносили дыма, подымавшегося от костра к потолку и медленно пробиравшегося в низенькую дверь. Они раскинули свои палатки на узкой площадке перед мазанкой, стали жарить баранов и птиц и пили сладкое вино; турки же не смели его пить.

Когда они уезжали, я проводил их, недалеко; сестричка Анастасия висела у меня за спиной в мешке из козлиной шкуры. Один из иноземных гостей поставил меня к скале и срисовал меня и сестричку; мы вышли как живые и казались одним существом. Мне-то это и в голову не приходило, а оно и в самом деле выходило так, что мы

с Анастасией были как бы одним существом, — вечно лежала она у меня на коленях или висела за спиной, а если я спал, так снилась мне во сне.

Две ночи спустя в нашей хижине появились другие гости. Они были вооружены ножами и ружьями; то были албанцы, храбрый народ, как говорила мать. Недолго они пробыли у нас. Сестрица Анастасия сидела у одного из них на коленях, и когда он ушел, в волосах у нее остались только две серебряных монетки. Албанцы свертывали из бумаги трубочки, наполняли их табаком и курили; самый старший все толковал о том, по какой дороге им лучше отправиться, и ни на что не мог решиться.

— Плюну вверх — угрожу себе в лицо, — говорил он, — плюну вниз — угрожу себе в бороду!

Но как-никак, а надо было выбрать какую-нибудь дорогу!

Они ушли, и мой отец с ними. Немного спустя, мы услышали выстрелы, потом еще и еще; в мазанку к нам явились солдаты и забрали нас всех: и мать, и Анастасию, и меня. Разбойники нашли в нашем доме пристанище, говорили солдаты, мой отец был с ними заодно, поэтому надо забрать и нас.

Я увидел трупы разбойников, труп моего отца и плакал, пока не уснул. Проснулся я уже в темнице, но тюремное помещение наше было не хуже нашей мазанки; мне дали луку и налили отзывавшего смолой вина, но и оно было не хуже домашнего, тоже хранившегося в осмоленных мешках.

Как долго пробыли мы в темнице — не знаю, помню только, что прошло много дней и ночей. Когда мы вышли оттуда, был праздник святой пасхи; я тащил на спине Анастасию, — мать была больна и еле-еле двигалась. Не скоро дошли мы до моря; это был залив Лепанто. Мы вошли в церковь, всю сиявшую образами, написанными на золотом фоне. Святые лики были ангельски прекрасны, но мне все-таки казалось, что моя малютка сестрица не хуже их. Посреди церкви стояла гробница, наполненная розами; в образе чудесных цветов лежал сам господь наш Иисус Христос — так сказала мне мать. Священник провозгласил: «Христос воскрес!» — и все стали целоваться друг с другом. У всех в руках были зажженные свечи; дали по свечке и нам с малюткой Анастасией. Потом загудели волынки, люди взялись за руки и, приплясывая,

вышли из церкви. Женщины жарили под открытым небом пасхальных агнцев; нас пригласили присесть к огню, и я сел рядом с мальчиком постарше меня, который меня обнял и поцеловал со словами: «Христос воскрес!» Так мы встретились: Афтанидес и я.

Мать умела плести рыболовные сети; тут, возле моря, это давало хороший заработок, и мы долго жили на берегу чудного моря, которое отзывало на вкус слезами, а игрою красок напоминало слезы оленя: то оно было красное, то зеленое, то снова синее.

Афтанидес умел грести, и мы с Анастасией часто садились к нему в лодку, которая скользила по заливу, как облачко по небу. На закате горы окрашивались в темно-голубой цвет; с залива было видно много горных цепей, выглядывавших одна из-за другой; виден был вдали и Парнас с его снегами. Вершина его горела, как раскаленное железо, и казалось, что весь этот блеск и свет исходят изнутри ее самой, так как она продолжала блестеть в голубом сияющем воздухе еще долго после того, как скрывалось солнце. Белые чайки задевали крыльями за поверхность воды; на воде же обыкновенно стояла такая тишь, как в Дельфах между темными скалами. Я лежал в лодке на спине, Анастасия сидела у меня на груди, а звезды над нами блестели ярче церковных лампад. Это были те же звезды, и стояли они над моей головой как раз так же, как тогда, когда я, бывало, сидел под открытым небом возле нашей мазанки в Дельфах. Под конец мне стало грезиться, что я все еще там... Вдруг набежала волна, и лодку качнуло. Я громко вскрикнул — Анастасия упала в воду! Но Афтанидес, быстрый как молния, вытащил ее и передал мне. Мы сняли с нее платье, выжали и потом опять одели ее. То же сделал Афтанидес, и мы оставались на воде до тех пор, пока мокрые платья не высохли. Никто и не узнал, какого страха мы натерпелись, Афтанидес же с этих пор тоже получил некоторые права на жизнь Анастасии.

Настало лето. Солнце так и пекло, листья на деревьях поблекли от жары, и я вспоминал о наших прохладных горах, о свежем источнике. Мать тоже томилась, и вот однажды вечером мы пустились в обратный путь. Что за тишина была вокруг! Мы шли по полям, заросшим тмином, который все еще благоухал, хотя солнце почти совсем спалило его. Нам не попадалось навстречу ни пастуха,

ни мазанки. Безлюдно, мертвенно-тихо было вокруг, только падучие звезды говорили, что там, в высоте, была жизнь. Не знаю, сам ли светился прозрачный голубой воздух, или это сияние шло от звезд, но мы хорошо различали все очертания гор. Мать развела огонь, поджарила лук, которым запаслась в дорогу, и мы с сестрицей Анастасией заснули на тмине, нимало не боясь ни гадкого Смидраки<sup>1</sup>, из пасти которого пышет огонь, ни волков, ни шакалов: мать была с нами, и для меня этого было довольно.

Наконец мы добрались до нашего старого жилья, но от мазанки оставалась только куча мусору; пришлось делать новую. Несколько женщин помогли матери, и скоро новые стены были подведены под крышу из ветвей олеандров. Мать стала плести из ремешков и коры плетенки для бутылок, а я взялся пасти маленькое стадо священника;<sup>2</sup> товарищами моими были Анастасия да маленькие черепахи.

Раз навестил нас милый Афтанидес. Он сильно соскучился по нас, сказал он, и пришел повидаться с нами. Целых два дня пробыл он у нас.

Через месяц он пришел опять и рассказал нам, что поступает на корабль и уезжает на острова Патрос и Корфу, оттого и пришел проститься с нами. Матери он принес в подарок большую рыбу. Он знал столько разных историй, так много рассказывал нам, и не только о рыбах, что водятся в заливе Лепанто, но и о героях, и о царях, правивших Грецией в былые времена, как турки теперь.

Я не раз видел, как на розовом кусте появляется бутон и как он через несколько дней или недель распускается в чудный цветок; но бутон обыкновенно становился цветком, прежде чем я успевал подумать о том, как хорош, велик и зрел самый бутон. То же самое вышло и с Анастасией. И вот она стала взрослой девушкой; я давно был сильным парнем. Постели моей матери и Анастасии были покрыты волчьими шкурами, которые я содрал собственными руками с убитых мною зверей. Годы шли.

---

<sup>1</sup> Смидраки — по поверию греков, чудовище, образующееся из неразрезанных и брошенных в поле желудков убитых овец. (*Примечание Андерсена.*)

<sup>2</sup> Священником зачастую становится первый грамотный крестьянин, но простолюдины зовут его святейшим отцом и падают при встрече с ним ниц. (*Примечание Андерсена.*)

Раз вечером явился Афганидес, стройный, крепкий и загорелый. Он расцеловал нас и принялся рассказывать о море, об укреплениях Мальты, о диковинных гробницах Египта. Рассказы его были так чудесны, точно легенды, что мы слышали от священника. Я смотрел на Афганидеса с каким-то почтением.

— Как много ты всего знаешь, сколько у тебя рассказов! — сказал я ему.

— Ты однажды рассказал мне кое-что получше! — отвечал он. — И рассказ твой не идет у меня из головы. Ты рассказывал мне как-то о прекрасном старом обычае побратимства! Вот этому-то обычаю я хотел бы последовать! Станем же братьями, как твой отец с отцом Анастасии! Пойдем в церковь, и пусть прекраснейшая и добродетельнейшая из девушек Анастасия скрепит наш союз и будет сестрой нам обоим! Ни у одного народа нет более прекрасного обычая, чем у нас, греков, побратимство!

Анастасия покраснела, как свежий розовый лепесток, а мать поцеловала Афганидеса.

На расстоянии часа ходьбы от нашего жилья, там, где скалы покрыты черноземом, стоит, в тени небольшой купы деревьев, маленькая церковь; перед алтарем висит серебряная лампада.

Я надел самое лучшее свое платье: вокруг бедер богатыми складками легла белая фустанелла; стан плотно охватила красная куртка; на феске красовалась серебряная кисть, а за поясом — нож и пистолеты. На Афганидесе был голубой наряд греческих моряков; на груди у него висел серебряный образок божьей матери, стан был опоясан драгоценным шарфом, какие носят знатные господа. Всякий сразу увидал бы, что мы готовились к какому-то торжеству. Мы вошли в маленькую пустую церковь, всю залитую лучами вечернего солнца, игравшими на лампаде и на золотом фоне образов. Мы преклонили колена на ступенях перед алтарем; Анастасия стала повыше, обернувшись к нам лицом. Длинное белое платье легко и свободно облегло ее стройный стан; на белой шее и груди красовались мониста из древних и новых монет. Черные волосы ее были связаны на затылке в узел и придерживались убором из золотых и серебряных монет, найденных при раскопках старых храмов; богатейшего убора не могло быть ни у одной гречанки. Лицо ее сияло, глаза горели, как звезды.



Все мы сотворили про себя молитву, и Анастасия спросила нас:

— Хотите ли вы быть друзьями на жизнь и на смерть?

— Да! — ответили мы.

— Будет ли каждый из вас помнить всегда и всюду, что бы с ним ни случилось: «Брат мой — часть меня самого, моя святыня — его святыня, мое счастье — его счастье, я должен жертвовать для него всем и стоять за него, как за самого себя».

И мы повторили: «Да!»

Тогда она соединила наши руки, поцеловала каждого из нас в лоб, и все мы опять прошептали молитву. Из алтаря вышел священник и благословил нас, а в самом алтаре раздалось пение других святых отцов. Вечный братский союз был заключен. Когда мы вышли из церкви, я увидел мою мать, плакавшую от умиления.

Как стало весело в нашей мазанке у Дельфийского источника! Вечером накануне того дня, как Афганидес должен был оставить нас, мы задумчиво сидели с ним на склоне горы. Его рука обвивала мой стан, моя — его шею. Мы говорили о бедствиях Греции и о людях, на которых она могла бы опереться. Наши мысли и сердца были открыты друг другу. И вот я схватил его за руку.

— Одного еще не знаешь ты — того, что было известно до сих пор лишь богу да мне! Моя душа горит любовью! И эта любовь сильнее моей любви к матери, сильнее любви к тебе!..

— Кого же любишь ты? — спросил Афганидес, краснея.

— Анастасию! — сказал я.

И рука друга задрожала в моей, а лицо его покрылось смертной бледностью. Я заметил это и понял все! Я думаю, что и моя рука задрожала, когда я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и прошептал:

— Я еще не говорил ей об этом! Может быть, она и не любит меня!.. Брат, вспомни: я видел ее ежедневно, она выросла на моих глазах и вросла в мою душу!

— И она будет твоей! — сказал он. — Твоей! Я не могу и не хочу украсть ее у тебя! Я тоже люблю ее, но... завтра я уйду отсюда! Увидимся через год, когда вы будете уже мужем и женою, не правда ли?.. У меня есть кое-какие деньги — они твои! Ты должен взять, ты возьмешь их!

Тихо поднялись мы на гору; уже свечерело, когда мы остановились у дверей мазанки.

Анастасия посветила нам при входе; матери моей не было дома. Анастасия печально посмотрела на Афтанидеса и сказала:

— Завтра ты покинешь нас! Как это меня огорчает!

— Огорчает тебя! — сказал он, и мне послышалась в его голосе такая же боль, какая жгла и мое сердце. Я не мог вымолвить ни слова, а он взял Анастасию за руку и сказал:

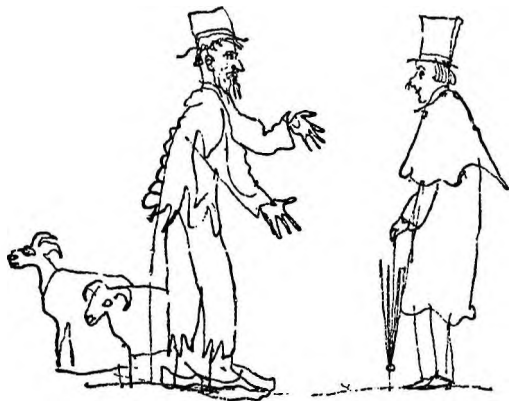
— Брат наш любит тебя, а ты его? В его молчании — его любовь!

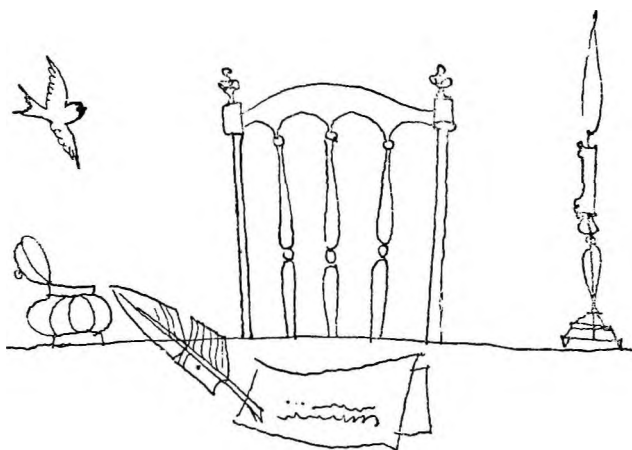
И Анастасия затрепетала и залилась слезами. Тогда все мои мысли обратились к ней, я видел и помнил одну ее, рука моя обняла ее стан, и я сказал ей:

— Да, я люблю тебя!

И уста ее прижались к моим устам, а руки обвились вокруг моей шеи... Но тут лампа упала на пол, и в хижине воцарилась такая же темнота, как в сердце бедного Афтанидеса.

На заре он крепко поцеловал нас всех и ушел. Матери моей он оставил для меня все свои деньги. Анастасия сделалась моею невестой, а несколько дней спустя — и женой.





## РОЗА С МОГИЛЫ ГОМЕРА



**В**се восточные сказания говорят о любви соловья к розе: в тихие звездные ночи несется к благоухающему цветку серенада крылатого певца.

Недалеко от Смирны, возле дороги, окаймленной высокими платанами, видел я цветущий розовый куст. Мимо него проходят, гордо выпрямляя свои длинные шеи и неуклюже ступая по священной земле тонкими ногами, навьюченные верблюды. В ветвях платанов гнездятся дикие голуби, и крылья их блещут на солнце перламутром.

На этом розовом кусте особенно хороша была одна роза; к ней-то неслась песня соловья; он пел о страданиях любви, но роза молчала; ни капли росы не блестело на ее лепестках слезою сострадания; она клонилась вместе с ветвями к лежащему под кустом большому камню.

— Тут покоится величайший из певцов земных! — говорила роза. — Лишь над его могилой буду я благоухать, на нее буду ронять свои лепестки, оборванные ветром! Прах творца «Илиады» смешался с землею, и из этой

земли выросла я! Я, роза с могилы Гомера, слишком священна, чтобы цвести для какого-то бедного соловья!

И соловей пел, пел, пока не умер.

Проходил караван; за начальником каравана шли навьюченные верблюды и черные рабы. Маленький сын его нашел мертвую птицу, и крошечного певца зарыли в могиле великого Гомера, над которою качалась от дуновенья ветра роза.

Настал вечер; роза плотнее свернула лепестки и заснула. И снился ей чудный солнечный день; на поклонение к могиле Гомера пришла толпа чужеземцев-франков; между ними был певец из страны туманов и северного сияния. Он сорвал розу, вложил ее в книгу и увез с собою в другую часть света, на свою далекую родину. И роза увяла от тоски, а певец, вернувшись домой, открыл книгу и сказал:

— Это роза с могилы Гомера!

Вот что снилось розе; проснувшись, она вся затрепетала от сильного порыва ветра. Капля росы упала с ее лепестков на могилу певца, но вот встало солнце, и роза расцвела пышнее прежнего, — она все еще была ведь в своей теплой Азии.

Послышались шаги, явились чужеземцы-франки, которых видела роза во сне, и между ними был один поэт, уроженец севера. Он сорвал розу, запечатлел на ее свежих устах свой поцелуй и увез ее в страну туманов и северного сияния.

Как мумия покоится она теперь в его «Илиаде» и, словно сквозь сон, слышит, как он говорит, открывая книгу:

— Вот роза с могилы Гомера!





## АНГЕЛ



**К**аждый раз, как умирает доброе, хорошее дитя, с неба спускается божий ангел, берет дитя на руки и облетает с ним на своих больших крыльях все его любимые места. По пути они набирают целый букет разных цветов и берут их с собою на небо, где они расцветают еще пышнее, чем на земле. Бог прижимает все цветы к своему сердцу, а один цветок, который покажется ему милее всех, целует; цветок получает тогда голос и может присоединиться к хору блаженных духов.

Все это рассказывал божий ангел умершему ребенку, унося его в своих объятиях на небо; дитя слушало ангела, как сквозь сон. Они пролетали над теми местами, где так часто играло дитя при жизни, пролетали над зелеными садами, где росло множество чудесных цветов.

— Какие же взять нам с собою на небо? — спросил ангел.

В саду стоял прекрасный, стройный розовый куст, но чья-то злая рука надломил его, так что ветви, усыпанные



крупными полураспустившимися бутонами, почти совсем завяли и печально повисли.

— Бедный куст! — сказала дитя. — Возьмем его, чтобы он опять расцвел там, на небе.

Ангел взял куст и так крепко поцеловал дитя, что оно слегка приоткрыло глазки. Потом они нарвали еще много пышных цветов, но, кроме них, взяли и скромный златоцвет и простенькие анютины глазки.

— Ну вот, теперь и довольно! — сказал ребенок, но ангел покачал головой и они полетели дальше.

Ночь была тихая, светлая; весь город спал; они пролетали над одной из самых узких улиц. На мостовой валялась солома, зола и всякий хлам: черепки, обломки алебаstra, тряпки, старые донышки от шляп, словом, все, что уже отслужило свой век или потеряло всякий вид; накануне как раз был день переезда<sup>1</sup>.

И ангел указал на валявшийся среди этого хлама разбитый цветочный горшок, из которого вывалился ком земли, весь оплетенный корнями большого полевого цветка; цветок завял и никуда больше не годился, его и выбросили.

<sup>1</sup> В Копенгагене квартиры нанимались обыкновенно на полугодовой срок, с 1 марта по 1 сентября и с 1 сентября по 1 марта; эти два дня и были днями общего переезда с квартиры на квартиру.

— Возьмем его с собою! — сказал ангел. — Я расскажу тебе про этот цветок, пока мы летим!

И ангел стал рассказывать.

— В этой узкой улице, в низком подвале, жил бедный больной мальчик. С самых ранних лет он вечно лежал в постели; когда же чувствовал себя особенно хорошо, то проходил на костылях по своей каморке раза два взад и вперед, вот и все. Иногда летом солнышко заглядывало на полчаса и в подвал; тогда мальчик садился на солнышке и, держа руки против света, любовался, как просвечивает в его тонких пальцах алая кровь; такое сидение на солнышке заменяло ему прогулку. О богатом весеннем уборе лесов он знал только потому, что сын соседа приносил ему весной первую распустившуюся буковую веточку; мальчик держал ее над головой и переносился мыслью под зеленые буки, где сияло солнышко и распевали птички. Раз сын соседа принес мальчику и полевых цветов, между ними был один с корнем; мальчик посадил его в цветочный горшок и поставил на окно близ своей кровати. Видно, легкая рука посадила цветок: он принялся, стал расти, пускать новые отростки, каждый год цвел и был для мальчика целым садом, его маленьким земным сокровищем. Мальчик поливал его, ухаживал за ним и заботился о том, чтобы его не миновал ни один луч, который только пробирался в каморку. Ребенок жил и дышал своим любимцем, ведь тот цвел, благоухал и хорошел для него одного. К цветку повернулся мальчик даже в ту последнюю минуту, когда его отзывал к себе господь бог... Вот уже целый год, как мальчик у бога; целый год стоял цветок, всеми забытый, на окне, завял, засох и был выброшен на улицу вместе с прочим хламом. Этот-то бедный, увядший цветок мы и взяли с собой: он доставил куда больше радости, чем самый пышный цветок в саду королевы.

— Откуда ты знаешь все это? — спросило дитя.

— Знаю! — отвечал ангел. — Ведь я сам был тем бедным калекою мальчиком, что ходил на костылях! Я узнал свой цветок!

И дитя широко-широко открыло глазки, вглядываясь в прелестное, радостное лицо ангела. В ту же самую минуту они очутились на небе у бога, где царят вечные радость и блаженство. Бог прижал к своему сердцу

умершее дитя — и у него выросли крылья, как у других ангелов, и он полетел рука об руку с ними. Бог прижал к сердцу и все цветы, поцеловал же только бедный, увядший полевой цветок, и тот присоединил свой голос к хору ангелов, которые окружали бога; одни летали возле него, другие подальше, третьи еще дальше, и так до бесконечности, но все были равно блаженны. Все они пели — и малые, и большие, и доброе, только что умершее дитя, и бедный полевой цветочек, выброшенный на мостовую вместе с сором и хламом.







## СОЛОВЕЙ



**В** Китае, как ты знаешь, и сам император и все его подданные — китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нем послушать, пока оно не забудется совсем! В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского; он весь был из драгоценного фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы; к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики; звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Вот как тонко было придумано! Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес; в чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» — вырывалось

наконец у рыбака, но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал о соловье, на следующую ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое: «Господи, как хорошо!»

Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники; все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!»

Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном; ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье и даже ставили его выше всего; поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу, на берегу синего моря, чудеснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал-читал и поминутно кивал головой — ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» — стояло в книге.

— Что такое? — удивился император. — Соловей? А я ведь и не знаю его! Как? В моем государстве и даже в моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу и не слышал о ней! Пришлось вычитать о ней из книг!

И он позвал к себе первого из своих приближенных; а тот напускал на себя такую важность, что, если кто-нибудь из людей попроще осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только: «Пф!» — а это ведь ровно ничего не означает.

— Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица, по имени соловей. Ее считают главной достопримечательностью моего великого государства! — сказали император. — Почему же мне ни разу не доложили о ней?

— Я даже и не слышал о ней! — отвечал первый приближенный. — Она никогда не была представлена ко двору!

— Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мною сегодня же вечером! — сказал император. — Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю!

— И не слыхивал о такой птице! — повторил первый приближенный. — Но я разыщу ее!

Легко сказать! А где ее разыщешь?

Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречаемых, к кому он ни обращался с расспросами, и не слышал о соловье. Первый приближенный вернулся к императору и доложил, что соловья-де, верно, выдумали книжные сочинители.

— Ваше величество не должны верить всему, что пишут в книгах: все это одни выдумки, так сказать черная магия!..

— Но ведь эта книга прислана мне самим могущественнейшим императором Японии, и в ней не может быть неправды! Я хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня же вечером! Я объявляю ему мое высочайшее благоволение! Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина всех придворных бить палками по животу!

— Тзинг-пе! — сказал первый приближенный и опять забегал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам; с ним бегала и добрая половина придворных, — никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос: что это за соловей, которого знает весь свет, а при дворе ни одна душа не знает.

Наконец на кухне нашли одну бедную девочку, которая сказала:

— Господи! Как не знать соловья! Вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет матушка у самого моря, и вот, когда я иду назад и сяду отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья! Слезы так и потекут у меня из глаз, а на душе станет так радостно, словно матушка целует меня!..

— Кухарочка! — сказал первый приближенный императора. — Я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью! Он приглашен сегодня вечером ко двору!

И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей; отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, вдруг замычала корова.

— О! — сказали молодые придворные. — Вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданыца! Но мы положительно слышали его раньше!

— Это мычит корова! — сказала девочка. — Нам еще далеко до места.

В пруду заквакали лягушки.

— Чудесно! — сказал придворный бонза. — Теперь я слышу! Точь-в-точь наши колокольчики в молельне!

— Нет, это лягушки! — сказала опять девочка. — Но теперь, я думаю, скоро услышим и его!

И вот запел соловей.

— Вот это соловей! — сказала девочка. — Слушайте, слушайте! А вот и он сам! — И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.

— Неужели! — сказал первый приближенный императора. — Никак не вообразал себе его таким! Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ!

— Соловушка! — громко закричала девочка. — Наш милостивый император желает послушать тебя!

— Очень рад! — ответил соловей и запел так, что просто чудо.

— Словно стеклянные колокольчики звенят! — сказал первый приближенный. — Смотрите, как трепещет это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не слышали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

— Спеть ли мне императору еще? — спросил соловей. Он думал, что тут был и сам император.

— Несравненный соловушка! — сказал первый приближенный императора. — На меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением!

— Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу! — сказал соловей, но, узнав, что император пригласил его во дворец, охотно согласился туда отправиться.

При дворе шли приготовления к празднику. В фарфоровых стенах и в полу сияли отражения бесчисленных золотых фонариков; в коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей это бедотни, стукотни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса. Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе; позволили стоять в дверях и кухарочке, — теперь ведь она по-

лучила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой.

И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатались по щекам. Тогда соловей залился еще громче, еще слаще; пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награжден и без того.

— Я видел на глазах императора слезы — какой еще награды желать мне! В слезах императора дивная сила! Видит бог — я награжден с избытком!

И опять зазвучал его чудный, сладкий голос.

— Вот самое очаровательное кокетство! — сказали придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать. Этим они думали походить на соловья. Даже слуги и служанки объявили, что очень довольны, а это ведь много значит: известно, что труднее всего угождать этим особам. Да, соловей положительно имел успех.

Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свободе два раза в день и раз ночью и приставили к нему двенадцать слуг; каждый держал его за привязанную к его лапке шелковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки!

Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице двое знакомых, один сейчас же говорил: «соло», а другой подхватывал: «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга.

Одиннадцать сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но ни у одного из них не было и признака голоса.

Раз императору доставили большой пакет с надписью: «Соловей».

— Ну, вот еще новая книга о нашей знаменитой птице! — сказал император.

Но то была не книга, а затейливая штучка: в ящике лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу — и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была

ленточка с надписью: «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского».

— Какая прелесть! — сказали все придворные, и явившегося с птицей посланца императора японского сейчас же утвердили в звании «чрезвычайного императорского поставщика соловьев».

— Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!

Но дело не пошло на лад: настоящий соловей пел по своему, а искусственный — как заведенная шарманка.

— Это не его вина! — сказал придворный капельмейстер. — Он безукоризненно держит такт и поет совсем по моей методе.

Искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и блестел драгоценностями!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его еще раз, да император нашел, что надо заставить спеть и живого соловья. Но куда же он девался?

Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес.

— Что же это, однако, такое! — огорчился император, а придворные называли соловья неблагоприятной тварью.

— Лучшая-то птица у нас все-таки осталась! — сказали они, и искусственному соловью пришлось петь то же самое в тридцать четвертый раз.

Никто, однако, не успел еще выучить мелодии наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она даже выше настоящей не только платьем и бриллиантами, но и по внутренним своим достоинствам.

— Что касается живого соловья, высокий повелитель мой и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно споет он, у искусственного же все известно наперед! Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве, можно разобрать его и показать все его внутреннее устройство — плод человеческого ума, расположение и действие валиков, все, все!

— Я как раз того же мнения! — сказал каждый из присутствовавших, и капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу.

— Надо и народу послушать ее! — сказал император.

Народ послушал и был очень доволен, как будто встал на чаю, — это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали: «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

— Недурно и даже похоже, но все-таки не то! Чего-то недостает в его пении, а чего — мы и сами не знаем!

Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства.

Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее теперь «императорского ночного столика первым певцом с левой стороны», — император считал более важною именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье двадцать пять томов, ученых-преученых и полных самых мудреных китайских слов.

Придворные, однако, говорили, что читали и поняли все, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу.

Так прошел целый год, император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья, но потому-то пение его им так и нравилось: они сами могли теперь подпевать птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Клюк-клюк-клюк!» Сам император певал то же самое. Ну что за прелесть!

Но раз вечером искусственная птица только что распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри ее зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла.

Император вскочил и послал за придворным медиком, но что же мог тот поделать! Призвали часовщика, и этот после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно: зубчики поистерлись, а поставить новые так, чтобы музыка шла по-прежнему, верно, было нельзя. Вот так горе! Только раз в год позволили заводить птицу. И это было очень грустно, но капельмейстер произнес краткую, зато полную мудреных слов речь, в которой доказывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было.

Прошло еще пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего старого повелителя.

— Пф! — отвечал приближенный и покачивал головой.

Бледный, похолодевший лежал император на своем великолепном ложе; все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Слуги бегали взад и вперед, перебрасываясь новостями, а служанки проводили приятные часы в болтовне за чашкой чая. По всем залам и коридорам были разостланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер, хотя и лежал на своем великолепном ложе, под бархатным балдахином с золотыми кистями, совсем недвижный и мертвенно-бледный. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц.

Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела Смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую — богатое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то странные лица: одни гадкие и мерзкие, другие добрые и милые. То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него, в то время как Смерть сидела у него на груди.

— Помнишь это? — шептали они по очереди. — Помнишь это? — и рассказывали ему так много, что на лбу у него выступал холодный пот.

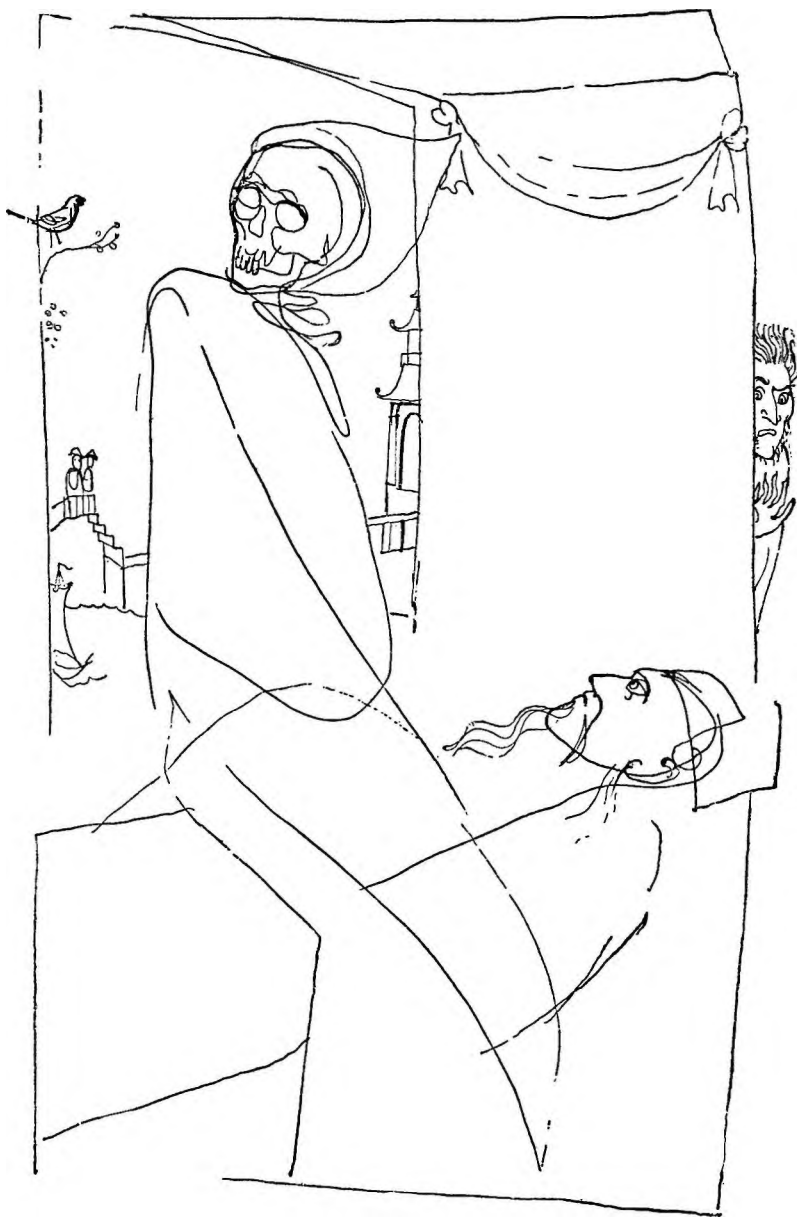
— Я и не знал об этом! — говорил император. — Музыку сюда, музыку! Большие китайские барабаны! Я не хочу слышать их речей!

Но они все продолжали, а Смерть, как китаец, кивала на их речи головой.

— Музыку сюда, музыку! — кричал император. — Пой хоть ты, милая, славная золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но птица молчала — некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазницами. В комнате было тихо-тихо.





Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел, и призраки все бледнели, кровь прилиwała к сердцу императора все быстрее; сама Смерть заслушалась соловья и все повторяла: «Пой, пой еще, соловушка!»

— А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А дорогое знамя? А корону? — спрашивал соловей.

И Смерть отдавала одну драгоценность за другую, а соловей все пел. Вот он запел наконец о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших... Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свилась в белый холодный туман и вылетела в окно.

— Спасибо, спасибо тебе, милая птичка! — сказал император. — Я помню тебя! Я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала самую Смерть! Чем мне вознаградить тебя?

— Ты уже вознаградил меня раз и навсегда! — сказал соловей. — Я видел слезы на твоих глазах в первый раз, как пел перед тобою, — этого я не забуду никогда! Слезы — вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым! Я буду баюкать тебя своєю песней!

И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном.

Когда он проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему; все думали, что он умер, один соловей сидел у окна и пел.

— Ты должен остаться у меня навсегда! — сказал император. — Ты будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги!

— Не надо! — сказал соловей. — Она принесла столько пользы, сколько могла! Пусть она остается у тебя по-прежнему! Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе; моя песня и порадует тебя и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и о зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и крестьянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону, и все же корона окружена

каким-то особым священным обаянием! Я буду прилетать и петь тебе! Но обещай мне одно!..

— Все! — сказал император и встал во всем своем царственном величии; он успел надеть на себя свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.

— Об одном прошу я тебя — не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше!

И соловей улетел.

Слуги вошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге, а император сказал им:

— Здравствуйте!





## ЖЕНИХ И НЕВЕСТА



**М**олодчик-кубарь и барышня-мячик лежали рядком в ящике с игрушками, и кубарь сказал соседке:

— Не пожениться ли нам? Мы ведь лежим в одном ящике.

Но мячик — сафьянового происхождения и воображавший о себе не меньше, чем любая барышня, — гордо промолчал.

На другой день пришел мальчик, хозяин игрушек, и выкрасил кубарь в красный с желтым цвет, а в самую серединку вбил медный гвоздик. Вот-то красиво было, когда кубарь завертелся!

— Посмотрите-ка на меня! — сказал он мячику. — Что вы скажете теперь? Не пожениться ли нам? Чем мы не пара? Вы прыгаете, а я танцую. Поискать такой славной парочки!

— Вы думаете? — сказал мячик. — Вы, должно быть, не знаете, что я веду свое происхождение от сафьяновых туфель и что внутри у меня пробка?

— А я из красного дерева, — сказал кубарь. — И меня выточил сам городской судья! У него свой собственный

токарный станок, и он с таким удовольствием занимался мной!

— Так ли? — усомнился мячик.

— Пусть больше не коснется меня кнутик, если я лгу! — сказал кубарь.

— Вы очень красноречивы, — сказал мячик. — Но я все-таки не могу согласиться. Я уж почти невеста! Стоит мне взлететь на воздух, как из гнезда высовывается стриж и все спрашивает: «Согласны? Согласны?» Мысленно я всякий раз говорю: «Да», значит дело почти слажено. Но я обещаю вам никогда вас не забывать!

— Вот еще! Очень нужно! — сказал кубарь, и они перестали говорить друг с другом.

На другой день мячик вынули из ящика. Кубарь смотрел, как он, точно птица, взвивался в воздух все выше, выше... и наконец совсем исчезал из глаз, потом опять падал и, коснувшись земли, снова взлетал кверху; потому ли, что его влекло туда, или потому, что внутри у него сидела пробка — неизвестно. В девятый раз мячик взлетел и — поминай как звали! Мальчик искал, искал — нет нигде, да и только!

— Я знаю, где мячик! — вздохнул кубарь. — В стрижином гнезде, замужем за стрижом!

И чем больше думал кубарь о мячике, тем больше влюблялся. Сказать правду, так он потому все сильнее влюблялся, что не мог жениться на своей возлюбленной, подумать только — она предпочла ему другого!

Кубарь плясал и пел, но не переставал думать о мячике, который представлялся ему все прекраснее и прекраснее.

Так прошло много лет; любовь кубаря стала уже старой любовью.

Да и сам кубарь был немолод... Раз его взяли и вызолотили. То-то было великолепие! Он весь стал золотой и кружился и жужжал так, что любо! Да уж, нечего сказать! Вдруг он подпрыгнул повыше и — пропал!

Искали, искали, даже в погреб слазили, — нет, нет и нет!

Куда же он попал?

В помойное ведро! Оно стояло как раз под водосточным желобом и было полно разной дряни: обгрызенных кочерыжек, щепок, сора.

— Угодил, нечего сказать! — вздохнул кубарь. — Тут вся позолота разом сойдет! И что за рвань тут вокруг?

И он покосился на длинную обгрызенную кочерыжку и еще на какую-то странную круглую вещь, вроде старого яблока. Но это было не яблоко, а старая барышня-мячик, который застрял когда-то в водосточном желобе, пролежал там много лет, весь промок и наконец упал в ведро.

— Слава богу! Наконец-то хоть кто-нибудь из нашего круга, с кем можно поговорить! — сказал мячик, посмотрев на вызолоченный кубарь. — Я ведь, в сущности, из сафьяна и сшита девичьими ручками, а внутри у меня пробка! А кто это скажет, глядя на меня? Я чуть не вышла замуж за стрижа, да вот попала в водосточный желоб и пролежала там целых пять лет! Это не шутка! Особенно для девицы!

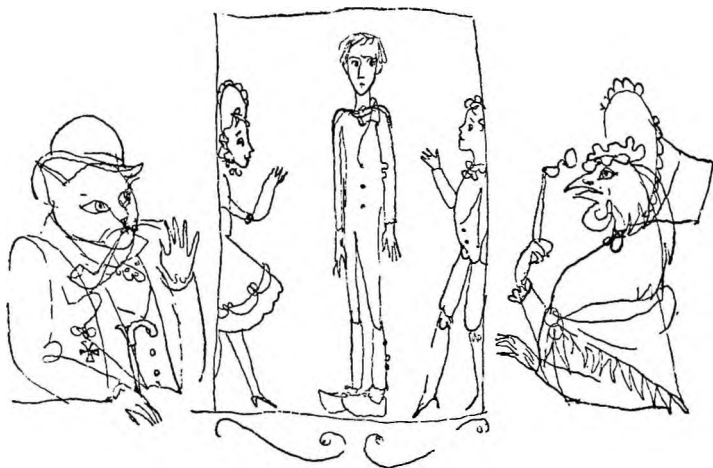
Кубарь молчал; он думал о своей старой возлюбленной и все больше и больше убеждался, что это она.

Пришла служанка, чтобы опорожнить ведро.

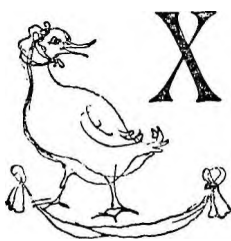
— А, вот где наш кубарь! — сказала она.

И кубарь опять попал в комнаты и в честь, а о мячике не было и помину. Сам кубарь никогда больше и не заикался о своей старой любви: любовь как рукой снимет, если предмет ее пролежит пять лет в водосточном желобе, да еще встретится вам в помойном ведре! Тут его и не узнаешь!





## ГАДКИЙ УТЕНОК



**Х**орошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зелене-ли, сено было сметано в стога; по зе-леному лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски — он вы-учился этому языку от матери. За по-лями и дугами тянулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Да, хорошо было за городом! На солнечном припеке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой; от самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение, ее мало наве-щали: другим уткам больше нравилось плавать по канав-кам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею.

Наконец яичные скорлупки затрещали. «Пи! пи!» — послышалось из них: яичные желтки ожили и повысу-нули из скорлупок носики.

— Живо! Живо! — закрикала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха; мать не мешала им — зеленый свет полезен для глаз.

— Как мир велик! — сказали утята.

Еще бы! Тут было куда просторнее, чем в скорлупе.

— А вы думаете, что тут и весь мир? — сказала мать. — Нет! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника, но там я от роду не бывала!.. Ну, все, что ли, вы тут? — И она встала. — Ах нет, не все! Самое большое яйцо целехонько! Да скоро ли этому будет конец! Право, мне уж надоело.

И она уселась опять.

— Ну, как дела? — заглянула к ней старая утка.

— Да вот, еще одно яйцо остается! — сказала молодая утка. — Сижу, сижу, а все толку нет! Но посмотри-ка на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца! А он-то, негодный, и не навестил меня ни разу!

— Постой-ка, я взгляну на яйцо! — сказала старая утка. — Может статься, это индюшечье яйцо! Меня тоже надули раз! Ну и маялась же я, как вывела индюшат! Они ведь страсть боятся воды; уж я и крикала, и звала, и толкала их в воду — не идут, да и конец! Дай мне взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Индюшечье! Брось-ка его да ступай учи других плавать!

— Посижу уж еще! — сказала молодая утка. — Си-дела столько, что можно посидеть и еще немножко.

— Как угодно! — сказала старая утка и ушла.

Наконец затрещала скорлупка и самого большого яйца. «Пи! пи-и!» — и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его.

— Ужасно велик! — сказала она. — И совсем непохож на остальных! Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой!

На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своею семьей отправилась к канаве. Бултых! — и утка очутилась в воде.

— За мной! Живо! — позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду.

Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо. Лапки у них так и работали; некрасивый серый утенок не отставал от других.



— Какой же это индюшонок? — сказала утка. — Ишь как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и недурен, как помотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо, за мной! Я сейчас введу вас в общество — мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!

Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум и гам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке.

— Вот как идут дела на белом свете! — сказала утка и облизнула язычком клюв, — ей тоже хотелось отведать угриной головки. — Ну, ну, шевелите лапками! — сказала она утятам. — Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех! Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее узнают и люди и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей! Вот так! Кланяйтесь теперь и крякайте!

Утята так и сделали; но другие утки оглядывали их и громко говорили:

— Ну вот, еще целая орава! Точно нас мало было! А один-то какой безобразный! Его уж мы не потерпим!

И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею.

— Оставьте его! — сказала утка-мать. — Он ведь вам ничего не сделал!

— Это так, но он такой большой и странный! — отвечала забияка. — Ему надо задать хорошенькую трепку!

— Славные у тебя детки! — сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. — Все очень милы, кроме одного... Этот не удался! Хорошо бы его переделать!

— Никак нельзя, ваша милость! — ответила утка-мать. — Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать — лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залезался в яйце, оттого и не совсем удался. — И она провела носиком по перышкам большого утенка. — Кроме того, он селезень, а селезню красота не так

ведь нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу!

— Остальные утята очень-очень милы! — сказала старая утка. — Ну, будьте же как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне.

Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все — и утки и куры.

— Он больно велик! — говорили все, а индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому вообразил себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и сердито залопотал; гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным, каким-то посмешищем для всего птичьего двора!

Так прошел первый день, затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему:

— Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!

А мать прибавляла:

— Глаза бы мои тебя не видали!

Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою.

Не выдержал утенок, перебежал двор и — через изгородь! Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов.

«Они испугались меня, такой я безобразный!» — подумал утенок и пустился наутек, сам не зная куда. Бежал-бежал, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел тут всю ночь.

Утром утки вылетели из гнезд и увидели нового товарища.

— Ты кто такой? — спросили они, а утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел.

— Ты пребезобразный! — сказали дикие утки. — Но нам до этого нет дела, только не думай породниться с нами!

Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом! Лишь бы позволили ему посидеть в камышах да попить болотной водицы.

Два дня провел он в болоте, на третий день явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо.

— Слушай, дружище! — сказали они. — Ты такой урод, что, право, нравишься нам! Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить: «Рап, рап!» Ты такой урод, что, чего доброго, будешь иметь у них большой успех!

«Пиф! паф!» — раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми; вода окрасилась кровью. «Пиф! паф!» — раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники оцепили болото со всех сторон; некоторые из них сидели в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки; камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок был ни жив ни мертв от страха и только что хотел спрятать голову под крыло, как глядь — перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила к утенку свою пасть, оскалила острые зубы и — шлеп, шлеп — побежала дальше.

— Слава богу! — перевел дух утенок. — Слава богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня!

И он притаился в камышах; над головою его то и дело пролетали дробинки, раздавались выстрелы.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться.

К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уж обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, оттого и держалась. Ветер так и подхватывал утенка — приходилось упираться в землю хвостом!

Ветер, однако, все крепчал; что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво; можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал.

В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком; он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие, коротенькие ножки,

ее и прозвали Коротконожкой; она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.

Утром прищельца заметили; кот начал мурлыкать, а курица хлоптать.

— Что там? — спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому.

— Вот так находка! — сказала старушка. — Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да увидим, испытаем!

И утенка приняли на испытание, но прошло недели три, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили: «Мы и весь свет!» Они считали самих себя половиной всего света, притом — лучшею его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.

— Умеешь ты нести яйца? — спросила она утенка.

— Нет!

— Так и держи язык на привязи!

А кот спросил:

— Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?

— Нет!

— Так и не суйся с своим мнением, когда говорят умные люди!

И утенок сидел в углу нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.

— Да что с тобой?! — спросила она. — Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и лезет! Неси-ка яйца или мурлычь, дурь-то и пройдет!

— Ах, плавать по воде так приятно! — сказал утенок. — А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой!

— Хорошо наслаждение! — сказала курица. — Ты совсем рехнулся! Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять! О себе самой я уж не говорю! Спроси, наконец, у нашей старушки хозяйки, умнее ее нет никого на свете! По-твоему, и ей хочется плавать или нырять?

— Вы меня не понимаете! — сказал утенок.

— Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет! Что ж, ты хочешь быть умнее кота и хозяйки, не говоря уже обо мне? Не дури, а благодари-ка лучше создателя за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться, но ты пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит! Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя — так всегда узнаются истинные друзья! Старайся же нести яйца или выучись мурлыкать да пускать искры!

— Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! — сказал утенок.

— Скатертью дорога! — отвечала курица.

И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за безобразие.

Настала осень; листья на деревьях пожелтели и побурели; ветер подхватывал и кружил их; наверху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака сеяли град и снег, а на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о таком холоде! Плохо приходилось бедному утенку.

Раз вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась целая стая чудных, больших птиц; утенок сроду не видал таких красавцев: все они были белы как снег, с длинными, гибкими шеями! То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными, большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте; ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них; он рад бы был и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный безобразный утенок!

А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку пришлось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем, но с каждою ночью свободное ото льда

пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без усталости работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз.

Рано утром мимо проходил крестьянин, увидел примерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утенка отогрели.

Но вот дети вздумали играть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком — молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками; утенок между тем влетел в кадку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож! Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами, дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной, утенок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежесвыпавший снег и долго-долго лежал там почти без чувств.

Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка за эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, пришла весна.

Утенок взмахнул крыльями и полетел; теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету; душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом.

Ах, как тут было хорошо, как пахло весной! Вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть.

«Полечу-ка я к этим царственным птицам; они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть! Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»

И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.

— Убейте меня! — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидел он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное изображение, но он был уже не безобразною темно-серою птицей, а — лебедем!

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!

Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий, — он лучше мог оценить свое счастье и все окружающее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладили клювами.

В сад прибежали маленькие дети; они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый меньшой из них закричал:

— Новый, новый!

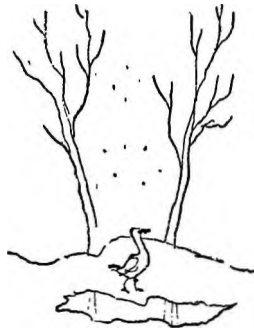
И все остальные подхватили:

— Да, новый, новый! — хлопали в ладоши и приплясывали от радости; потом побежали за отцом и матерью и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного. Все говорили, что новый красивее всех. Такой молоденький, прелестный!

И старые лебеди склонили перед ним головы.

А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но несколько не возгордился — доброе сердце не знает гордости, — помня то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами! Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви, солнышко светило так славно... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

— Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был еще гадким утенком!





## ЕЛЬ



**В** лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом росли подружки по-старше — и ели и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали в лесу землянику и малину; набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили:

— Вот славная елочка! Хорошенькая, маленькая!

Таких речей деревцо и слушать не хотело.

Прошел год — и у елочки прибавилось одно коленце, прошел еще год — прибавилось еще одно: так по числу коленцев и можно узнать, сколько лет ели.

— Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья! — вздыхала елочка. — Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг! Птицы свили бы в мо-



их ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие!

И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; земля была устлана сверкающим снежным ковром; по снегу нет-нет да пробегал заяц и иногда даже перепрыгивал через елочку — вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревцо подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большим, старым деревом — что может быть лучше этого!» — думалось елочке.

Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их! Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.

Куда? Зачем?

Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревцо спросило у них:

— Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?

Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал:

— Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути из Египта, много новых кораблей с великолепными, высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они!

— Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в море! А каково это море, на что оно похоже?

— Ну, это долго рассказывать! — отвечал аист и улетел.

— Радуйся своей юности! — говорили елочке солнечные лучи. — Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам!

И ветер целовал дерево, роса проливалась над ним слезы, но ель ничего этого не ценила.

Около рождества срубили несколько совсем молодых елок; некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось скорее вырасти. Все

срубленные деревья были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса.

— Куда? — спросила ель. — Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?

— Мы знаем! Мы знаем! — прочирикали воробьи. — Мы были в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали в окна и видели! Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами, золочеными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей!

— А потом?.. — спросила ель, дрожа всеми ветвями. — А потом?.. Что было с ними потом?

— А больше мы ничего не видали! Но это было бесподобно!

— Может быть, и я пойду такую же блестящую дорожкой! — радовалась ель. — Это получше, чем плавать по морю! Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло рождество! Теперь и я стала такую же высокою и раскидистою, как те, что были срублены прошлый год! Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла разубранною всеми этими престелями, в теплой комнате! А потом что?.. Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня!.. Только что именно будет? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!

— Радуйся нам! — сказали ей воздух и солнечный свет. — Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму и лето стояла она в своем зеленом уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревцо!» Подошло наконец и рождество, и елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье; грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла, — она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг — елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как тяжело, как грустно!..

Деревцо пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос:

— Чудесная елка! Такую-то нам и нужно!

Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную, великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот далеров — так по крайней мере говорили дети. Елку посадили в большую кадку с песком, обвернули кадку зеленою материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молodes девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сладостями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, выросли золоченые яблоки и орехи и закачались куклы — ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек — красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели — большую звезду из сусального золота. Ну, просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие!

— Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечки! — сказали все.

«Ах! — подумала елка. — Хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня, другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробы? Или, может быть, я вращу в эту кадку и буду стоять тут такою нарядной и зиму и лето?»

Да, много она знала!.. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль.

Но вот зажглись свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпала ла зеленые иглы, и елочка преобольно обожглась.

— Ай-ай! — закричали барышни и поспешно затушили огонь.

Больше елка дрожать не смела. И напугалась же она! Особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее... Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей; можно было подумать, что они намеревались свалить дерево! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а потом поднялся такой шум и гам, что

просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были сорваны.

«Что же это они делают? — думала елка. — Что это значит?»

Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви затрещали! Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили елку.

Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочка или финика.

— Сказку! Сказку! — закричали дети и подтащили к елке маленького, толстенького человека.

Он уселся под деревом и сказал:

— Вот мы и в лесу! Да и елка кстати послушает! Но я расскажу только одну сказку! Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу?

— Про Иведе-Аведе! — закричали одни.

— Про Клумпе-Думпе! — кричали другие.

Поднялся крик и шум; одна елка стояла смиренно и думала:

«А мне разве нечего больше делать?»

Она уж сделала свое дело!

И толстенький человек рассказал про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали:

— Еще, еще! — Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но остались при одном Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла елка, — лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете!» — думала елка; она вполне верила всему, что сейчас слышала, — рассказывал ведь такой почтенный человек. «Да, да, кто знает! Может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и я стану принцессой!» И она с радостью думала о завтрашнем дне: ее опять украсят свечками и игрушками, золотом и фруктами! «Завтра уж я не задрожу! — дума-

ла она. — Я хочу как следует насладиться своим великолепием! И завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может статься, и про Иведе-Аведе». И деревцо смиренно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Попутру явились слуги и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать!» — подумала елка, но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет.

«Что же это значит? — думала елка. — Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала... Времени на это было довольно: проходили дни и ночи — никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли.

«На дворе зима! — думала елка. — Земля затвердела и покрылась снегом; нельзя, значит, снова посадить меня в землю, вот и приходится постоять под крышей до весны! Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже ни единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело! Кругом снег, а по снегу зайчики скачут! Хорошо было... Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило! А тут как пусто!»

— Пи-пи! — пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним еще один, маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями.

— Ужасно холодно здесь! — сказали мышата. — А то совсем бы хорошо было! Правда, старая елка?

— Я вовсе не старая! — отвечала ель. — Есть много деревьев постарше меня!

— Откуда ты и что ты знаешь? — спросили мышата; они были ужасно любопытны. — Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать на сальных свечках? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым!

— Нет, такого места я не знаю! — сказала ель. — Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички!

И она рассказала им о своей юности; мышата никогда не слыхали ничего подобного, выслушали рассказ елки и потом сказали:

— Как же ты много видела! Как ты была счастлива!

— Счастлива? — сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. — Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно!

Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разубрана пряниками и свечками.

— О! — сказали мышата. — Как же ты была счастлива, старая елка!

— Я совсем еще не стара! — возразила елка. — Я взята из лесу только нынешнею зимой! Я в самой поре! Только что вошла в рост!

— Как ты чудесно рассказываешь! — сказали мышата и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже надо было послушать рассказы елки. А сама ель чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней.

— Но они же вернутся! Вернутся! И Клумпе-Думпе упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса! Может быть, и я сделаюсь принцессой!

Тут дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него, — она казалась ему настоящей принцессой.

— Кто это Клумпе-Думпе? — спросили мышата, и ель рассказала им всю сказку; она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат, но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкою, как прежде.

— Вы только одну эту историю и знаете? — спросили крысы.

— Только! — отвечала ель. — Я слышала ее в счастливейший вечер моей жизни; тогда-то я, впрочем, еще не сознавала этого!

— В высшей степени жалкая история! Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечки? Про кладовую?

— Нет! — ответило дерево.

— Так счастливо оставаться! — сказали крысы и ушли.

Мышата тоже разбежались, и ель вздохнула:

— А ведь славно было, когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и

этому конец... Но уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда наконец снова выйду на белый свет!

Не так-то скоро это случилось!

Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!» — подумала елка.

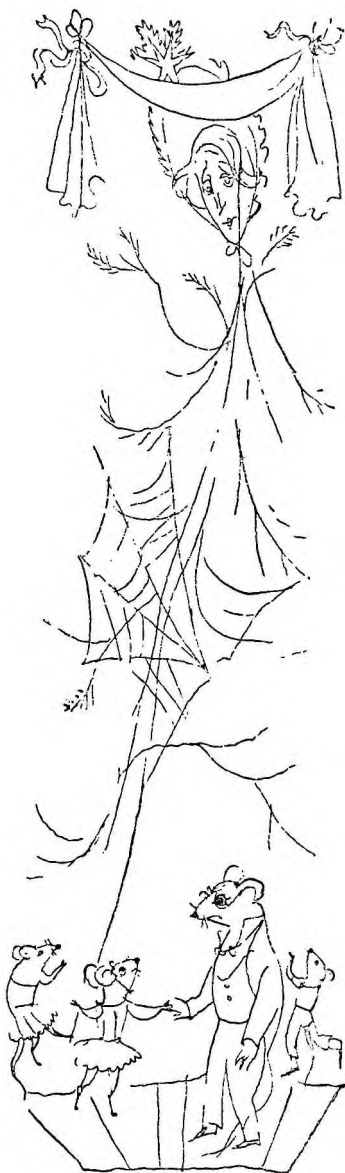
Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца — ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду; в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали:

— Квир-вир-вит! Мой муж вернулся!

Но это не относилось к ели.

— Теперь я заживу! — радовалась она и справляла свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели!

Дерево лежало в углу двора, в крапиве и сорной траве; на верхушке его все еще снята золотая звезда.



Во дворе весело играли те самые ребяташки, что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал ее.

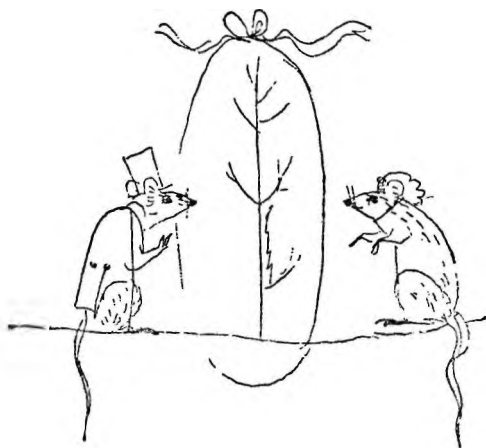
— Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой, старой елке! — крикнул он и наступил на ее ветви; ветви захрустели.

Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак. Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе...

— Все прошло, прошло! — сказала бедная елка. — И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь... все прошло, прошло!

Пришел слуга и изрубил елку в куски, — вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом! Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым «пиф! паф!» А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную слышанную ею сказку!.. Так она вся и сгорела.

Мальчики опять играли во дворе; у младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность, елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец! Все на свете имеет свой конец!





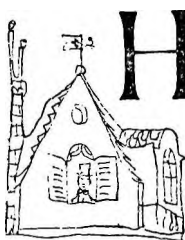


## СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

*Сказка в семи рассказах*

*Рассказ первый*

ЗЕРКАЛО И ЕГО ОСКОЛКИ



**Н**у, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злющий-презлющий; то был сам дьявол. Раз он был в особенно хорошем расположении духа: он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже. Прелестнейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами, или казалось, что они стоят кверху ногами, а животов у них вовсе нет! Лица искажались до того, что нельзя было и узнать их; случись же у кого на лице веснушка или родинка, она расплывалась во все лицо. Дьявола все это ужасно потешало. Добрая, благочестивая человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой, так что тролль не мог не хохотать, радуясь своей выдумке. Все ученики

тролля — у него была своя школа — рассказывали о зеркале, как о каком-то чуде.

— Теперь только, — говорили они, — можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете!

И вот они бегали с зеркалом повсюду; скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы на отразились в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим творцом. Чем выше поднимались они, тем сильнее кривлялось и корчило зеркало от гримас; они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекошило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы его осколков наделали, однако, еще больше бед, чем самое зеркало. Некоторые из них были не больше песчинки, разлетелись по белу свету, попадали, случалось, людям в глаза и так там и оставались. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все наыворот или замечать в каждой вещи одни лишь дурные стороны, — ведь каждый осколок сохранял свойство, которым отличалось самое зеркало. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего: сердце превращалось в кусок льда. Были между этими осколками и большие, такие, что их можно было вставить в оконные рамы, но уж в эти окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки, только беда была, если люди надевали их с целью смотреть на вещи и судить о них вернее! А злой тролль хохотал до колик, так приятно щекотал его успех этой выдумки. Но по свету летало еще много осколков зеркала. Послушаем же про них.

### *Рассказ второй*

#### МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА

В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удается отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в

мансардах смежных домов. Кровли домов почти сходились, а под выступами кровель шло по водосточному желобу, приходившемуся как раз под окошком каждой мансарды. Стоило, таким образом, шагнуть из какого-нибудь окошка на желоб, и можно было очутиться у окна соседей.

У родителей было по большому деревянному ящику; в них росли коренья и небольшие кусты роз — в каждом по одному, — осыпанные чудными цветами. Родителям пришлось в голову поставить эти ящики на дно желобов; таким образом, от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Горох спускался из ящиков зелеными гирляндами, розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями; образовалось нечто вроде триумфальных ворот из зелени и цветов. Так как ящики были очень высоки и дети твердо знали, что им нельзя карабкаться на них, то родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивали они тут!

Зимой это удовольствие прекращалось, окна



зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам — сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый, ласковый глазок, — это смотрели, каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга, а зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а затем подняться на столько же вверх. На дворе перепархивал снежок.

— Это роятся белые пчелки! — говорила старушка бабушка.

— А у них тоже есть королева? — спрашивал мальчик; он знал, что у настоящих пчел есть такая.

— Есть! — отвечала бабушка. — Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле — вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки; вот оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами!

— Видели, видели! — говорили дети и верили, что все это сущая правда.

— А Снежная королева не может войти сюда? — спросила раз девочка.

— Пусть-ка попробует! — сказал мальчик. — Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает!

Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом.

Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький оттаявший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда и все же живая! Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу.

На другой день был славный морозец, но затем сделалась оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило, цветочные ящики опять были все в зелени, ласточки вили под крышей гнезда, окна растворили, и детям опять можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше.

Розы цвели все лето восхитительно. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах; девочка пела его мальчику, думая при этом о своих розах, и он подпевал ей:

Розы цветут... Красота, красота!  
Скоро узрим мы младенца Христа!

Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним, — им чудилось, что с него глядел на них сам младенец Христос. Что за чудное было лето, и как хорошо было под кустами благоухающих роз, которые, казалось, должны были цвести вечно!

Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками — зверями и птицами; на больших башенных часах пробило пять.

— Ай! — вскрикнул вдруг мальчик. — Мне кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!

Девочка обвила ручонкой его шею, он мигал, но в глазу ничего как будто не было.

— Должно быть, выскочило! — сказал он.

Но в том-то и дело, что нет. В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала, в котором, как мы, конечно, помним, все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное отражалось еще ярче, дурные стороны каждой вещи выступали еще резче. Бедняжка Кай! Теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда! Боль в глазу и в сердце уже прошла, но самые осколки в них остались.

— О чем же ты плачешь? — спросил он Герду. — У! Какая ты сейчас безобразная! Мне совсем не больно! Фу! — закричал он вдруг. — Эту розу точит червь! А та совсем кривая! Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!

И он, толкнув ящик ногою, вырвал две розы.

— Кай, что ты делаешь? — закричала девочка, а он, увидя ее испуг, вырвал еще одну и убежал от миленькой маленькой Герды в свое окно.

Приносила ли после того ему девочка книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят; рассказывала ли что-нибудь старушка бабушка, он придирался к словам. Да если бы еще только это! А то он дошел до того, что стал передразнивать ее походку, надевать ее очки и подражать ее голосу! Выходило очень похоже и смешило людей. Скоро мальчик научился передразнивать и всех соседей — он отлично умел выставить напоказ все их странности и недостатки, — и люди говорили:

— Что за голова у этого мальчугана!

А причиной всему были осколки зеркала, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он передразнивал даже миленькую маленькую Герду, которая любила его всем сердцем.

И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда шел снежок, он явился с большим зажигательным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.

— Погляди в стекло, Герда! — сказал он.

Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Чудо что такое!

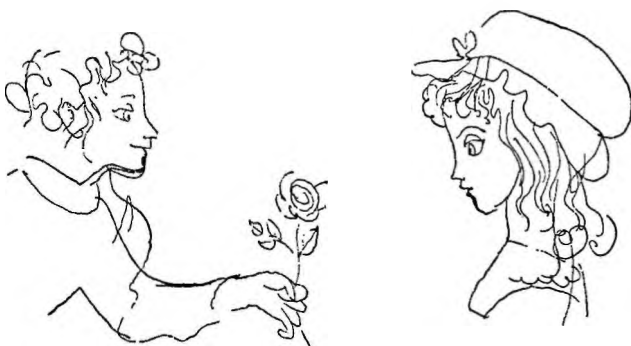
— Видишь, как искусно сделано! — сказал К а й . — Это куда интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если бы они только не таяли!

Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо: — Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками! — и убежал.

На площади каталось множество детей. Те, что были постарше, привязывали свои санки к крестьянским саням и уезжали таким образом довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый разгар его на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек, весь ушедший в белую меховую шубу и такую же шапку. Сани объехали кругом площади два раза; Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе кивал ему,

и он ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, стемнело так, что кругом не было видно ни зги. Мальчик поспешно отпустил веревку, которою зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к большим саням и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал — никто не услышал его! Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал, хотел прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения.

Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых куриц. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая



женщина — Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега.

— Славно проехались! — сказала она. — Но ты совсем замерз? Полезай ко мне в шубу!

И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу; Кай словно опустился в снежный сугроб.

— Все еще мерзнешь? — спросила она и поцеловала его в лоб.

У! Поцелуй ее был холоднее льда, пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту Каю казалось, что вот-вот он умрет, но нет, напротив, стало легче, он даже совсем перестал зябнуть.

— Мои санки! Не забудь мои санки! — спохватился он.

И санки были привязаны на спину одной из белых куриц, которая и полетела с ними за большими саями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.

— Больше я не буду целовать тебя! — сказала она. — А не то зацелую до смерти!

Кай взглянул на нее; она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда она сидела за окном и кивала ему головой; теперь она казалась ему совершенством. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил свой взор в бесконечное воздушное пространство. В тот же миг Снежная королева взвилась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись вперед. Буря выла и стонала, словно распевая старинные песни; они летели над лесами и озерами, над морями и твердой землей; под ними дули холодные ветры, выли волки, сверкал снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь, — днем он спал у ног Снежной королевы.

### *Рассказ третий*

#### ЦВЕТНИК ЖЕНЩИНЫ, УМЕВШЕЙ КОЛДОВАТЬ

А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто не знал этого, никто не мог о нем ничего сообщить. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саям, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито о нем слез; горько и долго плакала Герда. Наконец порешили, что он умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни.

Но вот настала весна, выглянуло солнышко.

— Кай умер и больше не вернется! — сказала Герда,

— Не верю! — отвечал солнечный свет.



— Он умер и больше не вернется! — повторила она ласточкам.

— Не верим! — ответили они.

Под конец и сама Герда перестала этому верить.

— Надену-ка я свои новые красные башмачки — Кай ни разу еще не видал их, — сказала она однажды утром, — да пойду к реке спросить про него.

Было еще очень рано; она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна-одинешенька за город, прямо к реке.

— Правда, что ты взяла моего названного братца? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад!

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла свои красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу, — река как будто не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки не очень далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмаки в воду. Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но, пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берега на целый аршин и быстро понеслась по течению.

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее криков; воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега да щебетали, словно желая ее утешить:

«Мы здесь! Мы здесь!»

Лодку уносило все дальше; Герда сидела смирно, в одних чулках; красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее.

Берега реки были очень красивы; повсюду виднелись чудеснейшие цветы, высокие, раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы, но нигде не было видно ни одной человеческой души.

«Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда, повеселела, встала на нос и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился

домик с цветными стеклами в окошках и соломенной крышей. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо.

Герда закричала им — она приняла их за живых, — но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.

— Ах ты бедная крошка! — сказала старушка. — Как это ты попала на такую большую быструю реку да забралась так далеко?

С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своею клюкой, притянула ее к берегу и высадила Герду.

Герда была рада-радешенька, что очутилась наконец ла суши, хоть и побаивалась чужой старухи.

— Ну, пойдем, да Расскажи мне, кто ты и как сюда попала? — сказала старушка.

Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла: «Гм! Гм!» Но вот девочка кончила и спросила старуху, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, верно, пройдет, так что девочке пока не о чем горевать — пусть лучше попробует вишен да полюбуется цветами, что растут в саду: они красивее нарисованных в любой книжке с картинками и все умеют рассказывать сказки! Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ.

Окна были высоко от полу и все из разноцветных — красных, голубых и желтых — стеклышек; от этого и сама комната была освещена каким-то удивительным ярким, радужным светом. На столе стояла корзинка со спелыми вишнями, и Герда могла есть их сколько душе угодно; пока же она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились, и кудри окружали свеженькое, круглое, словно роза, личико девочки золотым сиянием.

— Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку! — сказала старушка. — Вот увидишь, как ладно мы заживем с тобою!

И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше Герда забывала своего на-

званого братца Кая, — старушка умела колдовать. Она не была злою колдуньей и колдовала только изредка, для своего удовольствия; теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде ее роз, вспомнит о своих, а там и о Кая, да и убежит.

Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. У девочки и глаза разбежались: тут были цветы всех сортов, всех времен года. Что за красота, что за благоухание! Во всем свете не сыскать было книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками; девочка заснула, и ей снились такие сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы.

На другой день Герде опять позволили играть на солнышке. Так прошло много дней. Герда знала каждый цветочек в саду, но как ни много их было, ей все-таки казалось, что какого-то недостает, только какого же? Раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами; самым красивым из них была как раз роза, — старушка забыла ее стереть. Вот что значит расеянность!

— Как! Тут нет роз? — сказала Герда и сейчас же побежала искать их по всему саду — нет ни одной!

Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы упали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов, и как только они смочили землю — куст мгновенно вырос из нее, такой же свежий, цветущий, как прежде. Герда обвила его ручонками, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кая.

— Как же я замешкалась! — сказала девочка. — Мне ведь надо искать Кая!.. Не знаете ли вы, где он? — спросила она у роз. — Верите ли вы тому, что он умер и не вернется больше?

— Он не умер! — сказали розы. — Мы ведь были под землей, где лежат все умершие, но Кая меж ними не было

— Спасибо вам! — сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала: — Не знаете ли вы, где Кай?

Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о собственной своей сказке или истории; их наслушалась Герда много, но ни один из цветов не сказал ни слова о Кае.

Что же рассказала ей огненная лилия?

— Слышишь, бьет барабан? Бум! Бум! Звуки очень однообразны: бум, бум! Слушай заунывное пение женщин! Слушай крики жрецов!.. В длинном красном одеянии стоит на костре индийская вдова. Пламя вот-вот охватит ее и тело ее умершего мужа, но она думает о живом — о том, кто стоит здесь же, о том, чьи взоры жгут ее сердце сильнее пламени, которое сейчас испепелит ее тело. Разве пламя сердца может погаснуть в пламени костра!

— Ничего не понимаю! — сказала Герда.

— Это моя сказка! — отвечала огненная лилия.

Что рассказал вьюнок?

— Узкая горная тропинка ведет к гордо возвышающемуся на скале старинному рыцарскому замку. Старые кирпичные стены густо увиты плющом. Листья его цепляются за балкон, а на балконе стоит прелестная девушка; она перевесилась через перила и смотрит на дорогу. Девушка свежее розы, воздушнее колеблемого ветром цветка яблони. Как шелестит ее шелковое платье! «Неужели же он не придет?»

— Ты говоришь про Кая? — спросила Герда.

— Я рассказываю свою сказку, свои грезы! — отвечал вьюнок.

Что рассказал крошка подснежник?

— Между деревьями качается длинная доска — это качели. На доске сидят две маленькие девочки; платьица на них белые как снег, а на шляпах развеваются длинные зеленые шелковые ленты. Братишка, постарше их, стоит на коленях позади сестер, опершись о веревки; в одной руке у него — маленькая чашечка с мыльной водой, в другой — глиняная трубочка. Он пускает пузыри, доска качается, пузыри разлетаются по воздуху, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Вот один повис на конце трубочки и колыхнется от дуновения ветра. Черненькая собачонка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапки, а передние кладет на доску, но доска взлетает

кверху, собачонка падает, твякает и сердится. Дети поддразнивают ее, пузыри лопаются... Доска качается, пена разлетается — вот моя песенка!

— Она, может быть, и хороша, да ты говоришь все это таким печальным тоном! И опять ни слова о Кае! Что скажут гиацинты?

— Жили-были три стройные, воздушные красавицы сестрицы. На одной платье было красное, на другой голубое, на третьей совсем белое. Рука об руку танцевали они при ясном лунном свете у тихого озера. То не были эльфы, но настоящие девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, и девушки скрылись в лесу. Вот аромат стал еще сильнее, еще слаще — из чащи леса выплыли три гроба; в них лежали красавицы сестры, а вокруг них порхали, словно живые огоньки, светляки. Спят ли девушки, или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим!

— Вы навели на меня грусть! — сказала Герда. — Ваши колокольчики тоже пахнут так сильно!.. Теперь у меня из головы не идут умершие девушки! Ах, неужели и Кай умер? Но розы были под землей и говорят, что его нет там!

— Динь-дан! — зазвенели колокольчики гиацинтов. — Мы звоним не над Каем! Мы и не знаем его! Мы звоним свою собственную песенку; другой мы не знаем!

И Герда пошла к золотому одуванчику, сиявшему в блестящей, зеленой траве.

— Ты, маленькое ясное солнышко! — сказала ему Герда. — Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного братца?

Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы! И в этой песенке ни слова не говорилось о Кае!

— Ранняя весна; на маленький дворик приветливо светит ясное солнышко. Ласточки вьются возле белой стены, примыкающей ко двору соседей. Из зеленой травки выглядывают первые желтенькие цветочки, сверкающие на солнышке, словно золотые. На двор вышла посидеть старушка бабушка; вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и крепко целует старушку. Поцелуй девушки дороже золота, — он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в ее сердечке, золото и на небе в утренний час! Вот и все! — сказал одуванчик.

— Бедная моя бабушка! — вздохнула Герда. — Как она скучает обо мне, как горюет! Не меньше, чем горевала о Кае! Но я скоро вернусь и приведу его с собой. Нечего больше и спрашивать цветы — у них ничего не добьешься, они знают только свои песенки!

И она подвязала юбочку повыше, чтобы удобнее было бежать, но когда хотела перепрыгнуть через нарцисс, тот хлестнул ее по ногам. Герда остановилась, посмотрела на длинный цветок и спросила:

— Ты, может быть, знаешь что-нибудь?

И она наклонилась к нему, ожидая ответа.

Что же сказал нарцисс?

— Я вижу себя! Я вижу себя! О, как я благоухаю!.. Высоко-высоко в маленькой каморке, под самой крышей, стоит полуодетая танцовщица. Она то балансирует на одной ножке, то опять твердо стоит на обеих и попирает ими весь свет, — она ведь один обман зрения. Вот она льет из чайника воду на какой-то белый кусок материи, который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота — лучшая красота! Белая юбочка висит на гвозде, вбитом в стену; юбка тоже выстирана водою из чайника и высушена на крыше! Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-желтый платочек, еще резче оттеняющий белизну платяца. Опять одна ножка взвивается в воздух! Гляди, как прямо она стоит на другой, точно цветок на своем стебельке! Я вижу себя, я вижу себя!

— Да мне мало до этого дела! — сказала Герда. — Нечего мне об этом и рассказывать!

И она побежала из сада.

Дверь была заперта лишь на задвижку; Герда дернула ржавый засов, он подался, дверь отворилась, и девочка так, босоножкой, и пустилась бежать по дороге! Раз три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом: лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень, а в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого и не было заметно!

— Господи! Как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе! Тут не до отдыха! — сказала Герда и опять пустилась в путь.

Ах, как болели ее бедные, усталые ножки! Как холодно, сыро было в воздухе! Листья на ивах совсем пожел-

тели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю; листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими, терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь белый свет!

*Рассказ четвертый*  
ПРИНЦ И ПРИНЦЕССА

Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон; он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головою, и наконец заговорил:

— Кар-кар! Здррравствуй!

Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но, видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька? Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично и сразу почувствовала все их значение. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая?

Ворон задумчиво покачал головой и сказал:

— Может быть, может быть!

— Как? Правда? — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.

— Потихе, потихе! — сказал ворон. — Я думаю, что это был твой Кай! Но теперь он, верно, забыл тебя со своей принцессой!

— Разве он живет у принцессы? — спросила Герда.

— А вот послушай! — сказал ворон. — Только мне ужасно трудно говорить по-вашему! Вот если бы ты понимала по-вороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше.

— Нет, этому меня не учили! — сказала Герда. — Бабушка — та понимает! Хорошо бы и мне уметь!

— Ну, ничего! — сказал ворон. — Расскажу, как сумею, хоть и плохо.

И он рассказал обо всем, что только сам знал.

— В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя! Она прочла все газеты в свете и уж позабыла все, что прочла, — вот какая умница! Раз как-то сидела она на троне, — а веселья-то в этом ведь немного, как говорят люди — и напевала песенку: «Отчего ж бы мне не выйти замуж?» «А ведь и в самом деле!» — подумала она, и ей захоте-

лось замуж. Но в мужа она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, что умел бы только важничать, — это ведь так скучно! И вот создали барабанным боем всех придворных дам и объявили им волю принцессы. Все они были очень довольны и сказали: «Вот это нам нравится! Мы и сами недавно об этом думали!» Все это истинная правда! — прибавил ворон. — У меня при дворе есть невеста, она ручная, разгуливает по дворцу, — от нее-то я и знаю все это.

Невестою его была ворона — каждый ведь ищет жену себе под стать.

— На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой; того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет себе в мужа! Да, да! — повторил ворон. — Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою! Народ повалил во дворец валом, пошли давка и толкотня, но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили отлично, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию всю в серебре, а лакеев в золоте и вступить в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее последние слова, а ей вовсе не этого было нужно! Право, их всех точно опаивали дурманом! А вот выйдя за ворота, они опять обретали дар слова. От самых ворот до дверей дворца тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам был там и видел! Женихам хотелось есть и пить, но из дворца им не выносили даже стакана воды. Правда, кто был поумнее, запасся бутербродами, но запасливые уже не делились с соседями, думая про себя: «Пусть себе поголодают, отошлют — принцесса и не возьмет их!»

— Ну, а Кай-то, Кай? — спросила Герда. — Когда же он явился? И он пришел свататься?

— Постой! Постой! Теперь мы как раз дошли и до него! На третий день явился небольшой человечек, не в карете, не верхом, а просто пешком, и прямо вошел во дворец. Глаза его блестящие, как твои; волосы у него были длинные, но одет он был бедно.



— Это Кай! — обрадовалась Герда. — Так я нашла его! — и она захлопала в ладоши.

— За спиной у него была котомка! — продолжал ворон.

— Нет, это, верно, были его саночки! — сказала Герда. — Он ушел из дома с санками!

— Очень возможно! — сказал ворон. — Я не разглядел хорошенько. Так вот, моя невеста рассказывала мне, что, войдя в дворцовые ворота и увидав гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, кивнул головой и сказал: «Скучненько, должно быть, стоять тут, на лестнице, я лучше войду в комнаты!» Залы все были залиты светом; вельможи расхаживали без сапог, разнося золотые блюда, — торжественнее уж нельзя было! А его сапоги так и скрипели, но он и этим не смущался.

— Это, наверно, Кай! — воскликнула Герда. — Я знаю, что на нем были новые сапоги! Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке!

— Да, они таки скрипели порядком! — продолжал ворон. — Но он смело подошел к принцессе; она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры со своими горничными, служанками горничных, камердинерами, слугами камердинеров и прислужником камердинерских слуг. Чем дальше кто стоял от принцессы и ближе к дверям, тем важнее, надменнее держал себя. На прислужника камердинерских слуг, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без страха, такой он был важный!

— Вот страх-то! — сказала Герда. — А Кай все-таки женился на принцессе?

— Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он вступил с принцессой в беседу и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по-вороньи, — так по крайней мере сказала мне моя невеста. Держался он вообще очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже!

— Да, да, это Кай! — сказала Герда. — Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Ах, проводи же меня во дворец!

— Легко сказать, — ответил ворон, — да как это сделать? Постой, я поговорю с моею невестой, она что-ни-

будь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то выпускают таких девочек!

— Меня впустят! — сказала Герда. — Только бы Кай услышал, что я тут, сейчас бы прибежал за мною!

— Подожди меня тут, у решетки! — сказал ворон, тряхнул головой и улетел.

Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал:

— Кар, кар! Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов и вот этот маленький хлебец. Она стащила его в кухне — там их много, а ты, верно, голодна!.. Ну, во дворец тебе не попасть: ты ведь босая — гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода, и знает, где достать ключ.

И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, усыпанным пожелтевшими осенними листьями, и когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон провел девочку в маленькую полуотворенную дверцу.

О, как билось сердечко Герды от страха и радостного нетерпения! Она точно собиралась сделать что-то дурное, а ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай! Да, да, он, верно, здесь! Она так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, улыбку... Как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз! А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние! Ах, она была просто вне себя от страха и радости.

Но вот они на площадке лестницы, на шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.

— Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, фрёкен! — сказала ручная ворона. — Ваша vita<sup>1</sup> — как это принято выражаться — также очень трогательна! Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед. Мы пойдем прямою дорогой, тут мы никого не встретим!

— А мне кажется, кто-то идет за нами! — сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промча-

---

<sup>1</sup> Жизнь (лат.).

лись какие-то тени: лошади с развевающимися гривами и тонкими -ногами, охотники, дамы и кавалеры вер-  
хами.

— Это сны! — сказала ручная ворона. — Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас — удобнее будет рассмотреть спящих! Надеюсь, однако, что, войдя в честь, вы покажете, что у вас благодарное сердце!

— Есть о чем тут и говорить! Само собою разумеется! — сказал лесной ворон.

Тут они вошли в первую залу, всю обтянутую розовым атласом, затканым цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела и рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой — просто оторопь брала. Наконец они дошли до спальни: потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями; с середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. Это Кай! Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь; принц проснулся и повернул голову... Ах, это был не Кай!

Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.

— Ах ты бедняжка! — сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гnevаются на них — только пусть они не делают этого впредь, — и захотели даже наградить их.

— Хотите быть вольными птицами? — спросила принцесса. — Или желаете занять должность придворных ворон, на полном содержании из кухонных остатков?

Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе, — они подумали о старости и сказали:

— Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет!

Принц встал и уступил свою постель Герде; больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила

ручонки и подумала: «Как добры все люди и животные!» — закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они были похожи на божьих ангелов и везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы! Все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась.

На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но она прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков, — она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного братца.

Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье, а когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы; у кучера, лакеев и фореяторов — ей дали и фореяторов — красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею, — он не мог ехать к лошадям спиною. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.

— Прощай! Прощай! — закричали принц и принцесса.

Герда заплакала, ворона тоже. Так проехали они первые три мили. Тут простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание! Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, снявшаяся, как солнце, не скрылась из виду.

### *Рассказ пятый*

#### МАЛЕНЬКАЯ РАЗБОЙНИЦА

Вот Герда въехала в темный лес, но карета блестела, как солнце, и сразу бросилась в глаза разбойникам. Они не выдержали и налетели на нее с криками: «Золото! Золото!» Схватили лошадей под уздцы, убили малень-

ких фореиторов, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.

— Ишь, какая славненькая, жирненькая. Орешками откормлена! — сказала старуха разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми, нависшими бровями. — Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?

И она вытащила острый, сверкающий нож. Вот ужас!

— Ай! — закричала она вдруг: ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что любо!

— Ах ты дрянная девчонка! — закричала мать, но убить Герду не успела.

— Она будет играть со мной! — сказала маленькая разбойница. — Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постельке.

И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на одном месте. Разбойники захохотали:

— Ишь, как скачет со своей девчонкой!

— Я хочу сесть в карету! — закричала маленькая разбойница и настояла на своем — она была ужасно избалована и упряма.

Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чашу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:

— Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя! Ты, верно, принцесса?

— Нет! — отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая.

Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула головой и сказала:

— Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя, — я лучше сама убью тебя!

И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую и теплую муфточку.

Вот карета остановилась; они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в огромных трещинах; из них вылетали вороны и вороны; откуда-то выскочили огромные бульдоги и смотрели так свирепо, точно хотели всех съесть, но лаять не лаяли — это было запрещено.

Посреди огромной залы, с полуразвалившимися, открытыми копотью стенами и каменным полом, пылал

огонь; дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход; над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.

— Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца! — сказала Герде маленькая разбойница.

Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердочках больше сотни голубей; все они, казалось, спали, но, когда девочки подошли, слегка зашевелились.

— Все мои! — сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями. — На, поцелуй его! — крикнула она, ткнув голубя Герде прямо в лицо. — А вот тут сидят лесные плутишки! — продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене, за деревянную решеткой. — Эти двое — лесные плутишки! Их надо держать взаперти, не то живо улетят! А вот и мой милый старичина бляшка! — И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. — Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет! Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом — он смерть этого боится!

С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.

— Разве ты спишь с ножом? — спросила ее Герда, покосившись на острый нож.

— Всегда! — отвечала маленькая разбойница. — Как знать, что может случиться! Но расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету!

Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали; другие голуби уже спали; маленькая разбойница обвила одною рукой шею Герды — в другой у нее был нож — и захрапела, но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха разбойница кувыркалась. Страшно было глядеть на это бедной девочке.

Вдруг лесные голуби проворковали:

— Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в саних Снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенчики, еще лежали в гнезде; она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих! Курр! Курр!

— Что вы говорите? — воскликнула Герда. — Куда же полетела Снежная королева?

— Она полетела, наверно, в Лапландию, — там ведь вечный снег и лед! Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи!

— Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо! — сказал северный олень. — Там прыгаешь себе на воле по бескрайним сверкающим ледяным равнинам! Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а постоянные ее чертоги — у Северного полюса, на острове Шпицберген!

— О Кай, мой милый Кай! — вздохнула Герда.

— Лежи смирно! — сказала маленькая разбойница. — Не то я пырну тебя ножом!

Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:

— Ну, так и быть!.. А ты знаешь, где Лапландия? — спросила она затем у северного оленя.

— Кому же и знать, как не мне! — отвечал олень, и глаза его заблестели. — Там я родился и вырос, там прыгаю по снежным равнинам!

— Так слушай! — сказала Герде маленькая разбойница. — Видишь, все наши ушли; дома одна мать; немного погода она хлебнет из большой бутылки и вздремнет — тогда я кое-что сделаю для тебя!

Тут девочка вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и сказала:

— Здравствуй, мой маленький козлик!

А мать надавала ей по носу щелчков, так что нос у девочки покраснел и посинел, но все это делалось любя.

Потом, когда старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:

— Еще долго-долго можно было бы потешаться над тобой! Уж больно ты бываешь уморительным, когда тебя щекочат острым ножом! Ну, да так и быть! Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Ты можешь убежать в свою

Лапландию, но должен за это отнести ко дворцу Снежной королевы вот эту девочку, — там ее названный братец. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила довольно громко, а у тебя вечно ушки на макушке.

Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее, ради осторожности, и подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобнее было сидеть.

— Так и быть, — сказала она затем, — возьми назад свои меховые сапожки — будет ведь холодно! А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша! Но мерзнуть я тебе не дам; вот огромные матушкины рукавицы, они дойдут тебе до самых локтей! Сунь в них руки! Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей безобразной матушки!

Герда плакала от радости.

— Терпеть не могу, когда хнычут! — сказала маленькая разбойница. — Теперь тебе надо смотреть весело! Вот тебе еще два хлеба и окорок! Что? Небось не будешь голодать!

И то и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которой был привязан олень, и сказала ему:

— Ну, живо! Да береги смотри девочку!

Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Волки выли, вороны каркали, а небо вдруг зафукало и выбросило столбы огня.

— Вот мое родное северное сияние! — сказал олень. —гляди, как горит!

И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот Герда очутилась в Лапландии.

#### *Рассказ шестой*

#### ЛАПЛАНДКА И ФИНКА

Олень остановился у жалкой избушки; крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха лапландка, жарившая, при свете жи-



ровой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную — она казалась ему гораздо важнее. Герда же так ооченела от холода, что и говорить не могла.

— Ах вы бедняги! — сказала лапландка. — Долгий же вам еще предстоит путь! Придется сделать сто миль с лишком, пока доберетесь до Финмарка, где Снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу пару слов на сушеной треске — бумаги у меня нет, — а вы снесете ее финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать.

Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала пару слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Небо опять фукало и выбрасывало столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финмарка и постучался в дымовую трубу финки — у нее и дверей-то не было.

Ну и жара стояла в ее жилье! Сама финка, низенькая грязная женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды все платье, рукавицы и сапоги — иначе девочке было бы чересчур жарко, — положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова три раза, пока не заучила наизусть, и потом сунула треску в котел — рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало.

Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазками, но не говорила ни слова.

— Ты такая мудрая женщина! — сказал олень. — Я знаю, что ты можешь связать одной ниткой все четыре ветра; когда шкипер развяжет один узел — подует попутный ветер, развяжет другой — погода разыграется, а развяжет третий и четвертый — подыметесь такая буря, что поломают в щепки деревья. Не изобразишь ли ты для девочки такого питья, которое бы дало ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она одолела Снежную королеву!

— Силу двенадцати богатырей! — сказала финка. — Да, много в этом толку!

С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его: на нем стояли какие-то удивительные письмена; финка принялась читать их и читала до того, что ее пот прошиб.

Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула:

— Кай в самом деле у Снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе он никогда не будет человеком и Снежная королева сохранит над ним свою власть.

— Но не сможешь ли ты Герде как-нибудь уничтожить эту власть?

— Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Не у нас занимать ей силу! Сила — в ее милом, невинном детском сердечке. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и подавно ей не поможем! В двух милях отсюда начинается сад Снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно!

С этими словами финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.

— Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц! — кричала Герда, очутившись на морозе.

Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами; тут он спустил девочку, поцеловал ее в самые губы, и из глаз его покатались крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна-одинешенька, на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц.

Она побежала вперед что было мочи; навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба — небо было совсем ясное, и на нем пылало северное сияние, — нет, они бежали по земле прямо на Герду и, по мере приближения, становились все крупнее и крупнее.

Герда вспомнила большие красивые хлопья под зажига- тельным стеклом, но эти были куда больше, страшнее, са- мых удивительных видов и форм и все живые. Это были передовые отряды войска Снежной королевы. Одни напо- минали собой больших безобразных ежей, другие — стого- ловых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенною шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями.

Герда начала читать «Отче наш»; было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, но вот из него начали выделяться маленькие, светлые ангелочки, кото- рые, ступив на землю, вырастали в больших грозных ан- гелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. Число их все прибывало, и когда Герда окончила молит- ву, вокруг нее образовался уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячи снежинок. Герда могла теперь смело идти впе- ред; ангелы гладили ее руки и ноги, и ей не было уже так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов Снежной королевы.

Посмотрим же, что делал в это время Кай. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она стоит перед замком.

### *Рассказ седьмой*

#### ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ЧЕРТОГАХ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ

Стены чертогов Снежной королевы намела метель, окна и двери проделали буйные ветры. Сотни огромных, освещенных северным сиянием зал тянулись одна за дру- гой; самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко свер- кающих чертогах! Веселье никогда и не заглядывало сюда! Хоть бы редкий раз устроилась бы здесь медвежья вече- ринка с танцами под музыку бури, в которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи, или составила партия в карты с ссорами и дракой, или, наконец, сошлись на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки лисички — нет, никогда этого не слу- чалось! Холодно, пустынно, мертво! Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было с

точно рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабеет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, ровных и правильных на диво. Посреди озера стоял трон Снежной королевы; на нем она восседала, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало в мире.

Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого, — поцелуи Снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его стало куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра — складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется «китайскою головоломкою». Кай тоже складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первой важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала! Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, — слова «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить.

— Теперь я полечу в теплые края! — сказала Снежная королева. — Загляну в черные котлы!

Котлами она называла кратеры огнедышащих гор — Везувия и Этны.

— Я побелю их немножко! Это хорошо после лимонов и винограда!

И она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на одном месте — такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз.

В это-то время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Девочка сейчас же узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:

— Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!  
Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала; горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору и расправили осколок. Кай взглянул на Герду, а она за-  
пела:

Розы цветут... Красота, красота!  
Скоро узрим мы младенца Христа.

Кай вдруг залился слезами и плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и очень обрадовался.

— Герда! Милая моя Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам? — И он оглянулся вокруг. — Как здесь холодно, пустынно!

И он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость была такая, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю Снежная королева; сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков.

Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зацвели розами, поцеловала его в глаза, и они заблестали, как ее глаза; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.

Снежная королева могла вернуться когда угодно, — его вольная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами.

Кай с Гердой рука об руку вышли из пустынных ледяных чертогов; они шли и говорили о бабушке, о своих розах, и на пути их стихали буйные ветры, проглядывало солнышко. Когда же они дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Он привел с собою молодую оленью матку, вымя ее было полно молока; она напоила им Кая и Герду и поцеловала их прямо в губы. Затем Кай и Герда отправились сначала к финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к лапландке; та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать.

Оленья парочка тоже провожала молодых путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась

первая зелень. Тут Кай и Герда простились с оленями и с лапландкой.

— Счастливого пути! — крикнули им провожатые.

Вот перед ними и лес. Запели первые птички, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь — она была когда-то впряжена в золотую карету — и девушку. Это была маленькая разбойница; ей наскучило жить дома, и она захотела побывать на севере, а если там не понравится — и в других местах. Она тоже узнала Герду. Вот была радость!

— Ишь ты бродяга! — сказала она Каю. — Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света!

Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.

— Они уехали в чужие края! — отвечала молодая разбойница.

— А ворон с вороной? — спросила Герда.

— Лесной ворон умер; ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но все это пустяки, а ты вот Расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его.

Герда и Кай рассказали ей обо всем.

— Ну, вот и сказке конец! — сказала молодая разбойница, пожалала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет в их город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда своей. Они шли, и на их дороге расцветали весенние цветы, зеленела травка. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного городка. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: так же тикали часы, так же двигалась часовая стрелка. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели за это время сделаться взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великопение чертогов Снежной королевы было забыто ими, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко

читала Евангелие: «Если не будете как дети, не войдете в царствие небесное!»

Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма:

Розы цветут... Красота, красота!  
Скоро узрим мы младенца Христа.

Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето!





### ВОЛШЕБНЫЙ ХОЛМ



**Ю**ркие ящерицы так и шмыгали по растрескавшейся коре старого дерева. Они прекрасно понимали друг дружку — ведь разговор-то они вели по-ящеричьи.

— Нет, вы только послушайте, как гремит, как бурлит внутри волшебного холма, — сказала одна ящерица, — из-за их возни я уже две ночи глаз не смыкаю. Лучше бы у меня зубы болели, все равно нет покоя.

— Что-то они там внутри затевают! — сказала вторая ящерица. — На ночь они поднимают холм на четыре огненных столба, и он стоит так до самых петухов — видно, хотят его проветрить получше. А лесные девы разучивают новые танцы с притоптыванием. Что-то они там затевают.

— Да-да, — подтвердила третья. — Я тут беседовала со знакомым дождевым червем, он как раз вылез из холма, копался там дни и ночи в земле и много чего наслушался. Видеть-то он не видит, бедняга, а вот послушать или прощупать что-нибудь — это он мастер. Там ждут гостей, знатных гостей, иностранцев. Но кого, червяк не захотел сказать, а может, и сам не знает. Всем болотным



огонькам приказано готовиться к факельному шествию, или как это у них называется. Уже перечистили до блеска все столовое серебро и золото, а его у них в холме полным-полно, и выставили сушиться на лунный свет.

— Интересно, что это за гости? — заволновались ящерицы. — И что там затевается? Послушайте только, как бурлит, как гремит!

В этот самый момент волшебный холм раздался, и оттуда, быстро перебирая ножками, вышла старая лесная дева. Спины у нее, правда, не было, но в остальном она выглядела вполне прилично. Она была дальней родственницей лесного царя, служила у него экономкой и носила на лбу янтарное сердце. Ноги ее так и мелькали — раз-два, раз-два! Ишь, как засемила, и напрямиком в болото, где жил козодой.

— Вас приглашают к лесному царю, праздник состоится сегодня ночью, — сказала она. — Но сначала мы хотели бы просить вас об одной услуге. Не согласитесь ли вы разнести приглашения? Ведь вы у себя приемов не устраиваете, не мешало бы другим помочь! Мы ждем к себе знатных иностранцев, троллей, если вам это что-нибудь говорит. И старый лесной царь не хочет ударить лицом в грязь.

— Кого приглашать? — спросил козодой.

— Ну, на большой бал мы зовем всех подряд, даже людей, если только они умеют разговаривать во сне или еще хоть чем-нибудь занимаются по нашей части. Но на ужин решено приглашать с большим выбором, только самую знать. Сколько я спорила с лесным царем! По-моему, привидения и то звать не стоит. Прежде всего надо пригласить морского царя с дочками. Они, правда, не очень любят бывать на суше, но мы посадим их на мокрые камни, а может, и еще что получше придумаем. Авось на этот раз они не откажутся. Затем нужно пригласить всех старых троллей высшего разряда, из тех, что с хвостами. Потом — водяного и домовых, а кроме того, я считаю, что нельзя обойти кладбищенскую свинью, трехногую лошадь без головы и гнома-церквушника. Правда, они относятся к нечистой силе другого рода и вроде бы состоят при церкви, но в конце концов это только их работа, а мы ведь все-таки в близком родстве, и они часто нас навещают.

— Хорошо! — сказал козодой и полетел созывать гостей.

А лесные девы уже кружились на волшебном холме. Они разучивали танец с покрывалами, с длинными покрывалами, сотканными из тумана и лунного сияния. И те, кому такое по вкусу, нашли бы их танец очень красивым. Внутри холма все было вычищено и вылизано. Пол в огромной зале вымыли лунным светом, а стены протерли ведьминым салом, так что они сверкали, точно тюльпаны на солнце. Кухня ломилась от припасов, жарили на вертелах лягушек, начинали детскими пальчиками колбасу из ужей, готовили салаты из поганок, моченых мышиных



мордочек и цикуты. Пиво привезли от болотницы, из ее пивоварни, а игристое вино из селитры доставили прямо из кладбищенских склепов. Все готовили по лучшим рецептам, а на десерт собирались подать ржавые гвозди и битые церковные стекла.

Старый лесной царь велел почистить свою корону толченым грифелем, да не простым, а тем, которым писал первый ученик. Раздобыть такой грифель для лесного царя задача нелегкая! В спальне вешали занавеси и приклеивали их змеиной слюной. Словом, дым стоял коромыслом.

— Ну, теперь еще покурить конским волосом и свиной щетиной, и я считаю — мое дело сделано! — сказала старая лесная дева.

— Папочка! Милый! — приставала к лесному царю младшая дочь. — Ну, скажи, кто же все-таки эти знатные иностранцы?

— Ну что ж! — ответил царь. — Пожалуй, можно и сказать. Две мои дочки сегодня станут невестами. Двум из вас придется уехать в чужие края. Сегодня к нам прибудет старый норвежский тролль, тот, что живет в Доврских горах. Сколько каменных замков у него понастроено на диких утесах! А сколько у него золотых копей — куда больше, чем думают. С ним едут два его сына, они должны присмотреть себе жен. Старый тролль — настоящий честный норвежец, прямой и веселый. Мы с ним давно знакомы, пили когда-то на брудершафт. Он приезжал сюда за женой, теперь ее уже нет в живых. Она была дочерью короля меловых утесов с острова Мё. И, как говорится, игра велась на мелок. Ох, и соскучился же я по старику троллю! Правда, про сыновей идет слух, будто они воспитаны неважно и большие задиры. Но, может, на них просто наговаривают. А женятся, так и образуются. Надеюсь, вы сумеете прибрать их к рукам.

— Когда же они придут? — спросила одна из дочерей.

— Все зависит от погоды и от ветра, — ответил лесной царь. — Не привыкли они экономить, плывут на корабле! Я советовал им ехать сушей через Швецию, но старый тролль до сих пор и смотреть не желает в ту сторону. Отстает он от жизни, вот что мне не нравится.

Вдруг вприпрыжку прибежали два болотных огонька, один старался обогнать другого и поэтому прибежал первым.

— Едут! Едут! — кричали они.

— Дайте-ка я надену корону, — распорядился лесной царь, — да встану там, где луна поярче светит.

Дочки подобрали свои длинные покрывала и присели чуть не до земли.

Перед ними стоял Доврский тролль в короне из крепких сосулек и полированных еловых шишек. Он был закутан в медвежью шубу, а ноги его утопали в теплых сапогах. Сыновья же щеголяли без подтяжек и с голой грудью — они мнили себя богатырями.

— И это холм? — спросил младший и ткнул пальцем в волшебный холм. — У нас в Норвегии это называется ямой.

— Дети! — сказал старик. — Яма уходит вниз, холм уходит вверх. У вас что, глаз нет?

Молодчики заявили, что удивляет их тут только одно — как это они сразу, без подготовки, понимают здешний язык.

— Не представляйтесь, — сказал старик. — Еще подумают, что вы совсем неученые.

Все вошли в волшебный холм. Там уже собралось изысканное общество, да так быстро, будто гостей ветром сюда принесло. В зале все было устроено так, что каждый из приглашенных чувствовал себя как дома. Водяные и русалки сидели в больших кадках с водой и говорили, что им очень уютно. Все вели себя за столом как положено, только молодые норвежские тролли сразу задрали ноги на стол — ведь, по их мнению, все, что они делали, было очень мило.

— А ну, убрать ноги из тарелок! — прикрикнул Доврский тролль, и братья послушались, хотя и не сразу.

Карманы их были набиты еловыми шишками, и они щекотали ими своих соседок. А потом стащили с ног сапоги, чтобы чувствовать себя привольнее, и дали сапоги подержать дамам. Но их отец, Доврский тролль, — тот был совсем другой. Он так интересно рассказывал о величественных норвежских горах, о водопадах, которые белой пеной срываются со скал и то грохочут, как раскаты грома, то поют, как орган. Рассказывал, как выпрыгивают из воды лососи, чуть только водяной заиграет на золотой арфе, как в светлые зимние ночи звенят бубенчики саней и мальчишки с горящими факелами носятся по льду, такому прозрачному, что видно рыб, которые у них под ногами в страхе бросаются врассыпную. Да, старик был мастер рассказывать! Все прямо-таки видели перед собой то, о чем он говорил. Казалось, будто стучит водяная мельница, юноши и девушки поют песни и отплясывают халлинг — гопля! Вдруг старик тролль ни с того ни с сего чмокнул старую лесную деву, поцеловал по-настоящему, как будто приходился ей дядюшкой, а ведь они были совсем не родственники!

Настал черед лесных дев показать, как они танцуют, и они исполнили и простые танцы и танцы с притоптыванием, это у них ловко получалось! Потом пошел настоящий балет, тут полагалось «забываться в вихре пляски». Ух ты, как они начали вскидывать ноги! У всех в глазах зарябило: не поймешь, где руки, где ноги, где одна сестра, где другая, то колесом пройдутся, то волчком закру-

жаты, так что в конце концов трехногий безголовый лошади стало дурно, и ей пришлось выйти из-за стола.

— Н-да, — сказал старый тролль, — лихо у них получается! Ну, а что они еще умеют делать, кроме как плясать, задира́ть ноги да крутиться волчком?

— Сейчас увидишь, — сказал лесной царь и вызвал младшую. Это была самая красивая из сестер, нежная и прозрачная, как лунный свет. Она положила в рот белую щепочку и стала невидимой, вот что она умела делать!

Однако Доврский тролль сказал, что не хотел бы иметь жену, умеющую проделывать такие фокусы, да и сыновьям его это вряд ли придется по вкусу.

Вторая сестра умела ходить сама с собою рядом, будто была собственной тенью, а ведь у троллей тени нет.

У третьей были совсем иные наклонности — она обучалась варить пиво у самой болотницы. Это она так искусно нащиповала ольховые коряги светляками!

— Будет хорошей хозяйкой! — сказал старик тролль и подмигнул ей, но пива пить не стал, он не хотел пить слишком много.

Вышла вперед четвертая лесная дева, в руках у нее была большая золотая арфа. Она ударила по струнам раз, и гости подняли левую ногу, ведь все тролли — левши. Ударил второй, и все готовы были делать, что она прикажет.

— Какая опасная женщина! — сказал старик тролль, но сыновья его повернулись и пошли вон из холма: им все это уже надоело.

— А что умеет следующая? — спросил старый тролль.

— Я научилась любить все норвежское, — сказала пятая дочь. — И выйду замуж только за норвежца, я мечтаю попасть в Норвегию.

Но младшая сестра шепнула троллю на ухо:

— Просто она узнала из одной норвежской песни, что норвежские скалы выстоят, даже когда придет конец света. Вот она и хочет забраться на них — ужасно боится погибнуть.

— Хо-хо! — сказал старый тролль. — Ну и ладно! А где же седьмая и последняя?

— Сначала шестая, — сказал лесной царь, он-то умел считать. Но шестая ни за что не хотела показаться.

— Я только и умею, что говорить правду в глаза, — твердила она, — а этого никто не любит. Лучше уж я буду шить себе саван.

Дошла очередь и до седьмой, последней дочери. Что же умела она? О, эта умела рассказывать сказки, да к тому же сколько душе угодно.

— Вот мои пять пальцев, — сказал Доврский тролль, — расскажи мне сказку о каждом.

Лесная дева взяла его за руку и начала рассказывать, а он покатывался со смеху. Когда же она дошла до безымян-



ного пальца, который носил золотое кольцо на талии, будто знал, что не миновать помолвки, старый тролль заявил:

— Держи мою руку покрепче. Она твоя. Я сам беру тебя в жены.

Но лесная дева ответила, что она еще не рассказала про безымянный палец и про мизинец.

— А про них мы послушаем зимой, — ответил старый тролль, — про все послушаем: и про елку, и про березу, и про подарки злой феи — хульдры, и как трещит мороз послушаем. Для того я и беру тебя с собой, чтобы ты рассказывала мне сказки, у нас там никто этого не умеет. Будем сидеть в пещере перед пылающими сосновыми дровами да попивать мед из древнего золотого рога норвежских королей. Водяной подарил мне несколько таких рогов. Будем сидеть, а к нам наведается Гарбу — добрый дух пастбищ. Он сплет тебе песни, которые поют норвежские девушки, когда пасут скот в горах. Вот-то будет весело! Лосось запляшет в водопаде, начнет стучаться к нам в пещеру, но к нам ему не попасть. Да уж, поверь мне, ничего нет лучше доброй старой Норвегии. А где же мальчишки?

И правда, где же мальчики? Они носились по полю и тушили болотные огоньки, которые чинно выстроились в ряд и приготовились к факельному шествию.

— Хватит лоботрясничать! Я нашел для вас мать! А вы можете жениться на своих тетках.

Но сыновья ответили, что им больше хочется произносить речи и пить на брудершафт, а жениться у них нет охоты. И они говорили речи, пили на брудершафт и опрокидывали стаканы вверх дном, хотели показать, что выпито все до капли. Потом они стащили с себя одежду и улеглись спать прямо на столе — стеснительностью они не отличались. А старый тролль отплясывал со своей молодой невестой и даже обменялся с ней башмаками, ведь это гораздо интереснее, чем меняться кольцами.

— Петух кричит, — сказала старая лесная дева, которая была за хозяйку. — Пора закрывать ставни, а то мы тут сгорим от солнца.

И холм закрылся.

А по растрескавшемуся старому дереву вверх и вниз сновали ящерицы, и одна сказала другой:

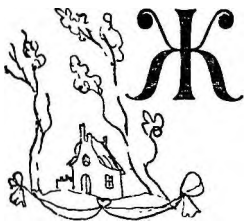
— Ах, мне так понравился старый норвежский тролль!

— А мне больше понравились сыновья, — сказал дождевой червяк, но ведь он был совсем слепой, бедняга.





## КРАСНЫЕ БАШМАКИ



Жила-была девочка, премиленькая, прехорошенькая, но очень бедная, и летом ей приходилось ходить босиком, а зимою — в грубых деревянных башмаках, которые ужасно натирали ей ноги.

В деревне жила старушка башмачница. Вот она взяла да и сшила, как умела, из обрезков красного сукна пару башмачков. Башмаки вышли очень неуклюжие, но сшиты были с добрым намерением, — башмачница подарила их бедной девочке. Девочку звали Карен.

Она получила и обновила красные башмаки как раз в день похорон своей матери. Нельзя сказать, чтобы они годились для траура, но других у девочки не было; она надела их прямо на голые ноги и пошла за убогим соломенным гробом.

В это время по деревне проезжала большая старинная карета и в ней — важная старая барыня. Она увидела девочку, пожалела ее и сказала священнику:



— Послушайте, отдайте мне девочку, я позабочусь о ней.

Карен подумала, что все это вышло благодаря ее красным башмакам, но старая барыня нашла их ужасными и велела сжечь. Карен приодели и стали учить читать и шить. Все люди говорили, что она очень мила, зеркало же твердило: «Ты больше чем мила, ты прелестна».

В это время по стране путешествовала королева со своею маленькой дочерью, принцессой. Народ сбежался ко дворцу; была тут и Карен. Принцесса, в белом платье, стояла у окошка, чтобы дать людям посмотреть на себя. У нее не было ни шлейфа, ни короны, зато на ножках красовались чудесные красные сафьяновые башмачки; нельзя было и сравнить их с теми, что сшила для Карен башмачница. На свете не могло быть ничего лучшего этих красных башмачков!

Карен подросла, и пора было ей подтвердить себя; ей сшили новое платье и собирались купить новые башмаки. Лучший городской башмачник снял мерку с ее маленькой ножки. Карен со старой госпожой сидели у него в мастерской; тут же стоял большой шкаф со стеклами, за которыми красовались прелестные башмачки и лакированные сапожки. Можно было залюбоваться на них, но старая госпожа не получила никакого удовольствия: она очень плохо видела. Между башмаками стояла и пара красных, они были точь-в-точь как те, что красовались на ножках принцессы. Ах, что за прелесть! Башмачник сказал, что они были заказаны для графской дочки, да не пришлось по ноге.

— Это ведь лакированная кожа? — спросила старая барыня. — Они блестят!

— Да, блестят! — ответила Карен.

Башмачки были примерены, оказались впору, и их купили. Но старая госпожа не знала, что они красные, — она бы никогда не позволила Карен идти подтвердить себя в красных башмаках, а Карен как раз так и сделала.

Все люди в церкви смотрели на ее ноги, когда она проходила на свое место. Ей же казалось, что и старые портреты умерших пасторов и пасторш в длинных черных одеяниях и плоеных круглых воротничках тоже уставились на ее красные башмачки. Сама она только о них и думала, даже в то время, когда священник возложил ей на

голову руки и стал говорить о святом крещении, о союзе с богом и о том, что она становится теперь взрослой христианкой. Торжественные звуки церковного органа и мелодичное пение чистых детских голосов наполняли церковь, старый регент подтягивал детям, но Карен думала только о своих красных башмаках.

После обедни старая госпожа узнала от других людей, что башмаки были красные, объяснила Карен, как это неприлично, и велела ей ходить в церковь всегда в черных башмаках, хотя бы и в старых.

В следующее воскресенье надо было идти к причастию. Карен взглянула на красные башмаки, взглянула на черные, опять на красные и — надела их.

Погода была чудная, солнечная; Карен со старой госпожой прошли по тропинке через поле; было немного пыльно.

У церковных дверей стоял, опираясь на костыль, старый солдат с длинною, странною бородой: она была скорее рыжая, чем седая. Он поклонился им чуть не до земли и попросил старую барыню позволить ему смахнуть пыль с ее башмаков. Карен тоже протянула ему свою маленькую ножку.

— Ишь, какие славные бальные башмачки! — сказал солдат. — Сидите крепко, когда запляшете!

И он хлопнул рукой по подошвам.

Старая барыня дала солдату скиллинг и вошла вместе с Карен в церковь.

Все люди в церкви опять глядели на ее красные башмаки, все портреты — тоже. Карен преклонила колена перед алтарем, и золотая чаша приблизилась к ее устам, а она думала только о своих красных башмаках, — они словно плавали перед ней в самой чаше. И Карен забыла пропеть псалом, забыла прочесть «Отче наш».

Народ стал выходить из церкви; старая госпожа села в карету, Карен тоже поставила ногу на подножку, как вдруг возле нее очутился старый солдат и сказал:

— Ишь, какие славные бальные башмачки!

Карен не удержалась и сделала несколько па, и тут ноги ее пошли плясать сами собою, точно башмаки имели какую-то волшебную силу. Карен неслась все дальше и дальше, обогнула церковь и все не могла остановиться. Кучеру пришлось бежать за нею вдогонку, взять ее на руки и посадить в карету. Карен села, а ноги ее все

продолжали приплясывать, так что доброй старой госпоже досталось немало пинков. Пришлось наконец снять башмаки, и ноги успокоились.

Приехали домой; Карен поставила башмаки в шкаф, но не могла не любоваться на них.

Старая госпожа захворала, и сказали, что она не проживет долго. За ней надо было ухаживать, а кого же это дело касалось ближе, чем Карен. Но в городе давался большой бал, и Карен пригласили. Она посмотрела на старую госпожу, которой все равно было не жить, посмотрела на красные башмаки — разве это грех? — потом надела их — и это ведь не беда, а потом... отправилась на бал и пошла танцевать.

Но вот она хочет повернуть вправо — ноги несут ее влево, хочет сделать круг по зале — ноги несут ее вон из залы, вниз по лестнице, на улицу и за город. Так доплясала она вплоть до темного леса.

Что-то засветилось между верхушками деревьев. Карен подумала, что это месяц, так как виднелось что-то похожее на лицо, но это было лицо старого солдата с рыжею бородой. Он кивнул ей и сказал:

— Ишь, какие славные бальные башмачки!

Она испугалась, хотела сбросить с себя башмаки, но они сидели крепко; она только изорвала в клочья чулки; башмаки точно приросли к ногам, и ей пришлось плясать, плясать по полям и лугам, в дождь и в солнечную погоду, и ночью и днем. Ужаснее всего было ночью!

Танцевала она танцевала и очутилась на кладбище; но все мертвые спокойно спали в своих могилах. У мертвых найдется дело получше, чем пляска. Она хотела присесть на одной бедной могиле, поросшей дикою рябинкой, но не тут-то было! Ни отдыха, ни покоя! Она все плясала и плясала... Вот в открытых дверях церкви она увидела ангела в длинном белом одеянии; за плечами у него были большие, спускавшиеся до самой земли крылья. Лицо ангела было строго и серьезно, в руке он держал широкий блестящий меч.

— Ты будешь плясать, — сказал он, — плясать в своих красных башмаках, пока не побледнеешь, не похолодеешь, не высохнешь как мумия! Ты будешь плясать от ворот до ворот и стучаться в двери тех домов, где живут гордые, тщеславные дети; твой стук будет пугать их! Будешь плясать, плясать!..

— Смилуйся! — вскричала Карен.

Но она уже не слышала ответа ангела — башмаки повлекли ее в калитку, за ограду кладбища, в поле, по дорогам и тропинкам. И она плясала и не могла остановиться.

Раз утром она пронеслась в пляске мимо знакомой двери; оттуда с пением псалмов выносили гроб, украшенный цветами. Тут она узнала, что старая госпожа умерла, и ей показалось, что теперь она оставлена всеми, проклята ангелом господним.

И она все плясала, плясала, даже темною ночью. Башмаки несли ее по камням, сквозь лесную чащу и терновые кусты, колючки которых царапали ее до крови. Так доплясала она до маленького уединенного домика, стоявшего



в открытом поле. Она знала, что здесь живет палач, постучала пальцем в оконное стекло и сказала:

— Выйди ко мне! Сама я не могу войти к тебе, я пляшу!

И палач отвечал:

— Ты, верно, не знаешь, кто я? Я рублю головы дурным людям, и топор мой, как вижу, дрожит!

— Не руби мне головы! — сказала Карен. — Тогда я не успею покаяться в своем грехе. Отруби мне лучше ноги с красными башмаками.

И она исповедала весь свой грех. Палач отрубил ей ноги с красными башмаками, — пляшущие ножки понесли по полю и скрылись в чаще леса.

Потом палач приделал ей вместо ног деревяшки, дал костыли и выучил ее псалму, который всегда поют грешники. Карен поцеловала руку, державшую топор, и побрела по полю.

— Ну, довольно я настрадалась из-за красных башмаков! — сказала она. — Пойду теперь в церковь, пусть люди увидят меня!

И она быстро направилась к церковным дверям; вдруг перед нею заплясали ее ноги в красных башмаках, она испугалась и повернула прочь.

Целую неделю тосковала и плакала Карен горькими слезами; но вот настало воскресенье, и она сказала:

— Ну, довольно я страдала и мучилась! Право же, я не хуже многих из тех, что сидят и важничают в церкви!

И она смело пошла туда, но дошла только до калитки, — тут перед нею опять заплясали красные башмаки. Она опять испугалась, повернула обратно и от всего сердца покаялась в своем грехе.

Потом она пошла в дом священника и попросилась в услужение, обещая быть прилежной и делать все, что сможет, без всякого жалованья, из-за куска хлеба и приюта у добрых людей. Жена священника сжалилась над ней и взяла ее к себе в дом. Карен работала не покладая рук, но была тиха и задумчива. С каким вниманием слушала она по вечерам священника, читавшего вслух Библию! Дети очень полюбили ее, но когда девочки болтали при ней о нарядах и говорили, что хотели бы быть на месте королевы, Карен печально качала головой.

В следующее воскресенье все собрались идти в церковь; ее спросили, не пойдет ли она с ними, но она только со слезами посмотрела на свои костыли. Все отправились слушать слово божье, а она ушла в свою каморку. Там умещались только кровать да стул; она села и стала читать псалтырь. Вдруг ветер донес до нее звуки церковного органа. Она подняла от книги свое залитое слезами лицо и воскликнула:

— Помоги мне, господи!

И вдруг ее всю осияло, как солнцем, — перед ней очутился ангел господень в белом одеянии, тот самый, которого она видела в ту страшную ночь у церковных дверей.

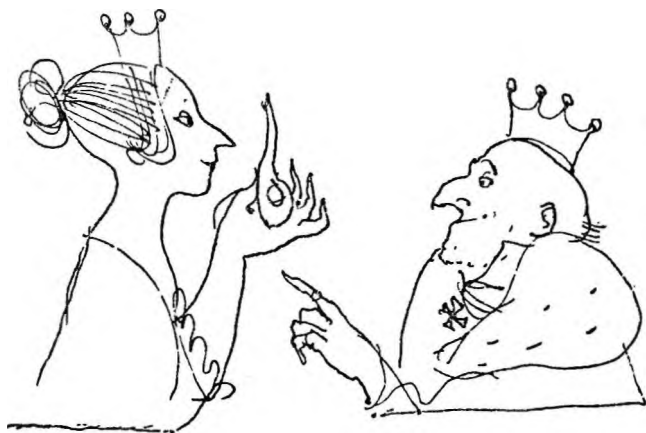
Но теперь в руках он держал не острый меч, а чудесную зеленую ветвь, усеянную розами. Он коснулся ею потолка, и потолок поднялся высоко-высоко, а на том месте, до которого дотронулся ангел, заблестала золотая звезда. Затем ангел коснулся стен — они раздались, и Карен увидела церковный орган, старые портреты пасторов и пасторш и весь народ; все сидели на своих скамьях и пели псалмы. Что это, преобразилась ли в церковь узкая каморка бедной девушки, или сама девушка каким-то чудом перенеслась в церковь?.. Карен сидела на своем стуле рядом с домашними священника, и когда те окончили псалом и увидели ее, то ласково кивнули ей, говоря:

— Ты хорошо сделала, что тоже пришла сюда, Карен!

— По милости божьей! — отвечала она.

Торжественные звуки органа сливались с нежными детскими голосами хора. Лучи ясного солнышка струились в окно прямо на Карен. Сердце ее так переполнилось всем этим светом, миром и радостью, что разорвалось. Душа ее полетела вместе с лучами солнца к богу, и там никто не спросил ее о красных башмаках.





## ПРЫГУНЫ



**Б**лоха, кузнечик и гусек-скакунок<sup>1</sup> хотели раз посмотреть, кто из них выше прыгает, и пригласили прийти полюбоваться на такое диво весь свет и — кто там еще захочет. Да, вот так прыгуны выступили перед собранием! Настоящие прыгуны-молодцы!

— Я выдам свою дочку за того, кто прыгнет выше всех! — сказал король. — Обидно было бы таким персонам прыгать за даром!

Сначала вышла блоха; она держала себя в высшей степени мило и раскланялась на все стороны: в жилах ее текла аристократическая кровь, и вообще она привыкла иметь дело с людьми, а это ведь что-нибудь да значит!

Потом вышел кузнечик; он был, конечно, потяжеловеснее, но тоже очень приличен на вид и одет в зеленый мундир, — он и родился в мундире. Кузнечик говорил, что происходит из очень древнего рода, из Египта, и поэтому в

<sup>1</sup> Гусек-скакунок — игрушка из грудной кости гуся.

большой чести в здешних местах: его взяли прямо с поля и посадили в трехэтажный карточный домик, который был сделан из одних фигур, обращенных лицевой стороной вовнутрь; окна же и двери в нем были прорезаны в туловище червонной дамы.

— Я пою, — прибавил кузничек, — да так, что шестнадцать здешних сверчков, которые трещат с самого рождения и все-таки не удостоились карточного домика, послушав меня, с досады похудели!

И блоха и кузничек полагали, таким образом, что достаточно зарекомендовали себя в качестве приличной партии для принцессы.

Гусек-скакунок не сказал ничего, но о нем говорили, что он зато много думает. А придворный пес, как только обнюхал его, так и сказал, что гусек-скакунок — из очень хорошего семейства. Старый же придворный советник, который получил три ордена за умение молчать, уверял, что гусек-скакунок отличается пророческим даром: по его спине можно узнать, мягкая или суровая будет зима, а этого нельзя узнать даже по спине самого составителя календарей!

— Я пока ничего не скажу! — сказал старый король. — Но у меня свои соображения!

Теперь оставалось только прыгать.

Блоха прыгнула, да так высоко, что никто и не видал — как, и потому стали говорить, что она вовсе не прыгала; но это было нечестно. Кузничек прыгнул вдвое ниже и угодил королю прямо в лицо, и тот сказал, что это очень гадко.

Гусек-скакунок долго стоял и думал; в конце концов все решили, что он вовсе не умеет прыгать.

— Только бы ему не сделалось дурно! — сказал придворный пес и принялся опять обнюхивать его.

Прыг! И гусек-скакунок маленьким косым прыжком очутился прямо на коленях у принцессы, которая сидела на низенькой золотой скамеечке.

Тогда король сказал:

— Выше всего допрыгнуть до моей дочери — в этом ведь вся суть; но чтобы додуматься до этого, нужна голова, и гусек-скакунок доказал, что она у него есть. И притом с мозгами!

И гуську-скакунку досталась принцесса.



— Я все-таки выше всех прыгнула! — сказала блоха. — Но все равно, пусть остается при своем дурачком гуське с палочкой и смолой! Я прыгнула выше всех, но на этом свете надо иметь крупное тело, чтобы тебя заметили!

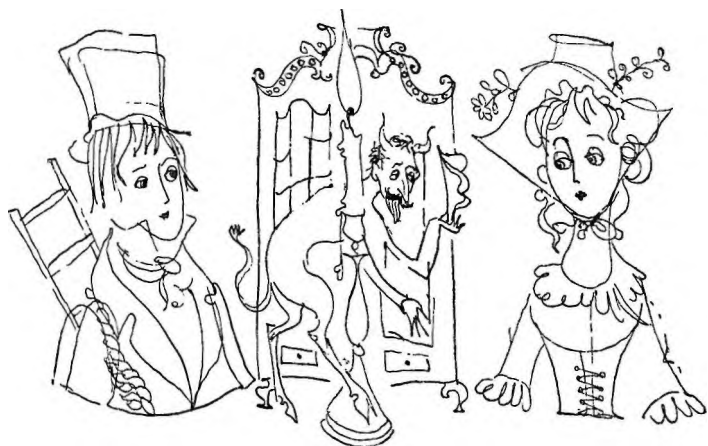
И блоха поступила волонтером в чужеземное войско и, говорят, нашла там смерть.

Кузнечик расположился в канавке и принялся петь о том, как идут дела на белом свете. И он тоже говорил:

— Да, самое главное — крупное тело!

И он затянул песенку о своей печальной доле. Из его песни мы и взяли эту историю. Впрочем, она, пожалуй, выдумана, хоть и напечатана.





## ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ



**В**идали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и весь изукрашенный резьбой в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно шкаф — наследство после прабабушки — и стоял в комнате. Он был весь покрыт резьбой — розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высовывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он преуморительно скалил зубы — такую гримасу уж никак не назовешь улыбкой! У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног! Трудно выговорить такое имя, и немногие удостаиваются подобного титула, зато и вырезать такую фигуру стоило немало труда. Ну, да все-таки вырезали! Он вечно глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вы-

золоченные, платьице слегка приподнято и подколото алой розой, на головке красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну, просто прелесть! Рядом с нею стоял маленький трубочист, черный как уголь, но, впрочем, тоже из фарфора и сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка; он ведь только изображал трубочиста, и мастер точно так же мог бы сделать из него принца, — все равно!

Он премило держал в руках свою лестницу; личико у него было белое, а щеки розовые, как у барышни, и это было немножко неправильно, следовало бы ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой — так их поставили, так они и стояли; стояли, стояли, да и обручились: они были отлично парочкой, оба молодые, оба из фарфора и оба одинаково хрупки.

Тут же стояла и еще одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец, который кивал головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть, и потому кивал головою обер-унтер-генерал-комиссар-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку.

— Вот так муж у тебя будет! — сказал старый китаец пастушке. — Я думаю даже, что он из красного дерева! Он сделает тебя обер-унтер-генерал-комиссар-сержантшей! И у него целый шкаф серебра, не говоря уже о том, что лежит в потайных ящичках!

— Я не хочу в темный шкаф! — сказала пастушка. — Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен!

— Так ты будешь двенадцатой! — отвечал китаец. — Ночью, как только в старом шкафу затрещит, мы сыграем вашу свадьбу! Да, да, не будь я китайцем!

Тут он кивнул головой и заснул.

Пастушка плакала и смотрела на своего милого.

— Право, я попрошу т е б я, — сказала она, — бежать со мной куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться!

— Твои желания — мои! — ответил трубочист. — Пойдем хоть сейчас! Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом!

— Только бы нам удалось спуститься со столика! — сказала она. — Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда!

Трубочист успокаивал ее и показывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку резных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу; таким образом они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени далеко-далеко вытянули вперед головы с рогами и вертели ими во все стороны, а обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног высоко подпрыгнул и закричал старому китайцу:

— Бегут! Бегут!

Беглецы испугались немножко и поскорее шмыгнули в ящик предоконного возвышения<sup>1</sup>.

Тут лежали три-четыре неполные колоды карт и кукольный театр; он был кое-как установлен в тесном ящике, и на сцене шло представление. Все дамы — и бубновые, и червонные, и трефовые, и пиковые — сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты и у каждого было по две головы — сверху и снизу, как и у всех карт. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали. Пастушка заплакала: это была точь-в-точь их собственная история.

— Нет, я не вынесу! — сказала она трубочисту. — Уйдем отсюда!

Но, очутившись опять на полу, они увидели, что старый китаец проснулся и весь качается из стороны в сторону, — внутри его катался свинцовый шарик.

— Ай, старый китаец гонится за нами! — закричала пастушка и в отчаянии упала на свои фарфоровые коленки.

— Стой, мне пришла в голову мысль! — сказал трубочист. — Видишь вон там, в углу, большую вазу с душистыми травами и цветами? Влезем в нее! Там мы будем лежать на розах и лаванде, а если китаец подойдет к нам, засыплем ему глаза солью.

— Нет, это не годится! — сказала она. — Я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены, а в таких случаях всегда ведь сохраняются добрые отношения! Нет, нам остается только пуститься по белу свету куда глаза глядят!

---

<sup>1</sup> В Дании окна бывали довольно высоко от пола, поэтому перед одним из них устраивался иногда, для любителей смотреть на уличное движение, деревянный помост, на который ставился стул.



— А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду? — спросил трубочист. — Подумала ли ты, как велик мир? Подумала ли о том, что нам нельзя будет вернуться назад?

— Да, да! — отвечала она.

Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал:

— Моя дорога идет через печную трубу! Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать! Мы заберемся так высоко, что нас не достанут! В самом же верху есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет!

И он повел ее к печке.

— Как тут темно! — сказала она, но все-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно, как ночью.

— Ну вот мы и в трубе! — сказал он. — Смотри, смотри! Прямо над нами сияет чудесная звездочка!

На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывавая им дорогу. А они все лезли и лезли, выше да выше! Дорога была ужасная. Но трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобнее и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец они достигли края трубы и усе-л и с ь, — они очень устали, и было от чего!

Небо, усеянное звездами, было над ними, а все домовые крыши под ними. С этой высоты глазам их открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никак не думала, что свет так велик. Она склонилась головкою к плечу трубочиста и заплакала; слезы катились ей на грудь и разом смыли всю позолоту с ее пояса.

— Нет, это уж слишком! — сказала она. — Я не вынесу! Свет слишком велик! Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике! Я не успокоюсь, пока не вернусь туда! Я пошла за тобою куда глаза глядят, теперь проводи же меня обратно, если любишь меня!

Трубочист стал ее уговаривать, напоминал ей о старом китайце и об обер-унтер-генерал-комиссар-сержанте Козлоноге, но она только рыдала и крепко целовала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось уступить, хотя и не следовало.

И вот они с большим трудом спустились по трубе обратно вниз; не легко это было! Очутившись опять в темной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, желая услышать, что творится в комнате. Там

было тихо, и они выглянули. Ах! На полу валялся старый китаец: он свалился со стола, собираясь пуститься за ними вдогонку, и разбился на три части; спина так вся и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал.

— Ах, какой ужас! — воскликнула пастушка. — Старый дедушка разбился на куски, и мы всею виною! Ах, я не переживу этого!

И она заломила свои крошечные ручки.

— Его можно починить! — сказал трубочист. — Его отлично можно починить! Только не огорчайся! Ему приклеют спину, а в затылок забьют хорошую заклепку — он будет совсем как новый и успеет еще наделать нам много неприятностей.

— Ты думаешь? — спросила она.

И они опять вскарабкались на столик, где стояли прежде.

— Вот как далеко мы ушли! — сказал трубочист. — Стоило беспокоиться!

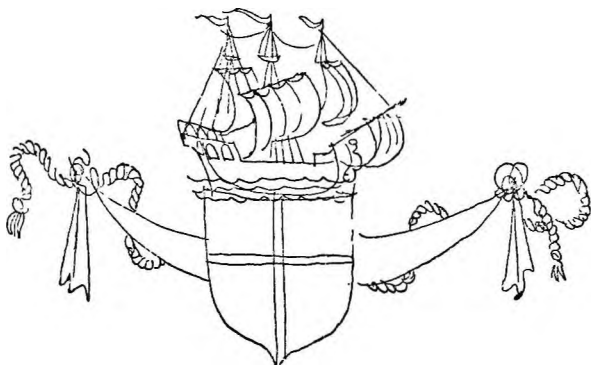
— Только бы дедушку починили! — сказала пастушка. — Или это очень дорого обойдется?

И дедушку починили: приклеили ему спину и забили хорошую заклепку в шею; он стал как новый, только кивать головой больше не мог.

— Вы что-то загордились с тех пор, как разбились! — сказал ему обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног. — А мне кажется, тут гордиться особенно нечем! Что же, отдадут ее за меня или нет?

Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца, — они так боялись, что он кивнет, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаться: не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка! Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.





## ХОЛЬГЕР ДАТЧАНИН



**Е**сть в Дании старинный замок Кронборг; лежит он на самом берегу Эресунда, и мимо него ежедневно проходят сотни кораблей: и английские, и русские, и прусские. Все они приветствуют старый замок пушечными выстрелами: бум! Из замка тоже отвечают: бум! Это пушки говорят: «Здравия желаем!» — «Спасибо!» Зимой корабли не ходят, море замерзает вплоть до самого шведского берега, и устанавливается настоящая дорога. На ней развеваются датские и шведские флаги, и шведы с датчанами тоже говорят друг другу: «Здравия желаем!» и «Спасибо!» — но уже не пушечными выстрелами, а просто дружески пожимая друг другу руки, и одни посылают на берег к другим за булками и кренделями, — чужая еда всегда ведь слаще! Но лучше всего здесь это все-таки старинный Кронборг. В его глубоком, мрачном подземелье, куда никто не заглядывает, сидит Хольгер Датчанин. Он весь закован в железо и сталь и подпирает голову могучими руками. Длинная борода его крепко приросла к мраморной доске



стола. Он спит и видит во сне все, что делается в Дании. Каждый сочельник является к нему ангел господень и говорит, что все виденное им во сне — правда и что он еще может пока спать спокойно: Дании не угрожает никакая серьезная опасность. А настань эта грозная минута — старый Хольгер Датчанин воспрянет, и мраморная доска стола треснет, когда он потянет свою бороду. Он выйдет на волю и так ударит мечом, что гром раздастся по всему свету.

Так рассказывал старый дед своему маленькому внуку, и мальчик знал, что все это правда, — рассказывал ведь это дедушка. Старик же, рассказывая, вырезывал из дерева большую фигуру самого Хольгера Датчанина. Старый дед занимался вырезыванием фигур для украшения кораблей соответственно их названиям. Теперь вот он вырезал Хольгера Датчанина; герой с длинной седой бородой стоял прямо и гордо, держа в одной руке меч, а другою опираясь на датский герб. Много еще рассказал старый дед о других замечательных мужах и женах Дании, и под конец внуку стало казаться, будто и он знает теперь не меньше самого Хольгера Датчанина, кото-



рый ведь видел все это только во сне. Головка мальчика была переполнена всеми этими рассказами, и, улегшись в постель, он крепко прижал свой подбородок к подушке, вообразив, что это у него борода, которая крепко приросла к постели.

А старый дед все еще сидел за своею работой, вырезывая последнюю часть фигуры — датский герб. Наконец работа была кончена, он взглянул на нее и стал припоминать все, что когда-то читал, слышал и сейчас сам рассказывал внуку; потом тряхнул головой, снял и протер очки, опять надел их и промолвил:

— Да, в наши дни Хольгер Датчанин, пожалуй, и не придет, но мальчуган, может быть, увидит его и будет биться с ним рядом, когда дело дойдет до серьезного!

Тут дедушка опять кивнул головой, не сводя глаз с фигуры; чем больше он смотрел на своего Хольгера Датчанина, тем яснее видел, что работа ему очень удалась. Ему стало даже казаться, что фигура вдруг покрылась красками, броня заблестела, сердца на датском гербе стали больше и заалели и львы с золотыми коронами на головах запрыгали.

— Все-таки у нас, у датчан, лучший герб в мире! — сказал старик. — Львы — эмблема силы, а сердца — кротости и любви.

Он взглянул на верхнего льва, и ему вспомнился король Кнут Великий, который приковал к датскому трону великую Англию; взглянул на другого — вспомнился Вальдемар, который объединил Данию и покорил вендов; взглянул на третьего — вспомнилась Маргарита, объединившая Данию, Швецию и Норвегию. И алые сердца на гербе вдруг стали еще ярче, каждое обратилось под конец в колышущееся пламя, и мысли старика понеслись вслед за полыхавшим пламенем.

Первое пламя привело его в узкую, мрачную темницу, где сидела прекрасная пленница, дочь Христиана Четвертого, Элеонора Ульфельдт;<sup>1</sup> пламя расцвело на ее груди

<sup>1</sup> Элеонора, любимая дочь короля Христиана IV (1577—1648), была замужем за одним из первых сановников государства — Корфицем Ульфельдтом. В царствование брата Элеоноры, Фредерика III, Корфиц был обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни, но успел бежать за границу. За это пришлось поплатиться его жене: ее заключили в темницу, где она и провела 22 года, пока наконец не умерла ненавидевшая ее невестка, супруга короля, София Амалия.

розой и слилось с сердцем этой лучшей, благороднейшей между датскими женами.

— Да, это живое, благородное сердце из датского герба! — проговорил старик.

И его мысли понесли за пламенем второго сердца. Оно привело его к морю. Пушки палили, корабли исчезали в облаках дыма, и пламя обвилось, как орденскою лентой, грудь адмирала Витфельда,<sup>1</sup> который, ради спасения датского флота, взорвал себя и свой корабль.

Третье пламя привело его к жалким хижинам Гренландии. Там проповедовал любовь и словом и делом миссионер Ганг Эгедс; пламя превратилось в звезду на его груди, в сердце на датском гербе.

И мысли старика опередили четвертое пламя, — он знал, куда оно приведет. В жалкой хижине бедной крестьянки стоял Фредерик Шестой и чертил мелом на балке свое имя; пламя заколебалось на его груди, слилось с его сердцем. В крестьянской хижине его сердце стало одним из сердец датского герба. И старый дед отер глаза: он лично знал этого доброго короля Фредерика, с серебристыми седыми волосами и честными голубыми глазами, и служил ему. Старик скрестил руки и задумался, молча глядя перед собою. Тут подошла к нему невестка и сказала, что уже поздно, — пора ему отдохнуть, да и ужин на столе.

— Но как хорошо у тебя получилось, дедушка! — сказала она. — Хольгер Датчанин и весь наш герб! Право, я как будто где-то видала это лицо!

— Нет, ты-то не видала! — ответил старый дед. — А вот я так видел, по памяти и вырезал его. Это было, когда англичане стояли у нас на рейде, второго апреля тысяча восемьсот первого года, и когда мы все опять почувствовали себя прежними молодцами датчанами! Я был на корабле «Дания», в эскадре Стейна Билля, и рядом со мною стоял матрос. Право, ядра словно боялись его! Он весело распевал старинные песни, без усталости заряжал оружие и стрелял. Нет, что там ни говори, это был не простой смертный! Я еще вижу перед собою его лицо, но откуда он был, куда девался потом — никто не знал. Мне часто

---

<sup>1</sup> Витфельд Ивер (1665—1710) — капитан корабля «Даннеброг», погиб в сражении со шведским флотом.

приходило в голову, что это был сам старик Хольгер Датчанин, который приплыл к нам из Кронборга и помог в час опасности. Вот я и вырезал его изображение.

Фигура бросала огромную тень на стены и даже на потолок; казалось, что за нею стоял живой Хольгер Датчанин, — тень шевелилась, но это могло быть и оттого, что свеча горела не совсем ровно. Невестка поцеловала старика и повела его к большому креслу; старик сел за стол, сели и невестка с мужем — сыном старика и отцом мальчугана, который был уже в постели. Дед и за ужинам говорил о датских львах и сердцах, о силе и кротости, объясняя, что есть и другая сила, кроме той, что опирается на меч. При этом он указал на полку, где лежали старые книги, между прочим все комедии Хольберга<sup>1</sup>. Как видно, ими тут зачитывались; они ведь такие забавные, а выведенные в них лица и типы давней старины кажутся живыми и до сих пор.

— Вот он тоже умел наносить удары! — сказал дедушка. — Он старался обрубить все уродливости и угловатости людские. — Затем старик кивнул на зеркало, за которым был заткнут календарь с изображением Круглой башни, и сказал: — Тихо Браге тоже владел мечом, но он употреблял его не для того, чтобы проливать кровь, а чтобы проложить верную дорогу к звездам небесным!.. А Торвальдсен, сын такого же простого резчика, как я; Торвальдсен, которого мы видели сами, седой, широкоплечий старец, чье имя известно всему свету! Вот он владел резцом; умел рубить, а я только строгаю! Да, Хольгер Датчанин является в различных видах, и слава Дании гремит по всему свету! Выпьем же за здоровье Бертеля Торвальдсена!

А мальчуган в это время так ясно видел во сне старинный Кронборг, подземелье и самого Хольгера Датчанина, сидящего с приросшею к столу бородою. Он спит и видит во сне все, что совершается в Дании, видит и то, что делается в бедной комнатке резчика, слышит все, что там говорится, и кивает во сне головой:

— Да, только помните обо мне, датчане! Только помните обо мне! Я явлюсь в час опасности!

---

<sup>1</sup> Хольберг Людвиг (1684—1754) — датский писатель.

А над Кронборгом сияет ясный день; ветер доносит с соседней земли звуки охотничьих рогов; мимо плывут корабли и здороваются: бум! бум! И из Кронборга отвечают: бум! бум! Но Хольгер Датчанин не просыпается, как громко ни палат пушки, — это ведь только «Здравия желаем!» и «Спасибо!» Не такая должна пойти пальба, чтобы разбудить его, но тогда уж он пробудится непременно, — Хольгер Датчанин еще силен!





## СТАРЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ



**С**лышали вы сказку про старый уличный фонарь? Она не бог весть как интересна, но все-таки прослушать ее стоит.

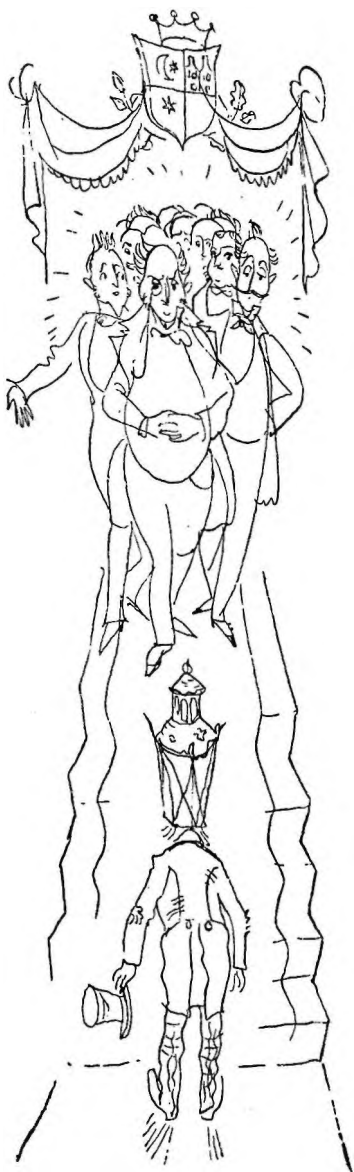
Так вот, жил-был один почтенный старый уличный фонарь; он честно служил много лет, но наконец его решили уволить. Фонарю стало известно, что он последний вечер висит на столбе и освещает улицу, и чувства его можно было сравнить с чувством увядшей балерины, которая танцует в последний раз и знает, что завтра ее попросят сойти со сцены. Он с ужасом ждал завтрашнего дня: завтра ему предстояло явиться на смотр в ратушу и впервые представиться «тридцати шести отцам города», которые решат, годен ли он еще к службе, или нет.

Да, завтра должен был решиться вопрос: отправят ли его освещать какой-нибудь другой мост, ушлют ли в деревню или на фабрику, или же просто сдадут в переплавку. Фонарь могли переплавить во что угодно; но больше всего его угнетала неизвестность: он не знал, будет ли он помнить о том, что некогда был уличным фонарем, или

не будет? Так или иначе, он знал, что ему во всяком случае придется расстаться с ночным сторожем и его женой, которые стали ему близки, как родные. Оба они — фонарь и сторож — поступили на службу в один и тот же час. Жена сторожа очень гордилась должностью мужа и, проходя мимо фонаря, достаивала его взглядом только по вечерам, а днем — никогда. Но в последние годы, когда они все трое — и сторож, и жена его, и фонарь — уже состарились, она тоже стала ухаживать за фонарем, чистить лампу и наливать в нее ворвань. Честные люди были эти старики, ни разу не обделили фонарь ни на капельку!

Итак, фонарь освещал улицу последний вечер, а завтра должен был отправиться в ратушу. Эти грустные мысли не давали ему покоя; не мудрено, что он и горел плохо. Порой у него мелькали и другие мысли — он многое видел, на многое пришлось ему пролить свет; в этом отношении он стоял, пожалуй, выше, чем «тридцать шесть отцов города»! Но он молчал и об этом: почтенный старый фонарь не хотел обижать никого, а тем более свое начальство. Фонарь многое видел и запомнил, и время от времени пламя его трепетало, словно в нем шевелились такие мысли: «Да, и обо мне кое-кто вспомнит! Вот хоть бы тот красавец юноша... Много лет прошло с тех пор. Он подошел ко мне с исписанным листком бумаги, тонкой-претонкой, с золотым обрезом. Письмо было написано женской рукой и так красиво! Он прочел его два раза, поцеловал и поднял на меня сияющие глаза. «Я счастливейший человек в мире!» — говорили они. Да, только он да я знали, что написала в этом первом письме его возлюбленная. Помню я и другие глаза... Удивительно, как перескакивают мысли! По нашей улице двигалась пышная похоронная процессия; на катафалке, обитом бархатом, везли в гробу тело молодой, прекрасной женщины. Сколько было цветов и венков! Горело такое множество факелов, что они совсем затмили мой свет. Тротуар был заполнен народом — это люди шли за гробом. Но когда факелы скрылись из виду, я огляделся и увидел человека, который стоял у моего столба и плакал. Никогда я не забуду взгляда его скорбных глаз, смотревших на меня».

И много еще о чем вспоминал старый уличный фонарь в этот последний вечер. Часовой, сменяющийся с поста, тот хоть знает своего преемника и может перекинуться с ним двумя словами; а фонарю не с кем было поделиться



своим опытом — рассказать о дожде и снеге, о том, как месяц освещает тротуар и с какой стороны обычно дует ветер.

На мостике, перекинутом через водосточную канаву, находились в это время три кандидата на освобождающуюся должность, которые думали, что выбор преемника зависит от самого фонаря. Одним из этих кандидатов была селедочная головка, светящаяся в темноте; она полагала, что ее появление на фонарном столбе значительно сократит расход ворвани. Вторым была гнилушка, которая тоже светила и, по ее словам, даже ярче, чем вяленая треска; к тому же она считала себя последним остатком дерева, которое некогда было красой всего леса. Третьим кандидатом был светлячок; откуда он взялся — фонарь никак не мог догадаться, но светлячок был тут и тоже светился, хотя гнилушка и селедочная головка клялись в один голос, что он светит только временами, а потому его и не следует принимать во внимание.

Старый фонарь возразил им, что ни один из кандидатов не светит настолько ярко, чтобы занять его место, но ему, конечно, не поверили. Узнав же, что назначение на должность зависит вовсе не от фонаря, все трое выразили живейшее удовольствие, — он



ведь был слишком стар, чтобы сделать верный выбор.

В это время из-за угла подул ветер и шепнул в отдушину фонаря:

— Что я слышу! Ты уходишь завтра? Это последний вечер, что мы встречаемся с тобою здесь? Ну, так вот же тебе от меня подарок! Я проветрю твой череп, да так, что ты не только будешь ясно и точно помнить все, что когда-либо слышал и видел сам, но увидишь собственными глазами то, что будут рассказывать или читать при тебе другие, — вот какая у тебя будет свежая голова!

— Не знаю, как тебя благодарить, — сказал старый фонарь. — Только бы меня не переплавили!

— До этого еще далеко, — отвечал ветер. — Ну, сейчас я проветрю твою память. Если ты получишь много таких подарков, как мой, ты проведешь старость очень и очень приятно!

— Только бы меня не переплавили! — повторил фонарь. — Может быть, ты и в этом случае поручишься за мою память?

— Эх, старый фонарь, будь же благоразумен! — сказал ветер и подул.

В эту минуту выглянул месяц.

— А вы что подарите? — спросил его ветер.

— Ничего, — ответил месяц, — я ведь на ущербе, к тому же фонари никогда не светят за меня, — всегда я за них. — И месяц опять спрятался за тучи — он не хотел, чтобы ему надоедали.

Вдруг на железный колпачок фонаря капнула дождевая капля, казалось, она скатилась с крыши; но капля сказала, что упала из серого облака, и тоже — как подарок, пожалуй даже самый лучший.

— Я проточу тебя, и ты, когда пожелаешь, сможешь проржаветь и рассыпаться в прах за одну ночь!

Фонарю это показалось плохим подарком; ветру — тоже.

— Неужто никто не подарит ничего получше? — зашумел он изо всей мочи.

И в ту же минуту с неба скатилась звездочка, оставив за собой длинный светящийся след.

— Это что? — вскричала селечодная головка. — Как будто звезда с неба упала? И, кажется, прямо на фонарь! Ну, если этой должности домогаются столь высокопоставленные особы, нам остается только откланяться и убраться восвояси.

Так все трое и сделали. А старый фонарь вдруг вспыхнул как-то особенно ярко.

— Вот это чудесный подарок! — сказал он. — Я так всегда любовался дивным светом ясных звездочек. Ведь сам я не мог светить, как они, хоть это и было моим заветным желанием и стремлением, — и вот дивные звездочки заметили меня, бедный старый фонарь, и послали мне в подарок одну из своих сестриц. Они одарили меня способностью показывать тем, кого я люблю, все, что я помню и вижу сам. Это дает глубокое удовлетворение; а радость, которую не с кем разделить, — только полрадости!

— Отличная мысль, — сказал ветер. — Но ты не знаешь, что этот дар зависит от восковой свечки. Ты никому ничего не сможешь показать, если в тебе не будет гореть восковая свечка: вот о чем не подумали звезды. Они принимают и тебя, да и вообще все, что светит, за восковые свечки. Но теперь я устал, пора улечься! — добавил ветер и улегся.

На другой день... нет, через него мы лучше перескочим, — на следующий вечер фонарь лежал в кресле. Угадай где? В комнате старого ночного сторожа. Старик попросил у «тридцати шести отцов города» в награду за свою долгую верную службу... старый фонарь. Те посмеялись над его просьбой, но фонарь отдали; и вот фонарь преважно лежал теперь в кресле возле теплой печки и, право, точно вырос, так что занимал собою почти все кресло. Старички уже сидели за ужином и ласково поглядывали на старый фонарь: они охотно посадили бы его с собой за стол.

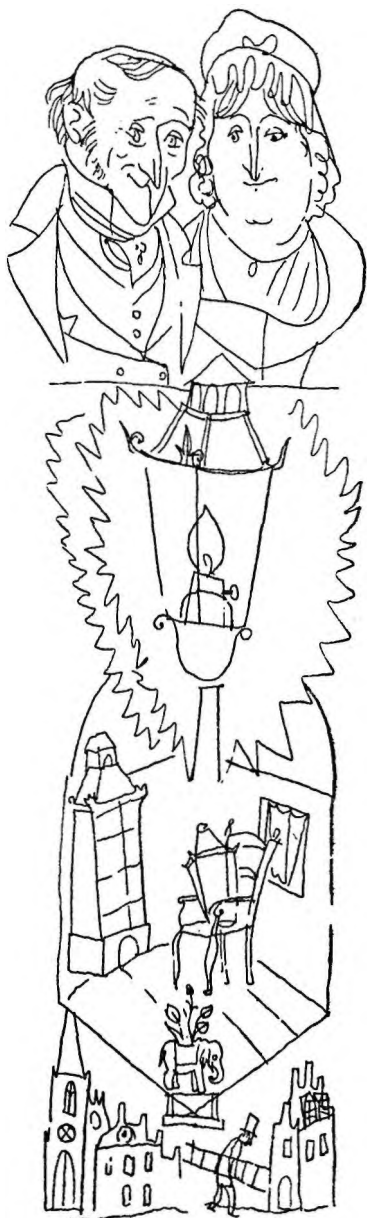
Правда, они жили в подвале, на несколько футов под землей, и, чтобы попасть в их каморку, надо было пройти через вымощенную кирпичами прихожую, — зато в самой каморке было чисто и уютно. Двери были обиты по краям полосками войлока, кровать пряталась за пологом, на окнах висели занавески, а на подоконниках стояли два диковинных цветочных горшка. Их привез матрос Христиан из Ост-Индии или Вест-Индии. Горшки были глиняные, в виде слонов без спины; вместо спины у них было углубление, набитое землей; в одном слоне рос чудеснейший лук-порей, а в другом — цветущая герань. Первый слон служил старичкам огородом, второй — цветником.

На стене висела большая картина в красках, изображавшая Венский конгресс, на котором присутствовали все цари и короли. Старинные часы с тяжелыми свинцовыми гирями тикали без умолку и вечно убегали вперед, — но это было лучше, чем если бы они отставали, говорили старички.

Итак, сейчас они ужинали, а старый уличный фонарь лежал, как мы знаем, в кресле возле теплой печки, и ему казалось, будто весь мир перевернулся вверх дном. Но вот старик сторож взглянул на него и стал припоминать все, что они пережили вместе в дождь и в непогоду, в ясные и короткие летние ночи и в снежные метели, когда так и тянет домой, в подвальчик; а фонарь пришел в себя и увидел все это, как наяву.

Да, ветер славно его проветрил!

Старички были работающие, трудолюбивые; ни один час не пропадал у них зря. По воскресеньям, после обеда, на столе появлялась какая-нибудь книжка, чаще всего описание путешествия, и старик читал вслух об Африке, об ее огромных лесах и диких слонах, которые бродят на воле. Старушка слушала и поглядывала на глиняных слонов, служивших цветочными горшками.



— Могу себе это представить! — приговаривала она.

А фонарь от души желал, чтобы в нем горела восковая свечка, — тогда старушка, как и он сам, воочию увидела бы все: и высокие деревья с переплетающимися густыми ветвями, и голых черных людей верхом на лошадях, и целые стада слонов, уминающих толстыми ногами тростник и кустарник.

— Что проку в моих способностях, если я нигде не вижу восковой свечки! — вздыхал фонарь. — У моих хозяев только и есть, что ворвань да сальные свечи, а этого недостаточно.

Но вот у старичков появилось много восковых огарков; длинные огарки сжигали, а короткими старушка вошила нитки, когда шила. Восковые свечки теперь у стариков были, но им и в голову не приходило вставить хоть один огарочек в фонарь.

— Ну вот, я и лежу тут зря со всеми своими редкими способностями, — сказал фонарь. — Внутри у меня целое богатство, а я не могу им поделиться! Ах, вы не знаете, что я могу превратить эти белые стены в роскошнейшую обивку, в густые леса, во все, чего вы пожелаете! Да и где вам знать это!

Фонарь, всегда вычищенный, лежал в углу, на самом видном месте. Люди, правда, называли его старым хламом, но старики не обращали на это внимания — они его любили.

Однажды, в день рождения старика, старушка подошла к фонарю, лукаво улынулась и сказала:

— Постой-ка, я сейчас устрою иллюминацию в честь своего старика!

Фонарь задремезжал от радости. «Наконец-то их осенило!» — подумал он. Но налили в него ворвань, а о восковой свечке не было и помину. Он горел весь вечер, но знал теперь, что дар звезд — самый лучший дар — так и не пригодится ему в этой жизни. И вот пригрезилось ему, — с такими способностями не мудрено и грезить, — будто старики умерли, а он попал в переплавку. Фонарю было так же страшно, как в тот раз, когда ему предстояло явиться на смотр в ратушу к «тридцати шести отцам города». Но хоть он и мог по своему желанию проржаветь и рассыпаться в прах, он этого не сделал, а попал в плавильную печь и превратился в чудесный железный подсвечник в виде ангела, который держал в одной руке букет. В этот



букет вставили восковую свечку, и подсвечник занял место на зеленом сукне письменного стола. Комната была очень уютна; все полки здесь были уставлены книгами, а стены увешаны великолепными картинами. Здесь жил поэт, и все, о чем он думал и писал, разворачивалось перед ним, как в панораме. Комната становилась то дремучим лесом, освещенным солнцем, то лугами, по которым расхаживал анст, то палубой корабля, плывущего по бурному морю...

— Ах, какие способности скрыты во мне! — воскликнул старый фонарь, очнувшись от грез. — Право, мне даже хочется попасть в переплавку! Впрочем, нет! Пока живы старички — не надо. Они любят меня таким, какой я есть, я им заменяю ребенка. Они чистили меня, питали ворванью, и мне здесь живется не хуже, чем знати на конгрессе. Чего же еще желать!

И с тех пор фонарь обрел душевное спокойствие, да старый, почтенный фонарь и заслуживал этого.





## СОСЕДИ



**П**раво, можно было подумать, будто в пруду что-то случилось, а на самом-то деле ровно ничего! Но все утки, как те, что преспокойно дремали на воде, так и те, что опрокидывались на головы, хвостами кверху — они ведь и это умеют — вдруг заспешили на берег; на влажной глине отпечатались следы их лапок, и вдали долго-долго еще слышалось их криканье. Вода тоже взволновалась, а всего за минуту перед тем она стояла недвижно, отражая в себе, как в зеркале, каждое деревцо, каждый кустик, старый крестьянский домик со слуховыми оконцами и ласточкиным гнездом, но самое главное — большой розовый куст в полном цвету, росший над водой у самой стены домика. Но все это стояло в воде вверх ногами, как перевернутая картина. Когда же вода взволновалась, одно набежало на другое, и вся картина пропала. На воде тихо колыхались два перышка, оброненных утками, и вдруг их словно погнало и закрутило ветром. Но ветра не было, и скоро они опять спокойно улеглись на воде. Сама вода тоже мало-помалу успокоилась, и в ней

опять ясно отразились домик с ласточкиным гнездом под крышей и розовый куст со всеми его розами. Они были чудо как хороши, но сами того не знали, — никто ведь не говорил им этого. Солнышко просвечивало сквозь их нежные ароматные лепестки, и на сердце у роз было так же хорошо, как бывает иногда в минуты тихого, счастливого раздумья у нас.

— Как хороша жизнь! — говорили розы. — Одного только хотелось бы нам еще — поцеловать теплое красное солнышко да вон те розы в воде! Они так похожи на нас! Хотелось бы, впрочем, расцеловать и тех миленьких нежных птенчиков в гнезде, вон там, внизу! Наверху, над нами, тоже сидят птенчики! Эти верхние высовывают из гнезда головки и попискивают! На них нет еще перышек, как у их отца с матерью. Да, славные у нас соседи и вверху и внизу. Ах, как хороша жизнь!

Верхние и нижние птенчики — нижние-то являлись только отражением верхних — были воробьи; мать и отец их — тоже. Они завладели прошлогодним ласточкиным гнездом и расположились в нем, как у себя дома.

— Это утиные дети плавают по воде? — спросили воробышки, увидав утиные перья.

— Не задавайте глупых вопросов! — отвечала воробья-мать. — Не видите разве, что это перья, живое платье, какое и я ношу, какое будет и у вас, — только наше-то потоньше! Хорошо бы, впрочем, заполучить эти перышки в гнездо — они славно греют!.. А хотелось бы мне знать, чего испугались утки? Что-нибудь да случилось там, под водой, — не меня же они испугались... Хотя, положим, я сказала вам «пип» довольно громко!.. Тупоголовые розы должны были бы знать это, но они никогда ничего не знают, только глядятся на себя в пруд да пахнут. Надоели мне эти соседки!

— Послушайте-ка этих милых верхних птенчиков! — сказали розы. — Они тоже начинают пробовать голос! Они еще не умеют, но скоро выучатся щебетать! Вот-то будет радость! Приятно иметь таких веселых соседей!

В это время к пруду подсакала пара лошадей; их надо было поить. На одной из них сидел верхом деревенский парнишка; он снимал с себя все, что было на нем надето, кроме черной широкополой шляпы. Парнишка свистал, как птица, и въехал с лошадьми в самое глубокое



место пруда. Проезжая мимо розового куста, он сорвал одну розу и заткнул за ленточку своей шляпы; теперь он вообразил себя страсть каким нарядным! Напив лошадей, парнишка уехал. Остальные розы глядели вслед уехавшей и спрашивали друг друга:

— Куда это она отправилась?

Но никто этого не знал.

— Хотелось бы и мне пуститься по белу свету! — говорили розы одна другой. — Но и тут у нас тоже прекрасно! Днем греет солнышко, а ночью небо светится еще ярче! Это видно сквозь маленькие дырочки на нем!

Дырочками они считали звезды — розы ведь могли и не знать, что такое звезды.

— Мы оживляем собою весь дом! — сказала воробьяха. — Кроме того, ласточкино гнездо приносит счастье, как говорят люди; поэтому они очень рады нам! Но вот такой розовый кустике возле самого дома только разводит сырость. Надеюсь, что его уберут отсюда, тогда на его месте может хоть вырасти что-нибудь полезное! Розы служат ведь только для вида да для запаха, много-много — для украшения шляпы! Я слыхала от моей матери, что они каждый год опадают, и тогда жена крестьянина собирает их и пересыпает солью, причем они получают уже какое-то французское имя, — я не могу его выговорить, да и не нуждаюсь в этом! Потом их кладут в горящие уголья, чтобы они хорошенько пахли. Вот и все; они годны только для услаждения глаз да носа. Так-то!

Настал вечер; в теплом воздухе заплясали комары и мошки, легкие облака окрасились пурпуром, и запел соловей. Песнь его неслась к розам, и в ней говорилось, что красота — солнечный луч, оживляющий весь мир! Но розы думали, что соловей воспевает самого себя, — и почему бы им не думать этого? Им ведь и в голову не приходило, что песня могла относиться к ним. Они только простодушно радовались ей и думали: «А не могут ли и все воробьишки стать соловьями?»

— Мы отлично понимаем, что поет эта птица! — сказали воробьишки. — Только вот одно слово непонятно. Что такое «красота»?

— Так, пустое! Только для вида! — отвечала мать. — Там, в барской усадьбе, где у голубей свой дом и где их каждый день угощают горохом и зернами, — я, кстати, едала с ними и вы тоже будете: скажи мне, с кем ты во-

дишься, и я скажу тебе, кто ты сам, — так вот, там, во дворе, есть две птицы с зелеными шеями и с хохолком на голове. Хвост у них может раскрываться, и как раскроется — ну, что твое колесо, да еще весь переливается разными красками, просто глазам невтерпеж. Зовут этих птиц павлинами, и вот это-то и есть красота. Пообщипать бы их немножко, так выглядели бы не лучше нас! Ух! Я бы их заклевала, не будь только они такие огромные!

— Я их заклюю! — сказал самый маленький, совсем еще голенький воробышек.

В домике жила молодая чета — муж с женою. Они очень любили друг друга, оба были такие бодрые, работающие, и в домике у них было премило и прееютно. Каждое воскресное утро молодая женщина набирала целый букет прекраснейших роз и ставила его в стакане с водою на большой деревянный сундук.

— Вот я и вижу, что сегодня воскресенье! — говорил муж, целовал свою миленькую жену, потом оба усаживались рядышком и, держа друг друга за руки, читали вместе утренний псалом. Солнышко светило в окошко на свежие розы и на молодую чету.

— Тошно и глядеть-то на них! — сказала воробыха, заглянув из гнезда в комнату, и улетела.

То же повторилось и в следующее воскресенье, — свежие розы ведь появлялись в стакане каждое воскресное утро: розовый куст цвел все так же пышно. Воробышкам, которые уже успели опериться, тоже хотелось бы полететь с матерью, но воробыха сказала им:

— Сидите дома! — И они остались сидеть.

А она летела, летела да как-то и попала лапкой в силочек из конского волоса, который прикрепили к ветке мальчишки-птицеловы. Петля так и впиалась воробыхе в ножку, словно хотела перерезать ее. Вот была боль! А страх-то! Мальчишки подскочили и грубо схватили птицу.

— Простой воробей! — сказали они, но все-таки не выпустили птицу, а понесли ее к себе во двор, угощая по носу щелчками всякий раз, как она попискивала.

На дворе у них стоял в это время старичок, который занимался варкой мыла для бороды и для рук, в шариках и в кусках. Старичок был такой веселый, вечно переходил с места на место, нигде не жил подолгу. Он увидел у мальчишек птицу и услышал, что они собирались выпустить ее на волю — на что им был простой воробей!

— Пойдите! — сказал он. — Мы с ней кое-что сделаем. Вот будет красота!

Услышав это, воробиха задрожала всем телом, а старичок вынул из своего ящика, где хранились чудеснейшие краски, целую пачку сусального золота в листочках, велел мальчишкам принести ему яйцо, смазал белком всю птицу и потом обклеил ее золотом. Воробиха стала вся золотая, но она и не думала о своем великолепии, а дрожала всем телом. Старичок между тем оторвал от красной подкладки своей старой куртки лоскуток, вырезал его зубчиками, как петуший гребешок, и приклеил птице на голову...

— Поглядим теперь, как полетит золотая птичка! — сказал старичок и выпустил воробиху, которая в ужасе понеслась прочь. Вот блеск-то был! Все птицы переполошились — и воробьи и даже ворона, да не какой-нибудь годовалый птенец, а большая! Все они пустились вслед за воробихой, желая узнать, что это за важная птица.

— Прраво, диво! Прраво, диво! — каркала ворона.

— Подожди! Подожди! — чирикали воробьи.

Но она не хотела ждать; в ужасе летела она домой, но силы все более и более изменяли ей; она ежeminутно готова была упасть на землю, а птичья стая все росла да росла. Тут были и большие и малые птицы; некоторые подлетали к ней вплотную, чтобы клюнуть ее.

— Ишь ты! Ишь ты! — щебетали и чирикали они.

— Ишь ты! Ишь ты! — зачирикали и птенцы, когда она подлетела к своему гнезду. — Это, верно, павлин! Ишь, какой разноцветный! Глазам невтерпеж, как говорила мать. Пип! Вот она, красота!

И они все принялись клевать ее своими носиками, так что ей никак нельзя было попасть в гнездо, а от ужаса она не могла даже «пип» сказать, не то что — «я ваша мать!» Остальные птицы тоже принялись клевать воробиху и повыщипали из нее все перья. Обливаясь кровью, упала она в самую середину розового куста.

— Бедная пташка! — сказали розы. — Мы укроем тебя! Склони к нам свою голову!

Воробиха еще раз распустила крылья, потом плотно прижала их к телу и умерла у своих соседок, свежих, прекрасных роз.

— Пип! — сказали воробышки. — Куда же это девалась мамаша? Или она нарочно выкинула такую штуку? Верно, пора нам жить своим умом! Гнездо она оставила

нам в наследство, но владеть им надо кому-нибудь одному! Ведь у каждого из нас будет своя семья! Кому же?

— Да уж, вам здесь не место будет, когда я обзаведусь женой и детьми! — сказал самый младший.

— У меня побольше твоего будет и жен и детей! — сказал другой.

— А я старше вас всех! — сказала третья.

Воробышки поссорились, хлопали крылышками, клевали друг друга и — бух! — попадали из гнезда один за другим. Но и лежа на земле врястяжку, они не переставали злиться, кривили головки набок и мигали глазом, обращенным кверху. У них была своя манера дуться.

Летать они кое-как уже умели, поупражнялись еще немножко и порешили расстаться, а чтобы узнавать друг друга при встречах, уговорились шаркать три раза левою ножкой и говорить «пип».

Младший, который завладел гнездом, постарался расстаться в нем как можно пошире; теперь он был тут полным хозяином, только недолго. Ночью из окон домика показалась пламя и охватило крышу; сухая солома вспыхнула, дом сгорел, а с ним и воробей; молодые же супруги счастливо спаслись.

Наутро взошло солнышко; вся природа смотрела такою освеженною, словно подкрепившеюся за ночь здоровым сном, но на месте домика торчали только обгорелые балки, опиравшиеся на дымовую кирпичную трубу, которая теперь была сама себе госпожою. Развалины еще сильно дымились, а розовый куст стоял все такой же свежий, цветущий; каждая веточка, каждая роза отражались в тихой воде пруда, как в зеркале.

— Ах, что за прелесть! Эти розы — и рядом обгоревшие развалины строения! — сказал какой-то прохожий. — Прелестнейшая картинка! Надо ею воспользоваться!

И он вынул из кармана книжку с чистыми, белыми страницами и карандаш — это был художник. Живо набросал он карандашом дымившиеся развалины, обгорелые балки, покрывившуюся трубу — она кривилась все больше и больше — и на самом первом плане цветущий розовый куст. Куст в самом деле был прекрасен, и ради него-то и нарисовали всю картину.

Днем пролетали мимо два воробья, родившихся здесь.

— Где же дом-то? — сказали они. — Где гнездо? Пип! Все сгорело, и наш братец тоже сгорел! Это ему за то, что

он забрал себе гнездо! А розы таки уцелели! По-прежнему выставляют свои красные щеки! Небось не горюют о несчастье соседей! Несносные! И говорить-то с ними не хочется! Да и вообще здесь стало прескверно! Одно безобразие!

И они улетели.

Раз осенью выдался чудесный солнечный денек, — право, можно было подумать, что стоит лето. На дворе перед высоким крыльцом барской усадьбы было так сухо и чисто; тут расхаживали голуби — и черные, и белые, и сизые; перья их так и блестели на солнышке; старые голубки-мамаши топорщили перышки и говорили молоденьким голубкам:

— В группы! В группы!

Так ведь было красивее и виднее.

— Кто эти серенькие крошки, что шмыгают у нас под ногами? — спросила старая голубка с зеленовато-красными глазками. — Серые крошки! Серые крошки!

— Это воробушки! Славные птички! А мы ведь всегда славилась своею кротостью — пусть же они поклюют с нами! Они не вмешиваются в разговор и так мило шаркают лапкой.

Воробьи в самом деле шаркали; каждый из них шаркнул три раза левою лапкой и сказал «пип». Поэтому все сейчас же узнали друг друга, — это были три воробья из сгоревшего дома.

— Славно тут едят! — сказали воробьи.

А голуби увивались вокруг голубок, самодовольно топорщили перышки, выпячивали зобы, судили и рядили.

— Смотрите, глядите вон на ту зобастую голубку! Глядите, как она глотает горох! Ишь, все хватает самые крупные, самые лучшие горошины! Курр! Курр! Глядите, как она выпячивает зоб! Глядите на эту милую злюку! Курр! Курр! — И глаза у них налились от злости кровью. — В группы! В группы! Серые крошки! Серые крошки! Курр! Курр! — так это у них шло, идет и будет идти тыщи лет.

Воробьи кушали и слушали и тоже становились было в группы, но это им совсем не подходило. Насытившись, они ушли от голубей и стали перемывать им косточки, потом шмыгнули под решетку прямо в сад. Дверь в комнату, выходившую в сад, была отворена, и один из

воробьев вспрыгнул на порог, — он плотно поел и потому набрался храбрости.

— Пип! — сказал он. — Какой я смелый!

— Пип! — сказал другой. — Я посмелее тебя!

И он прыгнул за порог. Там никого не было, это от-лично заметил третий воробышек и залетел на самую се-редину комнаты, говоря:

— Войти, так уж войти, или вовсе не входить! Преза-бавное тут, однако, человечье гнездо! А это что здесь поставлено? Да, что же это такое?

Как раз перед воробьями цвели розы, отражаясь в про-зрачной воде, а рядом торчали обгорелые балки, опирав-шиеся на готовую упасть дымовую трубу.

— Да что же это? Как попало все это в барскую усадьбу?

И все три воробья захотели перелететь через розы и трубу, но ударились прямо об стену. И розы, и труба были только нарисованные, а не настоящие: художник на-писал по сделанному им маленькому наброску целую кар-тину.

— Пип! — сказали воробьи друг другу. — Это так, пустое! Только для вида! Пип! Вот она, красота! Пони-маете вы в этом хоть что-нибудь? Я — ровно ничего!

Тут в комнату вошли люди, и воробьи улетели.

Шли дни и годы, голуби продолжали ворковать, чтобы не сказать ворчать, — злющие птицы! Воробьи мерзли и голодали зимой, а летом жили вовсю. Все они обзавелись семьями, или поженились, или как там еще назвать это! У них были уже птенцы, и каждый птенец, разумеется, был прекраснее и умнее всех птенцов на свете. Они все разлетелись в разные стороны, а если встречались, то узнавали друг друга по троекратному шарканью левой лапкой и по особому приветствию «пип». Самую старшую из воробьев, родившихся в ласточкином гнезде, была воробыха; она осталась в девицах, и у нее не было ни сво-его гнезда, ни птенцов. Ей вздумалось отправиться в какой-нибудь большой город, и вот она полетела в Копенгаген.

Близ королевского дворца, на самом берегу канала, где стояли лодки с яблоками и глиняною посудой, уви-дала она большой разноцветный дом. Окна, широкие внизу, суживались кверху. Воробыха посмотрела в одно, посмотрела в другое, и ей показалось, что она заглянула в чашечки тюльпанов: все стены так и пестрели разными

рисунками и завитушками, а в середине каждого тюльпана стояли белые люди — одни из мрамора, другие из гипса, но для воробьяхи что мрамор, что гипс — все было едино. На крыше здания стояла бронзовая колесница с бронзовыми же конями, которыми правила богиня победы. Это был музей Торвальдсена.

— Блеску-то, блеску-то! — сказала воробьяха. — Это, верно, красота! Пип! Но тут что-то побольше павлина!

Она еще помнила объяснение величайшей красоты, которое слышала в детстве от матери. Затем она слетела вниз, во двор. Там тоже было чудесно. На стенах были нарисованы пальмы и разные ветви, а посреди двора стоял большой цветущий розовый куст. Он склонял свои свежие ветви, усыпанные розами, к могильной плите. Воробьяха подлетела к ней, увидав там еще нескольких воробьев. Пип! И она три раза шаркнула левою лапкой. Этим приветствием воробьяха встречала из года в год всех воробьев, но никто не понимал его — расставшиеся не встречаются ведь каждый день, — и теперь она повторила его просто по привычке. Глядь, два старых воробья и один молоденький тоже шаркнули три раза левою лапкой и сказали «пип».

— А, здравствуйте! Здравствуйте!

Оказалось, что это были два старых воробья из ласточкиного гнезда и один молодой отпрыск семейства.

— Так вот где мы встретились! — сказали они. — Тут знаменитое место, только пожить нечем! Вот она, красота-то! Пип!

Из боковых комнат, где стояли великолепные статуи, вышло во двор много народу; все подошли к каменной плите, под корою покоился великий мастер, изваявший все эти мраморные статуи, и долго-долго стояли возле нее, молча, с задумчивым, но светлым выражением на лицах. Некоторые собирали опавшие розовые лепестки и прятали их на память. Среди посетителей были и прибывшие издалека — из великой Англии, из Германии, из Франции. Самая красивая из дам взяла одну розу и спрятала ее у себя на груди. Видя все это, воробьи подумали, что розы царствуют здесь и что все здание построено, собственно, для них. По мнению воробьев, это было уж слишком большою честью для роз, но так как все люди ухаживали за ними, то и воробьи не захотели отстать.

— Пип! — сказали они и принялись мести пол хвостами и коситься на розы одним глазом. Недолго они смотрели, живо признали своих старых соседок. Это были ведь они самые. Художник, срисовавший розовый куст и обгорелые развалины дома, выпросил затем у хозяев позволение выкопать куст и подарил его строителю музея. На свете не могло быть ничего прекраснее этих роз, и строитель посадил весь куст на могиле Торвальдсена. Теперь он цвел над ней, как живое воплощение красоты, и отдавал свои розовые душистые лепестки на память людям, являвшимся сюда из далеких стран.

— Вас определили на должность здесь, в городе? — спросили воробьи.

И розы кивнули им; они тоже узнали серых соседей и очень обрадовались встрече с ними.

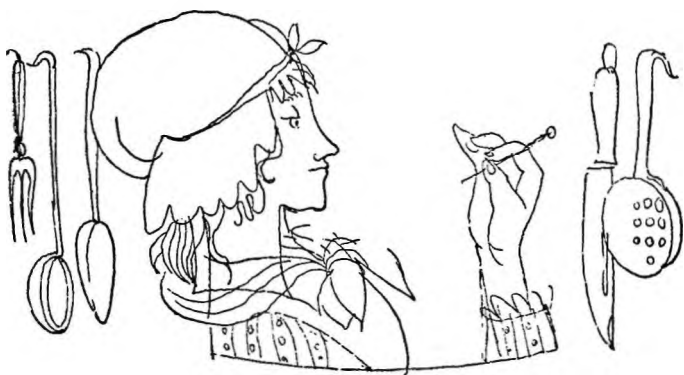
— Как хороша жизнь! — сказали они. — Жить, цвести, встречаться со старыми друзьями, ежедневно видеть вокруг себя милые, радостные лица!.. Тут каждый день точно великий праздник!

— Пип! — сказали воробьи один другому. — Да, это наши старые соседки! Мы помним их происхождение. Как же! Прямо от пруда да сюда! Пип! Ишь, в какую честь попали! Право, счастье приходит к иным во сне! И что хорошего в таких красных кляксах? Понять нельзя!.. А вон торчит увядший лепесток! Вижу! Вижу!

И каждый принялся клевать его; лепесток упал, но куст стоял все такой же свежий и зеленый; розы благоухали на солнышке над могилой Торвальдсена и склонялись к самой плите, как бы венчая его бессмертное имя.







## ШТОПАЛЬНАЯ ИГЛА



**Ж**ила-была штопальная игла; она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка.

— Смотрите, смотрите, что вы держите! — сказала она пальцам, когда они вынимали ее. — Не уроните меня! Упаду на пол — чего доброго, затеряюсь: я слишком тонка!

— Будто уж! — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.

— Вот видите, я иду с целой свитой! — сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю, — кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.

— Фу, какая черная работа! — сказала штопальная игла. — Я не выдержу! Я ломаюсь!

И вправду сломалась.

— Ну вот, я же говорила, — сказала она. — Я слишком тонка!

«Теперь она никуда не годится», — подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее: кухарка на-капала на сломанный конец иглы сургуч и потом зако-лола ею косынку.

— Вот теперь я — брошка! — сказала штопальная игла. — Я знала, что буду в чести: в ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное.

И она засмеялась про себя, — ведь никто не видал, чтобы штопальные иглы смеялись громко, — она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.

— Позвольте спросить, вы из золота? — обратилась она к соседке-булавке. — Вы очень милы, и у вас собственная головка... Только маленькая! Постарайтесь ее отра-стить, — не всякому ведь достается сургучная головка!

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помои.

— Отправляюсь в плаванье! — сказала штопальная игла. — Только бы мне не затеряться!

Но она затерялась.

— Я слишком тонка, я не создана для этого мира! — сказала она, лежа в уличной канаве. — Но я знаю себе цену, а это всегда приятно.

И штопальная игла тянулась в струнку, не теряя хо-рошего расположения духа.

Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соло-минки, клочки газетной бумаги...

— Ишь, как плывут! — говорила штопальная игла. — они и понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. — Это я тут скрываюсь! Я тут сижу! Вон плывет щепка: у нее только и мыслей, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется! Вот соломинка несется... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень! А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся!.. Я лежу тихо, смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!

Раз возле нее что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:

— Вы, должно быть, бриллиант?

— Да, нечто в этом роде.

И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света.

— Да, я жила в коробке у одной девицы, — рассказывала штопальная игла. — Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь занятие у них было только одно — вынимать меня и класть обратно в коробку!

— А они блестели? — спросил бутылочный осколок.

— Блестели? — отвечала штопальная игла. — Нет, блеску в них не было, зато сколько высокомерия!.. Их было пять братьев, все — уроденные «пальцы»; они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний — Толстяк, — впрочем, отстоял от других, он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй — Лакомка — тыкал свой нос всюду: и в сладкое и в кислое, тыкал и в солнце и в луну; он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий — Долговязый — смотрел на всех свысока. Четвертый — Златоперст — носил вокруг пояса золотое кольцо и, наконец, самый маленький — Пер-музыкант — ничего не делал и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться, и вот — я бросилась в раковину.

— А теперь мы сидим и блестим! — сказал бутылочный осколок.

В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.

— Он продвинулся! — вздохнула штопальная игла. — А я осталась лежать! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!

И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум.

— Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча, — так я тонка! Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой! Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти! Не лопни тогда мой глазок<sup>1</sup>, я бы, кажется, заплакала! Впрочем, нет, плакать неприлично!

---

<sup>1</sup> Игольное ушко по-датски называется игольным глазком.

Однажды пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие!

— Ай! — закричал вдруг один из них; он укололся о штопальную иглу. — Смотри, какая штука!

— Я не штука, а барышня! — заявила штопальная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела, но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

— Вон плывет яичная скорлупа! — закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу.

— Черное на белом фоне очень красиво! — сказала штопальная игла. — Теперь меня хорошо видно! Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу: я такая хрупкая!

Но она не поддалась морской болезни — выдержала.

— Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда надо помнить, что ты не то что простые смертные! Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести!

— Крак! — сказала яичная скорлупа: ее переехала ломовая телега.

— Ух, как давит! — завопила штопальная игла. — Сейчас меня стошнит! Не выдержу! Сломаюсь!

Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину, — ну и пусть себе лежит!





## МАЛЕНЬКИЙ ТУК



**А**а, так вот, жил-был маленький Тук. Звали-то его, собственно, не Туком, но так он прозвал себя сам, когда еще не умел хорошенько говорить: «Тук» должно было обозначать на его языке «Карл», и хорошо, если кто знал это! Туку приходилось нянчить свою сестренку Густаву, которая была гораздо меньше его, и в то же время учить уроки, а эти два дела никак не ладились зараз. Бедный мальчик держал сестрицу на коленях и пел ей одну песенку за другою, заглядывая в то же время в лежавший перед ним учебник географии. К завтрашнему дню задано было выучить наизусть все города в Зеландии и знать о них все, что только можно знать.

Наконец вернулась его мать, которая уходила куда-то по делу, и взяла Густаву. Тук — живо к окну да за книгу, и читал, читал чуть не до слепоты: в комнате становилось темно, а матери не на что было купить свечку.

— Вон идет старая прачка из переулка! — сказала мать, поглядев в окно. — Она и сама-то еле двигается,

а тут еще приходится нести ведро с водой. Будь умником, Тук, выбеги да помоги старушке!

Тук сейчас же выбежал и помог, но, когда вернулся в комнату, было уже совсем темно; о свечке нечего было и толковать. Пришлось ему ложиться спать. Постелью Туку служила старая деревянная скамья со спинкой и с ящиком под сиденьем. Он лег, но все не переставал думать о своем уроке: о городах Зеландии и обо всем, что рассказывал о них учитель. Следовало бы ему прочесть урок, да было уже поздно, и мальчик сунул книгу себе под подушку: он слышал, что это отличное средство для того, чтобы запомнить урок, но особенно-то полагаться на него, конечно, нельзя.

И вот Тук лежал в постели и все думал, думал. Вдруг кто-то поцеловал его в глаза и в губы — он в это время и спал и как будто бы не спал — и он увидал перед собою старушку прачку. Она ласково поглядела на него и сказала:

— Грешно было бы, если бы ты не знал завтра своего урока. Ты помог мне, теперь и я помогу тебе. Господь же не оставит тебя своею помощью никогда!

В ту же минуту страницы книжки, что лежала под головой Тука, зашелестели и стали перевертываться. Затем раздалось:

— Кок-кок-кудак!

Это была курица, да еще из города Кёге!<sup>1</sup>

— Я курица из Кёге! — И она сказала Туку, сколько в Кёге жителей, а потом рассказала про битву, которая тут происходила, — это было даже лишнее: Тук и без того знал об этом.

— Крибле, крабле, бумс! — и что-то свалилось; это упал на постель деревянный попугай, служивший мишенью в обществе стрелков города Престё. Птица сказала мальчику, что в этом городе столько же жителей, сколько у нее рубцов на теле, и похвалилась, что Торвальдсен был одно время ее соседом<sup>2</sup>. — Бумс! Я славлюсь чудеснейшим местоположением!

<sup>1</sup> Кёге — небольшой городок у залива того же имени. У датчан существует шутовское выражение «показать курицу из Кёге», то есть приподнять любопытного, пожелавшего увидеть ее, от полу за уши (русское выражение — «показать Москву»),

<sup>2</sup> Близ Престё, незначительного датского городка, находилось имение барона Стампе, в котором Торвальдсен подолгу гостил и работал во время пребывания своего на родине.

Но маленький Тук уже не лежал в постели, а вдруг очутился верхом на лошади и поскакал в галоп. Он сидел позади разодетого рыцаря в блестящем шлеме, с развевающимся султаном. Они проехали лес и очутились в старинном городе Вордингборге. Это был большой оживленный город; на холме гордо возвышался королевский замок; в окнах высоких башен ярко светились огни. В замке шло веселье, пение и танцы. Король Вальдемар танцевал в кругу разодетых молодых фрейлин.

Но вот настало утро, и едва взошло солнце, город с королевским замком провалился, башни исчезли одна за другой, и под конец на холме осталась всего одна; самый городок стал маленьким, бедным; школьники, бежавшие в школу с книжками под мышками, говорили: «У нас в городе две тысячи жителей!» — но неправда, и того не было.

Маленький Тук опять очутился в постели; ему казалось, что он грезит наяву; кто-то опять стоял возле него.

— Маленький Тук! Маленький Тук! — слышалось ему. Это говорил маленький морячок, как будто бы кадет, а все-таки не кадет. — Я привез тебе поклоны из Корсёра. Вот город с будущим! Оживленный город! У него свои почтовые кареты и пароходы. Когда-то его считали жалким городишкой, но это мнение уже устарело. «Я лежу на море! — говорит Корсёр. — У меня есть шоссеиные дороги и парк! Я произвел на свет поэта<sup>1</sup>, да еще какого забавного, а ведь не все поэты забавны! Я даже собирался послать один из своих кораблей в кругосветное плаванье!.. Я, положим, не послал, но мог бы послать. И как чудно я благоухаю, от самых городских ворот! Всюду цветут чудеснейшие розы!»

Маленький Тук взглянул на них, и в глазах у него зарябило красным и зеленым. Когда же волны красок улеглись, он увидел поросший лесом обрыв над прозрачным фиордом. Над обрывом возвышался старый собор с высокими стрельчатыми башнями и шпилями. Вниз с журчанием сбежали струи источников. Возле источника сидел старый король; седая голова его с длинными кудрями была увенчана золотою короной. Это был король Роар, по имени которого назван источник, а по источнику и

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Багтесен (1764—1826) — датский поэт-юморист и сатирик.

близлежащий город Роскилле<sup>1</sup>. По тропинке, ведущей к собору, шли рука об руку все короли и королевы Дании, увенчанные золотыми коронами. Орган играл, струйки источника журчали. Маленький Тук смотрел и слушал.

— Не забудь сословий! — сказал король Роар.

Вдруг все исчезло. Да куда же это все девалось? Слово перевернули страницу в книжке! Перед мальчиком стояла старушка полольшница; она пришла из города Сорё, — там трава растет даже на площади. Она накинула на голову и на спину свой серый холщовый передник; передник был весь мокрый, должно быть шел дождь.

— Да! — сказала она и рассказала ему о забавных комедиях Хольберга, о короле Вальдемаре и епископе Абсалоне<sup>2</sup>, потом вдруг вся съезжилась, замотала головой, точно собираясь прыгнуть, и заквакала. — Ква! Ква! Как сыро, мокро и тихо в Сорё! Ква! — она превратилась в лягушку. — Ква! — и она опять стала женщиной. — Надо одеваться по погоде! — сказала она. — Тут сыро, сыро! Мой город похож на бутылку: войдешь в горлышко, оттуда же надо и выйти. Прежде он славился чудеснейшими рыбами, а теперь на дне «бутылки» — краснощекие юноши; они учатся тут разной премудрости: греческому, еврейскому...<sup>3</sup> Ква!

Мальчику послышалось не то кваканье лягушек, не то шлепанье сапогами по болоту: все тот же самый звук, однообразный и скучный, под который Тук и заснул крепким сном, да и хорошо сделал.

Но и тут ему приснился сон, — иначе что же все это было? Голубоглазая, белокурая и кудрявая сестрица его, Густава, вдруг стала взрослою прелестною девушкой, и, хотя ни у нее, ни у него не было крыльев, они понеслись вместе по воздуху над Зеландией, над зелеными лесами и голубыми водами.

---

<sup>1</sup> Город Роскилле — древняя столица Дании; в нем находится старинный собор, служащий уже в течение многих веков усыпальницей датских королей и королев. В Роскилле же происходили когда-то собрания представителей сословий.

<sup>2</sup> Абсалон — друг и сподвижник короля Вальдемара I, основатель нынешнюю столицу Дании, Копенгаген.

<sup>3</sup> В городе Сорё (недалеко от Копенгагена) находится Государственная академия — закрытое высшее учебное заведение, обязанное нынешним своим устройством и блестящим положением знаменитому Хольбергу, который пожертвовал для этой цели почти все свое состояние. (*Примечание Андерсена.*)



— Слышишь ты крик петуха, маленький Тук? Кукареку! Вот из бухты Кёге полетели курицы! У тебя будет птичий двор, огромный-преогромный! Тебе не придется терпеть нужды! Ты, как говорится, убьешь бобра и станешь богатым, счастливым человеком! Твой дом будет возвышаться, как башня короля Вальдемара, будет богато разукрашен такими же мраморными статуями, как те, что изваяны близ Престё. Ты понимаешь меня? Твое имя облетит весь мир, как корабль, который хотели отправить из Корсёра, а в Роскилле — «Помни про сословия!» — сказал король Роар — ты будешь говорить хорошо и умно, маленький Тук! Когда же наконец сойдешь в могилу, будешь спать в ней тихо...

— Как в Сорё! — добавил Тук и проснулся. Было ясное утро, он ровно ничего не помнил из своих снов, да и не нужно было — нечего заглядывать вперед.

Он вскочил с постели, взялся за книгу и живо выучил свой урок. А старая прачка просунула в дверь голову, кивнула ему и сказала:

— Спасибо за вчерашнее, голубчик! Господь да исполнит лучший твой сон.

А маленький Тук и не знал, что ему снилось, зато знает это господь бог!





## ТЕНЬ



**В**от уж где жжет солнце — так это в жарких странах! Люди загорают там до того, что становятся краснокожими, а в самых жарких странах — черными, как негры. Но мы поговорим пока только о жарких странах; сюда приехал из холодных стран один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя на родине, да скоро отучился от этого и, как все благо-разумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит или что никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, жарилась на солнце с утра до вечера; просто сил никаких не было терпеть эту жару! Ученому, приехавшему из холодных стран, — он был человек умный и молодой еще, — казалось, будто он сидит в раскаленной печке. Жара сильно влияла на его здоровье; он исхудал, и даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была в холодных странах; жара повлияла

и на нее. Оба они — и ученый и тень — оживали только с наступлением вечера.

И, право, любо было посмотреть на них! Как только в комнату вносили свечи, тень растягивалась во всю стену, захватывала даже часть потолка — ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы расправить члены и вновь набраться сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы поразмяться, любовался ясным вечерним небом, в котором зажигались золотые звездочки, и чувствовал, что вновь возрождается к жизни. На всех других балконах — а в жарких странах перед каждым окном балкон — тоже виднелись люди; дышать воздухом все же необходимо — даже тем, кого солнце сделало краснокожим. Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы, и вверху, на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд — все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду; улицы освещались тысячами огней, люди — кто пел, кто разговаривал с соседом, по тротуарам двигалась масса гуляющих, по мостовой катились экипажи, тут пробирались, позванивая колокольчиками, выюнные ослы, там тянулась, с пением псалмов, похоронная процессия, слышался треск хлопушек, бросаемых о мостовую уличными мальчишками, раздавался звон колоколов... Да, жизнь так и была ключом повсюду! Тихо было лишь в одном доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым: на балконе красовались чудесные цветы; без поливки они не могли бы цвести так пышно, кто-нибудь да поливал их — стало быть, в доме кто-то жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам, но в самих комнатах было всегда темно, по крайней мере в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно-прекрасною, но ведь может статься, что ему это только так казалось: по его мнению, здесь, в жарких странах, и все было прекрасно; одна беда — солнце! Хозяин дома, где жил ученый, сказал, что и он не знает, кто живет в соседнем доме: там никогда не показывалось ни единой живой души; что же до музыки, то он находил ее страшно скучною.

— Словно кто сидит и долбит все одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, а он продолжает, дескать, — «добьюсь своего!» Напрасно, однако, старается, ничего не выходит!

Раз ночью ученый проснулся; дверь на балкон стояла отворенною, и ветер распахнул портьеры; ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием; цветы горели чудными разноцветными огнями, а между цветами стояла стройная, прелестная девушка, тоже, казалось, окруженная сиянием. Весь этот блеск и свет так и резнул широко раскрытые со сна глаза ученого. Он вскочил и тихонько подошел к двери, но девушка уже исчезла, блеск и свет — тоже. Цветы больше не горели огнями, а стояли себе преспокойно, как всегда. Дверь из передней комнаты на балкон была полуотворена, и из глубины дома неслись нежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести в царство сладких грез и мечтаний!..

Все это было похоже на какое-то колдовство! Кто же там жил? Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами — не через них же постоянно ходили жильцы!

Однажды вечером ученый сидел на своем балконе; в комнате позади него горела свечка, и вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома; она даже поместилась на самом балконе, как раз между цветами; стоило шевельнуться ученому — шевелилась и тень, — это она умест.

— Право, моя тень — единственное видимое существо в том доме! — сказал ученый. — Ишь, как славно уселась между цветами! А дверь-то ведь полуотворена; вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне! Да, следовало бы и тебе быть полезною! — сказал он шутя и затем добавил: — Ну-с, не угодно ли пойти туда! Ну? Идешь? — И он кивнул своей тени головой, тень тоже ответила кивком. — Ну и ступай! Только смотри не пропади там!

С этими словами ученый встал, тень его, сидевшая на противоположном балконе, — тоже; ученый повернулся — повернулась и тень, и если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и задвинул за собою портьеру.

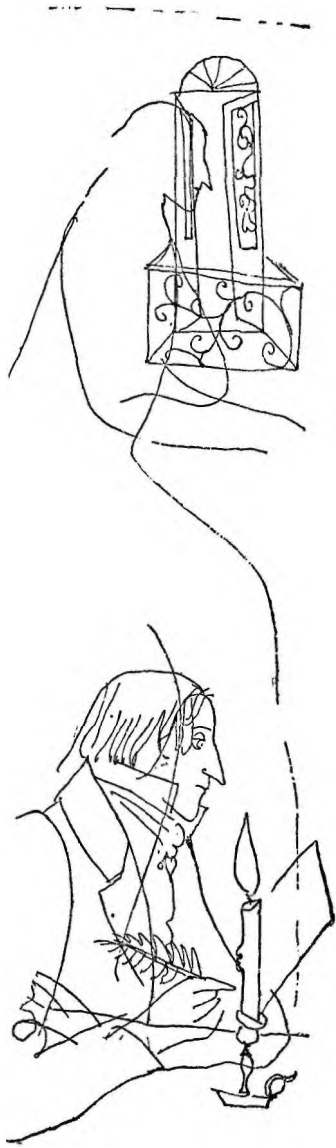
Утром ученый пошел в кондитерскую выпить кофе и почитать газеты.

— Что это значит? — сказал он, выйдя на солнце. — У меня нет тени! Так она в самом деле ушла вчера вечером и не вернулась? Довольно-таки неприятная история!

И он рассердился, не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине, в холодных странах; вернись он теперь туда и расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим, а он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью и умно сделал.

Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается загорodиться от света своим господином; выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он и сидел и выпрямлялся во весь рост — тень все не являлась. Он задумчиво хмыкнул, но и это не помогло.

Досадно было, но, к счастью, в жарких странах все растет и созревает необыкновенно быстро, и вот через неделю ученый, выйдя на солнце, заметил к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень, — должно быть, корни-то старой остались. Через три недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного



путешествия ученого на родину подросла еще и под конец стала уже такою большою и длинною, что хоть убавляй.

Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы, прошло много лет.

Раз вечером, когда он сидел у себя дома, послышался тихий стук в дверь.

— Войдите! — сказал он, но никто не входил; тогда он отворил дверь сам — перед ним стоял невероятно худощавый человек; одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный господин.

— С кем имею честь говорить? — спросил ученый.

— Я так и думал, — сказал элегантный господин, — что вы не узнаете меня! Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем! Вы, конечно, и не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да, вы, пожалуй, думали, что я уже не вернусь больше? Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю!

При этих словах он забренчал целою связкой дорогих брелоков, висевших на цепочке для часов, а потом начал играть толстою золотою цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и блестели бриллиантовыми перстнями! И золото и камни были настоящие, а не поддельные!

— Я просто в себя не могу прийти от удивления! — сказал ученый. — Что это такое?

— Да, явление не совсем обыкновенное, это правда! — сказала тень. — Но вы ведь сами не принадлежите к числу обыкновенных людей, а я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своею дорогою, добился, как видите, полного благосостояния, да вот взгрустнулось что-то по вас, захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли — вы ведь должны же умереть! — и кстати взглянуть еще разок на эти края. Всегда ведь сохраняешь любовь к своей родине!.. Я знаю, что у вас теперь новая тень; скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово — и я заплачу.

— Нет, так это в самом деле ты?! — вскричал ученый. — Вот диво, так диво! Никогда бы я не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком!

— Скажите же мне, не должен ли я вам? — спросила опять тень. — Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу!

— Что за разговоры! — сказал ученый. — Какой там долг! Ты вполне свободен! Я несказанно рад твоему счастью! Садись же, старый дружище, и расскажи мне, как все это вышло и что ты увидел в том доме напротив?

— Сейчас расскажу! — сказала тень и уселась. — Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь, в городе, — где бы вы меня ни встретили, — что я был когда-то вашей тенью! Я собираюсь жениться! Я в состоянии содержать и не одну семью!

— Будь спокоен! — сказал ученый. — Никто не будет знать, кто ты, собственно, такой! Вот моя рука! Даю тебе слово! А слово ведь человек...

— Слово — тень! — закончила тень — иначе ведь она не могла выразиться.

Вообще же ученому оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья: черная пара из тонкого сукна, на ногах лакированные сапоги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставались только донышко да поля; о брелочках, золотой цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень была одета превосходно, и это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека.

— Теперь я расскажу! — сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая, как собачка, лежала у его ног.

Зачем она это сделала, из высокомерия ли, или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам — неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух: ей очень хотелось знать, как это можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожой.

— Знаете, кто жил в том доме? — спросила бывшая тень. — Нечто прекраснейшее в мире — сама Поэзия! Я провел там три недели, а это все равно, что прожить на свете три тысячи лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами, — уверяю вас! Я видел все и знаю все — и это сущая правда!

— Поэзия! — вскричал ученый. — Да, да! Она часто живет отшельницей в больших городах! Поэзия! Я видел ее только мельком, да и то я был еще сонным! Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние! Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, вошел в дверь и...?

— И попал в переднюю! — подхватила тень. — Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак, но в открытую дверь виднелась целая анфилада освещенных покоев. Меня бы этот свет уничтожил вконец, если бы я сейчас же вошел к деде, но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда!

— И что же ты там увидел? — спросил ученый.

— Все, и я расскажу вам обо всем, но... Видите ли, я не из гордости, а... ввиду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете... я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на вы.

— Ах, прошу извинить меня! — сказал ученый. — Это я по старой привычке!.. Вы совершенно правы! И я постараюсь помнить это! Но расскажите же мне, что вы там видели?

— Все! — отвечала тень. — Я видел все и знаю все!

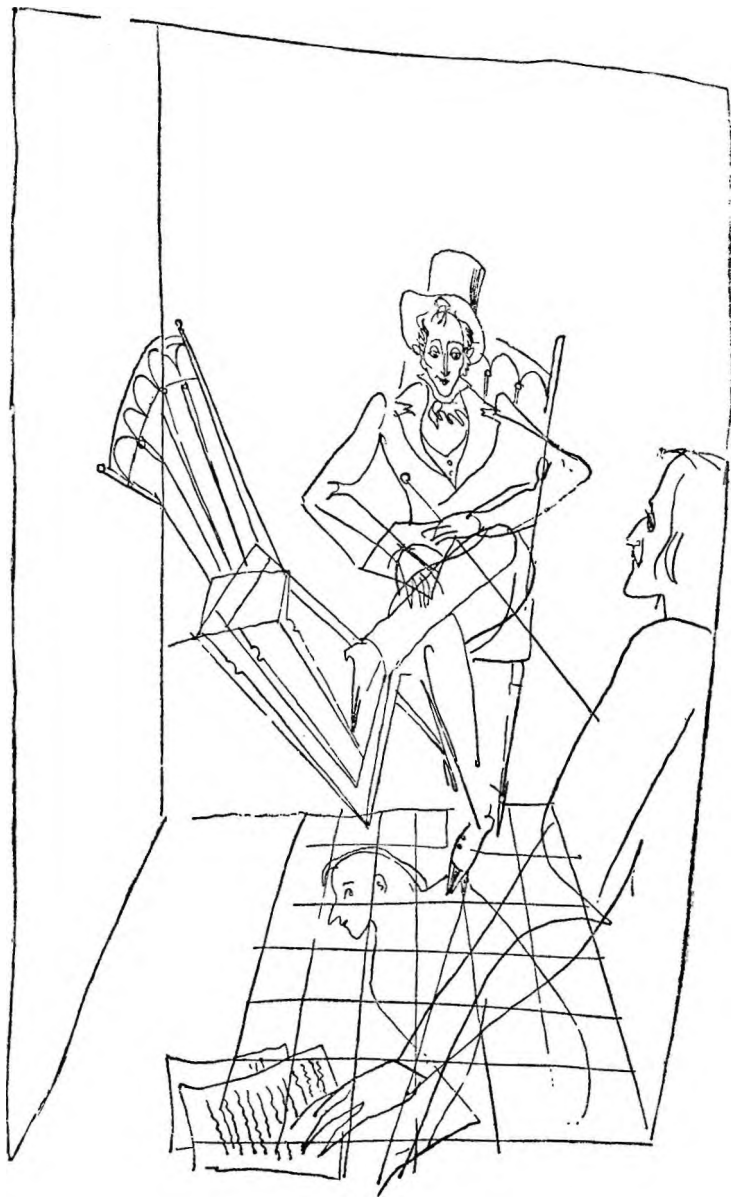
— Что же напоминали эти внутренние покои? — спросил ученый. — Свежий ли зеленый лес? Или святой храм? Или взору вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот?

— Все там было! — сказала тень. — Я, однако, не вошел в самые покои, я оставался в передней, в полумраке, но там мне было отлично, я видел все, и я знаю все! Я ведь провел столько времени в передней при дворе Поэзии.

— Но что же вы видели там? Величавые шествия древних богов? Борьбу героев седой старины? Игры милых детей, лепечущих о своих чудных грезах?..

— Говорю же вам, я был там, следовательно и видел все, что только можно было видеть! Явись ты туда, вы бы не сделались человеком, а я сделался им! Я познал там мою собственную натуру, мое природное сродство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца! При лунном же свете я был чуть ли не заметнее вас самих! Но тогда еще я не понимал своей натуры, меня





озарило только в передней! Там я стал человеком, вполне созрел. Но вас уже не было в жарких странах; между тем, я, в качестве человека, стеснялся уже показываться в своем прежнем виде: мне нужны были сапоги, приличное платье, словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище... Да, вам я признаюсь в этом, вы ведь не напечатаете этого: я нашел себе убежище под юбкой торговли сладостями! Женщина и не подозревала, что она скрывала! Выходил я только по вечерам, бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах — это так приятно шкочет спину! Взбежал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей, заглядывал и в залы, и на чердаки, заглядывал и туда, куда никто не мог заглядывать, видел то, чего никто не должен был видеть! И я узнал, как, в сущности, низок свет! Право, я не хотел бы даже быть человеком, если бы только не было раз навсегда принято считать это чем-то особенным! Я подметил самые невероятные вещи у женщин, у мужчин, у родителей, даже у милых, бесподобных деток. Я видел то, — добавила тень, — чего никто не должен был, но что всем так хотелось увидеть — тайные пороки и грехи людские. Пиши я в газетах, меня бы читали! Но я писал прямо самим заинтересованным лицам и нагонял на всех и повсюду, где ни появлялся, такой страх! Все так боялись меня и так любили! Профессора признавали меня своим коллегой, портные одевали меня — платья у меня теперь вдоволь, — монетки чеканили для меня монету, а женщины восхищались моей красотой! И вот я стал тем, что я есть. А теперь я прощусь с вами; вот моя карточка. Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома!

С этими словами тень ушла.

— Как это все же странно! — сказал ученый.

Шли дни и годы; вдруг тень опять явилась к ученому.

— Ну, как дела? — спросила она.

— Увы! — отвечал ученый. — Я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого нет и дела. Я просто в отчаянии: меня это так огорчает!

— А вот меня нет! — сказала тень. — Поэтому я все толстею, а это самое главное! Да, не умеете вы жить на свете! Еще заболете, пожалуй. Вам надо попутешествовать немножко. Я как раз собираюсь летом сделать неболь-

шую поездку — хотите ехать со мной? Мне нужно общество в дороге, так не поедете ли вы... в качестве моей тени? Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие; все издержки я, конечно, возьму на себя!

— Нет, это слишком! — рассердился ученый.

— Да ведь как взглянуть на дело! — сказала тень. — Поездка принесла бы вам большую пользу! А стоит вам согласиться быть моею тенью, — и вы поедете на всем готовом!

— Это уж из рук вон! — вскричал ученый.

— Таков свет, — сказала тень. — Таким он и останется!

И тень ушла.

Ученый чувствовал себя плохо, а горе и заботы по-прежнему преследовали его: он писал об истине, добре и красоте, а люди понимали во всем этом столько же, сколько коровы в розах. Наконец он совсем расхворался.

— Вы неузнаваемы, вы стали просто тенью! — говорили ученому люди, и по его телу пробегала дрожь от мысли, приходившей ему в голову при этих словах.

— Вам следует ехать куда-нибудь на воды! — сказала тень, которая опять завернула к нему. — Ничего другого вам не остается! Я готов взять вас с собою ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию, а вы опишете нашу поездку и будете приятно развлекать меня в дороге. Я собираюсь на воды; моя борода не растет, как бы следовало, а это ведь своего рода болезнь, — бороду надо иметь! Ну, будьте благоразумны, примите мое предложение; ведь мы же поедем как товарищи.

И они поехали. Тень стала господином, а господин тенью. Они были неразлучны: и ехали, и беседовали, и ходили всегда вместе — то бок о бок, то тень впереди ученого, то позади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться господином, а ученый, по доброте сердца, даже и не замечал этого. Он был вообще такой славный, сердечный человек, и раз как-то возьми да и скажи тени:

— Мы ведь теперь товарищи, да и выросли вместе — выпьем же на ты, это будет по-приятельски!

— В ваших словах действительно много искреннего доброжелательства! — сказала тень — господином-то теперь была, собственно, она. — И я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы, как человек ученый, знаете, вероятно,

какими странностями отличается натура человеческая! Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги, другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы говорите мне ты. Я чувствую себя совсем подавленным, как бы низведенным до прежнего моего положения. Вы видите, что это просто болезненное чувство, а не гордость с моей стороны. Я не могу позволить вам говорить мне ты, но сам охотно буду говорить вам ты; таким образом, ваше желание будет исполнено хоть наполовину.

И вот тень стала говорить своему прежнему господину ты.

«Это, однако, из рук вон, — подумал ученый. — Я должен обращаться к нему на вы, а он мне тыкает».

Но делать было нечего.

Наконец они прибыли на воды. На водах был большой съезд иностранцев. В числе приезжих находилась и одна красавица принцесса, которая страдала чересчур зорким взглядом, а это ведь не шутка, хоть кого испугает.

Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем непохож на всех других людей.

— Хоть и говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня-то не проведешь: я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тени!

Любопытство ее было подзадорено, и она, не долго думая, подошла к незнакомцу на прогулке и вступила с ним в разговор. В качестве принцессы она, без дальнейших церемоний, сказала ему:

— Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать от себя тени!

— А ваше королевское высочество, должно быть, уже близки к выздоровлению! — сказала тень. — Я знаю, что вы страдали слишком зорким взглядом, — теперь, как видно, вы исцелились от своего недуга! У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной? У всех других людей — обыкновенные тени, но я вообще враг всего обыкновенного, и как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами, так я нарядил свою тень настоящим человеком и даже приставил, как видите, и к ней тень! Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж я в таких случаях за расходами не стою!

«Вот как! — подумала принцесса. — Так я в самом деле выздоровела? Да, эти воды — лучшие в мире! Надо признаться, что воды обладают в наше время поистине удивительной силой. Но я пока не уеду, — теперь здесь будет еще интереснее. Мне ужасно нравится этот иностранец. Только бы борода его не выросла, а то он уедет!»

Вечером был бал, и принцесса танцевала с тенью. Принцесса танцевала легко, но тень еще легче; такого танцора принцесса и не встречала. Она сказала ему, из какой страны прибыла, и оказалось, что он знал эту страну и даже был там, но принцесса как раз в то время уезжала. Он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что и потому мог отвечать принцессе на все вопросы и даже делать такие намеки, от которых она пришла в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком на свете. Знания его просто поражали ее, и она прониклась к нему глубочайшим уважением. Протанцевав с ним еще раз, она окончательно влюбилась в него, и тень это отлично заметила: принцесса так и пронизывала своего кавалера взглядами. Протанцевав же с тенью еще раз, принцесса готова была признаться ей в своей любви, но рассудок все-таки одержал верх, она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей приходилось управлять. «Умен-то он умен, — сказала она самой себе, — и это прекрасно; танцует он восхитительно, и это тоже хорошо, но обладает ли он основательными познаниями, что тоже очень важно! Надо его проэкзаменовать».

И она опять завела с ним разговор и назадала ему труднейших вопросов, на которые и сама не смогла бы ответить.

Тень скорчила удивленную мину.

— Так вы не можете ответить мне! — сказала принцесса.

— Все это я изучил еще в детстве! — отвечала тень. — Я думаю, даже тень моя, что стоит у дверей, сумеет ответить вам.

— Ваша тень?! — удивилась принцесса. — Это было бы просто поразительно!

— Я, видите ли, не утверждаю, — сказала тень, — но думаю, что она может, — она ведь столько лет неразлучна со мной и кое-чего наслушалась от меня! Но, ваше королевское высочество, позвольте мне обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень гор-

дится тем, что слывет человеком, и если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с нею как с человеком! Иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует!

— Что ж, это мне нравится! — ответила принцесса и, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о солнце, о луне, о внешних и внутренних сторонах и свойствах человеческой природы.

Ученый отвечал на все ее вопросы хорошо и умно.

«Что это должен быть за человек, — подумала принцесса, — если даже тень его так умна! Для моего народа и государства будет сущим благодеянием, если я выберу его себе в супруги. Да, я так и сделаю!»

И скоро они порешили между собою этот вопрос. Никто, однако, не должен был знать ничего, пока принцесса не вернется домой, в свое государство.

— Никто, никто, даже моя собственная тень! — настаивала тень, имевшая на то свои причины.

Наконец они прибыли в страну, которою управляла принцесса, когда бывала дома.

— Послушай, дружище! — сказала тут тень ученому. — Теперь я достиг высшего счастья и могущества человеческого и хочу сделать кое-что и для тебя! Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мною в королевской карете и получать сто тысяч риксдалеров в год. Но за то ты должен позволить называть тебя тенью всем и каждому. Ты не должен и заикаться, что был когда-нибудь человеком! А раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед всем народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, что я женюсь на принцессе; свадьба — сегодня вечером.

— Нет, это уж из рук вон! — вскричал ученый. — Не хочу я этого и не сделаю! Это значило бы обманывать всю страну и принцессу! Я скажу все! Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень — все, все скажу!

— Никто не поверит тебе! — сказала тень. — Ну, будь же благоразумен, не то я кликну стражу!

— Я пойду прямо к принцессе! — сказал ученый.

— Ну, я-то попаду к ней прежде тебя! — сказала тень. — А ты отправишься под арест.

Так и вышло: стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж принцесса.

— Ты дрожишь! — сказала принцесса, когда тень вошла к ней. — Что-нибудь случилось? Не захворай смотри! Ведь сегодня вечером наша свадьба!

— Ах, я пережил сейчас ужаснейшую минуту! — сказала тень. — Подумай... Да много ли, в сущности, нужно мозгам какой-нибудь несчастной тени!.. Подумай, моя тень сошла с ума, вообразила себя человеком, а меня называет — подумай только — своею тенью!

— Какой ужас! — сказала принцесса. — Надеюсь, ее заперли?

— Разумеется, но я боюсь, что она никогда не придет в себя!

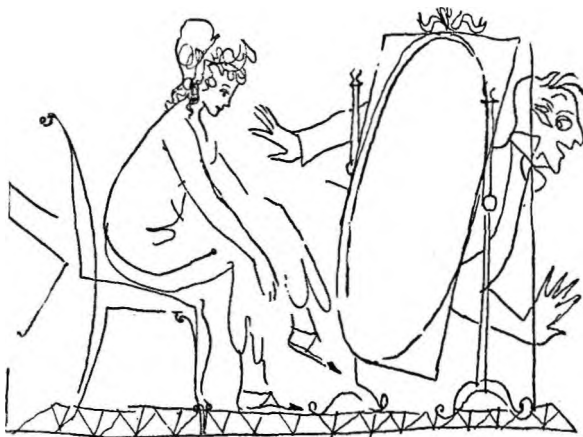
— Бедная тень! — вздохнула принцесса. — Она очень несчастна! Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней. А как подумать хорошенько, то, по-моему, даже необходимо покончить с ней поскорее и без шума!

— Все-таки это жестоко! — сказала тень. — Она была мне верным слугой! — И тень притворно вздохнула.

— У тебя благородная душа! — сказала принцесса.

Вечером весь город был иллюминирован, гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба! И принцесса с тенью вышли на балкон показать народу, который еще раз прокричал им «ура».

Ученый не слышал этого ликования — с ним уже покончили.





## СТАРЫЙ ДОМ



**Н**а одной улице стоял старый-старый дом, выстроенный еще около трехсот лет тому назад, — год его постройки был вырезан на одном из оконных карнизов, по которым вилась затейливая резьба: тюльпаны и побеги хмеля; тут же было вырезано старинными буквами и с соблюдением старинной орфографии целое стихотворение. На других карнизах красовались уморительные рожи, корчившие гримасы. Верхний этаж дома образовывал над нижним большой выступ; под самую крышу шел водосточный желоб, оканчивавшийся драконовою головой. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из живота — желоб был дырявый.

Все остальные дома на улице были такие новенькие, чистенькие, с большими окнами и прямыми, ровными стенами; по всему видно было, что они не желали иметь со старым домом ничего общего и даже думали: «Долго ли он будет торчать тут на позор всей улице? Из-за этого выступа нам не видно, что делается по ту сторону дома!



А лестница-то, лестница-то! Широкая, будто во дворце, и высокая, словно ведет на колокольню! Железные перила напоминают вход в могильный склеп, а на дверях блестят большие медные бляхи! Просто неприлично!»

Против старого дома, на другой стороне улицы, стояли такие же новенькие, чистенькие домики и думали то же, что их собратья; но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными, сияющими глазами; ему старый дом и при солнечном и при лунном свете нравился куда больше всех остальных домов. Глядя на стену старого дома с потрескавшеюся и местами пообвалившеюся штукатуркою, он рисовал себе самые причудливые картины прошлого, воображал всю улицу застроенной такими же домами, с широкими лестницами, выступами и остроконачными крышами, видел перед собою солдат с алебардами и водосточные желобы в виде драконов и змиев... Да, можно таки было заглядеться на старый дом! Жил в нем один старичок, носивший короткие панталоны до колен, кафтан с большими металлическими пуговицами и парик, про который сразу можно было сказать: вот это настоящий парик! По утрам к старику приходил старый слуга, который прибирал все в доме и исполнял поручения старичка хозяина; остальное время дня старик оставался в доме один-одинешенек. Иногда он подходил к окну взглянуть на улицу и на соседние дома; мальчик, сидевший у окна, кивал старику головой и получал в ответ такой же дружеский кивок. Так они познакомились и подружились, хоть и ни разу не говорили друг с другом, — это ничуть им не помешало!

Раз мальчик услышал, как родители его говорили:

— Старику живется вообще недурно, но он так одинок, бедный!

В следующее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумажку, вышел за ворота и остановил проходившего мимо слугу старика.

— Послушай! Снеси-ка это от меня старому господину! У меня два оловянных солдатика, так вот ему один! Пусть он останется у него, ведь старый господин так одинок, бедный!

Слуга, видимо, обрадовался, кивнул головой и отнес солдатика в старый дом. Потом тот же слуга явился к мальчику спросить, не пожелает ли он сам навестить

старого господина. Родители позволили, и мальчик отправился в гости.

Медные бляхи на перилах лестницы блестели ярче обыкновенного, точно их вычистили в ожидании гостя, а резные трубачи — на дверях были ведь вырезаны трубачи, выглядывавшие из тюльпанов, — казалось, трубили изо всех сил, и щеки их раздувались сильнее, чем всегда. Они трубили: «Тра-та-та-та! Мальчик идет! Тра-та-та-та!» Двери отворились, и мальчик вошел в коридор. Все стены были увешаны старыми портретами рыцарей в латах и дам в шелковых платьях; рыцарские доспехи бряцали, а платья шуршали... Потом мальчик прошел лестницу, которая сначала шла высоко вверх, а потом опять вниз, и очутился на довольно-таки ветхой террасе с большими дырами и широкими щелями в полу, из которых выглядывали зеленая трава и листья. Вся терраса, весь двор и даже вся стена дома были увиты зеленью, так что терраса выглядела настоящим садом, а на самом-то деле это была только терраса! Тут стояли старинные цветочные горшки в виде голов с ослиными ушами; цветы росли в них как хотели. В одном горшке так и лезла через край гвоздика: зеленые ростки ее разбегались во все стороны, и гвоздика как будто говорила: «Ветерок ласкает меня, солнышко целует и обещает подарить мне в воскресенье еще один цветочек! Еще один цветочек в воскресенье!»

С террасы мальчика провели в комнату, обитую свиной кожей с золотым тиснением.

Да, позолота-то сотрется,  
Свиная ж кожа остается! —

говорили стены.

В той же комнате стояли разукрашенные резьбою кресла с высокими спинками.

— Садись! Садись! — приглашали они, а потом жалобно скрипели. — Ох, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как старый шкаф. Ревматизм в спине! Ох!

Затем мальчик вошел в комнату с большим выступом на улицу. Тут сидел сам старичок хозяин.

— Спасибо за оловянного солдатика, дружок! — сказал он мальчику. — И спасибо, что сам зашел ко мне!

«Так, так» или, скорее, «кхак, кхак!» — закричала и закричала мебель. Стульев, столов и кресел было так много, что они мешали друг другу смотреть на мальчика.

На стене висел портрет прелестной молодой дамы с живым, веселым лицом, но причесанной и одетой по старинной моде: волосы ее были напудрены, а платье стояло колом. Она не сказала ни «так», ни «кхак», но ласково смотрела на мальчика, и он сейчас же спросил старика:

— Где вы ее достали?

— В лавке старьевщика! — отвечал тот. — Там много таких портретов, но никому до них нет и дела: никто не знает, с кого они писаны, — все эти лица давным-давно умерли и похоронены. Вот и этой дамы нет на свете лет пятьдесят, но я знавал ее в старину.

Под картиной висел за стеклом букетик засушенных цветов; им, верно, тоже было лет под пятьдесят, — такие они были старые! Маятник больших старинных часов качался взад и вперед, стрелка двигалась, и все в комнате старело с каждой минутой, само того не замечая.

— У нас дома говорят, что ты ужасно одинок! — сказал мальчик.

— О! Меня постоянно навещают воспоминания прошлого... Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов!.. А теперь вот и ты навестил меня! Нет, мне хорошо!

И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диковинные кареты, которых теперь уж не увидишь, солдаты, похожие на трюфевых вальтеров, городские ремесленники с развевающимися знаменами. У портных на знаменах красовались ножницы, поддерживаемые двумя львами, у сапожников же не сапоги, а орел о двух головах — сапожники ведь делают всё парные вещи. Да, вот так картинки были!

Старичок хозяин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. Нет, в старом доме, право, было прелесть как хорошо!

— А мне просто невмочь оставаться здесь! — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. — Тут так пусто и печально. Нет, кто привык к семейной жизни, тому здесь не житье. Сил моих больше нет! День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше! Тут не услышишь ни приятных бесед, какие вели, бывало, между собою

твои родители, ни веселой возни ребятишек, как у вас! Старый хозяин так одинок! Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него кто-нибудь ласково? Бывает у него елка? Получает он подарки? Ничего! Вот разве гроб он получит!.. Нет, право, я не выдержу такого житья!

— Ну, ну, полно! — сказал мальчик. — По-моему, здесь чудесно; сюда ведь заглядывают воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц!

— Что-то не видал их, да они мне и незнакомы! — отвечал оловянный солдатик. — Нет, мне просто не под силу оставаться здесь!

— А надо! — сказал мальчик.

В эту минуту в комнату вошел с веселою улыбкой на лице старичок, и чего-чего он только не принес! И варенья, и яблок, и орехов! Мальчик перестал и думать об оловянном солдатике.

Веселый и довольный вернулся он домой. Дни шли за днями; мальчик по-прежнему посылал в старый дом поклоны, а оттуда получал тоже поклоны в ответ, и вот мальчик опять отправился туда в гости.

Резные трубачи опять затрубили: «Тра-та-та-та! Мальчик пришел! Тра-та-та-та!» Рыцари и дамы на портретах бряцали доспехами и шуршали шелковыми платьями, свиная кожа говорила, а старые кресла скрипели и кряхтели от ревматизма в спине: «Ох!» Словом, все было как и в первый раз, — в старом доме часы и дни шли один, как другой, без всякой перемены.

— Нет, я не выдержу! — сказал оловянный солдатик. — Я уже плакал оловом! Тут слишком печально! Пусть лучше пошлют меня на войну, отрубят там руку или ногу! Все-таки хоть перемена будет! Сил моих больше нет!.. Теперь и я знаю, что это за воспоминания, которые приводят с собою знакомых лиц! Меня они тоже посетили, и, поверь, им не обрадуешься! Особенно, если они станут посещать тебя часто. Под конец я готов был спрыгнуть с сундука!.. Я видел тебя и всех твоих!.. Вы все стояли передо мною, как живые!.. Это было утром в воскресенье... Все вы, ребятишки, стояли в столовой, такие серьезные, набожно сложив руки, и пели утренний псалом... Папа и мама стояли тут же. Вдруг дверь отворилась, и вошла незваная двухгодовалая сестренка ваша Мари. А ей стоит только услышать музыку или пение — все равно к а к о е, —

сейчас начинает плясать. Вот она и принялась приплясывать, но никак не могла попасть в такт — вы пели так протяжно... Она поднимала то одну ножку, то другую и вытягивала шейку, но дело не ладилось. Никто из вас даже не улыбнулся, хоть и трудно было удержаться. Я таки и не удержался, засмеялся про себя, да и слетел со стола! На лбу у меня вскочила большая шишка — она и теперь еще не прошла, и поделом мне было!.. Много и еще чего вспоминается мне... Все, что я видел, слышал и пережил в вашей семье, так и всплывает у меня перед глазами! Вот каковы они, эти воспоминания, и вот что они приводят с собой!.. Скажи, вы и теперь еще поете по утрам? Расскажи мне что-нибудь про малютку Мари! А товарищ мой, оловянный солдатик, как поживает? Вот счастливец!.. Нет, нет, я просто не выдержу!..

— Ты подарен! — сказал мальчик. — И должен оставаться тут! Разве ты не понимаешь этого?

Старичок хозяин явился с ящиком, в котором было много разных диковинок: какие-то шкатулочки, флакончики и колоды старинных карт — таких больших, расписанных золотом, теперь уж не увидишь! Старичок отпер для гостя и большие ящики старинного бюро и даже клавикорды, на крышке которых был нарисован ландшафт. Инструмент издавал под рукой хозяина тихие дребезжащие звуки, а сам старичок напевал при этом какую-то заунывную песенку.

— Эту песню певала когда-то она! — сказал он, кивая на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели.

— Я хочу на войну! Хочу на войну! — завопил вдруг оловянный солдатик и бросился с сундука.

Куда же он девался? Искал его и сам старичок хозяин, искал и мальчик — нет нигде, да и только.

— Ну, я найду его после! — сказал старичок, но так и не нашел. Пол весь был в щелях, солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле.

Вечером мальчик вернулся домой. Время шло; наступила зима; окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на них, чтобы оттаяло хоть маленькое отверстие, в которое бы можно было взглянуть на улицу. Снег запорошил все завитушки и надпись на карнизах старого дома и завалил лестницу, — дом стоял словно нежилой. Да так оно и было: старичок, хозяин его, умер.

Вечером к старому дому подъехала колесница, на нее поставили гроб и повезли старичка за город, в фамильный склеп. Никто не шел за гробом — все друзья старика давным-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй.

Несколько дней спустя в старом доме назначен был аукцион. Мальчик видел из окошка, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с длинными ушами, старые стулья и шкафы. Одно пошло сюда, другое туда; портрет дамы, купленный в лавке старьевщика, вернулся туда же, да так там и остался: никто ведь не знал этой дамы, никому и не нужен был ее портрет.

Весною стали ломать старый дом — этот жалкий сарай уже мозолил всем глаза, и с улицы можно было заглянуть в самые комнаты с обоями из свиной кожи, висевшими клочьями; зелень на террасе разрослась еще пышнее и густо обвивала упавшие балки. Наконец место очистили совсем.

— Вот и отлично! — сказали соседние дома.

Вместо старого дома на улице появился новый, с большими окнами и белыми ровными стенами. Перед ним, то есть, собственно, на том самом месте, где стоял прежде старый дом, разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Садик был обнесен высокой железною решеткой, и вела в него железная калитка. Все это выглядело так нарядно, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Виноградные лозы были усеяны десятками воробьев, которые чирикали наперебой, но не о старом доме, — они ведь не могли его помнить; с тех пор прошло столько лет, что мальчик успел стать мужчиною. Из него вышел дельный человек на радость своим родителям. Он только что женился и переехал со своею молодою женой как раз в этот новый дом с садом.

Оба они были в саду; муж смотрел, как жена сажала на клумбу какой-то приглянувшийся ей полевой цветок. Вдруг молодая женщина вскрикнула:

— Ай! Что это?

Она укололась — из мягкой, рыхлой земли торчало что-то острое. Это был — да, подумайте! — оловянный солдатик, тот самый, что пропал у старика, валялся в мусоре и наконец много-много лет пролежал в земле.

Молодая женщина обтерла солдатика сначала зеленым листком, а затем своим тонким носовым платком. Как чудесно пахло от него духами! Оловянный солдатик словно очнулся от обморока.

— Дай-ка мне посмотреть! — сказал молодой человек, засмеялся и покачал головой. — Ну, это, конечно, не тот самый, но он напоминает мне одну историю из моего детства!



И он рассказал своей жене о старом доме, о хозяине его и об оловянном солдатике, которого послал бедному одинокому старичку. Словом, он рассказал все, как было в действительности, и молодая женщина даже прослезилась, слушая его.

— А может быть, это и тот самый оловянный солдатик! — сказала она. — Я спрячу его на память. Но ты непременно покажи мне могилу старика!

— Я и сам не знаю, где она! — отвечал он. — Да и никто не знает! Все его друзья умерли раньше него, никому не было и дела до его могилы, я же в те времена был еще совсем маленьким мальчуганом.

— Как ужасно быть таким одиноким! — сказала она.  
— Ужасно быть одиноким! — сказал оловянный солдатик.  
— Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли!  
— Счастье! — повторил чей-то голос совсем рядом, но никто не расслышал его, кроме оловянного солдатика.  
Оказалось, что это говорил лоскуток свиной кожи, которую когда-то были обиты комнаты старого дома. Позолота с него вся сошла, и он был похож скорее на грязный комок земли, но у него был свой взгляд на вещи, и он высказал его:

Да, позолота-то сотрется,  
Свиная ж кожа остается!

Оловянный солдатик, однако, с этим не согласился.







## КАПЛЯ ВОДЫ



**В**ы, конечно, видели увеличительное стекло — круглое, выпуклое, через которое все вещи кажутся во сто раз больше, чем они на самом деле? Если через него поглядеть на каплю воды, взятую где-нибудь из пруда, то увидишь целые тысячи диковинных зверюшек, которых вообще никогда не видно в воде, хотя они там, конечно, есть. Смотришь на каплю такой воды, а перед тобой, ни дать ни взять, целая тарелка живых креветок, которые прыгают, копошатся, хлопочут, откусывают друг у друга то переднюю ножку, то заднюю, то тут уголок, то там кончик и при этом радуются и веселятся по-своему!

Жил-был один старик, которого все звали Копун Хлопотун, — такое уж у него было имя, Он вечно копался и хлопотал над всякою вещью, желая извлечь из нее все, что только вообще можно, а нельзя было достигнуть этого простым путем — прибежал к колдовству.

Вот сидит он раз да смотрит через увеличительное стекло на каплю воды, взятой прямо из лужи. Батюшки мои, как эти зверюшки копошились и хлопотали тут! Их были тысячи, и все они прыгали, скакали, кусались, щипались и пожирали друг друга.

— Но ведь это отвратительно! — вскричал старый Копун Хлопотун. — Нельзя ли их как-нибудь умиротворить, ввести у них порядок, чтобы всякий знал свое место и свои права?

Думал-думал старик, а все ничего придумать не мог. Пришлось прибегнуть к колдовству.

— Надо их окрасить, чтобы они больше бросались в глаза! — сказал он и чуть капнул на них какою-то жидкостью, вроде красного вина; но это было не вино, а ведьмина кровь самого первого сорта. Все диковинные зверюшки вдруг приняли красноватый оттенок, и каплю воды можно было теперь принять за целый город, кишевший голыми дикарями.

— Что у тебя тут? — спросил старика другой колдун, без имени, — этим-то он как раз и отличался.

— А вот угадай! — отозвался Копун Хлопотун. — Угадаешь — я подарю тебе эту штуку. Но угадать не так-то легко, если не знаешь, в чем дело!

Колдун без имени поглядел в увеличительное стекло. Право, перед ним был целый город, кишевший людьми, но все они бегали нагишом! Ужас что такое! А еще ужаснее было то, что они немилосердно толкались, щипались, кусались и рвали друг друга в клочья! Кто был внизу — непременно выбивался наверх, кто был наверху — попал вниз.

— Гляди, гляди! Вон у того нога длиннее моей! Долой ее! А вот у этого крошечная шишка за ухом, крошечная, невинная шишка, но ему от нее больно, так пусть будет еще больнее!

И они кусали беднягу, рвали на части и пожирали за то, что у него была крошечная шишка. Смотрят, кто-нибудь сидит себе смирно, как красная девица, никого не трогает, лишь бы и его не трогали, так нет, давай его тормошить, таскать, теревить, пока от него не останется и следа!

— Ужасно забавно! — сказал колдун без имени.

— Ну, а что это такое, по-твоему? Можешь угадать? — спросил Копун Хлопотун.

— Тут и угадывать нечего! Сразу видно! — отвечал тот. — Это Копенгаген или другой какой-нибудь большой город, они все ведь похожи один на другой!.. Это большой город!

— Это капля воды из лужи! — промолвил Копун Хлопотун.





## ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ



**К**ак холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году — канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать — вот какие они были большие, — и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись двух карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят.

Вот девочка и брела теперь босиком, и ножки ее покраснели и посинели от холода. В кармане ее старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, а одну пачку она держала в руке. За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и продрогшая и так измучилась, бедняжка!

Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изю всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем — ведь был канун Нового года. Вот о чем она думала!

Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни одной спички, она не выручила ни гроша, а она знала, что за это отец приберет ее; к тому же, думала она, дома тоже холодно; они живут на чердаке, где гуляет ветер, хотя самые большие щели в стенах и заткнуты соломой и тряпками.

Ручонки ее совсем заоченели. Ах, как бы их согрел огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, чиркнуть ею о стену и погреть пальцы! Девочка робко вытянула одну спичку и... чирк! Как спичка вспыхнула, как ярко она загорелась! Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, точно крохотная свечечка.

Удивительная свечка! Девочке почудилось, будто она сидит перед большой железной печью с блестящими медными шариками и заслонками. Как славно пылает в ней огонь, каким теплом от него веет! Но что это? Девочка протянула ноги к огню, чтобы погреть их, — и вдруг... пламя погасло, печка исчезла, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка.

Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засветилась, и когда ее отблеск упал на стену, стена стала прозрачной, как кисея. Девочка увидела перед собой комнату, а в ней стол, покрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором; на столе, распространив чудесный аромат, стояло блюдо с жареным гусем, начиненным черносливом и яблоками! И всего чудеснее было то, что гусь вдруг прыгнул со стола и, как был, с вилкой и ножом в спине, вперевалку заковылял по полу. Он шел прямо к бедной девочке, но... спичка погасла, и перед бедняжкой снова встала непроницаемая, холодная, сырая стена.

Девочка зажгла еще одну спичку. Теперь она сидела перед роскошной рождественской елкой. Эта елка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и

заглянув в окно. Тысячи свечей горели на ее зеленых ветках, а разноцветные картинки, какими украшают витрины магазинов, смотрели на девочку. Малютка протянула к ним руки, но... спичка погасла. Огоньки стали уходить все выше и выше и вскоре превратились в ясные звездочки. Одна из них покатилась по небу, оставив за собой длинный огненный след.

«Кто-то умер», — подумала девочка, потому что ее недавно умершая старая бабушка, которая одна во всем мире любила ее, не раз говорила ей; «Когда падет звездочка, чья-то душа отлетает к богу».

Девочка снова чиркнула о стену спичкой и, когда все вокруг осветилось, увидела в этом сиянии свою старенькую бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую.

— Бабушка, — воскликнула девочка, — возьми, возьми меня к себе! Я знаю, что ты уйдешь, когда погаснет спичка, исчезнешь, как теплая печка, как вкусный жареный гусь и чудесная большая елка!

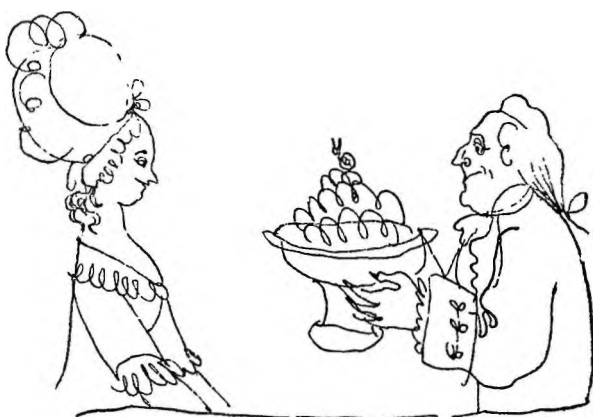
И она торопливо чиркнула всеми спичками, оставшись в пачке, — вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. Бабушка при жизни никогда не была такой красивой, такой величавой. Она взяла девочку на руки, и, озаренные светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко — туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, — они вознеслись к богу.

Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щеках ее играл румянец, на губах — улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.

— Девочка хотела погреться, — говорили люди.

И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье.





## СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО



**С**амый большой лист у нас, конечно, лист лопуха: наденешь его на животику — вот тебе и передник, а положишь в дождик на головку — зонтик! Такой большущий этот лопух! И он никогда не растет в одиночку, а всегда уж где один, там и много, — такое изобилие! И вся эта роскошь — кушанье для улиток! А самих улиток, белых, больших, кушали в старину важные господа; из улиток приготавлилась фрикасе, и господа, кушая его, приговаривали: «Ах, как вкусно!» Они и вправду воображали себе, что это ужасно вкусно. Так вот, эти большие белые улитки ели лопух, потому и стали сеять лопух.

Была одна старая барская усадьба, где уж давно не ели улиток, и они все повымерли. А лопух не вымер; он себе все рос да рос — его ничем нельзя было заглушить; все аллен, все грядки заросли лопухом, так что и сад стал не сад, а лопушиный лес; никто бы и не догадался, что тут был прежде сад, если бы кое-где не торчали еще,

то яблонька, то сливовое деревцо. Вот в этом-то лопушином лесу и жила последняя пара старых-престарых улиток.

Они и сами не знали, сколько им лет, но отлично помнили, что прежде их было много, что они очень старинной иностранной породы и что весь этот лес был насажен исключительно для них и для их родичей. Старые улитки ни разу не выходили из своего леса, но знали, что где-то есть что-то, называемое «барскою усадьбой»; там улиток варят до тех пор, пока они не почернеют, а потом кладут на серебряное блюдо. Что было дальше, они не знали. Не знали они тоже и даже представить себе не могли, что такое значит свариться и лежать на серебряном блюде; знали только, что это было чудесно и, главное, аристократично! И ни майский жук, ни жаба, ни дождевой червяк — никто из тех, кого они спрашивали, ничего не мог сказать об этом: никому еще не приходилось быть сваренным и лежать на серебряном блюде!

Что же касается самих себя, то улитки отлично знали, что они, старые белые улитки, самые знатные на свете, что весь лес растет только для них, а усадьба существует лишь для того, чтобы они могли свариться и лежать на серебряном блюде.

Жили улитки тихо, мирно и очень счастливо. Детей у них не было, и они взяли на воспитание улитку из простых. Приемыв их ни за что не хотел расти — он был ведь обыкновенной, простой породы, но старикам, особенно улитке-мамаше, все казалось, что он заметно увеличивается, и она просила улитку-папашу, если он не видит этого так, ощупать раковину малютки! Папаша щупал и соглашался с мамашей.

Раз шел сильный дождь.

— Ишь, как барабанит по лопуху! — сказал улитка-папаша.

— И какие крупные капли! — сказала улитка-мамаша. — Вон как потекли вниз по стебелькам! Увидишь, как здесь будет сыро! Как я рада, что у нас и у сынка нашего такие прочные домики! Нет, что ни говори, а ведь нам дано больше, чем кому другому на свете! Сейчас видно, что мы первые в мире! У нас с самого рождения есть уже свои дома, для нас насажен целый лопушиный лес! А хотелось бы знать, как далеко он тянется и что там за ним?



— Ничего! — сказал улитка-папаша. — Уж лучше, чем у нас тут, и быть нигде не может; я по крайней мере лучшего не ищу.

— А мне, — сказала улитка-мамаша, — хотелось бы попасть в усадьбу, свариться и лежать на серебряном блюде. Этого удостаивались все наши предки, и, уж поверь, в этом есть что-то возвышенное!

— Усадьба, пожалуй, давно разрушилась, — сказал улитка-папаша, — или вся заросла лопухом, так что людям и не выбраться оттуда. Да и к чему так спешить? А ты вот вечно спешишь, и сынок наш туда же за тобой. Ведь он уж третий день все ползет вверх по стебельку; просто голова кружится, как поглядишь!

— Ну, не ворчи на него! — сказала улитка-мамаша. — Он ползет осторожно. Он, наверно, будет нам утехой, а ведь нам, старикам, больше и жить не для чего. Только подумал ли ты, откуда нам взять ему жену? Что, по-твоему, там, дальше, в лопухе, не найдется кого-нибудь из нашего рода?

— Черные улитки без домов есть, конечно, — сказал улитка-папаша, — но ведь это же простонародье! Да и много они о себе думают! Можно, впрочем, поручить это дело муравьям: они вечно шныряют взад да вперед, точно за делом, и, уж верно, знают, где надо искать жену для нашего сына.

— Знаем, знаем одну красавицу из красавиц! — сказали муравьи. — Только навряд ли она подойдет вам — она ведь королева!

— Это не беда! — сказали старики. — А есть ли у нее дом?

— Даже дворец! — сказали муравьи. — Чудеснейший муравейник с семьями ходов!

— Благодарим покорно! — сказала улитка-мамаша. — Сыну нашему не с чего лезть в муравейник! Если у вас нет на примете никого получше, то мы поручим дело комарам: они летают и в дождь и в солнышко и знают лопушинный лес вдоль и поперек.

— У нас есть невеста для вашего сына! — сказали комары. — Шагах в ста отсюда на кустике крыжовника сидит в своем домике одна маленькая улитка. Она живет одна-одинешенька и как раз в таком возрасте, что может выйти замуж. Всего в ста человеческих шагах отсюда!

— Так пусть она явится к нему! — сказали старики. — У него целый лопушиный лес, а у нее всего-навсего один кустик!

За улиткой-невестой послали. Она отправилась в путь и благополучно добралась до лопухов на восьмой день путешествия. Вот что значит чистота породы.

Отпраздновали свадьбу. Шесть светляков светили изо всех сил; вообще же свадьба была очень тихая: старики не любили шума. Зато улитка-мамаша сказала чудеснейшую речь. Папаша не мог, он был так растроган! И вот старики отдали молодым во владение весь лопушиный лес, сказав при этом, как они и всю жизнь свою говорили, что лучше этого леса нет ничего на свете и что, если молодые будут честно и благородно жить и плодиться, то когда-нибудь им или их детям доведется попасть в усадьбу: там их сварят дочерна и положат на серебряное блюдо!

Затем старики вползли в свои домики и больше уже не показывались, — они заснули.

А молодые улитки стали царствовать в лесу и оставили после себя большое потомство. Попасть же в усадьбу и лежать на серебряном блюде им так и не удалось! Поэтому они решили, что усадьба совсем разрушилась, а все люди на свете повымерли. Никто им не противоречил, — значит, так оно и было. И вот дождь барабанил по лопуху, чтобы позабавить улиток, а солнце сияло, чтобы зеленел их лопух, и они были счастливы, счастливы! И вся их семья была счастлива, — так-то!





## ИСТОРИЯ ОДНОЙ МАТЕРИ



**М**ать сидела у колыбели своего ребенка; как она горевала, как боялась, что он умрет! Личико его совсем побледнело, глазки были закрыты, дышал он так слабо, а по временам тяжело-тяжело переводил дух, точно вздыхал...

И сердце матери сжималось еще больнее при взгляде на маленького страдальца.

Вдруг в дверь постучали, и вошел бедный старик, закутанный во что-то вроде лошадиной попоны, — попона ведь греет, а ему того и надо было: стояла холодная зима, на дворе все было покрыто снегом и льдом, а ветер так и резал лицо.

Видя, что старик дрожит от холода, а дитя задремало на минуту, мать отошла от колыбели, чтобы налить для гостя в кружку пива и поставить его погреться в печку. Старик же в это время подсел к колыбели и стал покачивать ребенка. Мать опустила на стул рядом, взглянула

на больного ребенка, прислушалась к его тяжелому дыханию и взяла его за ручку.

— Ведь я не лишусь его, не правда ли? — сказала она. — Господь не отнимет его у меня!

Старик — это была сама Смерть — как-то странно кивнул головою; кивок этот мог означать и «да» и «нет». Мать опустила голову, и слезы потекли по ее щекам... Скоро голова ее отяжелела, — бедная не смыкала глаз вот уже три дня и три ночи... Она забылась сном, но всего лишь на минуту; тут она опять встрепенулась и задрожала от холода.

— Что это!? — воскликнула она, озираясь вокруг: старик исчез, а с ним и дитя; старик унес его.

В углу глухо шипели старые часы; тяжелая, свинцовая гиря дошла до полу... Бум! И часы остановились.

Бедная мать выбежала из дома, и стала громко звать своего ребенка.

На снегу сидела женщина в длинном черном одеянии, она сказала матери:

— Смерть посетила твой дом, и я видела, как она скрылась с твоим малюткой. Она носится быстрее ветра и никогда не возвращает, что раз взяла!

— Скажи мне только, какую дорогой она пошла! — сказала мать. — Только укажи мне путь, и я найду ее!

— Я знаю, куда она пошла, но не скажу, пока ты не споешь мне всех песенок, которые певала своему малютке! — сказала женщина в черном. — Я очень люблю их. Я уже слышала их не раз, — я ведь Ночь и видела, как ты плакала, напевая их!..

— Я спую тебе их все, все! — отвечала мать. — Но не задерживай меня теперь, мне надо догнать Смерть, найти моего ребенка!

Ночь молчала, и мать, ломая руки и заливаясь слезами, запела. Много было спето песен — еще больше пролито слез. И вот Ночь промолвила:

— Ступай направо, прямо в темный сосновый бор; туда направилась Смерть с твоим ребенком!

Дойдя до перекрестка в глубине бора, мать остановилась. Куда идти теперь? У самого перекрестка стоял голый терновый куст, без листьев, без цветов; была ведь холодная зима, и он почти весь обледенел.

— Не проходила ли тут Смерть с моим ребенком?

— Проходила! — сказал терновый куст. — Но я не скажу, куда она пошла, пока ты не отогреешь меня на своей груди, у своего сердца. Я мерзну и скоро весь обледенею.

И она крепко прижала его к своей груди. Острые шипы глубоко вонзились ей в тело, и на груди ее выступили крупные капли крови... Зато терновый куст зазеленел и весь покрылся цветами, несмотря на холод зимней ночи, — так тепло у сердца скорбящей матери! И терновый куст указал ей дорогу.

Она привела мать к большому озеру; нигде не было видно ни корабля, ни лодки. Озеро было слегка затянуто льдом; лед этот не выдержал бы ее и в то же время он не позволял ей пуститься через озеро вброд; да и глубоко было! А ей все-таки надо было переправиться через него, если она хотела найти своего ребенка. И вот мать припала к озеру, чтобы выпить его все до дна; это невозможно для человека, но несчастная мать верила в чудо.

— Нет, из этого толку не будет! — сказала озеро. — Давай-ка лучше стоворимся! Я собираю жемчужины, а таких ясных и чистых, как твои глаза, я еще и не видывало. Если ты согласишься выплакать их в меня, я перенесу тебя на тот берег, к большой теплице, где Смерть растит свои цветы и деревья: каждое растение — человеческая жизнь!

— О, чего я не отдам, чтобы только найти моего ребенка! — сказала плачущая мать, залилась слезами еще сильнее, и вот глаза ее упали на дно озера и превратились в две драгоценные жемчужины. Озеро же подхватило мать, и она одним взмахом, как на качелях, перенеслась на другой берег, где стоял огромный диковинный дом. И не разобрать было — гора ли это, обросшая кустарником и вся изрытая пещерами, или здание; бедная мать, впрочем, и вовсе не видела его, — она ведь выплакала свои глаза.

— Где же мне найти Смерть, похитившую моего ребенка? — проговорила она.

— Она еще не возвращалась! — отвечала старая садовница, присматривавшая за теплицей Смерти. — Но как ты нашла сюда дорогу, кто помог тебе?

— Господь бог! — отвечала мать. — Он сжалился надо мною, сжался же и ты! Скажи, где мне искать моего ребенка?

— Да я ведь не знаю его! — сказала женщина. — А ты слепая! Сегодня в ночь завяло много цветов и деревьев, и Смерть скоро придет пересаживать их. Ты ведь знаешь, что у каждого человека есть свое дерево жизни или свой цветок, смотря по тому, каков он сам. С виду они совсем обыкновенные растения, но в каждом бьется сердце. Детское сердечко тоже бьется; обойди же все растения — может быть, ты и узнаешь сердце своего ребенка. А теперь, что ж ты мне дашь, если я скажу тебе, как поступать дальше?

— Мне нечего дать тебе! — отвечала несчастная мать. — Но я готова пойти для тебя на край света!

— Ну, там мне нечего искать! — сказала женщина. — А ты вот отдай-ка мне свои длинные черные волосы. Ты сама знаешь, как они хороши, а я люблю хорошие волосы. Я дам тебе в обмен свои седые; это все же лучше, чем ничего!

— Только-то? — сказала мать. — Да я с радостью отдам тебе свои волосы!

И она отдала старухе свои прекрасные, черные волосы, получив в обмен седые.

Потом она вошла в огромную теплицу Смерти, где росли вперемежку цветы и деревья; здесь цвели под стеклянными колпаками нежные гиацинты, там росли большие, пышные пионы, тут — водяные растения, одни свежие и здоровые, другие — полузачахшие, обвитые водяными змеями, стиснутые клешнями черных раков. Были здесь и великолепные пальмы, и дубы, и платаны; росли и петрушка и душистый тмин. У каждого дерева, у каждого цветка было свое имя; каждый цветок, каждое деревцо было человеческою жизнью, а сами-то люди были разбросаны по всему свету: кто жил в Китае, кто в Гренландии, кто где. Попадались тут и большие деревья, росшие в маленьких горшках; им было страшно тесно, и горшки чуть-чуть не лопались; зато было много и маленьких, жалких цветочков, росших в черноземе и обложенных мхом, за ними, как видно, заботливо ухаживали, лелеяли их. Несчастливая мать наклонялась ко всякому, даже самому маленькому, цветочку, прислушиваясь к биению его сердечка, и среди миллионов узнала сердце своего ребенка!

— Вот он! — сказала она, протягивая руку к маленькому голубому крокусу, который печально свесил головку.

— Не трогай цветка! — сказала старуха. — Но стань возле него и, когда Смерть придет — я жду ее с минуты на минуту, — не давай ей высадить его, пригрози вырвать какие-нибудь другие цветы. Этого она испугается — она ведь отвечает за них перед богом; ни один цветок не должен быть вырван без его воли.

Вдруг пахнуло ледяным холодом, и слепая мать догадалась, что явилась Смерть.

— Как ты нашла сюда дорогу? — спросила Смерть. — Как ты могла опередить меня?

— Я мать! — отвечала та.

И Смерть протянула было свою длинную руку к маленькому нежному цветочку, но мать быстро прикрыла его руками, стараясь не помять при этом ни единого лепестка. Тогда Смерть дохнула на ее руки; дыхание Смерти было холоднее северного ветра, и руки матери бессильно опустились.

— Не тебе тягаться со мною! — промолвила Смерть.

— Но бог сильнее тебя! — сказала мать.

— Я ведь только исполняю его волю! — отвечала Смерть. — Я его садовник, беру его цветы и деревья и пересаживаю их в великий райский сад, в неведомую страну, но как они там растут, что делается в том саду — об этом я не смею сказать тебе!

— Отдай мне моего ребенка! — взмолилась мать, заливаясь слезами, а потом вдруг захватила руками два великолепных цветка и закричала: — Я повырву все твои цветы, я в отчаянии!

— Не трогай их! — сказала Смерть. — Ты говоришь, что ты несчастна, а сама хочешь сделать несчастною другую мать!..

— Другую мать! — повторила бедная женщина и сейчас же выпустила из рук цветы.

— Вот тебе твои глаза! — сказала Смерть. — Я выловила их из озера — они так ярко блестели там; но я и не знала, что это твои. Возьми их — они стали яснее прежнего — и взгляни вот сюда, в этот глубокий колодец! Я назову имена тех цветков, что ты хотела вырвать, и ты увидишь все их будущее, всю их земную жизнь. Посмотри же, что ты хотела уничтожить!

И мать взглянула в колодец: отраднo было видеть, каким благодеянием была для мира жизнь одного, сколько счастья и радости дарил он окружающим! Взглянула

она и на жизнь другого — и увидела горе, нужду, отчаяние и бедствия!

— Обе доли — божья воля! — сказала Смерть.

— Который же из двух — цветок несчастья и который — счастья? — спросила мать.

— Этого я не скажу! — отвечала Смерть. — Но знай, что в судьбе одного из них ты видела судьбу своего собственного ребенка, все его будущее!

У матери вырвался крик ужаса.

— Какая же судьба ожидала моего ребенка? Скажи мне! Спаси невинного! Спаси мое дитя от всех этих бедствий! Лучше возьми его! Унеси его в царство божье! Забудь мои слезы, мои мольбы, все, что я говорила и делала!

— Я не пойму тебя! — сказала Смерть. — Хочешь ты, чтобы я отдала тебе твое дитя или чтобы унесла его в неведомую страну?

Мать заломила руки, упала на колени и взмолилась творцу:

— Не внемли мне, когда я прошу о чем-либо, несогласном с твоею всеблагою волей! Не внемли мне! Не внемли мне!

И она поникла головою...

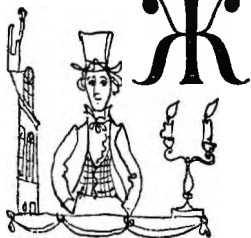
А Смерть понесла ее ребенка в неведомую страну.







## ВОРОТНИЧОК



**Ж**

ил-был щеголь; у него только и было за душой, что сапожная подставка, гребенка да еще чудеснейший щегольской воротничок. Вот о воротничке-то и пойдет речь.

Воротничок уже довольно пожил на свете и стал подумывать о женитьбе. Случилось ему раз попасть в стирку вместе с чулочною подвязкой.

— Ах! — сказал воротничок. — Что за грация, что за нежность и миловидность! Никогда не видел ничего подобного! Позвольте узнать ваше имя?

— Ах, нет-нет! — отвечала подвязка.

— А где вы, собственно, изволите пребывать?

Но подвязка была очень застенчива, вопрос показался ей нескромным, и она молчала.

— Вы, вероятно, завязка? — продолжал воротничок. — Вроде тесемки, которая стягивает платье на талии? Да-да, я вижу, милая барышня, что вы служите и для красоты и для пользы.

— Пожалуйста, не заводите со мной разговоров! — сказала подвязка. — Я, кажется, не подала вам никакого повода!

— Ваша красота — достаточный повод! — сказал воротничок.

— Ах, сделайте одолжение, держитесь подальше! — вскричала подвязка. — Вы на вид настоящий мужчина!

— Как же, я ведь щеголь! — сказал воротничок. — У меня есть сапожная подставка и гребенка!

И совсем неправда. Эти вещи принадлежали не ему, а его господину; воротничок просто хвастался.

— Подальше, подальше! — сказала подвязка. — Я не привыкла к такому обращению!

— Недотрога! — сказал воротничок.

Тут его взяли из корыта, выстирали, накрахмалили, высушили на солнце и положили на гладильную доску.

Появился горячий утюг.

— Сударыня! — сказал воротничок утюжной плитке. — Прелестная вдовушка! Я пылаю! Со мной происходит какое-то превращение! Я сгораю! Вы прожигаете меня насквозь! Ух!.. Вашу руку и сердце!

— Ах ты рвань! — сказала утюжная плитка и гордо проехала по воротничку. Она воображала себя локомотивом, который тащит за собой по рельсам вагоны. — Рвань! — повторила она.

Воротничок немножко пообтрепался по краям, и явились ножницы подровнять их.

— О! — воскликнул воротничок. — Вы, должно быть, первая танцовщица? Вы так чудесно вытягиваете ножки! Ничего подобного не видывал! Кто из людей может сравниться с вами? Вы бесподобны!

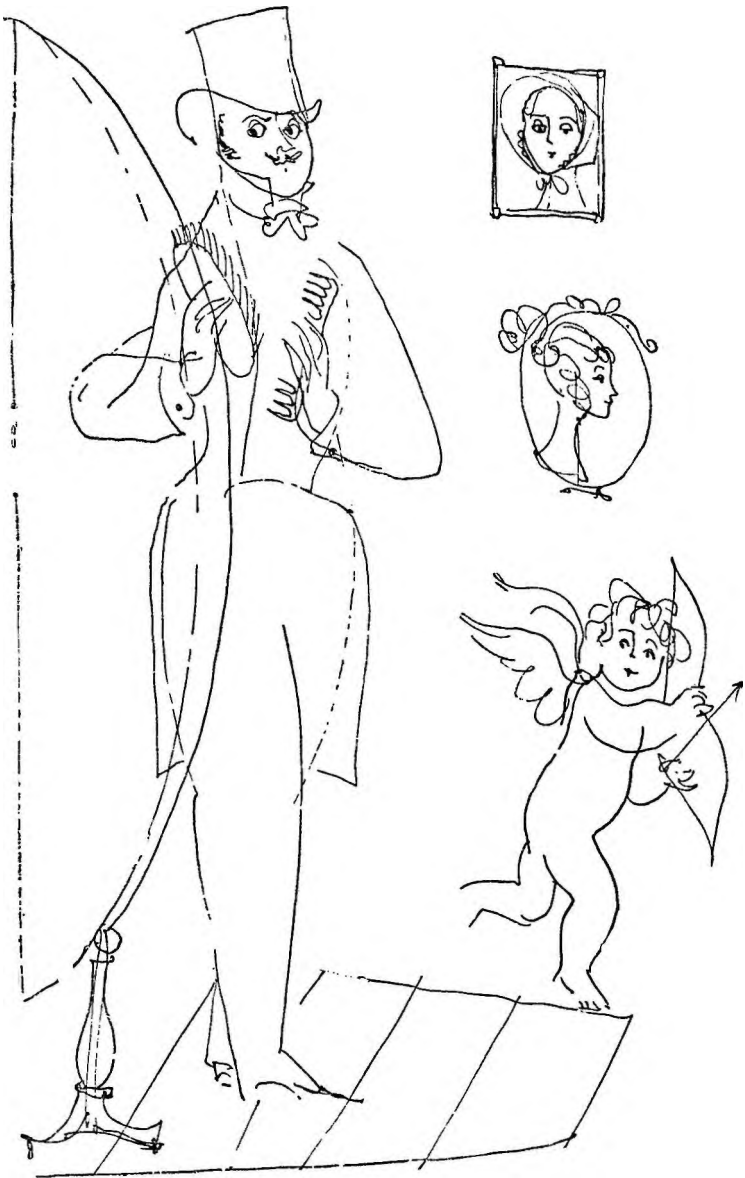
— Знаем! — сказали ножницы.

— Вы достойны быть графиней! — продолжал воротничок. — Я владею только барином-щеголем, сапожной подставкой и гребенкой... Ах, будь у меня графство...

— Он сватается?! — вскричали ножницы и, осердясь, с размаху так резнули воротничок, что совершенно искалечили его.

Пришлось его бросить.

— Остается присвататься к гребенке! — сказал воротничок. — Удивительно, как сохранились ваши зубки, барышня!.. А вы никогда не думали о замужестве?



— Как же! — сказала гребенка. — Я уже невеста! Выхожу за сапожную подставку!

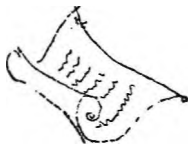
— Невеста! — воскликнул воротничок.

Теперь ему не за кого было свататься, и он стал презирать всякое сватовство.

Время шло, и воротничок попал наконец с прочим тряпьем на бумажную фабрику. Тут собралось большое тряпичное общество; тонкие тряпки держались, как и подобает, подальше от грубых. У каждой нашлось о чем порассказать, у воротничка, конечно, больше всех: он был страшный хвостун.

— У меня было пропасть невест! — тараторил он. — Так и бегали за мной. Еще бы! Подкрахмаленный, я выглядел таким франтом! У меня даже были собственные сапожная подставка и гребенка, хотя я никогда и не пользовался ими. Посмотрели бы вы на меня, когда я лежал, бывало, на боку! Никогда не забыть мне моей первой невесты — завязки! Она была такая тонкая, нежная, мягкая! Она бросилась из-за меня в лохань! Была тоже одна вдовушка; она дошла просто до белого каления!.. Но я оставил ее, и она почернела с горя! Еще была первая танцовщица; это она ранила меня, — видите? Бедовая была! Моя собственная гребенка тоже любила меня до того, что порастеряла от тоски все свои зубы! Вообще немало у меня было разных приключений!.. Но больше всего жаль мне подвязку, то бишь — завязку, которая бросилась из-за меня в лохань. Да, много у меня кое-чего на совести!.. Пора, пора мне стать белою бумагой!

Желание его сбылось: все тряпье стало белою бумагой, а воротничок — как раз вот этим самым листом, на котором напечатана его история, — так он был наказан за свое хвостовство. И нам тоже не мешает быть осторожнее: как знать? Может быть, и нам придется в конце концов попасть в тряпье да стать белою бумагой, на которой напечатают нашу собственную историю, и вот пойдем разносить по белу свету всю подноготную о самом себе!





## БУЗИННАЯ МАТУШКА



**О**дин маленький мальчик раз простудился, где он промочил себе ноги — никто и понятия не мог: погода стояла совсем сухая. Мать раздела его, уложила в постель и велела принести чайник, чтобы заварить бузинного чая — отличное потогонное! В это самое время в комнату вошел славный, веселый старичок, живший в верхнем этаже того же дома. Он был совсем одинок, не было у него ни жены, ни деток, а он так любил детей, умел рассказывать им такие чудесные сказки и истории, что просто чудо.

— Ну, вот, выпьешь свой чай, а потом, может быть, услышишь сказку! — сказала мать.

— То-то вот, если бы знать какую-нибудь новенькую! — отвечал старичок, ласково кивая головой. — Но где же это наш мальчуган промочил себе ноги?

— Да, вот где? — сказала мать. — Никто и понятия не может!

— А сказка будет? — спросил мальчик.

— Сначала мне нужно знать, глубока ли водосточная канавка в переулке, где ваше училище? Можешь ты мне сказать это?

— Как раз мне по голенище! — отвечал мальчик. — Но это в самом глубоком месте!

— Вот отчего у нас и мокрые ноги! — сказал старик. — Теперь следовало бы рассказать тебе сказку, да ни одной новой не знаю!

— Вы сейчас же можете сочинить ее! — сказал мальчик. — Мама говорит, что вы на что ни взглянете, до чего ни дотронетесь, из всего у вас выходит сказка или история.

— Да, но такие сказки и истории никуда не годятся. Настоящие, те приходят сами! Придут и постучатся мне в лоб: «Вот я!»

— А скоро какая-нибудь постучится? — спросил мальчик.

Мать засмеялась, засыпала в чайник бузинного чая и заварила.

— Ну, расскажите же! Расскажите какую-нибудь!

— Да, вот если бы пришла сама! Но они важные, приходят только, когда им самим вздумается! Стой, — сказал он вдруг. — Вот она! Гляди на чайник!

Мальчик посмотрел; крышка чайника начала приподыматься, и из-под нее выглянули свежие беленькие цветочки бузины, затем выросли и длинные зеленые ветви. Они росли даже из носика чайника, и скоро перед мальчиком был целый куст; ветви тянулись к самой постели и раздвигали занавески. Как славно цвела и благоухала бузина! Из зелени ее выглядывало ласковое лицо старушки, одетой в какое-то удивительное платье, зеленое, как листья бузины, и все усеянное белыми цветочками. Сразу даже не разобрать было — платье ли это, или просто зелень и живые цветочки бузины.

— Что это за старушка? — спросил мальчик.

— Римляне и греки звали ее Дриадой! — сказал старичок. — Но для нас это слишком мудреное имя, и в Новой слободке ей дали прозвище получше: Бузинная матушка. Смотри же на нее хорошенько да слушай, что я буду рассказывать!

Такой же точно большой, покрытый цветами куст рос в углу одного бедного дворика в Новой слободке. Под кустом сидели в послеобеденный час и грелись на сол-



нышке старичок со старушкой: старый отставной матрос и его жена. Старички были богаты детьми, внуками и правнуками и скоро должны были отпраздновать свою золотую свадьбу, да только не помнили хорошенько дня и числа. Из зелени глядела на них Бузинная матушка, такая же славная и приветливая, как вот эта, и говорила: «Я-то знаю день вашей золотой свадьбы!» Но старики были заняты разговором — они вспоминали старину — и не слышали ее.

— Да, помнишь, — сказал старый матрос, — как мы бегали и играли с тобой детьми! Вот тут, на этом самом дворе, мы сажали садик! Помнишь, втыкали в землю прутики и веточки?

— Да, да! — подхватила старушка. — Помню, помню! Мы усердно поливали эти веточки; одна из них была бузинная, пустила корни, ростки и вот как разрослась! Мы, старички, можем теперь сидеть в ее тени!

— Правда! — продолжал муж. — А вон в том углу стоял чан с водою. Там мы спускали в воду мой кораблик, который я сам вырезал из дерева. Как он плавал! А скоро мне пришлось пуститься и в настоящее плавание!

— Да, но прежде еще мы ходили в школу и кое-чему научились! — перебила старушка. — А потом нас конфирмовали. Мы оба прослезились тогда!.. А потом взялись за руки и пошли осматривать Круглую башню, взбирались на самый верх и любовались оттуда городом и морем. После же мы отправились в Фредериксберг и смотрели, как катались по каналам в своей великолепной лодке король с королевой.

— Да, и скоро мне пришлось пуститься в настоящее плавание! Много, много лет провел я вдали от родины!

— Сколько слез я пролила! Мне уж думалось, что ты умер и лежишь на дне морском! Сколько раз вставала я по ночам посмотреть, вертится ли флюгер. Флюгер-то вертелся, а ты все не приезжал! Я отлично помню, как раз, в самый ливень, во двор к нам приехал мусорщик. Я жила там в прислугах и вышла с мусорным ящиком, да остановилась в дверях. Погода-то была ужасная! В это самое время пришел почтальон и подал мне письмо от тебя. Пришлось же этому письму прогуляться по белу свету! Как я схватила его!.. И сейчас же принялась читать. Я смеялась и плакала зараз... Я была так рада! В письме говорилось, что ты теперь в теплых краях, где



растет кофе! Вот-то, должно быть, благословенная страна! Ты много еще о чем рассказывал в своем письме, и я все это словно видела перед собою. Дождь так и поливал, а я все стояла в дверях с мусорным ящиком. Вдруг кто-то обнял меня за талию...

— Да, и ты закатила ему такую звонкую пощечину, что любо!

— Ведь я же не знала, что это ты! Ты догнал свое письмо! Какой ты был бравый, красивый, да ты и теперь все такой же! Из кармана у тебя торчал желтый шелковый платок, а на голове красовалась клеенчатая шляпа. Такой щеголь! Но что за погодка стояла, и на что была похожа наша улица!

— Потом мы поженились! — продолжал старый матрос. — Помнишь? А там пошли у нас детки: первый мальчуган, потом Мари, Нильс, Петер и Ганс Христиан!

— Как все они повзросли и какими стали славными людьми! Все их любят!

— Теперь уж и у их детей есть дети! — сказал старичок. — И какие крепыши наши правнуки!.. Сдается мне, что наша свадьба была как раз в эту пору.

— Как раз сегодня! — сказала Бузинная матушка и просунула голову между старичками, но те подумали, что это кивает им головой соседка. Они сидели рука в руку и любовно смотрели друг на друга. Немного погодя пришли к ним дети и внучата. Они-то отлично знали, что сегодня день золотой свадьбы стариков, и уже поздравляли их утром, но старички успели позабыть об этом, хотя отлично помнили все, что случилось много, много лет тому назад. Бузина так и благоухала, солнышко садилось и светило на прощанье старичкам прямо в лицо, разрумянивая их щеки. Младший из внуков плясал вокруг дедушки с бабушкой и радостно кричал, что сегодня вечером у них будет пир: за ужином подадут горячий картофель! Бузинная матушка кивала головой и кричала «ура» вместе со всеми.

— Да ведь это вовсе не сказка! — сказал мальчуган, когда рассказчик остановился.

— Это ты так говоришь, — отвечал старичок, — а вот спроси-ка Бузинную матушку!

— Это не сказка! — отвечала Бузинная матушка. — Но сейчас начнется и сказка! Из действительности-то и

вырастают чудеснейшие сказки. Иначе бы мой благоухающий куст не вырос бы из чайника.

С этими словами она взяла мальчика на руки; ветви бузины, покрытые цветами, вдруг сдвинулись, и мальчик со старушкой очутились словно в густой беседке, которая понеслась с ними по воздуху. Вот было хорошо! Бузинная матушка превратилась в маленькую прелестную девочку, но платьице на ней осталось то же — зеленое, все усеянное белыми цветочками. На груди девочки красовался живой бузинный цветочек, на светло-русых кудрях — целый веночек из тех же цветов. Глаза у нее были большие, голубые. Ах, она была такая хорошенькая, что просто загляденье! Мальчик поцеловался с девочкой, и оба стали одного возраста, одних мыслей и чувств.

Рука об руку вышли они из беседки и очутились в саду перед домом. На зеленой лужайке стояла прислоненная к дереву тросточка отца. Для детей и тросточка была живая; стоило сесть на нее верхом, и блестящий набалдашник стал великолепной лошадиной головой с длинной развевающейся гривой; затем выросли четыре тонкие крепкие ноги, и горячий конь помчал детей вокруг лужайки.

— Теперь мы поскачем далеко-далеко! — сказал мальчик. — В барскую усадьбу, где мы были в прошлом году!

И дети скакали вокруг лужайки, а девочка — мы ведь знаем, что это была сама Бузинная матушка, — приговаривала:

— Ну, вот мы и за городом! Видишь крестьянские домики? Огромные хлебные печи выступают из стен, словно какие-то исполинские яйца! Над домиками раскинула свои ветви бузина. Вот бродит по двору петух! Знай себе разгребает сор и выскидывает корм для кур! Гляди, как он важно выступает!.. А вот мы и на высоком холме, у церкви! Какие славные развесистые дубы растут вокруг нее! Один из них наполовину вылез из земли с корнями!.. Вот мы у кузницы! Гляди, как ярко пылает огонь, как работают тяжелыми молотами полунагие люди! Искры сыплются дождем!.. Но дальше, дальше, в барскую усадьбу!

И все, что ни называла девочка, сидевшая верхом на палке позади мальчика, мелькало перед их глазами. Мальчик видел все это, а между тем они только кружились по лужайке. Потом они отправились в боковую аллею и

стали там устраивать себе маленький садик. Девочка вынула из своего венка один бузинный цветочек и посадила его в землю; он пустил корни и ростки и скоро вырос большой куст бузины, точь-в-точь как у старичков в Новой слободке, когда они были еще детьми. Мальчик с девочкой взялись за руки и тоже пошли гулять, но отправились не на Круглую башню и не в Фредериксбергский сад; нет, девочка крепко обняла мальчика, поднялась с ним на воздух, и они полетели над Данией. Весна сменялась летом, лето — осенью и осень — зимою; тысячи картин отражались в глазах и запечатлевались в сердце мальчика, а девочка все приговаривала:

— Этого ты не забудешь никогда!

А бузина благоухала так сладко, так чудно! Мальчик вдыхал и аромат роз и запах свежих буков, но бузина пахла всего сильнее, — ведь ее цветочки красовались у девочки на груди, а к ней он так часто склонялся головою.

— Как чудесно здесь весной! — сказала девочка, и они очутились в свежем, зеленом буковом лесу; у их ног цвела душистая белая буквица, из травки выглядывали прелестные бледно-розовые анемоны. — О, если бы вечно царил весна в благоухающих датских лесах!

— Как хорошо здесь летом! — сказала она, и они пронеслись мимо старой барской усадьбы с древним рыцарским замком; красные стены и фронтоны отражались в прудах; по ним плавали лебеди, заглядывая в темные, прохладные аллеи сада. Нивы волновались, точно море, во рвах пестрели красненькие и желтенькие полевые цветочки, по изгородям вился дикий хмель и цветущий вьюнок. А вечером высоко взошла круглая ясная луна, а с лугов понесся сладкий аромат свежего сена! — Это не забудется никогда!

— Как чудно здесь осенью! — снова говорила девочка, и свод небесный вдруг стал вдвое выше и синее. Леса запестрели красными, желтыми и еще зелеными листьями. Охотничьи собаки вырвались на волю! Целые стаи дичи с криком полетели над курганами, где лежат старые камни, обросшие ежевикой. На темно-синем море забелели паруса, а старухи, девушки и дети чистили хмель и бросали его в большие чаны. Молодежь распевала старинные песни, а старухи рассказывали сказки про троллей и домовых. — Лучше не может быть нигде!

— А как хорошо здесь зимою! — говорила она затем, и все деревья покрылись инеем; ветви их превратились в белые кораллы. Снег захрустел под ногами, точно у всех были надеты новые сапоги, а с неба посыпались, одна за другою, падучие звездочки. В домах зажглись елки, обвешанные подарками; все люди радовались и веселились. В деревнях, в крестьянских домиках не умолкали скрипки, летели в воздух яблочные пышки<sup>1</sup>. Даже самые бедные дети говорили: «Как хорошо зимою!»

Да, хорошо! Девочка показывала все это мальчику, и повсюду благоухала бузина, повсюду развевался красный флаг с белым крестом<sup>2</sup>, флаг, под которым плавал старый матрос из Новой слободки. И вот мальчик стал юношей, и ему тоже пришлось отправиться в дальнее плавание в теплые края, где растет кофе. На прощанье девочка дала ему цветок с своей груди, и он спрятал его в псалтырь. Часто вспоминал он на чужбине свою родину и раскрывал книгу — всегда на том самом месте, где лежал цветочек, данный ему на память! И чем больше юноша смотрел на цветок, тем свежее тот становился и сильнее пахнул, а юноше казалось, что до него доносится аромат датских лесов. В лепестках же цветка ему чудилось личико голубоглазой девочки; он как будто слышал ее шепот: «Как хорошо тут весной, летом, осенью и зимою!» И сотни картин проносились в его памяти.

Так прошло много лет; он состарился и сидел со своею старушкой женой под цветущим кустом бузины. Они держались за руки и говорили о былых днях и о своей золотой свадьбе, точь-в-точь как их прадед и прабабушка из Новой слободки. Голубоглазая девочка с бузинными цветочками в волосах и на груди сидела в ветвях бузины, кивала им головой и говорила: «Сегодня ваша золотая свадьба!» Потом она вынула из своего венка два цветочка, поцеловала их, и они заблестели сначала как серебряные, а потом как золотые. Когда же девочка возложила их на головы старичков, цветы превратились в короны, и муж с женой сидели под цветущим, благоухающим кустом, словно король с королевой.

И вот старик пересказал жене историю о Бузинной матушке, как сам слышал ее в детстве, и обоим казалось,

<sup>1</sup> Жажиточные крестьяне, устраивая у себя пир, бросают в народ яблочные пышки.

<sup>2</sup> Датский национальный флаг Даннеброг.

что в той истории было так много похожего на историю их собственной жизни. И как раз то, что было в ней похожего, больше всего и нравилось им.

— Да, так-то! — сказала девочка, сидевшая в зелени. — Кто зовет меня Бузинной матушкой, кто Дриадой, а настоящее-то мое имя Воспоминание. Я сижу на дереве, которое все растет и растет; я помню все и умею рассказывать обо всем! Покажи-ка, цел ли еще у тебя мой цветочек?

И старик раскрыл псалтырь: бузинный цветочек лежал такой свежий, точно его сейчас только вложили туда! Воспоминание дружески кивало старичкам, а те сидели в золотых коронах, освещенные пурпурным вечерним солнцем. Глаза их закрылись и, и... да тут и сказке конец!

Мальчик лежал в постели и сам не знал, видел ли он все это во сне, или только слушал сказку. Чайник стоял на столе, но из него не росла бузина, а старичок уже собирался уходить и скоро ушел.

— Какая прелесть! — сказал мальчик. — Мама, я побывал в теплых краях!

— Верю, верю! — сказала мать. — После двух таких чашек крепкого бузинового чая не мудрено побывать в теплых краях! — И она хорошенько укутала его, чтобы он не простудился. — Ты так славно поспал, пока мы со старичком сидели да спорили о том, сказка это или быть!

— А где же Бузинная матушка? — спросил мальчик.

— В чайнике! — ответила мать. — И пусть себе там останется!





## КОЛОКОЛ



**П**о вечерам, на закате солнца, когда вечерние облака отливали между трубами домов золотом, в узких улицах большого города слышен был по временам какой-то удивительный звон, — казалось, звонили в большой церковный колокол. Звон прорывался сквозь говор и грохот экипажей всего на минуту, — уличный шум ведь все заглушает — и люди, услышав его, говорили:

— Ну вот, звонит вечерний колокол! Значит, солнышко садится!

За городом, где домики расположены пореже и окружены садами и небольшими полями, вечернее небо было еще красивее, а колокол звучал куда громче, явственнее.

Казалось, что это звонят на колокольне церкви, сгоревшей где-то в самой глубине тихого, душистого леса. Люди невольно устремляли туда свои взоры, и души их овладевало тихое, торжественное настроение.

Время шло, и люди стали поговаривать:

— Разве в чаще леса есть церковь? А ведь у этого колокола такой красивый звук, что следовало бы отправиться в лес, послушать его вблизи!

И вот богатые люди потянулись туда в экипажах, бедные — пешком; но дороге, казалось, не было конца, и, достигнув опушки леса, все делали привал в тени росших тут ив и воображали себя в настоящем лесу. Сюда же понаехали из города кондитеры и разбили здесь свои палатки; один из них повесил над входом в свою небольшой колокол: он был без язычка, но зато смазан в защиту от дождя дегтем. Вернувшись домой, люди восторгались романтичностью всей обстановки, — сделать такую прогулку, дескать, не то, что просто пойти куда-нибудь за город выпить чаю! Трое уверяли, что исходили весь лес насквозь и всё продолжали слышать чудный звон, но им казалось уже, что он исходит из города. Один написал даже целую поэму, в которой говорилось, что колокол звучит, как голос матери, призывающей своего милого, умного ребенка; никакая музыка не могла сравниться с этим звоном!

Обратил свое внимание на колокол и сам император и даже обещал пожаловать того, кто разузнает, откуда исходит звон, во «всемирные звонари», хотя бы и оказалось, что никакого колокола не было.

Тогда масса народу стало ходить в лес ради того, чтобы добиться обещанного хлебного местечка, но лишь один принес домой более или менее путное объяснение. Никто не проникал в самую чашу леса, да и он тоже, но все-таки он утверждал, что звон производила большая сова, ударяясь головой о дуплистое дерево. Птица эта, как известно, считается эмблемой мудрости, но исходил ли звон из ее головы или из дупла дерева, этого он наверное сказать не мог. И вот его произвели во «всемирные звонари», и он стал ежегодно писать о сове по небольшой статейке. О колоколе же знали не больше прежнего.

И вот как-то раз, в день конфирмации, священник сказал детям теплое слово, и они все были очень растроганы. Это был для них важный день, — из детей они сразу стали взрослыми, более разумными существами, и детским душам их надлежало сразу же преобразиться. Погода стояла чудесная, солнечная, и молодежь отправилась прогуляться за город. Из леса доносились могучие, полные звуки неведомого колокола. Девушек и юношей охватило неудержи-

мое желание пойти разыскать его, и вот все, кроме троих, отправились по дороге к лесу. Одна из оставшихся торопилась домой примерять бальное платье: ведь только ради этого платья и бала, для которого его сшили, она и конфирмовалась в этот именно раз, — иначе ей можно было бы и не торопиться с конфирмацией! Другой, бедный юноша, должен был возратить в назначенный час праздничную куртку и сапоги хозяйскому сыну, у которого он взял их для этого торжественного случая. Третий же просто сказал, что никуда не ходит без родителей, особенно по незнакомым местам, что он всегда был послушным сыном, останется таким же и после конфирмации, и над этим нечего смеяться, — а другие все-таки смеялись.

Итак, молодежь отправилась в путь. Солнце сияло, птички распевали, а молодежь вторила им. Все шли, взявшись за руки; они еще не занимали никаких должностей и все были равны, все были просто конфирманты.

Но скоро двое самых младших устали и повернули назад; две девочки уселись на травке плести венки, а остальные, добравшись до самой опушки леса, где были раскинуты палатки кондитеров, сказали:

— Ну вот, и добрались до места, а колокола ведь никакого на самом деле и нет! Одно воображение!

Но в ту же минуту из глубины леса донесся такой гармоничный, торжественный звон, что четверо-пятеро из них решили углубиться в лес. А лес был густой-прегустой, трудно было и пробираться сквозь чащу деревьев и кустов. Ноги путались в высоких стеблях дикого яминника и анемонов, дорогу преграждали цепи цветущего вьюнка и ежевики, перекинутые с одного дерева на другое. Зато в этой чаще пел соловей, бегали солнечные зайчики. Ах, здесь было чудо как хорошо! Но не девочкам было пробираться по этой дороге, они бы разорвали тут свои платья в клочки. На пути попадались и большие каменные глыбы, обросшие разноцветным мхом; из-под них, журча, пробивались свежие болтливые струйки источников. Повсюду слышалось их мелодичное «клюк-клюк»!

— Да не колокол ли это? — сказал один из путников, лег на землю и стал прислушиваться. — Надо это расследовать хорошенько!

И он остался; другие пошли дальше.



Вот перед ними домик, выстроенный из древесной коры и ветвей. Высокая лесная яблоня осеняла его своей зеленью и словно собиралась высыпать ему на крышу всю свою благодать плодов. Крыльцо было обвито цветущим шиповником, здесь же висел и маленький колокол. Не его ли это звон доносился до города? Все, кроме одного из путников, так и подумали; этот же юноша сказал, что колокол слишком мал, звон его слишком нежен и не может быть слышен на таком расстоянии. Кроме того, неведомый колокол имел совсем иной звук, хватавший прямо за сердце! Но юноша был королевич, и другие сказали:

— Ну, этот вечно хочет быть умнее всех!

И они предоставили ему продолжать путь одному. Он пошел; и чем дальше шел, тем сильнее проникался торжественным уединением леса. Издали слышался звон колокольчика, которому так обрадовались его товарищи, а время от времени ветер доносил до него и песни и говор компании, распивавшей чай в палатке кондитера, но глубокий, полный звон большого колокола покрывал все эти звуки. Казалось, что это играет церковный орган; музыка слышалась слева, с той стороны, которая ближе к сердцу.

Вдруг в кустах послышался шорох, и перед королевичем появился юноша в деревянных башмаках и в такой тесной и короткой куртке, что рукава едва заходили ему за локти. Оба узнали друг друга; бедный юноша был тот самый, которому надо было торопиться возвратить хозяйскому сыну праздничную куртку и сапоги. Покончив с этим и надев свою собственную плохонькую куртку и деревянные башмаки, он отправился в лес один: колокол звучал так дивно, что он не мог не пойти!

— Так пойдем вместе! — сказал королевич.

Но бедный юноша был совсем смущен, дергал свои рукава и сказал, что боится не поспеть за королевичем, да и, кроме того, по его мнению, колокол надо идти искать направо, — все великое и прекрасное всегда ведь держится этой стороны.

— Ну, в таком случае дороги наши расходятся! — сказал королевич и кивнул бедному юноше, который направился в самую чащу леса; терновые колючки рвали его бедную одежду, царапали до крови лицо, и руки, и ноги. Королевич тоже получил несколько добрых царапин,

но его дорога все-таки освещалась солнышком, и за ним-то мы и пойдем, — он был бравый малый!

— Я хочу найти и найду колокол! — говорил о н . — Хотя бы мне пришлось идти на край света!

Гадкие обезьяны сидели в ветвях деревьев и скалили зубы.

— Забросаем его чем попало! — говорили они. — Забросаем его: он ведь королевич!

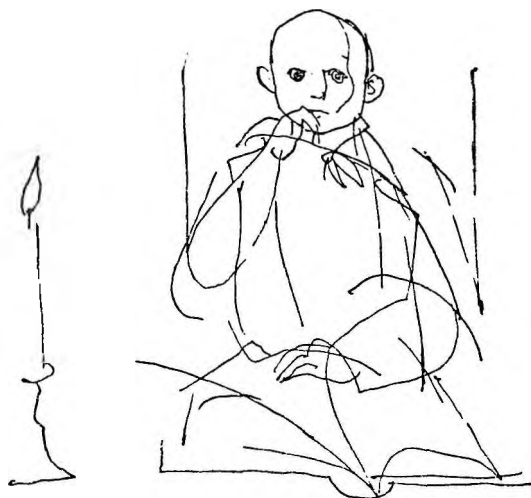
Но он продолжал свой путь, не останавливаясь, и углубился в самую чащу. Сколько росло тут чудных цветов! Белые чашечки лилий с ярко-красными тычинками, небесно-голубые тюльпаны, колеблемые ветром, яблони, отягченные плодами, похожими на большие блестящие мыльные пузыри. Подумать только, как все это блестело на солнце! Попадались тут и чудесные зеленые лужайки, окруженные великолепными дубами и буками. На лужайках резвились олени и лани. Некоторые из деревьев были с трещинами, и из них росли трава и длинные, цепкие стебли вьющихся растений. Были тут и тихие озера; по ним плавали, хлопая белыми крыльями, дикие лебеди. Королевич часто останавливался и прислушивался, — ему казалось порою, что звон раздается из глубины этих тихих озер. Но скоро он замечал, что ошибся, — звон раздавался откуда-то из глубины леса.

Солнце стало садиться, небо казалось совсем огненным, в лесу воцарилась торжественная тишина. Королевич упал на колени, пропел вечерний псалом и сказал:

— Никогда мне не найти того, чего ишу! Вот и солнце заходит, скоро наступит темная ночь. Но мне, может быть, удастся еще раз взглянуть на красное солнышко, прежде чем оно зайдет, если я взберусь на те скалы, — они выше самых высоких деревьев!

И, цепляясь за стебли и корни, он стал карабкаться по мокрым камням, из-под которых выползали ужи, а безобразные жабы точно собирались залаять на него. Он все-таки достиг вершины раньше, чем солнце успело закатиться, и бросил взор на открывшийся перед ним вид. Что за красота, что за великолепие! Перед ним волновалось беспредельное чудное море, а там, где море сливалось с небом, горело, словно большой сияющий алтарь, солнце. Все сливалось, все тонуло в чудном сиянии красок. Лес и море пели, сердце королевича вторило им. Вся природа была одним обширным чудным храмом; деревья и медли-

тельные облака — стройными колоннами, цветы и трава — богатыми коврами, небо — огромным куполом. Яркие, блестящие краски потухали вместе с солнцем, зато вверх зажигались миллионы звезд, миллионы бриллиантовых огоньков, и королевич простер руки к небу, морю и лесу... В ту же минуту справа появился бедный юноша в куртке с короткими рукавами и в деревянных башмаках. Он тоже успел добраться сюда, хотя шел своей дорогой. Юноши бросились друг к другу и обнялись в этом обширном храме природы и поэзии, а над ними все звучал невидимый священный колокол и хоры блаженных духов сливались в одном ликующем «Аллилуйя!»





## ЛЕН



**Л**ен цвел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, даже еще нежнее! Солнце ласкало его, дождь поливал, и льну это было так же полезно и приятно, как маленьким детям, когда мать сначала умывает их, а потом поцелует, дети от этого хорошеют, хорошел и лен.

— Все говорят, что я уродился на славу! — сказал лен. — Говорят, что я еще вытянусь, и потом из меня выйдет отличный кусок холста! Ах, какой я счастливый! Право, я счастливее всех! Это так приятно, что и я пригожусь на что-нибудь! Солнышко меня веселит и оживляет, дождичек питает и освежает! Ах, я так счастлив, так счастлив! Я счастливее всех!

— Да, да, да! — сказали колья изгороди. — Ты еще не знаешь света, а мы так вот знаем, — вишь, какие мы сучковатые!

И они жалобно заскрипели:

Оглянуться не успеешь,  
Как уж песенке конец!

— Вовсе не конец! — сказал лен. — И завтра опять будет греть солнышко, опять пойдет дождик! Я чувствую, что расту и цвету! Я счастливее всех на свете!

Но вот раз явились люди, схватили лен за макушку и вырвали с корнем. Больно было! Потом его положили в воду, словно собирались утопить, а после того держали над огнем, будто хотели изжарить. Ужас что такое!

— Не вечно же нам жить в свое удовольствие! — сказал лен. — Приходится и потерпеть. Зато поумнеешь!

Но льну приходилось уж очень плохо. Чего-чего только с ним не делали: и мяли, и тискали, и трепали, и чесали — да просто всего и не упомнишь! Наконец, он очутился на прялке. Жжж! Тут уж поневоле все мысли вразброд пошли!

«Я ведь так долго был несказанно счастлив! — думал он во время этих мучений. — Что ж, надо быть благодарным и за то хорошее, что выпало нам на долю! Да, надо, надо!.. Ох!»

И он повторял то же самое, даже попав на ткацкий станок. Но вот наконец из него вышел большой кусок великолепного холста. Весь лен до последнего стебелька пошел на этот кусок.

— Но ведь это же бесподобно! Вот уж не думал, не гадал-то! Как мне, однако, везет! А колья-то все твердили: «Оглянуться не успеешь, как уж песенке конец!» Много они смыслили, нечего сказать! Песенке вовсе не конец! Она только теперь и начинается. Вот счастье-то! Да, если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь из меня и вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на свете! Какой я теперь крепкий, мягкий, белый и длинный! Это небось получше, чем просто расти или даже цвести в поле! Там никто за мною не ухаживал, воду я только и видал, что в дождик, а теперь ко мне приставили прислугу, каждое утро меня переворачивают на другой бок, каждый вечер поливают из лейки! Сама пасторша держала надо мною речь и сказала, что во всем околотке не найдется лучшего куска! Ну, можно ли быть счастливее меня!

Холст взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну, и досталось же ему! Его и резали, и кроили, и кололи иголками — да, да! Нельзя сказать, чтобы это было приятно! Зато из холста вышло двенадцать пар... таких принадлежностей туалета, которые не принято называть в

обществе, но в которых все нуждаются. Целых двенадцать пар вышло!

— Так вот когда только из меня вышло кое-что! Вот каково было мое назначение! Да ведь это же просто благодать! Теперь и я приношу пользу миру, а в этом ведь вся и суть, в этом-то вся и радость жизни! Нас двенадцать пар, но все же мы одно целое, мы — дюжина! Вот так счастье!

Прошли года, и белье износилось.

— Всему на свете бывает конец! — сказала оно. — Я бы и радо было послужить еще, но невозможное — невозможно!

И вот белье разорвали на тряпки. Они было уже думали, что им совсем пришел конец, так их принялись рубить, мять, варить, тискать... Ан, глядь — они превратились в тонкую белую бумагу!

— Нет, вот сюрприз так сюрприз! — сказала бумага. — Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать. Чего только на мне не напишут! Какое счастье!

И на ней написали чудеснейшие рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее, — так хорошо и умно они были написаны. Какое счастье, что люди смогли их прочитать!

— Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в поле голубенькими цветочками! — говорила бумага. — И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю счастье нести людям радость и знания! Я все еще не могу прийти в себя от счастья! Самой себе не верю! Но ведь это так! Господь бог знает, что сама я тут ни при чем, я старалась только по мере слабых сил своих не даром занимать место! И вот он ведет меня от одной радости и почести к другой! Всякий раз, как я подумаю: «Ну, вот и песенке конец», — тут-то как раз и начинается для меня новая, еще высшая, лучшая жизнь! Теперь я думаю отправиться в путь-дорогу, обойти весь свет, чтобы все люди могли прочесть написанное на мне! Так ведь и должно быть! Прежде у меня были голубенькие цветочки, теперь каждый цветочек расцвел прекраснейшею мыслью! Счастливее меня нет никого на свете!

Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию, и все, что на ней было написано, перепечатали в книгу, да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие беско-

нечно большому числу людей, нежели одна та бумага, на которой были написаны рассказы: бегая по белу свету, она бы истрепалась на полпути.

«Да, конечно, так дело-то будет вернее! — подумала исписанная бумага. — Этого мне и в голову не приходило! Я останусь дома отдыхать, и меня будут почитать, как старую бабушку! На мне ведь все написано, слова стекали с пера прямо на меня! Я останусь, а книги будут бегать по белу свету! Вот это дело! Нет, как я счастлива; как я счастлива!

Тут все отдельные листы бумаги собрали, связали вместе и положили на полку.

— Ну, можно теперь и опочить на лаврах! — сказала бумага. Не мешает тоже собраться с мыслями и сосредоточиться! Теперь только я поняла как следует, что во мне есть! А познать себя самое — большой шаг вперед. Но что же будет со мной потом? Одно я знаю — что непременно двинусь вперед! Все на свете постоянно идет вперед, к совершенству.

В один прекрасный день бумагу взяли, да и сунули в плиту; ее решили сжечь, так как ее нельзя было продать в мелочную лавочку на обертку масла и сахара.

Дети обступили плиту; им хотелось посмотреть, как бумага вспыхнет и как потом по золе начнут перебегать и потухать одна за другою шаловливые, блестящие искорки! Точь-в-точь ребятишки бегут домой из школы! После всех выходит учитель — это последняя искра. Но иногда думают, что он уже вышел — ан нет! Он выходит еще много времени спустя после самого последнего школьника!

И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула!

— Уф! — сказала она и в ту же минуту превратилась в столб пламени, которое взвилось в воздух высоко-высоко, лен никогда не мог поднять так высоко своих голубеньких цветочных головок, и пламя сияло таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы в одно мгновение зарделись, и все слова и мысли обратились в пламя!

— Теперь я взвьюсь прямо к солнцу! — сказала пламя, словно тысячами голосов зараз, и взвилось в трубу. А в воздухе запорхали крошечные незримые существа, легче, воздушнее пламени, из которого родились. Их было столько же, сколько когда-то было цветочков на льне. Ко-

гда пламя погасло, они еще раз проплясали по черной золе, оставляя на ней блестящие следы в виде золотых искорок. Ребятишки выбежали из школы, за ними вышел и учитель; любо было поглядеть на них! И дети запели над мертвою золой:

Оглянуться не успеешь,  
Как уж песенке конец!

Но незримые крошечные существа говорили:

— Песенка никогда не кончается — вот что самое чудесное! Мы знаем это, и потому мы счастливее всех!

Но дети не расслышали ни одного слова, а если б и расслышали, — не поняли бы. Да и не надо! Не все же знать детям!







## БАБУШКА



**Б**абушка такая старенькая, лицо все в морщинах, волосы белые-белые, но глаза что твои звезды — такие светлые, красивые и ласковые! И каких только чудных историй не знает она! А платье на ней из толстой шелковой материи крупными цветами — так и шуршит! Бабушка много-много чего знает; она живет ведь на свете давным-давно, куда дольше папы и мамы — право! У бабушки есть псалтырь — толстая книга в переплете с серебряными застежками, и она часто читает ее. Между листами книги лежит сплюснутая высохшая роза. Она совсем не такая красивая, как те розы, что стоят у бабушки в стакане с водою, а бабушка все-таки ласковее всего улыбается именно этой розе и смотрит на нее со слезами на глазах. Отчего это бабушка так смотрит на высохшую розу? Знаешь?

Всякий раз как слезы бабушки падают на цветок, краски его вновь оживляются, он опять становится пышной розой, вся комната наполняется благоуханием, стены тают, как туман, и бабушка — в зеленом, залитом солнцем

лесу! Сама бабушка уже не дряхлая старушка, а молодая, прелестная девушка с золотыми локонами и розовыми кругленькими щечками, которые поспорят с самими розами. Глаза же ее... Да, вот по милым, кротким глазам ее и можно узнать! Рядом с ней сидит красивый, мужественный молодой человек. Он даст девушке розу, и она улыбается ему... Ну, бабушка так никогда не улыбается! Ах нет, вот и улыбается! Он уехал. Пронесются другие воспоминания, мелькает много образов; молодого человека больше нет, роза лежит в старой книге, а сама бабушка... сидит опять на своем кресле, такая же старенькая, и смотрит на высохшую розу.

Но вот бабушка умерла! Она сидела, как всегда, в своем кресле и рассказывала длинную-длинную чудесную историю, а потом сказала:

— Ну, вот и конец! Теперь дайте мне отдохнуть; я устала и сосну немножко.

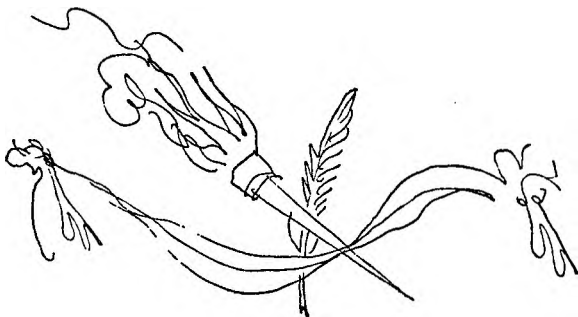
И она откинулась назад, вздохнула и заснула. Но дыхание ее становилось все тише и тише, а лицо стало таким спокойным и радостным, словно его освещало ясное солнышко! И вот сказали, что она умерла.

Бабушку завернули в белый саван и положили в черный гроб; она была такая красивая даже с закрытыми глазами! Все морщины исчезли, на устах застыла улыбка, серебряная седина внушала почтение. Нисколько и не страшно было взглянуть на мертвую — это была ведь та же милая, добрая бабушка! Псалтырь положили ей под голову — так она велела; роза осталась в книге. И вот бабушку похоронили.

На могиле ее, возле самой кладбищенской ограды, посадили розовый куст. Он был весь в цвету: над ним распевал соловей, а из церкви доносились чудные звуки органа и напевы тех самых псалмов, что были написаны в книге, на которой покоилась голова умершей. Луна стояла прямо над могилой, но тень усопшей никогда не появлялась. Любой ребенок мог бы преспокойно отправиться туда ночью и сорвать розу, просунув ручонку за решетку. Мертвые знают больше нас, живых; они знают, как бы мы испугались, если б вдруг увидели их перед собою. Мертвые лучше нас и потому не являются нам. Гроб зарыт в землю и внутри его тоже одна земля. Листы псалтыря стали прахом, роза, с которой было связано столько воспоминаний, — тоже. Но над могилой цветут новые розы,

над ней поет соловей, к ней несутся звуки органа, и жива еще память о старой бабушке с милым, вечно юным взором! Взор не умирает никогда! И мы когда-нибудь узрим бабушку такую же юною и прекрасною, как тогда, когда она впервые прижала к устам свежую алую розу, которая теперь истлела в могиле.





## ПТИЦА ФЕНИКС



**В** райском саду под деревом познания цвел розовый куст; в первой же распутившейся на нем розе родилась птица; перья ее отливали чудными красками, полет ее был — сиянием, пение — дивной гармонией.

Но вот Ева вкусила от дерева познания и ее вместе с Адамом изгнали из рая, а от пламенного меча ангела возмездия упала в гнездо одна искра. Гнездо вспыхнуло, и птица сгорела, но из раскаленного яйца вылетела новая, единственная, всегда единственная в мире птица феникс. Мифы говорят, что она вьет себе гнездо в Аравии и каждые сто лет сама сжигает себя в гнезде, но из раскаленного яйца вылетает новый феникс, опять единственный в мире.

Быстрая, как луч света, блистая чудною окраской перьев, чаруя своим дивным пением, летает вокруг нас дивная птица.

Мать сидит у колыбели ребенка, а птица витает над его изголовьем, и от веяния ее крыл вокруг головки ре-

бенка образуется сияние. Залетает птица и в скромную хижину труженика, и тогда луч солнца озаряет хижину, а жалкий деревянный сундук начинает благоухать фиалками.

Птица феникс не вечно остается в Аравии. Она парит вместе с северным сиянием и над ледяными равнинами Лапландии, порхает между желтыми цветами, питомцами короткого лета, и в Гренландии. В глубине Фалунских рудников и в угольных шахтах Англии вьется она напудренной молю над молитвенником в руках благочестивого рабочего; в цветке лотоса плавает по священным водам Ганга, и глаза молодой индийской девушки загораются при виде ее огнем восторга!

Птица феникс! Разве ты не знаешь ее, этой райской птицы, священного лебедя песнопений? На колеснице Фесписа<sup>1</sup> сидела она болтливым вороном, хлопая черными крыльями; по струнам арфы исландского скальда звонко ударяла красным клювом лебедя; на плечо Шекспира опускалась вороном Одина и шептала ему на ухо: «Тебя ждет бессмертие»; в праздник певцов порхала в рыцарской зале Вартбурга.

Птица феникс! Разве ты не знаешь ее? Это она ведь пропела тебе марсельезу, и ты целовал перо, выпавшее из ее крыла; она являлась тебе в небесном сиянии, а ты, может быть, отворачивался от нее к воробьям с крыльями, раззолоченными сусальным золотом!..

Райская птица, каждое столетие погибающая в пламени и вновь возрождающаяся из пепла, твои золотые изображения висят в роскошных чертогах богачей, сама же ты часто блуждаешь неприютная, одинокая!.. Птица феникс, обитающая в Аравии, — только миф!

В райском саду родилась ты под деревом познания, в первой распутившейся розе, и творец отметил тебя своим поцелуем и дал тебе настоящее имя — Поэзия!

---

<sup>1</sup> Феспис (жил в Аттике около 550 г. до н. э.), согласно преданиям, был отцом трагедии и разъезжал по стране во главе странствующей труппы актеров; сценой им служила их же повозка.





## СОН



**В**се яблони в саду покрылись бутонами — цветочкам хотелось опередить зеленые листья. По двору разгуливали утята, на солнышке потягивалась и нежилась кошка, облизывая свою собственную лапку. Хлеба в полях стояли превосходные, птички пели и щебетали без умолку, словно в день великого праздника. В сущности, оно так и было — день-то был воскресный. Слышался благовест, и люди, разодетые по-праздничному, с веселыми, довольными лицами шли в церковь. Да, право, и вся природа вокруг как будто сияла! Денек выдался такой теплый, благодатный, что так вот и хотелось воскликнуть: «Велика милость божья к нам, людям!»

Но с церковной кафедры раздавались не такие речи; пастор громко и сурово доказывал слушателям, что все люди — безбожники, что бог накажет их, свергнет по смерти в геенну огненную, где огонь неугасающий и червь неумирающий! Вечно будут они мучиться там, без конца, без отдыха! Просто ужас брал, слушая его! Он говорил

ведь так уверенно, так подробно описывал преисподнюю, эту смрадную яму, куда стекаются нечистоты со всего мира и где грешники задыхаются в серном, удушливом воздухе, погружаясь, среди вечного безмолвия, в бездонную трясиину все глубже и глубже!.. Да, страшно было даже слушать, тем более что пастор говорил с такой искренней верой; все бывшие в церкви просто трепетали от ужаса.

А за церковными дверями так весело распевали птички, так славно сияло солнышко, и каждый цветочек как будто говорил: «Велика милость божья к нам всем!» Все это было так непохоже на то, о чем говорил пастор.

Вечером, перед тем как ложиться спать, пастор заметил, что жена его сидит в каком-то грустном раздумье.

— Что с тобой? — спросил он ее.

— Что со мной? — проговорила она. — Да вот, я все не могу хорошенько разобраться в своих мыслях. Не могу взять в толк того, что ты говорил сегодня утром... Неужели и в самом деле на свете так много безбожников, и все они будут гореть в огне вечно?.. Подумать только, так долго — вечно! Нет, я только слабая, грешная душа, как и все, но если и у меня не хватило бы духа осудить на вечные муки даже самого злейшего грешника, то как же может решиться на это господь бог? Он ведь бесконечно милосерден и знает, что грех бывает и вольный и невольный! Нет, что ты там ни говори, а я не пойму этого никогда!

Настала осень; вся листва с деревьев пооблетела; серьезный, суровый пастор сидел у постели умирающей. Благочестивая, верующая душа отходила в другой мир. Это была жена пастора.

— Если кого ждет за гробом вечный покой и милость божья, так это тебя! — промолвил пастор, сложил умершей руки и прочел над ней молитву.

Ее схоронили; две крупные слезы скатились по щекам сурового пастора. В пасторском доме стало тихо, пусто — закатилось его ясное солнышко, умерла хозяйка.

Ночью над головою пастора пронеслась вдруг холодная струя ветра. Он открыл глаза. Комната была словно залита лунным светом, хотя ночь не была лунная. Свет этот шел от стоявшей у постели прозрачной фигуры. Пастор

увидел перед собою тень своей покойной жены. Она устремила на него скорбный взгляд и как будто хотела сказать что-то.

Пастор слегка приподнялся, протер руки к призраку и сказал:

— Неужели и ты не обрела вечного покоя? И ты страдаешь? Ты, добродетельнейшая, благочестивейшая душа?!

Тень утвердительно кивнула головой и прижала руку к сердцу.

— И от меня зависит дать тебе это успокоение?



— Да! — донеслось до него.

— Но как?

— Дай мне волос, один-единственный волос с головы того грешника, который будет осужден на вечные муки, свергнут богом в геенну огненную.

— Так мне легко будет освободить тебя, чистая, благочестивая душа! — сказал он.

— Следуй же за мною! — сказала тень. — Нам разрешено лететь с тобой всюду, куда бы ни повлекли тебя твои мысли! Незримые ни для кого, заглянем мы в самые тайники человеческих душ, и ты твердою рукой укажешь мне осужденного на вечные муки. Он должен быть найден, прежде чем пропоет петух.

И вот они мгновенно, словно перенесенные самой мыслью, очутились в большом городе. На стенах домов



начертаны были огненными буквами названия смертных грехов: высокомерие, скупость, пьянство, сладострастие... Словом, тут сияла вся семицветная радуга грехов.

— Так я и думал, так и знал! Вот где обитают обреченные вечно гореть в огне преисподней! — сказал пастор.

Они остановились перед великолепно освещенным подъездом. Широкие лестницы, устланные коврами, уставленные цветами, вели в покои, где гремела бальная музыка. У подъезда стоял швейцар, разодетый в шелк и бархат, с большою серебряною булавой в руках.

— Наш бал поспорит с королевским! — сказал он, оборачиваясь к уличной толпе, а вся его фигура так и говорила: «Весь этот жалкий сброд, что глазеет в двери, мразь в сравнении со мною!»

— Высокомерие! — сказала тень усопшей. — Заметил ты его?

— Его! — повторил пастор. — Да ведь он просто глупец, шут! Кто же осудит его на вечную муку?

— Шут! — пронеслось эхом по всей этой обители высокомерия; все жильцы ее были таковы!

Пастор и призрак понеслись дальше и очутились в жалкой каморке с голыми стенами. Тут обитала Скупость. Исхудалый, дрожащий от холода, голодный и изнывающий от жажды старик цеплялся всею душой, всеми помыслами за свое золото. Они видели, как он, словно в лихорадке, вскакивал с жалкого ложа и вынимал из стены кирпич — за ним лежало в старом чулке его золото, потом ощупывал дрожащими влажными пальцами свой изношенный кафтан, в котором тоже были зашиты золотые монеты.

— Он болен! Это жалкий безумец, не знающий ни покоя, ни сна! — сказал пастор.

Они поспешно унеслись прочь и очутились в тюрьме, у нар, на которых спали вповалку преступники. Вдруг один из них испустил ужасный крик, вскочил со сна, как дикий зверь, и принялся толкать своими костлявыми локтями спящего рядом соседа. Тот повернулся и проговорил спросонья:

— Замолчи, скот, и спи! И это каждую ночь!..

— Каждую ночь! — повторил первый. — Да, он каждую ночь и приходит ко мне, воеет и душит меня... Сгоряча я много делал злого, таким уж я уродился! Оттого я опять

и угодил сюда! Но коли я грешил, так теперь и несу наказание! В одном только я не повинился еще. Когда меня в последний раз выпустили отсюда на волю и я проходил мимо двора моего хозяина, сердце во мне вдруг так вот и закипело... Я чиркнул о стенку спичкою, огонек слегка лизнул соломенную крышу, и все вспыхнуло разом. Пошла тут кутерьма не хуже, чем была у меня в душе!.. Я помогал спасать скот и имущество. Не сгорело ни одной живой души, кроме стаи голубей, которые влетели прямо в огонь, да цепного пса. О нем-то я и не вспомнил. Слышно было, как он выл в пламени... Вой этот и до сих пор отдается у меня в ушах, как только я начну засыпать, а засну — пес тут как тут, большущий, лохматый!.. Он наваливается на меня, вост, давит меня, душит... Да ты слушай, что я тебе рассказываю! Успеешь выспаться! Небось храпишь всю ночь, а я не могу забыться и на четверть часа!

И глаза безумца налились кровью, он бросился на соседа и стал бить его по лицу кулаками.

— Злой Мас опять взбесился! — слышались голоса, и другие преступники бросились на него, повалили, перегнули так, что голова его очутилась между ногами, и крепко-накрепко связали его. Кровь готова была брызнуть у него из глаз и изо всех пор кожи.

— Вы убьете несчастного! — вскричал пастор и протянул руку на защиту грешника, который так жестоко страдал еще при жизни, но обстановка вокруг опять изменилась.

И вот они пролетали через богатые дворцы, через бедные хижины; сладострастие, зависть — все смертные грехи проходили перед ними. Ангел возмездия громко перечислял грехи людей и затем все, что могло послужить в их оправдание. Немногое можно было сказать в защиту людей, но бог читает в сердцах, видит все смягчающие обстоятельства, знает, что грех бывает вольный и невольный, да и велика милость его, всемилосердного, всеблагого! И рука пастора дрожала, он не смел протянуть ее, чтобы сорвать волос с головы грешника. Слезы ручьем полились из его глаз, слезы жалости и любви, которые могут залить даже огонь преисподней.

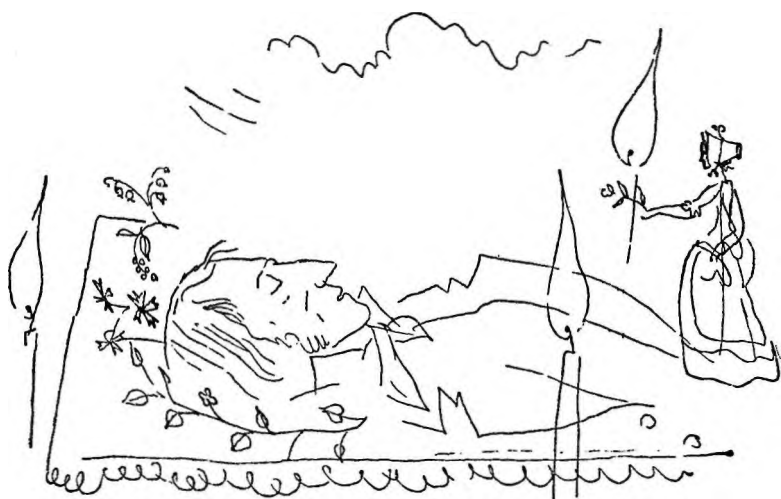
Запел петух.

— Милосердный боже! Даруй же ты ей тот покой, которого не в силах был доставить я!

— Я уже обрела его! — сказала тень. — Меня привели к тебе твои жестокие слова, мрачное недоверие к богу и к его творению! Познай же душу людей! Даже в самых злых грешниках жива божья искра! Она теплится в их душе, и ее благодатное пламя сильнее огня преисподней!..

Тут пастор почувствовал на своих губах крепкий поцелуй; было совсем светло, ясное солнышко светило в окошки; жена его, живая, ласковая и любящая, разбудила его от сна, ниспосланного ему самим богом.





## НЕМАЯ КНИГА



**У** проселочной дороги, в лесу, стоит одинокий крестьянский дом. Проходим прямо во двор; солнышко так и сияет, все окошки отворены, жизнь кипит ключом, но в беседке из цветущей сирени стоит открытый гроб. В нем лежит покойник; его будут хоронить сегодня утром, а пока поставили в беседку. Никто не стоит возле гроба, никто не скорбит об умершем, никто не плачет над ним. На лицо его наброшен белый покров, а голова покоится на большой, толстой книге; листы ее из простой, серой бумаги; между ними скрыты и забыты засушенные цветы. Книга эта — целый гербарий, собранный по разным местам, и должна быть зарыта вместе с умершим: так он велел; с каждым цветком связана была ведь целая глава из его жизни.

— Кто он? — спросили мы, и нам ответили:

— Старый студент из Упсалы! Когда-то он был способным малым, изучал древние языки, пел и даже, говорят, писал стихи. Но потом с ним что-то приключилось, и он стал топить свои мысли и душу в водке; в ней же потонуло и его здоровье, и вот он поселился здесь, в де-



ревне; кто-то платил за его помещение и стол. Он был кроток и набожен, как дитя, но иногда на него находили минуты мрачного отчаяния; тогда с ним трудно было справиться, и он убегал в лес, как гонимый зверь. Стоило, однако, залучить его домой да подсунуть ему книгу с засушенными растениями, и он сидит, бывало, по целым дням, рассматривая то тот, то другой цветок. Иной раз по его щекам бежали при этом крупные слезы. Бог знает, о чем он думал в такие минуты! И вот он просил положить эту книгу ему в гроб; теперь она лежит у него под головой. Сейчас гроб заколотят, и бедняга успокоится в могиле навеки!

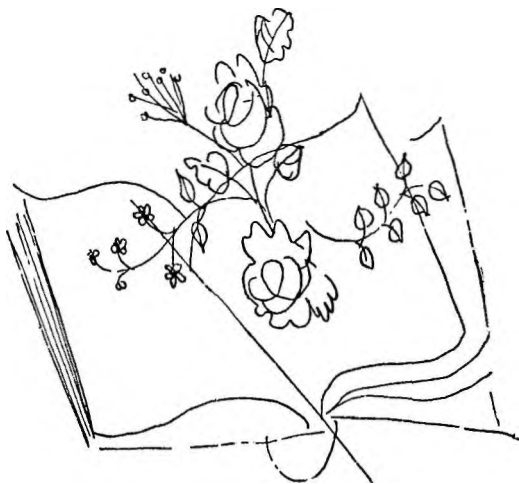
Мы приподняли покров. Миром и спокойствием веяло от лица покойного; солнечный луч озарял его чело; стрелой влетела в беседку ласточка, быстро повернулась на лету над головой покойника, прошептала что-то и скрылась.

Какое-то странное чувство, знакомое, вероятно, всем, овладевает душой, когда начнешь перечитывать старые письма, относящиеся к дням нашей юности. Перед взором словно всплывает целая жизнь со всеми ее надеждами и печалью. Сколько из тех людей, с которыми мы когда-то жили душа в душу, умерло с тех пор для нас! Правда, они живы и до сих пор, но мы столько лет уже не вспоминали о них! А ведь когда-то думали, что вечно будем делить с ними и горе и радость.

Вот засушенный дубовый листок. Невольно приходит на ум друг, товарищ школьных лет, друг на всю жизнь! Он сам воткнул этот листок в фуражку студента, сорвав его в зеленом лесу, где был заключен товарищеский союз на всю жизнь! Где же этот друг теперь?.. Листок был спрятан, друг забыт! А вот веточка какого-то чужеземного тепличного растения, слишком нежного, чтобы расти в садах севера. Сухие листики как будто еще сохранили свой аромат! Эту веточку дала ему она... она — цветок, взлелеянный в дворянской теплице! Вот белая кувшинка; он сам сорвал и оросил горькими слезами этот цветок —

дита тихих, стоячих вод. Вот крапива! О чем говорят ее листья? О чем думал он сам, срывая и пряча ее? Вот лесной ландыш; вот веточка козьей жимолости из цветочного горшка, стоявшего на окне постоянного двора, а вот голые, острые травяные стебли!

Душистые, усыпанные цветами ветви сирени склоняются к челу усопшего; снова пролетает ласточка: «кви-вит, кви-вит!..» Приходят люди с молотком и гвоздями; покойник скрывается под крышкой навеки; голова его покоится на немой книге. Скрыто — забыто!





## ДИРЕКТОР КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА



**В** числе пассажиров на пароходе находился пожилой господин; лицо у него было такое веселое, довольное, что, не лги оно только, обладателя его приходилось признавать счастливейшим человеком на свете. Да так оно и было — он сам сказал мне это. Оказался он моим земляком, датчанином, и директором странствующей труппы. Всю труппу он возил с собою в большом сундуке: он был директором кукольного театра. Природный веселый нрав господина директора прошел через горнило испытания и закалился благодаря эксперименту одного политехника. Последний превратил директора в истинного счастливца. Сразу я не смекнул, в чем было дело; тогда он подробно рассказал мне всю историю. Вот она.

— Дело было в городе Слагельсе, — рассказывал он. — Я давал представление в зале на почтовой станции; сбор был полный, публика блестящая, но совсем зеленая, за исключением двух-трех пожилых матрон. Вдруг входит господин в черной паре, с виду студент, садится и где



следует смеется, где следует аплодирует!.. Зритель не из обыкновенных! Я захотел узнать, кто он такой. Слышу — кандидат политехнических наук, командированный в провинцию просвещать народ. В восемь часов вечера представление мое кончилось, детям надо ведь ложиться спать пораньше, а мое дело заботиться об удобствах публики. В девять часов начал читать лекцию и показывать свои опыты кандидат, и теперь я превратился в слушателя. Да оно и стоило послушать и поглядеть! Правда, большую часть лекции впору было понять разве пастору, как это у нас говорится, но все же я кое-что понял, а главное, усвоил себе мысль, что если мы, люди, способны додуматься до таких вещей, то должны годиться кое на что и после того, как нас упрячут в землю. Кандидат положительно делал маленькие чудеса, но все выходило у него так просто, естественно! Во времена Моисея и пророков такой политехник прослыл бы за одного из первых мудрецов, а в средние века его бы просто сожгли! Всю ночь я не мог заснуть; на другой день вечером я опять давал представление; кандидат снова присутствовал, и я был, что называется, в ударе. Я слышал от одного актера, что он, играя роли первых любовников, всегда имел в виду одну из зрительниц, для нее одной и играл, забывая всех остальных. Такою «зрительницей» стал для меня кандидат; для него я и играл. Представление кончилось, всю мою труппу вызвали, а меня кандидат пригласил к себе распить с ним в компании бутылочку вина. Он говорил о моем театре, а я — о его науке, и думаю, что оба мы были одинаково довольны друг другом, но я в своем деле все-таки перещеголял его: он-то многих из своих фокусов и сам объяснить не мог. Почему, например, железная пластинка, пропущенная сквозь спираль, намагничивается? Она словно одухотворяется, но как, чем? Вот и с людьми то же самое, думается мне: создатель пропускает их через спираль времени, на них нисходит дух, и вот вам — Наполеон, Лютер или кто-нибудь другой в этом роде. «Мир — ряд чудес, — сказал мой кандидат, — но мы так привыкли к ним, что зовем их обыденными явлениями». И он пустился в объяснения; под конец мне стало казаться, что мне как будто приподняли темя и мозговое помещение мое расширилось! Я сознался, что, не уйди уже мое время, я бы сейчас же поступил в политехнический институт, учиться разбирать

мир по косточкам, даром что я и без того один из счастливейших людей на свете! «Один из счастливейших людей! — повторил кандидат, словно смакуя мои слова. — Так вы счастливы?» — «Да! — ответил я. — Я счастлив; меня с моей труппой принимают отлично во всех городах. Правда, есть у меня одно желание, которое иногда дразнит меня, как бесенок, и смущает мой веселый нрав... Мне бы хотелось стать директором настоящей труппы!» — «Вы хотели бы оживить своих марионеток? Желали бы, чтобы они сделались настоящими актерами, а вы директором настоящей труппы?» — спросил меня кандидат. — Вы думаете, что будете тогда вполне счастливы?»

Сам он этого не думал, а я думал, и мы долго спорили, но каждый остался при своем мнении. Разговаривая, мы не переставали чокаяться; вино было доброе, но не простое, что ни говори; иначе пришлось бы объяснить всю историю тем, что я попросту наклюкался! Но пьян я не был, ни-ни!.. Вдруг вижу, всю комнату точно озарило солнцем; лицо кандидата так и светится. Мне сейчас вспомнились сказания о вечно юных богач древности, разгуливавших по свету. Я сказал ему об этом, он улыбнулся, и я готов был поклясться, что передо мною сидит сам переодетый бог или один из сродников богов. Так оно и было; и вот желанию моему суждено было исполниться: куклы должны были сделаться живыми людьми, а я — настоящим директором. По этому случаю мы выпили еще; потом кандидат запрягал всех моих кукол в сундук, привязал его к моей спине и пропустил меня через спираль. Я и теперь еще слышу, как я шлепнулся на пол!

В самом деле, я лежал на полу, а вся моя труппа выпрыгнула из ящика. Куклы превратились в замечательных артистов — это они сами мне сказали, — а я был их директором. Все было готово к первому представлению, но вся труппа желала поговорить со мною, публика тоже. Первая танцовщица заявила, что, если она не будет стоять на одной ножке, сборы падут; она являлась главным лицом в труппе и требовала соответственного обращения с собою. Кукла, игравшая королев, желала, чтобы с нею и вне сцены обходились как с королевой, — иначе она отвыкнет от своего амплуа! Выходной актер, являвшийся с письмами, воображал себя такую же артистическою величиною, как и первый любовник: нет ни малых, ни вс-



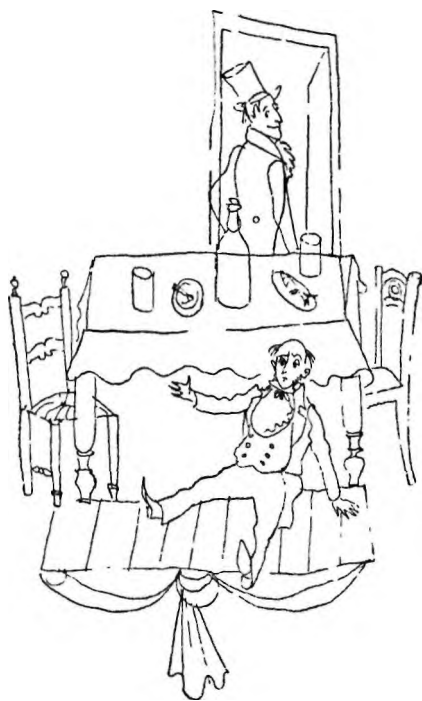
ликих актеров, все одинаково важны в смысле сценического ансамбля! Трагик же требовал, чтобы вся его роль сплошь состояла из одних сильных мест: за ними ведь следуют аплодисменты и вызовы. Примадонна хотела играть только при красном бенгальском освещении — это ей шло, а голубое было не к лицу. Словом, все жужжали, точно мухи в бутылке, а в середине ее сидел я сам — я был директором! Дыхание спиралось у меня в груди, голова кружилась, я очутился в самом жалком положении, в какое только может попасть человек: меня окружала совсем новая порода людей! Я от души желал упрятать их всех опять в сундук и вовеки не бывать настоящим директором! Я и сказал им прямо, что все они, в сущности, только марионетки, а они за это избили меня до полусмерти. Очнулся я на своей постели, в своей комнате. Как я попал туда от кандидата, знает он, а не я. Месяц светил прямо на пол, а на полу валялся опрокинутый сундук и вокруг него все мои куклы, малые и большие, — вся труппа! Я зевать не стал, спрыгнул с постели, побросал их всех в сундук, которых ногами вниз, которых головой, захопнул крышку и сам уселся на нее. Вот-то была картина! Можете вы себе представить ее? Я могу. «Ну-с, теперь вы останетесь там! — сказал я куклам. — А я никогда больше не пожелаю оживить вас!» На душе у меня стало так легко, я опять был счастливейшим человеком. Кандидат политехнических наук просветил меня. Я был до того счастлив, что как сидел на сундуке, так и заснул. Утром — скорее, впрочем, в полдень, я непостижимо долго спал в этот день! — я проснулся и увидел, что все еще сижу на сундуке. Теперь я был вполне счастлив: я убедился, что мое прежнее желание было просто глупостью. Я справился о кандидате, но он исчез, как исчезали греческие и римские боги. С тех пор и я остаюсь счастливейшим человеком. Ну, не счастливый ли я в самом деле директор? Труппа моя не рассуждает, публика тоже, а забавляется себе от всей души. И я свободно могу сам сочинять для себя пьесы. Из всех пьес я беру что хочу — самое лучшее, и никто не в претензии. Есть такие пьесы, которыми теперь директора больших театров пренебрегают, но которые лет тридцать тому назад давали полные сборы, заставляли публику проливать слезы: я даю эти пьесы на своей сцене, и малыши плачут, как, бывало, плакали их папаши и мамыши. Я даю «Иоган-

ну Монфокон» и «Дювекс» — конечно, в сокращенном виде: малыши не любят длинной любовной канители; им хоть несчастливо, да скоро. Так-то изъездил я всю Данию и вдоль и поперек, знаю всех, и меня знают все. Теперь вот направляюсь в Швецию; посчастливится мне там, наживу деньжонок — сделаюсь скандинавом<sup>1</sup>, а иначе — нет; говорю вам откровенно, как своему земляку!

А я в качестве такового, конечно, не замедлил рассказать о своей встрече вам; такая уж у меня повадка — рассказывать.

---

<sup>1</sup> То есть приверженцем идеи объединения всех трех северных государств.





## ИСТОРИЯ ГОДА



**А** ело было в конце января; бушевала страшная метель; снежные вихри носились по улицам и переулкам; снег залеплял окна домов, валился с крыш комьями, а ветер так и подгонял прохожих. Они бежали, летели стремглав, пока не попадали друг другу в объятия и не останавливались на минуту, крепко держась один за другого. Экипажи и лошади были точно напудрены; лакеи стояли на запяточках спиной к экипажам и к ветру, а пешеходы старались держаться за ветром под прикрытием карет, едва тащившихся по глубокому снегу. Когда же наконец метель утихла и вдоль домов прочистили узенькие дорожки, прохожие беспрестанно сталкивались и останавливались друг перед другом в выжидательных позах: никому не хотелось первому шагнуть в снежный сугроб, уступая дорогу другому. Но вот, словно по безмолвному соглашению, каждый жертвовал одной ногой, опуская ее в снег.

К вечеру погода совсем стихла; небо стало таким ясным, чистым, точно его вымели, и казалось даже как-то выше и прозрачнее, а звездочки, словно вычищенные заново, сияли и искрились голубоватыми огоньками. Мороз так и трещал, и к утру верхний слой снега настолько окреп, что воробьи прыгали по нему, не проваливаясь. Они шмыгали из сугроба в сугроб, прыгали и по прочищенным тропинкам, но ни тут, ни там не попадалось ничего съедобного. Воробышки порядком иззябли.

— Пип! — говорили они между собою. — И это Новый год!? Да он хуже старого! Не стоило и менять! Нет, мы недовольны, и не без причины!

— А люди-то, люди-то, что шуму наделали, встречая Новый год! — сказал маленький иззябший воробышек. — И стреляли, и глиняные горшки о двери разбивали, ну, словом, себя не помнили от радости — и все оттого, что старому году пришел конец! Я было тоже обрадовался, думал, что вот теперь наступит тепло; не тут-то было! Морозит еще пуще прежнего! Люди, видно, сбились с толку и перепутали времена года!

— И впрямь! — подхватил третий, старый воробей с седым хохолком. — У них ведь имеется такая штука — собственного их изобретения — календарь, как они зовут ее, и вот они воображают, что все на свете должно идти по этому календарю! Как бы не так! Вот придет весна, тогда и наступит Новый год, а никак не раньше, так уж раз навсегда заведено в природе, и я придерживаюсь этого счисления.

— А когда же придет весна? — спросили другие воробьи.

— Она придет, когда прилетит первый аист. Но он не особенно-то аккуратен, и трудно рассчитать заранее, когда именно он прилетит! Впрочем, уж если вообще раз узнавать об этом, то не здесь, в городе — тут никто ничего не знает толком, — а в деревне! Полетим-ка туда дожидаться весны! Туда она все-таки скорее придет!

— Все это прекрасно! — сказала воробыха, которая давно вертелась тут же и чирикала, но в разговор не вступала. — Одно вот только: здесь, в городе, я привыкла к некоторым удобствам, а найду ли я их в деревне — не знаю! Тут есть одна человечья семья; ей пришла разумная мысль — прибить к стене три-четыре пустых горшка

из-под цветов. Верхним краем они плотно прилегают к стене, дно же обращено наружу, и в нем есть маленькое отверстие, через которое я свободно влетаю и вылетаю. Там-то мы с мужем и устроили себе гнездо, откуда повывлетели и все наши птенчики. Понятное дело, люди устроили все это для собственного удовольствия, чтобы полюбоваться нами; иначе бы они и пальцем не шевельнули! Они бросают нам хлебные крошки, — тоже ради своего удовольствия, — ну, а нам-то все-таки корм! Таким образом, мы здесь до некоторой степени обеспечены, и я думаю, что мы с мужем останемся здесь! Мы тоже очень довольны, но все-таки останемся.

— А мы полетим в деревню — поглядеть, не идет ли весна! — сказали другие и улетели.

В деревне стояла настоящая зима, и было, пожалуй, еще холоднее, чем в городе. Резкий ветер носился над снежными полями. Крестьянин в больших теплых рукавицах ехал на санях, похлопывая руками, чтобы выколотить из них мороз; кнут лежал у него на коленях, но исхудалые лошади бежали рысью; пар так и валил от них. Снег скрипел под полозьями, а воробьи прыгали по санным колесам и мерзли.

— Пип! Когда же придет весна? Зима тянется что-то уж больно долго!

— Больно долго! — послышалось с высокого холма, занесенного снегом, и эхом прокатилось по полям. Может статься, это и было только эхо, а может быть, и голос диковинного старика, сидевшего на холме на куче сена. Старик был бел как лунь — с белыми волосами и борою, и одет во что-то вроде белого крестьянского тулупа. На бледном лице его так и горели большие светлые глаза.

— Что это за старик? — спросили воробьи.

— Я знаю его! — сказал старый ворон, сидевший на плетне. Он снисходительно признавал, что «все мы — мелкие птички перед творцом», и потому благосклонно взялся разъяснить воробьям их недоумение.

— Я знаю, кто он. Это Зима, старый прошлогодний повелитель. Он вовсе не умер еще, как говорит календарь, и назначен регентом до появления молодого принца, Весны. Да, Зима еще правит у нас царством! У! Что, продрогли небось, малыши?

— Ну, не говорил ли я, — сказал самый маленький воробышек, — что календарь — пустая человечья выдумка!



Он совсем не приурочен к природе. Да и разве у людей есть какое-нибудь чутье? Уж предоставили бы они распределять времена года нам — мы потоньше, почувствительнее их созданы!

Прошла неделя, другая. Лес уже почернел, лед на озере стал походить на застывший свинец, облака... нет, какие там облака?! Сплошной туман окутал всю землю. Большие черные вороны летали стаями, но молча; все в природе словно погрузилось в тяжелый сон. Но вот по озеру скользнул солнечный луч, и лед заблестел, как расплавленное олово. Снежный покров на полях и на холмах уже потерял свой блеск, но белая фигура старика Зимы сидела еще на прежнем месте, устремив взор к югу. Он и не замечал, что снежная пелена все уходила в землю, что там и сям проглянули клочки зеленого дерна, на которых толклись кучи воробьев.

— Кви-вит! Кви-вит! Уж не весна ли?

— Весна! — прокатилось эхом над полями и лугами, пробежало по темно-бурым лесам, где стволы старых деревьев оделись уже свежим, зеленым мхом. И вот с юга показалась первая пара аистов. У каждого на спине сидело по прелестному ребенку: у одного — мальчик, у другого — девочка. Ступив на землю, дети поцеловали ее и пошли рука об руку, а по следам их расцветали прямо на снегу белые цветочки. Дети подошли к старику Зиме и прильнули к его груди. В то же мгновение все трое, а с ними и вся местность, исчезли в облаке густого, влажного тумана. Немного погодя подул ветер и разом разогнал туман; просияло солнышко — Зима исчезла, и на троне природы сидели прелестные дети Весны.

— Вот это так Новый год! — сказали воробьи. — Теперь, надо полагать, нас вознаградят за все зимние невзгоды!

Куда ни оборачивались дети — всюду кусты и деревья покрывались зелеными почками, трава росла все выше и выше, хлеба зеленели ярче. Девочка так и сыпала на землю цветами; у нее в переднике было так много цветов, что, как она ни торопилась разбрасывать их, передник все был полнехонек. В порыве резвости девочка брызнула на яблони и персиковые деревья настоящим цветочным дождем, и деревца стояли в полном цвету, даже не успев еще как следует одеться зеленью.

Девочка захлопала в ладоши, хлопнул и мальчик, и вот, откуда ни возьмись, налетели, с пением и щебетанием, стаи птичек: «Весна пришла!»

Любо было посмотреть кругом! То из одной, то из другой избушки выползали за порог старые бабушки, поразмять на солнышке свои косточки и полюбоваться на желтые цветочки, золотившие луг точь-в-точь как и в дни далекой юности старушек. Да, мир вновь помолодел, и они говорили: «Что за благодатный денек сегодня!»

Но лес все еще оставался буро-зеленым, на деревьях не было еще листьев, а одни почки; зато на лесных полянах благоухал уже молоденький дикий яминник, цвели фиалки и анемоны. Все былинки налились живительным соком; по земле раскинулся пышный зеленый ковер, и на нем сидела молодая парочка, держась за руки. Дети Весны пели, улыбались и все росли да росли.

Теплый дождичек накрапывал с неба, но они и не замечали его: дождевые капли смешивались со слезами радости жениха и невесты. Юная парочка поцеловалась, и в ту же минуту лес оделся зеленью. Встало солнышко — все деревья стояли в роскошном лиственном уборе.

Рука об руку двинулись жених с невестой под этот свежий густой навес, где зелень отливала, благодаря игре света и теней, тысячами различных оттенков. Девственно чистая, нежная листва распространяла живительный аромат, звонко и весело журчали ручейки и речки, пробираясь между бархатисто-зеленой осокой и пестрыми камушками. «Так было, есть и будет во веки веков!» — говорила вся природа. Чу! Закуковала кукушка, зазвенела песня жаворонка! Весна была в полном разгаре; только ивы все еще не снимали со своих цветочков пуховых рукавичек; такие уж они осторожные — просто скучно!

Дни шли за днями, недели за неделями, землю так и обдавало теплом; волны горячего воздуха проникали в хлебные колосья, и они стали желтеть. Белый лотос севера раскинул по зеркальной глади лесных озер свои широкие зеленые листья, и рыбки прятались под их тенью. На солнечной стороне леса, за ветром, возле облитой солнцем стены крестьянского домика, где пышно расцветали под жгучими ласками солнечных лучей роскошные розы и росли вишневые деревья, осыпанные сочными, черными, горячими ягодами, сидела прекрасная жена Лета, которую мы видели сначала девочкой, а потом невестой. Она

смотрела на темные облака, громоздившиеся друг на друга высокими черно-синими, угрюмыми горами; они надвигались с трех сторон и наконец нависли над лесом, как окаменелое, опрокинутое вверх дном море. В лесу все затихло, словно по мановению волшебного жезла; прилегли ветерки, замолкли пташки, вся природа замерла в торжественном ожидании, а по дороге и по тропинкам неслись сломя голову люди в телегах, верхом и пешком, — все спешили укрыться от грозы. Вдруг блеснул ослепительный луч света, словно солнце на миг прорвало тучи, затем вновь воцарилась тьма и прокатился глухой раскат грома. Вода хлынула с неба потоками. Тьма и свет, тишина и громовые раскаты сменяли друг друга. По молодому тростнику, с коричневыми султанами на головках, так и ходили от ветра волны за волнами; ветви деревьев совсем скрылись за частою дождевою сеткою; свет и тьма, тишина и громовые удары чередовались ежеминутно. Трава и колосья лежали пластом; казалось, они уже никогда не в силах будут подняться. Но вот ливень перешел в крупный, редкий дождь, выглянуло солнышко, и на былинках и листьях засверкали крупные перлы; запели птички, заплескались в воде рыбки, заплясали комары. На камне, что высывался у самого берега из соленой морской пены, сидело и грелось на солнышке Лето, могучий, крепкий, мускулистый муж. С кудрей его стекали целые потоки воды, и он смотрел таким освеженным, словно помолодевшим после холодного купанья. Помолодела, освежилась и вся природа, все вокруг цвело с небывалою пышностью, силой и красотой! Наступило лето, теплосе, благодатное лето!

От густо взошедшего на поле клевера струился сладкий живительный аромат, и пчелы жужжали над местом древних собраний. Жертвенный камень, омытый дождем, ярко блестел на солнце; цепкие побеги ежевики одели его густою бахромой. К нему подлетела царица пчел со своим роем; они возложили на жертвенник плоды от трудов своих — воск и мед. Никто не видал жертвоприношения, кроме самого Лета и его полной жизненных сил подруги; для них-то и были уготованы жертвенные дары природы.

Вечернее небо сияло золотом; никакой церковный купол не мог сравниться с ним; от вечерней и до утренней зари сиял месяц. На дворе стояло лето.

И дни шли за днями, недели за неделями. На полях засверкали блестящие косы и серпы, ветви яблонь согнулись под тяжестью красных и золотистых плодов. Душистый хмель висел крупными кистями. В тени орешника, осыпанного орехами, сидевшими в зеленых гнездышках, отдыхали муж с женою — Лето со своею серьезною, задумчивою подругою.

— Что за роскошь! — сказала она. — Что за благодать, куда ни поглядишь! Как хорошо, как уютно на земле, и все-таки — сама не знаю почему — я жажду... покоя, отдыха... Других слов подобрать не могу! А люди уж снова вспахивают поля! Они вечно стремятся добыть себе больше и больше!.. Вон аисты ходят по бороздам вслед за плугом... Это они, египетские птицы, принесли нас сюда! Помнишь, как мы прилетели сюда, на север, детьми?.. Мы принесли с собой цветы, солнечный свет и зеленую листву! А теперь... ветер почти всю ее оборвал, деревья побурели, потемнели и стали похожи на деревья юга; только нет на них золотых плодов, какие растут там!

— Тебе хочется видеть золотые плоды? — сказала Лето. — Любуйся! — Он махнул рукою — и леса запырели красноватыми и золотистыми листьями. Вот было великолепие! На кустах шиповника засияли огненно-красные плоды, ветви бузины покрылись крупными темно-красными ягодами, спелые дикие каштаны сами выпадали из темно-зеленых гнезд, а в лесу снова зацвели фиалки.

Но царица года становилась все молчаливее и бледнее.

— Повеяло холодом! — говорила она. — По ночам встают сырые туманы. Я тоскую по нашей родине!

И она смотрела вслед улетающим на юг аистам и протягивала к ним руки. Потом она заглянула в их опустевшие гнезда; в одном вырос стройный василек, в другом — желтая сурепка, словно гнезда только для того и были свиты, чтобы служить им оградою! Залетели туда и воробы.

— Пип! А куда же девались хозяева? Ишь, подуло на них ветерком — они и прочь сейчас! Скатертью дорога!

Листья на деревьях все желтели и желтели, начался листопад, зашумели осенние ветры — настала поздняя осень. Царица года лежала на земле, усыпанной пожелтевшими листьями; кроткий взор ее был устремлен на сияющие звезды небесные; рядом с нею стоял ее муж. Вдруг поднялся вихрь и закрутил сухие листья столбом.

Когда вихрь утих — царицы года уже не было; в холодном воздухе кружилась только бабочка, последняя в этом году.

Землю окутали густые туманы, подули холодные ветры, потянулись долгие темные ночи. Царь года стоял с убеленною сединою головою; но сам он не знал, что поседел, — он думал, что кудри его только запушило снегом! Зеленые поля покрылись тонкою снежною пеленою.

И вот колокола возвестили наступление сочельника.

— Рождественский звон! — сказал царь года. — Скоро народится новая царственная чета, а я обрету покой, унесусь вслед за нею на сияющую звезду!

В свежем, зеленом сосновом лесу, занесенном снегом, появился рождественский ангел и освятил молодые деревца, предназначенные служить символом праздника.

— Радость в жилищах людей и в зеленом лесу! — сказал престарелый царь года; в несколько недель он превратился в белого как лунь старика. — Приближается час моего отдыха! Корона и скипетр переходят к юной чете.

— И все же власть пока в твоих руках! — сказал ангел. — Власть, но не покой! Укрой снежным покровом молодые ростки! Перенеси терпеливо торжественное провозглашение нового повелителя, хотя власть еще и в твоих руках! Терпеливо перенеси забвение, хотя ты и жив еще! Час твоего успокоения придет, когда настанет весна!

— Когда же настанет весна? — спросила Зима.

— Когда прилетят с юга аисты!

И вот седоволосая, седобородая, обледеневшая, старая, согбенная, но все еще сильная и могущественная, как снежные бури и метели, сидела Зима на высоком холме, на куче снега, и не сводила глаз с юга, как прошлогодняя Зима. Лед трещал, снег скрипел, конькобежцы стрелой скользили по блестящему льду озер, вороны и вороны чернели на белом фоне; не было ни малейшего ветерка. Среди этой тишины Зима сжала кулаки, и — толстый лед сковал все проливы.

Из города опять прилетели воробьи и спросили:

— Что это за старик там?

На плетне опять сидел тот же ворон или сын его — все едино — и отвечал им:

— Это Зима! Прошлогодний повелитель! Он не умер еще, как говорит календарь, а состоит регентом до прихода молодого принца — Весны!

— Когда же придет Весна? — спросили воробьи. — Может быть, у нас настанут лучшие времена, как переменится правительство! Старое никуда не годится!

А Зима задумчиво кивала голому черному лесу, где так ясно, отчетливо вырисовывались каждая веточка, каждый кустик. И землю окутали облака холодных туманов; природа погрузилась в зимнюю спячку. Повелитель года грезил о днях своей юности и зрелости, и к утру все леса оделись сверкающей бахромой из инея, — это был летний сон Зимы; взошло солнышко, и бахрома осыпалась.

— Когда же придет Весна? — опять спросили воробьи.

— Весна! — раздалось эхом с снежного холма.

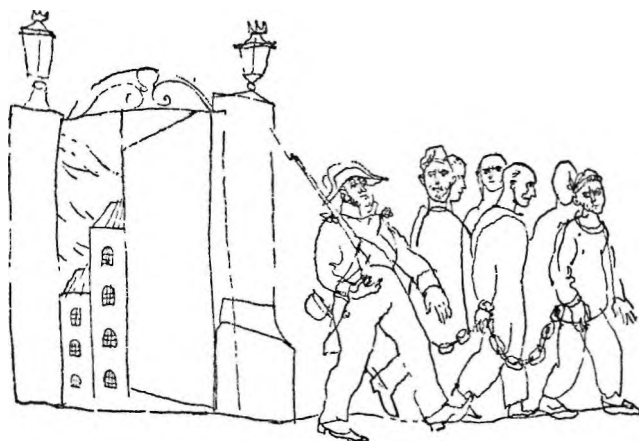
И вот солнышко стало пригревать все теплее и теплее, снег стаял, птички защибетали: «Весна идет!»

Высоко-высоко по поднебесью неся первый аист, за ним другой; у каждого на спине сидело по прелестному ребенку. Дети ступили на поля, поцеловали землю, поцеловали и безмолвного старика Зиму, и он, как Моисей с горы, исчез в тумане!

История года кончена.

— Все это прекрасно и совершенно верно, — заметили воробьи, — но не по календарю, а потому никуда не годится!





## С КРЕПОСТНОГО ВАЛА



**О** сень; стоим на валу, устремив взор на волнующуюся синеву моря. Там и сям белеют паруса кораблей; вдали виднеется высокий, весь облитый лучами вечернего солнца берег Швеции. Позади нас вал круто обрывается; он обсажен великолепными раскидистыми деревьями; пожелтевшие листья кружатся по ветру и засыпают землю. У подножия вала мрачное строение, обнесенное деревянным частоколом, за которым ходит часовой. Как там темно и мрачно, за этим частоколом! Но еще мрачнее в самом здании, в камерах с решетчатыми окнами. Там сидят заключенные, закоренелые преступники.

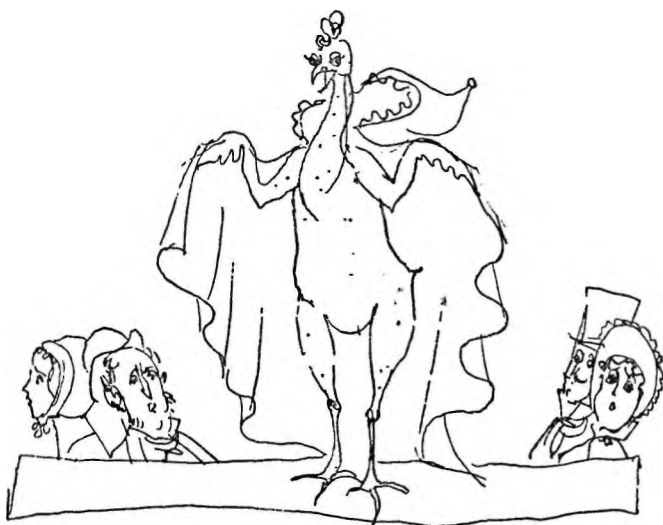
Луч заходящего солнца падает на голые стены камеры. Солнце светит и на злых и на добрых! Угрюмый, суровый заключенный злобно смотрит на этот холодный солнечный луч. Вдруг на оконную решетку садится птичка. И птичка поет для злых и для добрых! Песня ее коротка: «кви-вит!» — вот и все! Но сама птичка еще не улетает; вот она машет крылышками, чистит перышки, топорщится и взъерошивает хохолок... Закованный в цепи преступ-

ник смотрит на нее, и злобное выражение его лица мало-помалу смягчается, какое-то новое чувство, в котором он и сам хорошенько не отдает себе отчета, наполняет его душу. Это чувство сродни солнечному лучу и аромату фиалок, которых так много растет там, на воле, весной!.. Но что это? Раздались жизнерадостные, мощные звуки охотничьих рогов. Птичка улетает, солнечный луч потухает, и в камере опять темно; темно и в сердце преступника, но все же по этому сердцу скользнул солнечный луч, оно отозвалось на пение птички.

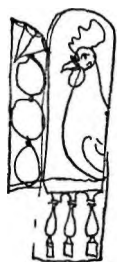
Не умолкайте же, чудные звуки охотничьего рога, раздавайтесь громче! В мягком вечернем воздухе такая тишь; море недвижно, словно зеркальное.







## ИСТИННАЯ ПРАВДА



**У**жасное происшествие! — сказала курица, проживавшая совсем на другом конце города, а не там, где случилось происшествие. — Ужасное происшествие в курятнике! Я просто не смею теперь ночевать одна! Хорошо, что нас много на нашесте!

И она принялась рассказывать, да так, что у всех кур перышки повставали дыбом, а у петуха съежился гребешок. Да, да, истинная правда!

Но мы начнем сначала, а началось все в курятнике на другом конце города.

Солнце садилось, и все куры уже были на нашесте. Одна из них, белая коротконожка, курица во всех отношениях добропорядочная и почтенная, исправно несущая положенное число яиц, усевшись поудобнее, стала перед сном чиститься и расправлять клювом перышки. И вот одно маленькое перышко вылетело и упало на пол.

— Ишь, как полетело! — сказала курица. — Ну, ничего, чем больше я чищусь, тем делаюсь красивее!

Это было сказано так, в шутку, — курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешало ей быть, как уже сказано, весьма и весьма почтенною курицей. С тем она и заснула.

В курятнике было темно. Куры все сидели рядом, и та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще; она не то, чтобы нарочно подслушивала слова соседки, а так, слушала краем уха, — так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними! И вот она не утерпела и шепнула другой своей соседке:

— Слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать себе все перья, чтобы только быть по красивее. Будь я петухом, я бы презирала ее!

Как раз над курами сидела в гнезде сова с мужем и детками; у сов уши острые, и они не упустили ни одного слова соседки. Все они при этом усиленно вращали глазами, а совиha махала крыльями, точно опахалами.

— Тс-с! Не слушайте, детки! Впрочем, вы, конечно, уж слышали? Я тоже. Ах! Просто уши вянут! Одна из кур до того забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у петуха!

— Prenez garde aux enfants!<sup>1</sup> — сказал сова-отец. — Детям вовсе не следует слушать подобные вещи!

— Надо будет все-таки рассказать об этом нашей соседке сове, она такая милая особа!

И совиha полетела к соседке.

— У-гу, у-гу! — загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней. — Вы слышали? Вы слышали? У-гу! Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха! Она замерзнет, замерзнет до смерти! Если уже не замерзла! У-гу!

— Кур-кур! Где, где? — ворковали голуби.

— На соседнем дворе! Это почти на моих глазах было! Просто неприлично и говорить об этом, но это истинная правда!

— Верим, верим! — сказали голуби и заворковали сидящим внизу курам:

— Кур-кур! Одна курица, говорят, даже две, выщипали себе все перья, чтобы отличиться перед петухом! Рискованная затея! Можно ведь простудиться и умереть, да они уж и умерли!

---

<sup>1</sup> Осторожнее, здесь дети (*франц.*).

— Кукареку! — запел петух, взлетая на забор. — Пронитесь. — У него самого глаза еще совсем слипались от сна, а он уж кричал: — Три курицы погибли от несчастной любви к петуху! Они выщипали себе все перья! Такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть разнесется по всему свету!

— Пусть, пусть! — запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричали петухи. — Пусть, пусть!

И история разнеслась — со двора во двор, из курятника в курятник и дошла наконец до того места, откуда пошла.

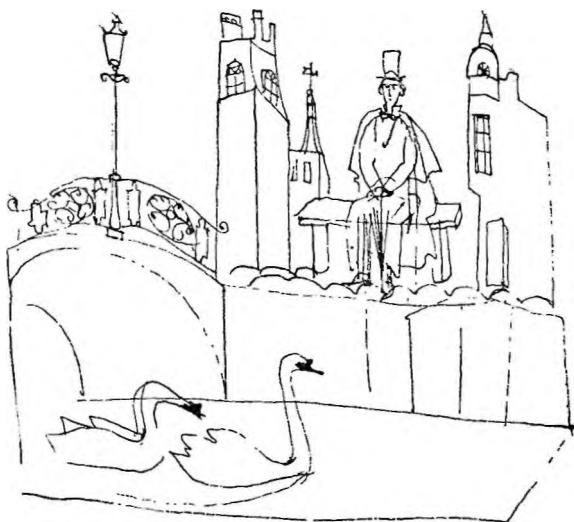
— Пять куриц, — рассказывалось тут, — выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше искудал от любви к петуху! Потом они заклевали друг друга насмерть, в позор и посрамление всему своему роду и в убыток своим хозяевам!

Курица, которая выронила одно перышко, конечно, не узнала своей собственной истории и, как курица во всех отношениях почтенная, сказала:

— Я презираю этих кур! Но таких ведь много! О подобных вещах нельзя, однако, молчать! И я, со своей стороны, сделаю все, чтобы история эта попала в газеты! Пусть разнесется по всему свету — эти куры и весь их род стоят того!

И в газетах действительно напечатали всю историю, и это истинная правда: одному маленькому перышку куда как не трудно превратиться в целых пять кур!





## ЛЕБЕДИНОЕ ГНЕЗДО



**М**ежду Балтийским и Северным морями со времен седой древности лежит старое лебединое гнездо; зовут его Данией; в нем родились и рождаются лебеди с бессмертными именами.

Давно-давно вылетела оттуда целая стая лебедей, перелетела через Альпы и спустилась в зеленые долины благословенного юга; звали их лонгобардами.

Другая стая, в блестящем оперении, с ясными и честными глазами, улетела в Византию. Там лебеди уселись вокруг трона императора и распростерли на защиту его свои широкие белые крылья, словно щиты. Лебедей тех звали варягами.

С берегов Франции раздался крик ужаса: с огнем под крыльями неслись с севера кровожадные лебеди, и народ молился: «Боже, храни нас от диких норманнов».

На зеленом дерне, покрывающем открытый берег Англии, стоял датский лебедь, увенчанный тремя коронами, протягивая над страной свой золотой скипетр <sup>1</sup>.

Язычники на берегах Померании преклонились перед датскими лебедями, явившимися к ним со знаменем креста <sup>2</sup> и с поднятыми мечами.

«Все это было во времена седой древности!» — скажешь, пожалуй, ты.

Но и ближайшие к нам времена видели вылетающих из гнезда могучих лебедей.

Вот дивный свет разлился в воздухе и озарил все части света — лебедь прорезал своими могучими крылами нависший над землей туман, и звездное небо явилось глазам людей во всей своей красе, стало к ним словно ближе. Лебедь этот был Тихо Браге.

«Да и это было давно! — говоришь ты. — А в наши дни?»

И в наши дни вылетают из гнезда могучие лебеди. Один скользнул крылами по струнам золотой арфы, и струны зазвенели на весь Север, скалы Норвегии как будто стали еще выше и заблестели, освещенные солнцем седой древности, зашумели сосны и ели, и северные боги, герои и благородные жены отчетливо стали видны на темном фоне дремучих лесов <sup>3</sup>.

Другой лебедь ударил крылами по мраморной глыбе; она раскололась, и заключенные в камне образы вечной красоты вышли на свет божий. Люди всех стран света подняли головы, чтобы узреть эти прекрасные творения <sup>4</sup>.

А третий лебедь дал крылья мысли, сплел провод, который перекинули из страны в страну по всей земле, и теперь слова бегут по нему и облетают землю с быстротой молнии <sup>5</sup>.

Господь возлюбил старое лебединое гнездо между Балтийским и Северным морями. Пусть-ка попробуют хищные

---

<sup>1</sup> Король Дании Кнуд Великий (р. ок. 995 — ум. 1035 г.) объединил три северных государства: Данию, Швецию и Норвегию и присоединил к своим владениям и Англию.

<sup>2</sup> Датский флаг Даннеброг — красный крест на белом поле.

<sup>3</sup> Имеется в виду Эленшлегер (1779—1850).

<sup>4</sup> Речь идет о Торвальдсене.

<sup>5</sup> Эрстед Ганс Христиан — знаменитый датский физик.

птицы налететь и разорить его! «Не бывать этому!»<sup>1</sup> Даже неоперившиеся еще птенцы усядутся по краям гнезда и — как мы уже видели не раз — грудью встретят врага, станут изо всех сил защищаться клювами и когтями!

И долго еще будут вылетать из гнезда лебеди на диво всему миру! Века пройдут, прежде чем вонстину можно будет сказать: «Вот последний лебедь, вот последняя песнь, раздавшаяся из лебединого гнезда!»

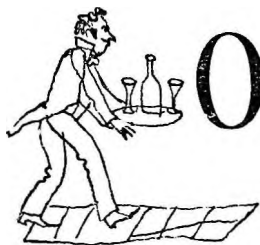
---

<sup>1</sup> Слова датского короля Фредерика VII (1808—1863).





## ВЕСЕЛЫЙ ПРАВ



**О**тец оставил мне лучшее наследство — свой веселый нрав. А кто был мой отец? Ну, это к делу не относится! Довольно сказать, что он был весельчак, был кругл и толст; словом — и душа и тело его были в разладе с его должностью. Да какую же он занимал должность, какое положение в обществе? Э, в том-то и дело, напиши или напечатай я это в самом начале, многие, пожалуй, отложили бы книжку в сторону — дескать, это слишком мрачно и не по нашей части! И, однако, мой отец не был ни палачом, ни заплечных дел мастером; напротив, по своей должности он часто занимал место во главе почетнейших лиц города! Место это было его по праву, вот ему и приходилось быть впереди всех — даже впереди епископа и самих принцев крови: ведь он восседал на козлах погребальной колесницы!

Ну, теперь все сказано! Я могу только прибавить, что, глядя на моего отца, восседающего на колеснице смерти, укутанного в длинный широкий черный плащ, в обшитой

черными каймами треуголке на голове, глядя на его веселое, круглое, как солнце, смеющееся лицо, никому и в голову не шли скорбные мысли о смерти и похоронах. Лицо моего отца так и говорило: «Пустяки, все обойдется, все будет лучше, чем думают!»

Так вот, от него-то я и унаследовал свой веселый нрав и привычку посещать кладбище; это очень приятная прогулка, если только предпринимаешь ее в хорошем расположении духа. Кроме того, я тоже выписываю «Листок объявлений», как и мой покойный отец.

Я уже не очень молод, у меня нет ни жены, ни детей, ни библиотеки, но, как сказано, я выписываю «Листок объявлений» — и будет с меня! По-моему, это самая лучшая газета; то же говорил и покойный отец. «Листок» приносит свою пользу, дает все нужные человеку сведения; из него узнаешь — кто проповедует с церковных кафедр и кто — со страниц новых книг, где можно найти себе помещение, прислугу и где приобрести одежду, пищу, где открывается распродажа и где будут похороны; тут же знакомишься с положением благотворительности и с невинными стишками, узнаешь, кто желает вступить в законный брак, кто назначает или отвергает свидания! Тут вообще все так просто и естественно! И, по-моему, можно счастливо прожить весь свой век, до самой смерти, довольствуясь одним «Листком объявлений», а к тому времени так разбогатеешь бумагою, что можно будет устроить себе из нее мягкую подстилку в гроб, если не любишь лежать на стружках!

Да, «Листок объявлений» и кладбище — вот два моих любимых места духовных и физических экскурсий, два самых благодатных средства поддержания веселого нрава.

В редакцию «Листка» каждый может отправиться сам, без провожатого, но на кладбище пусть идет со мною! Пойдемте-ка туда в ясный, солнечный день, когда деревья уже все покрыты зеленью, и погуляем между могилами! Каждая могила — своего рода закрытая книга; она лежит корешком кверху, так что всякий может прочесть ее заглавие, говорящее о ее содержании и в то же время ничего не говорящее! У меня же имеются более обстоятельные сведения, которые отчасти перешли ко мне от отца, отчасти собраны мною лично. Надо вам знать, что я веду особую могильную книгу, и мне от нее столько же пользы, сколько удовольствия. В нее занесены все эти могилы, да еще кое-какие!





— Ну вот мы и на кладбище!

Вот тут, за выкрашенную белою краской оградой, где рос когда-то розовый куст (теперь его нет больше, и только плющ с соседней могилы пробирается сюда, желая хоть немножко скрасить и чужую могилу), покоится глубоко несчастный человек, хотя при жизни-то он, как говорят, и пользовался полным благополучием, имел все, что нужно, и даже кое-что лишнее. Вся беда его была в том, что он уж слишком близко принимал к сердцу все на свете, главным же образом искусство. Сидит, бывало, вечером в театре; тут-то бы ему и наслаждаться от всей души, так нет, куда! То зачем машинист пустил слишком сильный лунный свет, то зачем холщовое небо повисло впереди кулис, а не позади, то, наконец, зачем пальмы выросли на Амагере<sup>1</sup>, кактусы — в Тироле, а буки — в горах Норвегии! Как будто это не все равно! И кому нужно думать об этом? Ведь тут идет представление, ну и будь доволен тем, что дают! А то, бывало, ему вдруг покажется, что публика хлопает слишком уж усердно или, наоборот, слишком скупо: «Вот сырые-то дрова, — сейчас же заметит он, — никак не загораются сегодня!» И он оборачивается посмотреть, что за публика собралась сегодня; видит, что люди смеются совсем невпопад, и начинает злиться еще пуще. Так он и злился вечно, вечно страдал и был несчастнейшим человеком в мире. Теперь он успокоился в могиле.

А вот здесь погребен счастливец, то есть очень знатный господин, высокого происхождения, — в этом-то и было все его счастье, иначе бы из него никогда ничего не вышло! Да, просто приятно подумать, как премудро устроено все на белом свете! Платье он носил расшитое золотом и спереди и сзади и употреблялся только для парада, как дорогая, вышитая жемчугом полоска, прикрывающая прочный шнурок звонка; за ним тоже скрывался прочный шнурок — помощник его, который, собственно, и нес службу, да продолжает нести ее и теперь — за другую вышитую полоску. Премудро устроено все на белом свете! Как же тут впасть в меланхолию!

Здесь похоронен... да, печальная это история! Здесь похоронен человек, который шестьдесят семь лет все придумывал красное словцо, только для того и жил; когда

---

<sup>1</sup> Амагер — остров, предместье Копенгагена.

же наконец ему действительно удалось придумать такое словцо, не пережил своего счастья, умер от радости! Так его словцо и пропало задаром, никто и не услышал его! Могу себе представить, как мучит оно его даже в могиле! Как же! Подумайте только, вдруг словцо-то было такого рода, что его следовало пустить в ход именно за завтраком, а покойник, как и все мертвецы, имеет, по общему поверью, право выходить из могилы лишь в полночь! Куда ж ему деваться со своим словцом?! Скажи он его не вовремя — оно ведь не произведет никакого впечатления, никого и не рассмешит даже! Так бедняге и приходится возвращаться вместе со своим словцом в могилу. Да, печальная история!

Тут погребена одна скупая-прескупая дама. При жизни она вставала по ночам и мяукала, чтобы соседи подумали, будто она держит кошку, — вот такая была скупая!

Здесь покоится одна барышня из хорошего семейства; она вечно доставляла обществу удовольствие своим пением и пела обыкновенно: «*Mi manca la voce*»<sup>1</sup>. Правдивее этого она ничего не сказала за всю свою жизнь!

А вот здесь похоронена девица иного рода. Известно, что когда канарейка, обитающая в сердце, начинает свистать вовсю, разум затыкает себе уши, и вот душа-девица очутилась в положении, подобающем одним замужним! История печальная, но весьма обыкновенная. Пусть, однако, покоится с миром, не будем тревожить мертвых!

Тут лежит вдова; на устах у нее щебетали малиновки, а в сердце завывала сова. Она ежедневно отправлялась на добычу, выслеживая недостатки знакомых, как в старину выслеживал, бывало, «Друг полиции» неисправных домовладельцев, перед домами которых не было установленных мостиков через водосточные канавки.

А вот семейная могила. Между членами этой семьи царило такое трогательное единодушие, что если весь свет и даже их газета говорили так, а маленький сынишка приходил из школы и говорил: «а я слышал иначе», то он один и был прав, — он был ведь членом семьи. Да случись даже, что дворовый их петух запел бы свое утреннее кукареку в полночь — значит, и было утро, что там ни говори все ночные сторожа и все городские часы вместе!

---

<sup>1</sup> Нет у меня голоса (*итал.*).

Великий Гёте заканчивает историю своего Фауста словами: «продолжение может последовать»; то же я могу сказать и о нашей прогулке по кладбищу. Я часто прихожу сюда. И случись, что кто-либо из моих друзей или недругов уж очень досадит мне, я иду сюда, выбираю местечко под зеленым дерном и отвожу его ему или ей, то есть тому, кого хочу похоронить, под могилку, а затем и в самом деле хороню их. Вот они и лежат тут, мертвые, бессильные, пока не встанут вновь обновленными и лучшими людьми. Я записываю всю их жизнь и деяния — как я их вижу и понимаю — в мою «могильную книжку». Вот так следовало бы поступать и всем: не сердиться, когда кто-нибудь насолит им, а сейчас же хоронить обидчиков, но ни за что не изменять своему веселому нраву да «Листку объявлений»; в нем пишет ведь сама публика, хоть иногда ее рукою и водят при этом другие!

Итак, когда придет время, что повесть и моей жизни переплетут в могилу — пусть на корешке напишут:

«Веселый нрав».

Вот она, повесть моей жизни!





## СЕРДЕЧНОЕ ГОРЕ



**Р**ассказ этот состоит, собственно, из двух частей: первую можно бы, пожалуй, и пропустить, да в ней содержатся кое-какие предварительные сведения, а они небесполезны.

Мы гостили у знакомых в имении. Случилось так, что наши хозяева уехали куда-то на день, и как раз в этот самый день из ближайшего городка приехала пожилая вдова с мопсом. Она объявила, что желает продать нашему хозяину несколько акций своего кожевенного завода. Бумаги были у нее с собой, и мы посоветовали ей оставить их в конверте с надписью: «Его превосходительству генерал-провиант-комиссару...» и прочее.

Она внимательно выслушала нас, взяла в руки перо, задумалась и попросила повторить титул еще раз, только помедленнее. Мы исполнили ее просьбу, и она начала писать, но, дойдя до «генерал-пров...», остановилась, глубоко вздохнула и сказала:

— Ах, я ведь только женщина!

Своего мопса она спустила на пол, и он сидел и ворчал. Еще бы! Его взяли прокатиться ради его же удовольствия и здоровья, и вдруг спускают на пол?! Сплюснутый нос и жирная спина — вот его внешние приметы.

— Он не кусается! — сказала его хозяйка. — У него и зубов-то нет. Он все равно, что член семьи, преданный и злоущий... Но это все оттого, что его много дразнят: внуки мои играют в свадьбу и хотят, чтобы он был шафером, а это тяжеленько для бедного создания!

Тут она передала нам свои бумаги и взяла мопса на руки.

Вот первая часть, без которой можно бы и обойтись. Мопс умер — вот вторая.

Это случилось через неделю. Мы уже переехали в город и остановились на постоялом дворе. Окна наши выходили во двор, который разделялся забором на две части; в одной были развешаны шкуры и кожи, сырые и выделанные; тут же находились и разные приспособления для кожанного дела. Эта часть принадлежала вдове.

Мопс умер утром и был зарыт здесь же, на дворе. Внуки вдовы, то есть вдовы кожевника, а не мопса — мопс не был женат, — насыпали над могилкой холмик, и вышла прелесть что за могилка; славно, должно быть, было лежать в ней!

Холмик обложили черепками, посыпали песком, а посредине воткнули пивную бутылку горлышком вверх, но это было сделано без всякой задней мысли.

Дети поплясали вокруг могилки, а потом старший мальчик, практичный семилетний юноша, предложил устроить обозрение мопсенкиной могилки для всех соседних детей. За вход можно было брать по пуговке от штанишек: это найдется у каждого мальчика; мальчики же могут заплатить и за девочек.

Предложение было принято единогласно.

И вот все соседние ребяташки пришли на выставку и заплатили по пуговке; многим мальчикам пришлось в этот день щеголять с одной подтяжкой; зато они видели мопсенкину могилку, а это ведь чего-нибудь да стоило!

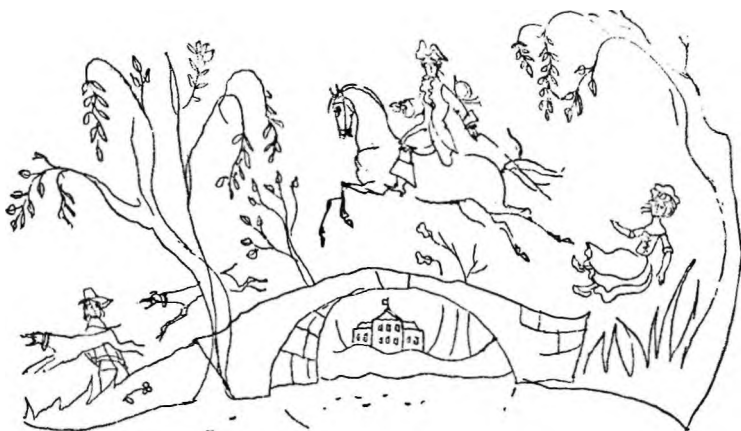
Но за забором у самой калитки стояла маленькая оборванная девочка, прехорошенькая, кудрявая, с такими ясными голубыми глазами, что просто загляденье! Она не говорила ни слова, не уронила ни одной слезы, она только жадно вытягивала шейку и старалась заглянуть дальше,

как можно дальше во двор. У нее не было пуговицы, и потому она печально стояла на улице, пока другие дети входили и выходили. Наконец перебивали все и ушли. Тогда девочка присела на землю, закрыла глаза своими загорелыми ручонками и горько, горько заплакала. Только она одна не видала мопсенькиной могилки! Не видала!.. Вот было горе так горе, великое, сердечное горе, каким бывает горе взрослого.

Нам все это было видно сверху, а когда смотришь на свои ли, чужие ли горести сверху, то они кажутся только забавными.

Вот и весь сказ. Кто не понял, пусть купит у вдовы акции кожевенного завода.





## ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО



**Т**ому минуло уж больше ста лет.

За лесом у большого озера стояла старая барская усадьба; кругом шли глубокие рвы с водой, поросшие осокой и тростником. Возле мостика, перекинутого через ров перед главными воротами, росла старая ива, склонявшаяся ветвями к тростнику.

С дороги послышались звуки рогов и лошадиный топот, и маленькая пастушка поторопилась отогнать своих гусей с мостика в сторону. Охотники скакали во весь опор, и самой девочке пришлось поскорее прыгнуть с мостика на большой камень возле рва — не то бы ей несдобровать! Она была совсем еще ребенок, такая тоненькая и худенькая, с милым, добрым выражением лица и честными, ясными глазками. Но барину-то что за дело? На уме у него были одни грубые шутки, и вот, пронсясь мимо девочки, он повернул хлыст рукояткой вперед и ткнул им пастушку прямо в грудь. Девочка потеряла равновесие и чуть не упала.



— Всяк знай свое место! Твое — в грязи! — прокричал барин и захохотал. Как же! Ему ведь удалось сослать! За ним захохотали и остальные; затем все общество с криком и гиканьем понеслось по мостику; собаки так и заливались. Вот уж подлинно, что

«Богатая птица шумно бьет крылами!»

Богат ли был барин, однако, еще вопрос.

Бедная пастушка, падая, ухватилась за ветку ивы и, держась за нее, повисла над тиною. Когда же господа и собаки скрылись за воротами усадьбы, она попробовала было опять вскарабкаться на мостик, но ветка вдруг обломилась у самого ствола, и девочка упала в тростник. Хорошо, что ее в ту же минуту схватила чья-то сильная рука. По полю проходил коробейник; он видел все и поспешил девочке на помощь.

— Всяк знай свое место! — пошутил он, передразнивая барина, и вытащил девочку на сушу. Отломанную ветку он тоже попробовал поставить на свое место, но не всегда-то ведь поговорка оправдывается! Пришлось воткнуть ветку прямо в рыхлую землю. — Расти, как сможешь, и пусть из тебя выйдет хорошая дудка для этих господ!

При этом он от души пожелал, чтобы на ней сыграли когда-нибудь для барина и всей его свиты хороший шпицрутен-марш. Затем коробейник направился в усадьбу, но не в парадную залу — куда такой мелкой сошке лезть в залы, — а в людскую. Слуги обступили его и стали рассматривать товары, а наверху, в зале, шел пир горой. Гости вздумали петь и подняли страшный рев и крик: лучше этого они петь не умели! Хохот, крики и собачий вой стоном стояли в воздухе; вино и старое пиво пенилось в стаканах и кружках. Любимые собаки тоже участвовали в трапезе, и то тот, то другой из молодых господ целовал их прямо в морду, предварительно обтерев ее длинными, обвислыми ушами собаки. Коробейника тоже призвали в залу, но только ради потехи. Вино бросилось им в головы, а рассудок, конечно, и вон сейчас! Они налили коробейнику пива в чулок, — выпьешь, мол, и из чулка, торопись только! То-то хитро придумали! Было над чем зубоскалить! Целые стада, целые деревни вместе с крестьянами ставились на карту и проигрывались.

— Всяк знай свое место! — сказал коробейник, выбравшись из Содомы и Гоморры, как он назвал усадьбу. —

Мое место — путь-дорога, а в усадьбе мне совсем не по себе!

Маленькая пастушка ласково кивнула ему на прощанье из-за плетня.

Дни шли за днями, недели за неделями; сломанная ветка, посаженная коробейником у самого рва, не только не засохла и не пожелтела, но даже пустила свежие побеги; пастушка глядела на нее да радовалась: теперь у нее завелось как будто свое собственное дерево.

Да, ветка-то все росла и зеленела, а вот в господской усадьбе дела шли все хуже и хуже: кутежи и карты до добра не доводят.

Не прошло и шести лет, как барин пошел с сумою, а усадьбу купил богатый коробейник, тот самый, над которым господа потешались, наливая ему пива в чулок. Честность и трудолюбие хоть кого поставят на ноги, и вот коробейник сделался хозяином усадьбы, но с того же часа карты были изгнаны из нее навсегда.

— От них добра не жди! — говорил хозяин. — Выдумал их сам черт: увидал Библию, ну и давай подражать на свой лад!

Новый хозяин усадьбы женился, и на ком же? На бывшей пастушке! Она всегда отличалась добронравием, благочестием и добротой, а как нарядилась в новые платья, так стала ни дать ни взять красавицей барышней! Как же, однако, все это случилось? Ну, об этом больно долго рассказывать, а в наш недосужий век, известно, все торопятся! Случилось так, ну и все, а дальше-то вот пойдет самое важное.

Славно жило в старой усадьбе; хозяйка сама вела все домашнее хозяйство, а хозяин заправлял всеми делами; благосостояние их все росло; недаром говорится, что деньга родит деньгу. Старый дом подновили, выкрасили, рвы очистили, всюду насадили плодовых деревьев, и усадьба выглядела как игрушечка. Пол в комнатах так и блестел; в большой зале собирались зимними вечерами все служанки и вместе с хозяйкой пряли шерсть и лен; по воскресным же вечерам юстиц-советник читал им из Библии. Да, да, бывший коробейник стал юстиц-советником, — правда, только на старости лет, но и то хорошо! Были у них и дети; дети подрастали, учились, но не у всех были одинаковые способности, — так оно бывает ведь и во всех семьях.

Ветка же стала славным деревцом; оно росло на свободе, его не подстригали, не подвязывали.

— Это наше, родовое дерево! — говорили старики и внушали всем детям, даже тем, которые не отличались особенными способностями, чтить и уважать его.

И вот с тех пор прошло сто лет.

Дело было уже в наше время. Озеро стало болотом, а старой усадьбы и вовсе как не бывало; виднелись только какие-то канавки с грязной водой да с камнями по краям — остатки прежних глубоких рвов. Зато старое родовое дерево красовалось по-прежнему. Вот что значит дать дереву расти на свободе! Правда, оно треснуло от самых корней до вершины, слегка покривилось от бурь, но стояло все еще крепко; из всех трещин и щелей, куда ветер занес разные семена, росли травы и цветы. Особенно густо росли они повыше, там, где ствол раздваивался. Тут образовался точно висячий садик: из середины дупла росли малина, мокричник и даже небольшая стройная рябинка. Старая ива отражалась в черной воде канавки, когда ветер отгонял зеленую ряску к другому краю. Мимо дерева вилась тропинка, уходившая в хлебное поле.

У самого же леса, на высоком холме, откуда открывался чудный вид на окрестность, стоял новый роскошный дом. Окна были зеркальные, такие чистые и прозрачные, что стекло словно и не было вовсе. Широкий подъезд казался настоящей беседкой из роз и плюща. Лужайка перед домом зеленела так ярко, точно каждую былинку охорашивали и утром и вечером. Залы увешаны были дорогими картинами, уставлены крытыми бархатом и шелком стульями и диванами, которые чуть только не катались на колесиках сами. Тут же стояли столы с мраморными досками, заваленные альбомами в сафьяновых переплетах и с золотыми обрезами... Да, богатые, видно, тут жили люди! И богатые и знатные — тут жило семейство барона.

И все в доме было подобрано одно к одному. «Всяк знай свое место» или «всему свое место», — говорили владельцы, и вот картины, висевшие когда-то в старой усадьбе на почетном месте, были вынесены в коридор, что вел в людскую. Все они считались старым хламом, в особенности же два старинных портрета. На одном был изо-

бражен мужчина в красном кафтане и в парике, на другом — дама с напудренными, высоко взбитыми волосами, с розою в руках. Оба были окружены венками из ветвей ивы. Портреты были во многих местах продырявлены. Маленькие барончики стреляли в них из луков, как в мишень. А на портретах-то были нарисованы сам юстиц-советник и советница, родоначальница баронской семьи.

— Ну, они вовсе не из нашего рода! — сказал один из барончиков. — Он был коробейником, а она пасла гусей! Это совсем не то, что рара и папа.

Портреты, как сказано, считались хламом, а так как «всему свое место», то прабабушку и прадедушку и отравили в коридор.

Домашним учителем в семье был сын пастора. Раз как-то он отправился на прогулку с маленькими барончиками и их старшею сестрой, которая только недавно конфирмовалась. Они шли по тропинке мимо старой ивы; молодая баронесса составляла букет из полевых цветов. Правило «всему свое место» соблюдалось и тут, и в результате вышел прекрасный букет. В то же время она внимательно прислушивалась к рассказам пасторского сына, а он рассказывал о чудесных силах природы, о великих исторических деятелях, о героях и героинях. Баронесса была здоровою, богато одаренною натурой, с благородною душой и сердцем, способным понять и оценить всякое живое создание.

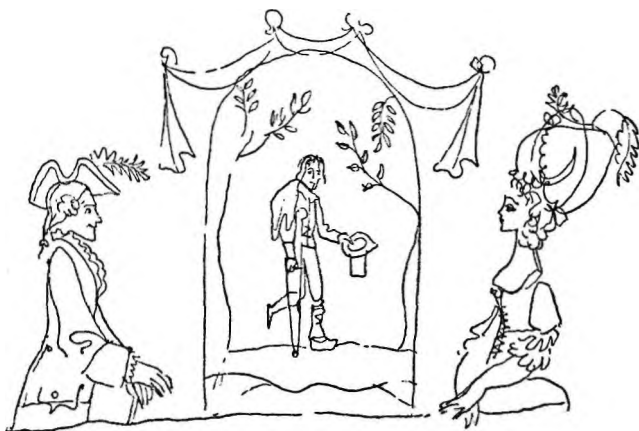
Возле старой ивы они остановились — младшему барончику захотелось дудочку; ему не раз вырезали их из ветвей других ив, и пасторский сын отломил одну ветку.

— Ах, не надо! — сказала молодая баронесса, но дело было уже сделано. — Ведь это же наше знаменитое родовое дерево! Я так люблю его, хоть надо мною и смеются дома! Об этом дереве рассказывают...

И она рассказала все, что мы уже знаем о старой усадьбе, и о первой встрече пастушки и коробейника, родоначальников знатного баронского рода и самой молодой баронессы.

— Славные, честные старички не гнались за дворянством! — сказала она. — У них была поговорка: «Всяк знай свое место», а им казалось, что они не будут на своем, если купят себе дворянство за деньги. Сын же их, мой дедушка, сделался бароном. Говорят, он был такой

ученый и в большой чести у принцев и принцесс; его постоянно приглашали на все придворные празднества. Его у нас дома особенно любят, я же, сама не знаю почему, больше симпатизирую двум старичкам. Могу себе представить их уютную патриархальную жизнь: хозяйка сидит и прядет вместе со своими служанками, а старик хозяин читает вслух Библию!



— Да, славные, достойные были люди! — сказал пасторский сын.

Завязался разговор о дворянстве и о мещанстве, и, слушая пасторского сына, право, можно было подумать, что сам он не из мещан.

— Большое счастье принадлежать к славному роду — тогда сама кровь твоя как бы прищипывает тебя, подгоняет делать одно хорошее. Большое счастье носить благородное родовое имя — это входной билет в лучшие семьи! Дворянство означает благородство крови; это чеканка на золотой монете, означающая ее достоинство. Но теперь ведь в моде, и ей следуют даже многие поэты, считать все дворянство дурным и глупым, а в людях низших классов открывать тем большие достоинства, чем ниже их место в обществе. Я другого мнения и нахожу такую точку зрения ложною. У людей высших сословий можно подметить много поразительно прекрасных черт характера. Мать моя рассказывала мне об одной, и я сам

могу привести их много. Мать была раз в гостях в одном знатном доме — бабушка моя, если не ошибаюсь, выкормила госпожу этого дома. Мать стояла в комнате, разговаривая со старым высокородным господином, и вдруг он увидал, что по двору ковыляет на костылях бедная старуха, которая приходила к нему по воскресеньям за милостыней. «Бедняга! — сказал он. — Ей так трудно взбираться сюда!» И прежде чем мать успела оглянуться, он был уже за дверями и спустился по лестнице. Семидесятилетний старик генерал сам спустился во двор, чтобы избавить бедную женщину от труда подниматься за милостыней! Это только мелкая черта, но она, как «лепта вдовицы», шла прямо от сердца, из глубины человеческой души, и вот на нее-то должен был указать поэт, в наше-то время и следовало бы воспеть ее! Это принесло бы пользу, умиротворило и смягчило бы сердца! Если же какое-нибудь подобие человека считает себя вправе — только потому, что на нем, как на кровной арабской лошади, имеется тавро — становится на дыбы и ржать на улице, а, входя в гостиную после мешанина, говорить: «Здесь пахнет человеком с улицы!» — то приходится признаться, что в лице его дворянство пришло к разложению, стало лишь маской, вроде той, что употреблял Феспис. Над такую фигуру остается только посмеяться, хлестнуть ее хорошенько бичом сатиры!

Вот какую речь держал пасторский сын; длинновата она была, да зато он успел в это время вырезать дудку.

В баронском доме собралось большое общество, наехали гости из окрестностей и из столицы; было тут и много дам — и одетых со вкусом и без вкуса. Большая зала была полна народа. Священники из окрестных приходов сбились в кучу в один угол. Можно было подумать, что люди собрались сюда на похороны, а на самом-то деле — на праздник, только гости еще не разошлись как следует.

Предполагалось устроить большой концерт, и маленький барончик тоже вышел со своею дудкой, но ни он, ни даже сам рара не сумели извлечь из нее ни звука, — значит, она никуда не годилась!

Начались музыка и пение того рода, что больше всего нравятся самим исполнителям. Вообще же все было очень мило.

— А вы, говорят, виртуоз! — сказал один кавалер, папенькин и маменькин сынок. — Вы играете на дудке и даже сами вырезали ее. Вот это высший сорт гения! Помилуйте! Я вполне следую за веком; так ведь и должно! Не правда ли, вы доставите нам высокое наслаждение своею игрой?

И он протянул пасторскому сыну дудку, вырезанную из ветви старой ивы, и громко провозгласил, что домашний учитель сыграет соло на дудке.

Разумеется, над учителем только хотели посмеяться, и молодой человек отнекивался, как мог, хотя и умел играть. Но все ужасно пристали к нему, и вот он взял дудку и поднес ее ко рту.

Вот так дудка была! Она издала звук, протяжный и резкий, точно свисток паровоза, даже еще резче; он раздавался по всему двору, саду и лесу, прокатился эхом на много миль кругом, а вслед за ним пронесся бурный вихрь. Вихрь свистел: «Всяк знай свое место!» И вот, рара, словно на крыльях ветра, перелетел двор и угодил прямо в пастуший шалаш, пастух же перелетел — не в залу, там ему было не место, — но в людскую, в круг разодетых лакеев, щеголявших в шелковых чулках.

Гордых лакеев чуть не хватил паралич от такой неожиданности. Как? Такое ничтожество и вдруг смеет садиться за стол рядом с ними!

Молодая баронесса между тем была перенесена вихрем на почетное место, во главе стола, которого она была вполне достойна, а пасторский сын очутился возле нее, и вот они сидели рядом, словно жених с невестою! Старый граф, принадлежавший к одной из древнейших фамилий, не был смещен со своего почетного места, — дудка была справедлива, да ведь иначе и нельзя. Остроумный же кавалер, маменькин и папенькин сынок, полетел вверх ногами в курятник, да и не он один.

За целую милю слышен был этот звук, и вихрь успел наделать бед. Один богатый глава торгового дома, ехавший на четверке лошадей, тоже был подхвачен вихрем, вылетел из экипажа и не мог потом попасть даже на заплатки, а два богатых крестьянина, из тех, что разбогатели на наших глазах, угодили прямо в тину. Да, преопасная была дудка! Хорошо, что она дала трещину при первом же звуке, и ее спрятали в карман — «всему свое место».

На другой день о происшествии не было и помину, оттого и создалась поговорка: «Спрятать дудку в карман»<sup>1</sup>. Все опять пришло в порядок, только два старых портрета, корабейника и пастушки, висели уже в парадной зале; вихрь перенес их туда, а один из настоящих знатоков искусства сказал, что они написаны рукой великого мастера: вот их и оставили там и даже подновили. А то прежде и не знали, что они чего-нибудь стоят, — где ж было знать это! Таким образом, они все-таки попали на почетное место: «всему свое место!» И так оно в конце концов всегда и бывает, — вечность ведь длинна, куда длиннее этой истории!

<sup>1</sup> То есть «прикусить язык».







### ДОМОВОЙ У ЛАВОЧНИКА



**Ж**

ил-был студент, самый обыкновенный студент. Он ютился на чердаке и не имел ни гроша в кармане. И жил-был лавочник, самый обыкновенный лавочник, он занимал первый этаж, и весь дом принадлежал ему. А в доме прижился домовый. Оно и понятно: ведь каждый сочельник ему давали глубокую миску каши, в которой плавал большой кусок масла. Только у лавочника и получишь такое угощение! Вот домовый и оставался в лавке, а это весьма поучительно.

Однажды вечером студент зашел с черного хода купить себе свечей и сыра. Послать за покупками ему было некого, он и спустился в лавку сам. Он получил то, что хотел, расплатился, лавочник кивнул ему на прощание, и хозяйка кивнула, а она редко когда кивала, больше любила поговорить! Студент тоже попрощался, но замешкался и не уходил: он начал читать лист бумаги, в который ему завернули сыр. Этот лист был вырван из старинной

книги с прекрасными стихами, а портить такую книгу просто грех.

— Да у меня этих листов целая куча, — сказал лавочник. — Эту книжонку я получил от одной старухи за пригоршню кофейных зерен. Заплатите мне восемь скиллингов и забирайте все остальные.

— Спасибо, — ответил студент, — дайте мне эту книгу вместо сыра! Я обойдусь и хлебом с маслом. Нельзя допустить, чтобы такую книгу разорвали по листочкам. Вы прекрасный человек и практичный к тому же, но в поэзии разбираетесь не лучше своей бочки!

Сказано это было невежливо, в особенности по отношению к бочке, но лавочник посмеялся, посмеялся и студент — надо же понимать шутки! Только домовый рассердился. Да как смеет студент так отзываться о лавочнике, который торгует превосходным маслом и к тому же хозяин дома!

Наступила ночь, лавочник и все в доме, кроме студента, улеглись спать. Домовой пробрался к хозяйке и вынул у нее изо рта ее бойкий язычок — ночью во сне он ей все равно ни к чему! А если приставить его к какому-нибудь предмету, тот сразу обретет дар речи и начнет выкладывать свои мысли и чувства, затараторит не хуже лавочницы. Только пользоваться язычком приходится всем по очереди, да оно и лучше, иначе вещи болтали бы без умолку, перебивая друг друга.

Домовой приложил язычок к бочке, где хранились старые газеты, и спросил:

— Неужели это правда, что вы ничего не смыслите в поэзии?

— Да нет, в поэзии я разбираюсь, — ответила бочка. — Поэзия — это то, что помещают в газете внизу, а потом вырезают. Я думаю, во мне-то поэзии побольше, чем в студенте! А что я? Всего лишь жалкая бочка рядом с господином лавочником.

Тогда домовый приставил язычок к кофейной мельнице. Вот поднялась трескотня! А потом к банке с маслом и к ящику с деньгами, и все были того же мнения, что и бочка, а с мнением большинства нельзя не считаться.

— Ну, студент, берегись! — И домовый тихонько, на цыпочках, поднялся по кухонной лестнице на чердак. В камерке у студента горел свет. Домовой заглянул в замоч-

ную скважину и увидел, что студент сидит и читает рваную книгу из лавки. Но как светло было на чердаке! Из книги поднимался ослепительный луч и превращался в ствол могучего, высокого дерева. Оно широко раскинуло над студентом свои ветви. Каждый лист дышал свежестью, каждый цветок был прелестным девичьим лицом: блестели горячие темные глаза, улыбались голубые и яс-



ные. Вместо плодов на ветвях висели сияющие звезды, и воздух звенел и дрожал от удивительных напевов.

Что и говорить, такой красоты крошка домовый никогда не видывал, да и вообразить себе не мог. Он привстал на цыпочки и замер, прижавшись к замочной скважине, глядел и не мог наглядеться, пока свет не погас. Студент задул лампу и лег спать. Но маленький домовый не отходил от двери, он все еще слышал тихую, нежную мелодию, будто студенту напевали ласковую колыбельную.

— Вот так чудеса! — сказал малютка домовый. — Тако-го я не ожидал! Не остаться ли мне у студента? — Он за-

думался, однако поразмыслил хорошенько и вздохнул. — Но ведь у студента нет каши! — И домовый стал спускаться по лестнице. Да, да, пошел обратно к лавочнику!

Он вернулся вниз как раз вовремя, потому что бочка уже почти совсем истрепала хозяйкин язычок, тараторя обо всем, что переполняло ее половину. Она собиралась было повернуться другим боком, чтобы выложить содержимое второй половины, как тут явился домовый, взял язычок и отнес его назад в спальню, но отныне вся лавка, от кассы до щепок для растопки, прониклась таким уважением к бочке, так восхищалась ее познаниями, что когда лавочник по вечерам читал вслух статьи из своей газеты, посвященные театру и искусству, все в лавке ображало, будто эти сведения исходят от бочки.

А маленький домовый, тот не в силах был больше спокойно слушать благонамеренные разглагольствования обитателей лавки. Каждый вечер, как только на чердаке зажигался свет, его словно канатом тянуло наверх, он не мог усидеть на месте, поднимался по лестнице и прикивал к замочной скважине. Тут его охватывал такой трепет, какой испытываем мы, стоя в бурю у ревущего моря, когда над волнами будто проносится сам господь бог. И домовый не мог сдержать слез. Он и сам не знал, отчего плачет, но слезы эти были такие светлые и сладкие! Он отдал бы все на свете, чтобы посидеть рядом со студентом под величественным деревом, но об этом и мечтать не приходилось, счастье еще, что можно глядеть в замочную скважину. Наступила осень, а он часами простаивал на чердаке, хотя в слуховое окно дул пронзительный ветер. Было холодно, очень холодно, но крошка домовый не замечал сквозняка, пока в каморке под крышей не гас свет и ветер не заглушал чудесное пение. Ух! Тут он сразу начинал дрожать и тихонько пробирался вниз, в свой уютный уголок. Как там было темно и тепло! А скоро и сочельник наступит, и он получит свою кашу с большим куском масла! Да, что ни говори, лавочник — вот кто его хозяин!

Однажды ночью домовый проснулся от яростного стука в ставни, в них барабанили снаружи, ночной сторож свистел: пожар! пожар! Над улицей стояло зарево. Где же горит? У лавочника или у соседей? Где? Вот страх-то! Лавочница так растерялась, что вынула из ушей золотые серьги и спрятала их в карман — там целее будут.

Лавочник бросился к ценным бумагам, а служанка — к шелковой шали, у нее и такая была. Каждый хотел спасти то, что ему всего дороже, и маленький домовый в два прыжка взлетел на чердак в каморку к студенту. А тот преспокойно стоял у открытого окна и глядел на пожар — горело, оказывается, во дворе у соседей. Домовой кинулся к столу, схватил чудесную книгу, спрятал ее в свой красный колпачок и обхватил его обеими руками. Самое главное сокровище дома было в безопасности! Потом он вылез на крышу, забрался на печную трубу и уселся там. Огни пожара ярко освещали его, а он крепко прижимал к груди свой красный колпачок — ведь в нем было спрятано сокровище. Теперь-то он понял, кому принадлежит его сердце! Но вот пожар понемногу затих, и он одумался.

«Да, — сказал он себе, — придется разрываться между ними обоими, не могу же я покинуть лавочника, как же тогда каша?»

Он рассуждал совсем как мы, люди: ведь и мы тоже не можем пройти мимо лавочника — из-за каши.





### ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ



а, через тысячу лет обитатели Нового Света прилетят в нашу старую Европу на крыльях пара, по воздуху! Они явятся сюда осматривать памятники и развалины, как мы теперь осматриваем остатки бывшего величия южной Азии.

Они прилетят в Европу через тысячу лет! Темза, Дунай, Рейн будут течь по-прежнему; Монблан все так же гордо будет подымать свою снежную вершину, северное сияние — освещать полярные страны, но поколения за поколениями уже превратятся в прах, длинный ряд минутных знаменитостей будет забыт, как забыты имена тех, что почивают в кургане, на котором благодушный мельник, собственник его, поставил себе скамеечку, чтобы сидеть тут и любоваться волнующейся нивой.

— В Европу! — воскликнут юные поколения американцев. — В страну наших отцов, в страну чудных воспоминаний, в Европу!

Воздушный корабль прибывает; он переполнен пассажирами, — он ведь мчится куда быстрее парохода. Элек-

тромагнитный провод, протянутый под морем, уже передал, как велико число пассажиров воздушного поезда. Вот показалась и Европа, берега Ирландии, но пассажиры еще спят; они велели разбудить себя только над самой Англией. Тут они спустятся на землю и очутятся в стране Шекспира, как зовут ее сыны муз, или в стране машин и политики, как называют ее другие.

Целый день стоит здесь поезд — вот сколько времени может занятое и непоседливое поколение уделить великой Англии и Шотландии!

Дальше путь идет по подводному туннелю; ведет он во Францию, страну Карла Великого и Наполеона. Вспоминается имя Мольера, ученые заводят разговор о классической и романтической школах седой древности, восхваляют героев, поэтов и людей науки, которых еще не знает наше время, но которые должны народиться в европейском кратере — Париже.

Из Франции воздушный корабль несется в страну, откуда вышел Колумб, где родился Кортес, где слагал звучными стихами свои драмы Кальдерон. В ее цветущих долинах еще живут черноокие красавицы, а в старинных песнях живет имя Сида, упоминается Альгамбра.

Перелетают море, и вот путешественники в Италии, где лежал когда-то древний вечный город Рим. Он исчез с лица земли, Кампанья превратилась в пустыню, от собора Петра осталась одна полуразрушенная стена; ее показывают всем путешественникам, но подлинность ее подложит сомнению.

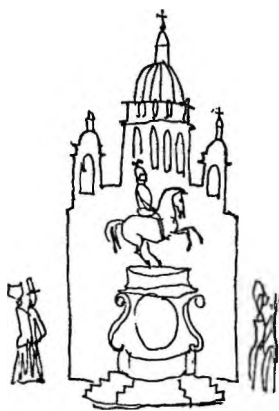
Дальше — в Грецию, чтобы проспать ночь в роскошном отеле на вершине Олимпа; тогда дело сделано: были, дескать, и там! Поезд направляется к берегам Босфора, чтобы остановиться на несколько часов у того места, где некогда лежала Византия. Бедные рыбаки закидывают свои сети у тех берегов, где, по преданию, расстились во времена турецкого владычества гаремные сады.

Пролетают над развалинами больших городов по берегам Дуная, — городов этих наше время еще не видало. То тут, то там спускается воздушный поезд, останавливаясь в местах, богатых воспоминаниями, которые еще порождает время.

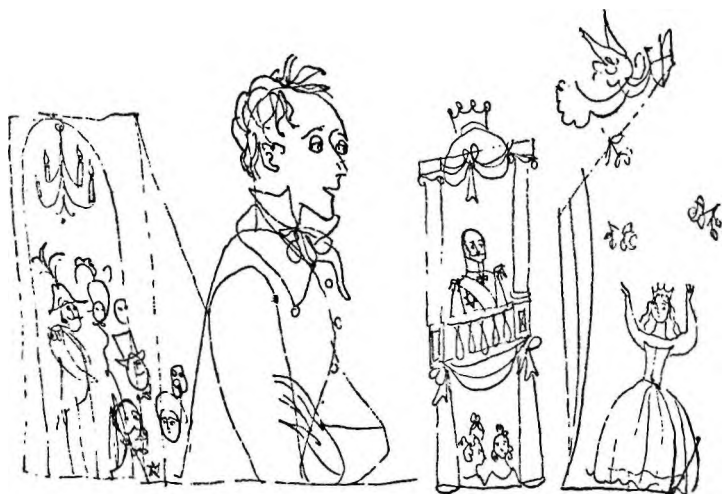
Вот внизу Германия, некогда сплошь опутанная густою сетью железных дорог и каналов, страна, где проповедовал Лютер, пел Гёте, держал композиторский скипетр Моцарт.

И другие великие имена сияют в науке и искусстве, имена, которых мы еще не знаем. Один день посвящается обозрению Германии, один — странам севера: родине Эрстеда, родине Линнея и Норвегии, стране древних геросв и юных норвежцев; Исландию захватывают на обратном пути. Гейзер не кипит более, Гекла потухла, но могучий скалистый остров возвышается из пены морских волн, как вечный памятник саг.

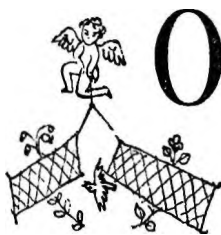
— В Европе есть на что посмотреть! — говорят юные американцы. — И мы осмотрели все в одну неделю. Это вполне возможно, как уже доказал и великий наш путешественник — называют имя своего современника — в своем знаменитом сочинении: «Вокруг Европы в восемь дней».







## ПОД ИВОЮ



**О**крестности Кёге довольно голы; правда, город лежит на самом берегу моря, а это уж само по себе красиво, но все же окрестности могли бы быть покрасивее. А то куда ни обернешься — плоское, ровное пространство, до леса не скоро и доберешься. Освоившись хорошенько с местностью, можно, впрочем, и тут напасть на такие красивые местечки, что потом будешь скучать о них даже в самом восхитительном уголке земного шара. Вот, например, на самой окраине города сбегали вниз, к быстрой речке два простеньких, бедненьких садика, и летом здесь было прелесть как хорошо! Особенно для двух ребяташек: Кнуда и Йоханны, которые день-деньской играли тут; они были соседями и пролезали друг к другу сквозь кусты крыжовника, разделявшего их садики. В одном из садиков росла бузина, в другом — старая ива. Под ивою-то дети особенно и любили играть, — им позволяли, хотя дерево и стояло почти у самой речки, так что они легко могли упасть в воду. Ну, да господь бог сам охраняет «малых

сих», а не то было бы плохо! Впрочем, дети были очень осторожны, а мальчик, так тот просто боялся воды: другие ребяташки весело плещутся себе, бывало, в заливе, бегают по воде, шалят, а его и не заманить туда. Зато Кнуду и приходилось сносить немало насмешек; но вот Йоханне раз приснилось, что она плыла по заливу в лодке, и Кнуд преспокойно пошел к ней навстречу прямо по воде, а вода-то сначала была ему по шею, потом же покрыла его с головой! Полно с тех пор Кнуду терпеть насмешки! Назовут его трусом, а он сейчас и вспомнит сон Йоханны — вон я какой храбрый! Очень он гордился своею храбростью, но от воды все-таки держался подальше.

Бедняки родители ребяташек были соседями, виделись друг с другом ежедневно, а Кнуд и Йоханна целыми днями играли вместе в садиках и на дороге, обсаженной по обеим сторонам, вдоль канав, ивами. Красотой эти ивы не отличались, верхушки их были обломаны, ну да они и стояли-то тут не для красоты, а для пользы. Старая ива в саду была куда красивее, и под нею ребяташки провели немало веселых часов.

В Кёге есть большая площадь, и во время ярмарки на ней выстраивались целые улицы из палаток, в которых торговали лентами, сапогами и разною разностью. В эти дни здесь всегда бывала давка и суматоха и почти всегда шел дождик; во влажном воздухе так и пахло крестьянскими кафтанами и — что куда приятнее — медовыми коврижками. Целая лавка битком бывала набита коврижками! Славно! А что еще лучше — хозяин лавочки оставивался у родителей Кнуда, и мальчику, конечно, перепало всякий раз по коврижке, которую он сейчас же делил с Йоханной. Важнее же всего было то, что продавец коврижек умел рассказывать чудесные истории почти обо всякой вещи, даже о своих коврижках. Однажды вечером он и рассказал детям историю, которая произвела на них такое сильное впечатление, что они не могли забыть ее никогда. Не мешает, пожалуй, и нам послушать ее, тем более что она очень коротка.

— На прилавке лежало две коврижки, — рассказывал торговец. — Одна изображала кавалера в шляпе, другая — девицу, без шляпы, но с полоской сусального золота на голове. Лицо у них было только на одной стороне, и этой стороной они лежали кверху. С этой-то лицевой стороны на них и надо было смотреть, а отнюдь не с оборотной,

и так следует смотреть и на всех людей вообще. У кавалера в левом боку торчала горькая миндалинка, — это было его сердце, девица же была просто медовою коврижкой. Лежали они на прилавке как образцы, лежали долго, ну и полюбили друг друга, но ни тот, ни другая ни гу-гу об этом, а так нельзя, если хочешь, чтобы любовь привела к чему-нибудь!

«Он мужчина и должен заговорить первый!» — думала девица, хотя и была бы довольна одним признанием, что любовь ее встречает взаимность.

Кавалер же, как и все мужчины, питал довольно кровожадные замыслы. Он представлял себе, что он — живой уличный мальчишка, в кармане у него четыре скиллинга, и вот он покупает девицу и съедает ее!..

Так они лежали на прилавке дни за днями, недели за неделями и сохли; мысли девицы становились все нежнее и женственнее. «Я довольна и тем, что лежу на прилавке рядом с ним!» — думала она и вдруг треснула пополам. «Знай она, что я люблю ее, она, пожалуй, еще продумалась бы!» — подумал он.

— Вот вам и вся история, а вот и сами коврижки! — добавил торговец сладями. — Они замечательны историей своей жизни и своею немой любовью, которая никогда ни к чему не ведет! Ну, возьмите их себе!

И он дал Йоханне уцелевшего кавалера, а Кнуду — треснувшую девицу. Рассказ, однако, так подействовал на детей, что они не могли решиться съесть влюбленную парочку.

На другой день они отправились с коврижками на кладбище; церковные стены были густо обвиты и летом и зимою чудеснейшим плющом, — словно зеленый ковер был повешен! Дети положили коврижки на травку, на самое солнышко, и рассказали толпе ребятишек историю немой любви, которая никуда не годится, то есть любовь, а не история. История-то была прелестна, все согласилось с этим и поглядели на медовую парочку, но... куда же девалась девица? Ее съел под шумок один из больших мальчиков — вот какой злой! Дети заплакали о девице, а потом — верно, из жалости к бедному одинокому кавалеру — съели и его, но самой истории не забыли.

Кнуд и Йоханна были неразлучны, играли то под бузиною, то под ивою, и девочка распевала своим серебристым, звонким, как колокольчик, голоском прелестные песенки.

У Кнуда слуха не было никакого, зато он твердо помнил слова песен, — все-таки хоть что-нибудь! Горожане оставались послушать Йоханну; особенно же восхищалась ее голосом жена торговца скобяными изделиями.

— Соловьиное горлышко у этой малютки! — говорила она.

Да, славные то были денечки, но не вечно было им длиться!.. Соседям пришлось расстаться: мать Йоханны умерла, отец собирался жениться в Копенгагене на другой и, кстати, рассчитывал пристроиться там посыльным при одном учреждении, — должность, как говорили, была очень доходная. Соседи расстались со слезами; особенно плакали дети, но старики обещали писать друг другу по крайней мере раз в год. Кнуда отдали в учение к сапожнику, — не пристало такому большому мальчику слоняться без дела! А потом его и конфирмовали.

Как хотелось ему в этот торжественный день отправиться в Копенгаген, повидать Йоханну! Но, конечно, он не отправился ни в этот день, ни потом, хотя Копенгаген и лежит всего в пяти милях от Кёге и в ясную тихую погоду через залив видны были столичные башни. В день же конфирмации Кнуд ясно видел даже золотой купол собора Богоматери.

Ах, как он скучал по Йоханне! А вспоминала ли о нем она?

Да! К рождеству родители Кнуда получили письмо от ее отца. В нем говорилось, что в Копенгагене им повезло и что серебряный голосок Йоханны сулит ей большое счастье. Она была уже принята в театр, где поют, и даже зарабатывала кое-что. Из заработка своего она и посылала дорогим соседям на рождественские удовольствия целый риксдалер! Пусть в Кёге выпьют за ее здоровье! В письме была и собственноручная приписка Йоханны: «Дружеский привет Кнуду!»

Все плакали от радости. У Кнуда только и дум было, что об Йоханне, а теперь выходило, что и она о нем думает! И вот чем ближе подходил срок его учению, тем яснее становилось, что он любит Йоханну; значит, она должна стать его женою! При этой мысли все лицо его озарилось улыбкой, и он еще усерднее продергивал дратву, в то время как нога натягивала ремень. Он проколол себе шилом палец и даже не заметил! Уж он-то не будет

молчать, как те коврижки, — их история научила его кое-чему.

И вот он подмастерье. Теперь — котомку на спину, и марш в первый раз в жизни в Копенгаген! У него уже был там на примете один мастер. Вот Йоханна-то удивится и обрадуется ему! Ей уже теперь семнадцать лет, а ему девятнадцать.

Кнуд хотел было тут же, в Кёге, запастись золотым колечком для нее, да потом сообразил, что в Копенгагене можно купить получше. Простившись со стариками родителями, он бодро зашагал по дороге; пора стояла осенняя: дождь, непогода, листья с деревьев так и сыпались. Усталый, промокший до костей, добрался наконец Кнуд до столицы и до нового хозяина.

В первое же воскресенье он собрался навестить отца Йоханны, надел новое платье и — в первый раз в жизни — новую шляпу, купленную еще в Кёге; она очень шла к нему; до сих же пор он ходил всегда в фуражке. Вот Кнуд отыскал дом и поднялся вверх по лестнице. Сколько тут было ступенек! Просто голова кружилась при одной мысли о том, что люди могут жить так, почти на головах друг у друга.

Зато в самой квартире было уютно, и отец Йоханны встретил Кнуда очень ласково. Для хозяйки дома Кнуд был совершенно посторонним человеком, но и она подала ему руку и угостила чашкой кофе.

— Вот Йоханна-то обрадуется тебе! — сказал отец. — Ишь ты, каким молодцом стал! Ну, сейчас увидишь ее! Да, бот так девушка. Она нас так радует и, бог даст, порадует еще больше! У нее своя комната, она платит нам за нее!

И он очень вежливо, словно чужой, постучался в дверь дочки. Они вошли. Батюшки! Какая прелесть! Такой комнаты не нашлось бы во всем Кёге! У самой королевы вряд ли могло быть лучше! Тут были и ковер, и длинные занавеси до самого пола, бархатный стул, цветы, картины и большое зеркало, в которое можно было с разбега ткнуться лбом, приняв его за дверь. Все это сразу бросилось в глаза Кнуду, но видел он все-таки одну Йоханну. Она стала совсем взрослою девушкой, но вовсе не такую, какую воображал ее себе он, — куда лучше! Во всем Кёге не сыскать было такой девушки. Какая она была нарядная, изящная! Но как странно взглянула она на Кнуда — точно на чужого. Зато в следующую же минуту она так

и бросилась к нему, словно хотела расцеловать. Поцеловать-то она не поцеловала, но готова была. Да, очень она обрадовалась другу детства! Слезы выступили у нее на глазах, а уж сколько вопросов она задавала ему — и о здоровье родителей его, и о бузине, и об иве, которых она звала, бывало, «матушкой» и «батюшкой», точно деревья были людьми. Впрочем, ведь смотрели же Кнуд с Йоханной когда-то и на коврижки как на людей. Йоханна вспомнила и о них, об их немой любви, о том, как они лежали рядом на прилавке и как девица треснула пополам. Тут Йоханна весело рассмеялась, а Кнуд вспыхнул, и сердце его так и застучало. Нет, она совсем не переменялась, не заважничала! И он отлично заметил, что это она заставила родителей попросить его остаться у них на целый вечер. Йоханна разливала чай и сама подала Кнуду чашку, а потом принесла книгу и прочла им из нее кое-что вслух. И Кнуду показалось, что она прочитала как раз историю его собственной любви, — так подходило каждое слово к его мыслям. Затем она спела простенькую песенку, которая, однако, превратилась в ее устах в настоящую поэму; казалось, в ней вылилась вся душа Йоханны. Разумеется, она любила Кнуда! Слезы текли по его щекам, он не мог справиться с собою, не мог даже слова выговорить. Самому ему казалось, что он выглядит таким глупым, но она пожала ему руку и сказала:

— У тебя доброе сердце, Кнуд! Оставайся таким всегда!

Что это был за чудный вечер! И мыслимо ли было заснуть после того? Кнуд так и не спал всю ночь. На прощанье отец Йоханны сказал:

— Ну, не забывай же нас! Нехорошо, если и зима пройдет, а ты к нам так и не заглянешь!

Значит, ему можно было опять прийти к ним в воскресенье; так он и решил сделать. Но каждый вечер по окончании работ — а работали они еще долго и при огне — Кнуд отправлялся бродить по городу, заходил в улицу, где жила Йоханна, и смотрел на ее окно. В нем почти всегда виднелся свет, а раз он увидел на занавеске ее тень! Вот-то был чудный вечер! Жена его хозяйина, правда, не очень была довольна «такими вечерними прогулками», как она выражалась, покачивая головой, но сам хозяин только посмеивался:

— Э, пусть себе! Человек он молодой!

«В воскресенье мы опять увидимся, — размышлял Кнуд, — и я скажу ей, что она не выходит у меня из головы и потому должна быть моею женой. Правда, я еще бедный подмастерье, но могу сделаться и мастером, по крайней мере «вольным мастером»; я буду работать, стараться!.. Да, да, я скажу ей все! Из немой любви ничего не выйдет! Я уж знаю это из истории о коврижках».

Воскресенье настало, и Кнуд явился к родителям Йоханны, но как неудачно! Все трое собирались куда-то, — так и не пришлось ему сказать; Йоханна же пожалала ему руку и спросила:

— А ты был в театре? Надо побывать! Я пою в среду, и, если ты свободен вечером, я пришлю тебе билет. Отец знает, где живет твой хозяин.

Как это было мило с ее стороны! В среду Кнуд получил запечатанный конверт, без всякого письма, но с билетом. Вечером Кнуд в первый раз в жизни отправился в театр. Кого же он увидал там? Йоханну! И как она была прелестна, обворожительна! Правда, она выходила замуж за какого-то чужого господина, но ведь это же было только так, представление. Кнуд отлично знал это, иначе разве она прислала бы ему билет на такое зрелище? Народ хлопал в ладоши и кричал, и Кнуд тоже закричал «ура».

Сам король улыбнулся Йоханне, как будто и он обрадовался ей. Каким маленьким, ничтожным показался теперь самому себе Кнуд! Но он так горячо любил ее, она его тоже, а первое слово ведь за женщиной — так думали даже коврижки. О, в той истории было много поучительного!

Как только настало воскресенье, Кнуд пошел к Йоханне; он был в таком настроении духа, словно шел причащаться. Йоханна была дома одна и сама отворила ему дверь; случай был самый удобный.

— Как хорошо, что ты пришел! — сказала она ему. — Я чуть было не послала за тобой отца. Но у меня было предчувствие, что ты придешь сегодня вечером. Дело в том, что я уезжаю в пятницу во Францию. Это необходимо, если я хочу стать настоящей певицей.

Комната завертелась перед глазами Кнуда, сердце его готово было выпрыгнуть из груди, и хотя он и не пролил ни одной слезы, видно было, как он огорчен. Йоханна заметила все и чуть не расплакалась сама.

— Верная, честная ты душа! — сказала она.

И тут уж язык у Кнуда развязался, и он сказал ей все, сказал, что горячо любит ее и что она должна выйти за него замуж. И вдруг он увидел, что Йоханна побледнела. Она выпустила его руку и сказала ему печально и очень серьезно:

— Не делай ни себя, ни меня несчастными, Кнуд! Я всегда буду для тебя верною, любящею сестрою, но... не больше! — И она провела своею мягкою ручкой по его горячему лбу. — Бог даст нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!

В эту минуту в комнату вошла ее мачеха.

— Кнуд просто сам не свой оттого, что я уезжаю! — сказала Йоханна. — Ну, будь же мужчиной! — И она потрепала его по плечу, как будто между ними только и разговору было, что об ее отъезде. — Дитя! — прибавила она. — Ну, будь же паинькой, как прежде под ивою, когда мы оба были маленькими!

Но Кнуду казалось, что мир рушится, а собственные мысли его, как разорванные нити, ветер треплет туда и сюда. Он остался сидеть, хоть и не знал, просили ли его остаться. Хозяева были с ним, впрочем, очень милы и приветливы. Йоханна опять угощала его чаем и п е л а , — хотя и не по-прежнему, но все же очень хорошо, так что сердце Кнуда просто разрывалось на части. И вот они расстались. Кнуд не протянул ей руки, но она сама схватила его руку и сказала:

— Дай же на прощанье своей сестре руку, мой милый товарищ детства! — И она улыбнулась ему сквозь слезы и шепнула: — Мой брат!

Нашла тоже, чем утешить его! Так они и расстались.

Йоханна отплыла во Францию, а Кнуд по-прежнему бродил вечерами по грязным улицам города. Другие подмастерья спрашивали его, чего это он все философствует, и звали его пойти с ними повеселиться, — ведь и в нем, небось, кипит молодая кровь.

И вот однажды он пошел с ними потанцевать. Он увидел много красивых девушек, но ни одной такой, как Йоханна, не было. И тут-то как раз, где он думал забыть ее, она не выходила у него из головы, стояла перед ним как живая. «Бог даст нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!» — сказала она ему, и душою его овладело серьезное, торжественное настроение, он даже сложил руки, как на молитве, а в зале визжали скрип-



ки, кружились пары... И он весь затрепетал: в такое место ему не следовало бы водить Йоханну, — она всегда ведь была с ним, в его сердце! И он ушел, пустился бежать по улицам к тому дому, где она жила. В окнах было темно, кругом тоже темно, пусто, безотраднo... И никому не было дела до Кнуда; люди шли своєю дорогою, а он своєю.

Настала зима, реки замерзли, природа словно готовилась к смерти.

Но с наступлением весны и открытием навигации Кнуда охватило вдруг тоскливое желание уйти отсюда, бежать куда глаза глядят — только не во Францию.

И вот он вскинул котомку на спину и пошел бродить по Германии, переходя из одного города в другой, не зная ни отдыха, ни покоя. Только в старинном прекрасном городе Нюрнберге тоска его как будто затихла немного, и он смог остановиться.

Нюрнберг — диковинный город, словно вырезанный из старинной книжки с картинками. Улицы идут, куда и как хотят сами, дома не любят держаться в ряд, повсюду выступы, какие-то башенки, завитушки, из-под сводов выглядывают статуи, а с высоты диковинных крыш сбегают на улицы водосточные желоба в виде драконов или собак с длинными туловищами.

Кнуд стоял с котомкою за плечами на нюрнбергской площади и смотрел на старый фонтан, на его библейские и исторические фигуры, орошаемые брызгами воды. К фонтану подошла зачерпнуть воды красивая девушка; она дала Кнуду напиться и подарила розу — в руках у нее был целый букет роз. Кнуд счел это добрым предзнаменованием и решил остаться в городе.

Из церкви доносились до него могучие звуки органа; что-то знакомое, родное слышалось в них — как будто они неслись из кёгской церкви. И он зашел в величественный собор. Солнышко светило сквозь расписные стекла окон, играло на стройных, высоких колоннах, и душой Кнуда овладело тихое, благоговейное настроение.

Скоро он нашел себе хорошего хозяина, стал работать и учиться языку.

Рвы, окружавшие город в старину, давно были превращены жителями в маленькие огороды, но каменные крепостные стены с башнями возвышались еще по-прежнему. Канатный мастер вил свои канаты в старой бревенчатой галерее, тянувшейся вдоль одной из стен. Изо всех щелей

и дыр галереи росла бузина; она свешивала свои ветви к маленьким, низеньким домикам, ютившимся внизу, а в одном-то из них как раз и жил хозяин Кнуда. Ветви бузины лезли прямо в окошко его каморки, помешавшейся под самую крышей.

Кнуд прожил тут лето и зиму, но когда пришла весна, здесь стало невыносимо: бузина зацвела, и аромат ее так напоминал Кнуду его родину и сад в Кёге, что он не выдержал и перебрался от своего хозяина к другому, жившему ближе к центру города, — тут уж бузины не было.

Новый хозяин жил возле старого каменного моста, перекинутого через бурную речку, словно ущемленную между двумя рядами домов; прямо против дома стояла вечно шумящая водяная мельница. У всех домов были балконы, но такие старые и ветхие, что дома, казалось, только и ждали удобной минуты, чтобы стряхнуть их с себя в воду. Тут, правда, не росло ни единого кустика бузины, на окнах не виднелось даже цветочных горшков с какой-нибудь зеленью, зато перед самыми окнами стояла большая, старая ива! Она словно цеплялась за дом, чтобы не свалиться в реку, и свешивалась к воде своими гибкими ветвями — точь-в-точь, как ива в саду в Кёге.

Кнуд убежал от «магушки» и наткнулся на «бабушку»! Дерево это, особенно лунными вечерами, казалось Кнуду таким родным, таким знакомым!

Но дело-то было вовсе не в лунном свете, а в старой иве.

И тут Кнуду стало невтерпеж, а почему? Спросите иву, спросите цветущую бузину! Кнуд распростился с хозяином и с Нюрнбергом и пошел дальше.

Ни с кем не говорил он об Иоханне, глубоко в сердце схоронил он свое горе; история же о двух коврижках приобрела теперь для него особенно глубокое значение. Теперь он понял, почему у кавалера сидела в груди горькая миндалина: и у него самого вся душа была отравлена горечью; Иоханна же, всегда такая ласковая, приветливая, была просто медовой коврижкой!.. И ему стало не по себе; должно быть, ремень котомки слишком давил ему грудь, трудно было дышать. Он ослабил ремень, но толку не вышло: окружающий его мир давно ведь уже как-то сузился для него, как бы убавился на целую половину, и эту-то половину Кнуд носил в себе — вот оно что! Вот отчего ему было так тяжело.

Только при виде высоких гор он почувствовал, что на сердце у него стало как будто полегче, границы света опять как будто расширились, а мысли невольно обратились к окружающему, и на глазах выступили слезы. Альпы показались ему сложенными крыльями земли. Что, если бы она развернула, распустила эти огромные крылья, испещренные чудными рисунками: темными лесами, бурными водопадами, облаками и снежными шапками! «В день Страшного суда так и будет! Земля развернет свои широкие крылья, полетит к богу и лопнет, как мыльный пузырь, в лучах его света! Ах, если бы это было сегодня!» — вздыхал Кнуд.

Тихо брел он по стране, казавшейся ему цветущим фруктовым садом. С деревянных балкончиков кивали ему головками девушки-кружевницы; вершины гор горели под лучами вечернего солнца, как жар. Он взглянул на зеленые озера, окруженные темными деревьями, и вспомнил ему берег Кёгского залива... Но в душе его уже не было прежней смертной тоски, она сменилась тихой грустью.

Там, где Рейн одною бесконечно волною стремится вперед, обрывается со скалы и, разбиваясь о камни, выбрасывает в воздух охапки белоснежной пены — как будто тут колыбель облаков, где радуга порхает над водою, словно вьющаяся по ветру лента, Кнуду вспомнилась водяная мельница в Кёге, где вода тоже кипела и разбивалась в облачную пену под колесами.

Он охотно остался бы в тихом прирейнском городке, но здесь так много было ив и бузины! И он отправился дальше, за высокие, величественные горы, проходил по ущельям и по горным тропинкам, лепившимся возле отвесных, как стены, скал, словно ласточкины гнезда. В глубине пропастей шумели водопады, облака ползли под его ногами, а он все шел да шел, под теплыми лучами солнца, по чертополоху, альпийским розам и снегам, дальше и дальше, и вот наконец — прощай север! Кнуд спустился в долину и очутился в тени каштанов, дорога шла мимо виноградников и маисовых полей. Горы встали стеною между ним и всеми воспоминаниями; так оно и следовало.

Вот Кнуд и в большом, великолепном городе Милане; он нашел здесь немецкого мастера и стал у него работать. Хозяева его оказались славными, честными и трудолюбивыми людьми; они от души полюбили тихого, кроткого и набожного юношу, который мало говорил, но много рабо-

тал. И у него самого на душе стало как будто полегче; казалось, бог наконец сжалился над ним и снял с его души тяжелое бремя.

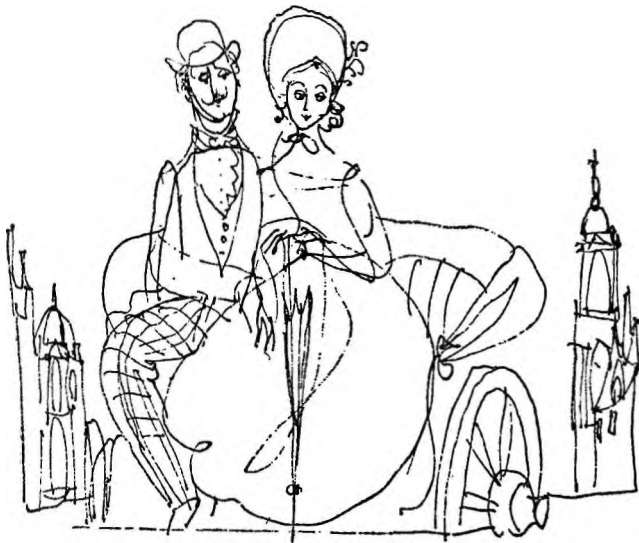
Первым удовольствием стало для Кнуда взбираться на самый верх величественного мраморного собора, который со всеми своими остроконечными башнями, шпилями, высокими сводами и лепными украшениями казался изваянным из снегов его родины. Из-за каждого выступа, из-под каждой арки улыбались ему белые мраморные статуи. Он взбирался на самый верх: над головою его расстилалось голубое небо, под ногами — город, а кругом вширь и вдаль раскинулась Ломбардская долина, ограниченная к северу высокими горами, вечно покрытыми снегом. Он вспоминал при этом кёгскую церковь, ее красные, увитые плющом стены, но воспоминание это не будило в нем тоски по родине. Нет, пусть его схоронят тут, за горами!

Целый год прожил он в Милане; прошло уже три года с тех пор, как он покинул родину. И вот раз хозяин повел его на представление — не в цирк, смотреть наездников, а в оперу. Что это был за театр, какая зала! Стоило посмотреть! Во всех семи ярусах — шелковые занавеси и от самого пола до потолка — просто голова кружится, как поглядишь! — сидят разряженные дамы, с букетами в руках, словно на бал собрались. Мужчины тоже в полном параде; многие в серебре и золоте. Светло было в зале, как на ярком солнце, и вдруг загремела чудесная музыка. Да, тут было куда лучше, чем в копенгагенском театре, но там зато была Йоханна, а тут... Что это за колдовство? Занавес поднялся, и на сцене тоже стояла Йоханна, вся в шелку и золоте, с золотою короною на голове! Она запела, как могут петь разве только ангелы небесные, и выступила вперед... Она улыбалась так, как могла улыбаться одна Йоханна, она смотрела прямо на Кнуда!..

Бедняга схватил хозяина за руку и вскричал: «Йоханна!» Но крик его заглушила музыка; хозяин же кивнул в ответ головою и сказал: «Да, ее зовут Йоханной!» И он показал на печатный листок — там стояло ее полное имя.

Да, это был не сон! И весь народ ликовал, ей бросали цветы и венки, и стоило ей уйти, ее опять звали назад; она уходила и выходила, уходила и опять выходила.

На улице карету ее окружила толпа, выпрягла лошадей и повезла ее. Кнуд был впереди всех, веселее всех, и



когда они добрались до великолепно освещенного дома, где жила Йоханна, Кнуд встал перед самыми дверцами кареты. Дверцы отворились, и она вышла. Свет падал ей в лицо; она улыбалась и благодарила всех; она была растрогана... Кнуд не сводил с нее глаз, она тоже посмотрела на него, но не узнала. Господин со звездой на груди подал ей руку: это был ее жених, толковали в народе.

Кнуд пришел домой, и — котомку на плечи! Он хотел, он должен был вернуться на родину, к бузине, к иве... Ах, под иву!

Хозяева просили его остаться, но все уговоры были напрасны. Они говорили ему, что дело идет к зиме, что все горные проходы уже занесены снегом. Нужды нет, он мог идти за медленно движущейся почтовой каретой, — для нее-то ведь уж расчистят дорогу!

И он побрел с котомкой за спиной, опираясь на свою палку, взбирался на горы, опять спускался; силы его уже начали слабеть, а он все еще не видел перед собою ни города, ни жилья; шел он все на север, над головой его загорались звезды, ноги его подкашивались, голова кружилась... В глубине долины тоже загорались звездочки, словно и под ногами у него расстилалось небо. Кнуду нездоровилось. Звездочки внизу все прибывали и прибывали, становились все светлее, двигались туда и сюда. Это

блестели в одном маленьком городке огоньки в окнах домов, и когда Кнуд сообразил, в чем дело, он собрал последние силы и кое-как доплелся до постоянного двора.

Целые сутки пробыл он тут; все тело его просило отдыха. Сделалась оттепель, в долине была страшная слякоть и грязь, но на другое утро явился шарманщик, заиграл датскую песню, и Кнуд сейчас же отправился в путь. Много дней он шел, не останавливаясь, торопясь изо всех сил, как будто дело шло о том, чтобы застать в живых домашних. Ни с кем не говорил он о своей тоске, никто не мог и подозревать о его глубочайшем сердечном горе; да и что за дело людям до такого горя — оно не интересно; нет до него дела даже друзьям; у Кнуда, moreover, и не было друзей. Чужой всем, он пробирался по чужой земле на родину, на север. В единственном, полученном им больше года назад из дому письме говорилось: «Ты не настоящий датчанин, как мы все: мы ужасно привязаны к своей родине, а тебя все тянет в чужие страны!» Да, родители могли так писать — они ведь знали его.

Смеркалось. Кнуд шел по большой дороге; воздух уже становился холоднее, а самая почва — ровнее, больше встречалось лугов и полей. У дороги стояла большая ива, и все вокруг казалось таким родным, совсем как в Дании! Кнуд сел под иву; он очень устал, голова его упала на грудь, глаза закрылись, но он ясно чувствовал, что ива ласково склонилась к нему ветвями. Дерево было похоже на могучего, сильного старца... на самого батюшку! Батюшка нагнулся к Кнуду, взял его в объятия, как усталого сына, и понес домой, в Данию, на открытый морской берег, в садик, где он играл еще ребенком... Да, это был сам батюшка из Кёге, он пошел искать сына по белу свету, нашел его и принес в садик возле речки! Тут же стояла и Йоханна, разодетая, с короной на голове — такую Кнуд видел ее в последний раз. И она встретила его радостным «Добро пожаловать!».

Тут же, возле, стояли две чудные фигуры, и все же они походили теперь на людей куда больше, чем во времена детства Кнуда, — и они тоже изменились. То были две коврижки: кавалер и девица; они стояли к Кнуду лицезевою стороной и были на вид хоть куда.

— Спасибо тебе! — сказали они. — Ты развязал нам язык! Ты объяснял нам, что нужно свободно высказывать

свои мысли, а иначе не будет никакого толку! Ну вот теперь и вышел толк: мы жених и невеста!

И они пошли рука об руку по улицам Кёге и даже с оборотной стороны были ничего себе, вполне приличны! Они направились прямо в церковь; Кнуд с Йоханной — за ними, тоже рука об руку. Церковь ничуть не переменилась, чудесный плющ все так же вился по красным стенам. Главные двери были отворены настежь; слышались звуки органа. Коврижки вошли в церковь и вдруг отступили в сторону: «Господа, вперед!» — сказали они, и Кнуд с Йоханной очутились впереди. Оба преклонили колена, и Йоханна склонилась головкой к лицу Кнуда. Из глаз ее текли холодные, ледяные слезы, — это растаял от горячей любви Кнуда лед ее сердца. Слезы ее упали на его пылающие щеки, и он проснулся и увидал, что сидит под старою ивой, в чужой стороне, в холодный зимний вечер, один-одинешенек... Ледяной град так и колот ему лицо.

— Я пережил сейчас блаженнейшие минуты в моей жизни! — сказал он. — Но это был сон! Боже, дай же мне опять заснуть! — И он закрыл глаза, заснул, и снова увидел сон.

Утром пошел снег, совсем занес его ноги, а он все спал. Народ пошел в церковь и увидал на дороге мертвого подмастерья; он замерз под ивой.





«ЕСТЬ ЖЕ РАЗНИЦА!»



**С**тоял май месяц; воздух был еще довольно холодный, но все в природе — и кусты, и деревья, и поля, и луга — говорило о наступлении весны. Луга пестрели цветами; распускались цветы и на живой изгороди, а возле как раз красовалось олицетворение самой весны — маленькая яблонька вся в цвету. Особенно хороша была на ней одна ветка, молоденькая, свеженькая, вся осыпанная нежными полураспустившимися розовыми бутонами. Она сама знала, как она хороша; сознание красоты было у нее в соку. Ветка поэтому ничуть не удивилась, когда проезжавшая по дороге коляска остановилась прямо перед яблоней и молодая графиня сказала, что прелестнее этой веточки трудно и сыскать, что она живое воплощение юной красавицы весны. Веточку отломил, графиня взяла ее своими нежными пальчиками и бережно повезла домой, защищая от солнца шелковым зонтиком. Приехали в замок, веточку понесли по высоким, роскошно убранным покоем. На открытых окнах развевались белые занавеси,



в блестящих, прозрачных вазах стояли букеты чудесных цветов. В одну из ваз, словно вылепленную из свежевыпавшего снега, поставили и ветку яблони, окружив ее свежими светло-зелеными буковыми ветвями. Прелесть, как красиво было!

Ветка возгордилась, и что же? Это было ведь в порядке вещей!

Через комнату проходило много разного народа; каждый посетитель смел высказывать свое мнение лишь в такой мере, в какой за ним самим признавали известное значение. И вот некоторые не говорили совсем ничего, некоторые же чересчур много; ветка смекнула, что и между людьми, как между растениями, есть разница.

«Одни служат для красоты, другие только для пользы, а без третьих и вовсе можно обойтись», — думала ветка.

Ее поставили как раз против открытого окна, откуда ей были видны весь сад и поле, так что она вдоволь могла наглядеться на разные цветы и растения и подумать о разнице между ними; там было много всяких — и роскошных и простых, даже слишком простых.

— Бедные отверженные растения! — сказала ветка. — Большая в самом деле разница между нами! Какими несчастными должны они себя чувствовать, если только они вообще способны чувствовать, как я и мне подобные! Да, большая между нами разница! Но так и должно быть, иначе все были бы равны!

И ветка смотрела на полевые цветы с каким-то состраданием; особенно жалким казался ей один сорт цветов, которыми кишмя кишели все поля и даже канавы. Никто не собирал их в букеты, — они были слишком просты, обыкновенны; их можно было найти даже между камнями мостовой, они пробивались отовсюду, как самая последняя сорная трава. И имя-то у них было прегадкое: чертовы подойники<sup>1</sup>.

— Бедное презренное растение! — сказала ветка. — Ты не виновато, что принадлежишь к такому сорту и что у тебя такое гадкое имя! Но и между растениями, как между людьми, должна быть разница!

— Разница! — отозвался солнечный луч и поцеловал цветущую ветку, но поцеловал и желтые чертовы подойники, росшие в поле; другие братья его — солнечные

---

<sup>1</sup> Чертовы подойники — датское название одуванчиков.

лучи — тоже целовали бедные цветочки наравне с самыми пышными.

Ветка яблони никогда не задумывалась о бесконечной любви господина ко всему живому на земле, никогда не думала о том, сколько красоты и добра может быть скрыто в каждом божьем создании, скрыто, но не забыто. Ничего такого ей и в голову не приходило, и что же? Собственно говоря, это было в порядке вещей!

Солнечный луч, луч света, понимал дело лучше.

— Как же ты близорука, слепая! — сказал он веточке. — Какое это отверженное растение ты так жалеешь?

— Чертовы подойники! — сказала ветка. — Никогда из них не делают букетов, их топчут ногами — слишком уж их много! Семена же их летают над дорогой, как стриженная шерсть, и пристают к платью прохожих. Сорная трава, и больше ничего! Но кому-нибудь да надо быть и сорною травой! Ах, я так благодарна судьбе, что я не из их числа!

На поле высыпала целая толпа детей. Самого младшего принесли на руках и посадили на травку посреди желтых цветов. Малютка весело смеялся, шалил, колотил по траве ножками, кувыркался, рвал желтые цветы и даже целовал их в простоте невинной детской души. Дети постарше обрывали цветы прочь, а пустые внутри стебельки сгибали и вкладывали один их конец в другой, потом делали из таких отдельных колец длинные цепочки и цепи и украшали ими шею, плечи, талию, грудь и голову. То-то было великолеpie! Самые же старшие из детей осторожно срывали уже отцветшие растения, увенчанные перистыми коронками, подносили эти воздушные шерстяные цветочки — своего рода чудо природы — ко рту и старались сдуть разом весь пушок. Кому это удастся, тот получит новое платье еще до Нового года, — так сказала бабушка.

Презренный цветок оказывался в данном случае настоящим пророком.

— Видишь? — спросил солнечный луч. — Видишь его красоту, его великое значение?

— Да, для детей! — отвечала ветка.

Приплелась на поле и старушка бабушка и стала выкапывать тупым обломком ножа корни желтых цветов. Некоторые из корней она собиралась употребить на кофе, другие — продать в аптеку на лекарство.

— Красота все же куда выше! — сказала ветка. — Только избранные войдут в царство прекрасного! Есть же разница и между растениями, как между людьми!

Солнечный луч заговорил о бесконечной любви божьей ко всякому земному созданию: все, что одарено жизнью, имеет свою часть во всем — и во времени и в вечности!

— Ну, это только вы так думаете! — сказала ветка.

В комнату вошли люди; между ними была и молодая графиня, поставившая ветку в прозрачную, красивую вазу, сквозь которую просвечивало солнце. Графиня несла в руках цветок, — что же еще? — обернутый крупными зелеными листьями; цветок лежал в них, как в футляре, защищенный от малейшего дуновения ветра. И несла его графиня так бережно, как не несла даже нежную ветку яблони. Осторожно отогнула она зеленые листья, и из-за них выглянула воздушная корона презренного желтого цветка. Его-то графиня так осторожно сорвала и так бережно несла, чтобы ветер не сдул ни единого из тончайших перышек его пушистого шарика. Она донесла его целым и невредимым и не могла налюбоваться красотой, прозрачностью, всем своеобразным построением этого чудо-цветка, вся прелесть которого — до первого дуновения ветра.

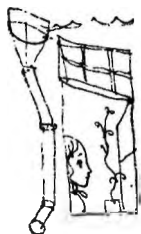
— Посмотрите же, что за чудо создал господь бог! — сказала графиня. — Я нарисую его вместе с веткой яблони. Все любят ее, но милостью творца и этот бедный цветок наделяется не меньшею красотой. Как ни различны они, все же оба — дети одного царства прекрасного!

И солнечный луч поцеловал бедный цветок, а потом поцеловал цветущую ветку, и лепестки ее как будто слегка покраснели.





## ПЯТЕРО ИЗ ОДНОГО СТРУЧКА



**В** стручке сидело пять горошин; сами они были зеленые, стручок тоже зеленый, ну, они и думали, что и весь мир зеленый; так и должно было быть! Стручок рос, росли и горошины; они приравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок, дождик поливал его, и он делался все чище, прозрачнее; горошинам было хорошо и уютно, светло днем и темно ночью, как и следует. Они все росли да росли и все больше и больше думали, сидя в стручке, — что-нибудь да надо же было делать!

— Век, что ли, сидеть нам тут? — говорили они. — Как бы нам не зачерстветь от такого сидения!.. А сдается нам, есть что-то и за нашим стручком! Уж такое у нас предчувствие!

Прошло несколько недель; горошины пожелтели, стручок тоже пожелтел.

— Весь мир желтеет! — сказали они, и кто ж бы им помешал говорить так?

Вдруг они почувствовали сильный толчок; стручок был сорван человеческой рукой и сунут в карман, к другим стручкам.

— Ну, вот теперь скоро нас выпустят на волю! — сказали горошины и стали ждать.

— А хотелось бы мне знать, кто из нас пойдет дальше всех! — сказала самая маленькая. — Впрочем, скоро увидим!

— Будь что будет! — сказала самая большая.

Крак! — стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое солнце. Они лежали на детской ладони; маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузиновой трубочки. И вот одна горошина уже очутилась в трубочке, мальчик дунул, и она вылетела.

— Лечу, лечу, куда хочу! Лови, кто может! — закричала она, и след ее простыл.

— А я полечу прямо на солнце; вот настоящий-то стручок! Как раз по мне! — сказала другая.

Простыл и ее след.

— А мы куда придем, там и заснем! — сказали две следующие. — Но мы таки до чего-нибудь докатимся! — Они и правда прокатились по полу, прежде чем попасть в бузиновую трубочку, но все-таки попали в нее. — Мы дальше всех пойдем!

— Будь что будет! — сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу и закатилась в щель как раз под окошком чердачной каморки. В щели был мох и рыхлая земля, мох укрыл горошину; так она и осталась там, скрытая, но не забытая господом богом.

— Будь что будет! — говорила она.

А в каморке жила бедная женщина. Она ходила на поденную работу: чистила печи, пилила дрова, словом исполняла всякую тяжелую работу; сил у нее было довольно, охоты работать тоже не занимать, но из нужды она все-таки не выбивалась! Дома оставалась у нее ее единственная дочка, подросток. Она была такая худенькая, тщедушная; целый год уж лежала в постели: не жила и не умирала.

— Она уйдет к сестренке! — говорила мать. — У меня ведь их две было. Тяжеленько было мне кормить двоих; ну, вот господь бог и поделил со мною заботу, взял одну



к себе! Другую-то мне хотелось бы сохранить, да он, видно, не хочет разлучать сестер! Заберет и эту!

Но больная девочка все не умирала; терпеливо, смиренно лежала она день-деньской в постели, пока мать была на работе.

Дело было весной, рано утром, перед самым уходом матери на работу. Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол, и больная девочка посмотрела в оконце-

— Что это там зеленеет за окном? Так и колыхается от ветра!

Мать подошла к окну и приотворила его.

— Ишь ты! — сказала она. — Да это горошинка пустила ростки! И как она попала сюда в щель? Ну, вот у тебя теперь будет свой садик!

Придвинув кровать поближе к окну, чтобы девочка могла полюбоваться зеленым ростком, мать ушла на работу.

— Мама, я думаю, что поправлюсь! — сказала девочка вечером. — Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошинка, видишь, как славно растет на солнышке? Я тоже поправлюсь, начну вставать и выйду на солнышко.

— Дай-то бог! — сказала мать, но не верила, что это случится.

Однако она подперла зеленый росток, подбодривший девочку, небольшою палочкой, чтобы он не сломался от ветра; потом взяла тоненькую веревочку и один конец ее

прикрепила к крыше, а другой привязала к верхнему краю оконной рамы. За эту веревочку побеги горошины могли цепляться, когда станут подрастать. Так и вышло: побеги заметно росли и ползли вверх по веревочке.

— Смотри-ка, да она скоро зацветет! — сказала женщина однажды утром и с этой минуты тоже стала надеяться и верить, что больная дочка ее поправится.

Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила как будто живее, по утрам сама приподнималась на постели и долго сидела, любуясь своим садиком, где росла одна-единственная горошина, а как блестели при этом ее глазки! Через неделю больная в первый раз встала с постели на целый час. Как счастлива она была посидеть на солнышке! Окошко было открыто, а за окном покачивался распутившийся бело-розовый цветок. Девочка высунулась в окошко и нежно поцеловала тонкие лепестки. День этот был для нее настоящим праздником.

— Господь сам посадил и взрастил цветочек, чтобы ободрить и порадовать тебя, милое дитяtko, да и меня тоже! — сказала счастливая мать и улыбнулась цветочку, как ангелу небесному.

Ну, а другие-то горошины? Та, что летела, куда хотела, — лови, дескать, кто может, — попала в водосточный желоб, а оттуда в голубиный зоб и лежала там, как Иона во чреве кита. Две ленивицы ушли не дальше — их тоже проглотили голуби, значит и они принесли немалую пользу. А четвертая, что собиралась залететь на солнце, упала в канаву и пролежала несколько недель в затхлой воде, пока не разбухла.

— Как я славно раздобрела! — говорила горошина. — Право, я скоро лопну, а уж большего, я думаю, не сумела достичь ни одна горошина. Я самая замечательная из всех пяти!

Канавка была с нею вполне согласна.

А у окна, выходящего на крышу, стояла девочка с сияющими глазами, румяная и здоровая; она сложила руки и благодарила бога за цветочек гороха.

— А я все-таки стою за мою горошину! — сказала канавка.





## ОТПРЫСК РАЙСКОГО РАСТЕНИЯ



**В**ысоко-высоко, в светлом, прозрачном воздушном пространстве, летел ангел с цветком из райского сада. Ангел крепко поцеловал цветок, и от него оторвался крошечный лепесток и упал на землю. Упал он среди леса на рыхлую, влажную почву и сейчас же пустил корни. Скоро между лесными растениями появилось новос.

— Что это за чудной росток? — говорили те, и никто — даже чертополох и крапива — не хотел знаться с ним.

— Это какое-то садовое растение! — говорили они и подымали его на смех.

Но оно все росло да росло, раскидывая побеги во все стороны.

— Куда ты лезешь? — говорил высокий чертополох, весь усеянный колючками. — Ишь ты, распыхился! У нас так не водится! Мы тебе не подпорки!

Пришла зима, растение покрылось снегом, но от ветвей исходил такой блеск, что блестел и снег, словно освещенный снизу солнечными лучами. Весною растение зацвело; прелестнее его не было во всем лесу!



И вот явился раз профессор ботаники, — так он и по бумагам значился. Он осмотрел растение, даже попробовал, каково оно на вкус. Нет, положительно оно не было известно в ботанике, и профессор так и не мог отнести его ни к какому классу.

— Это какая-нибудь помесь! — сказал он. — Я не знаю его, оно не значится в таблицах.

— Не значится в таблицах! — подхватили чертополох и крапива.

Большие деревья, росшие кругом, слышали сказанное и тоже видели, что растение было не из их породы, но не



проронили ни одного слова: ни дурного, ни хорошего. Да оно и лучше промолчать, если не отличаешься умом.

Через лес проходила бедная невинная девушка.

Сердце ее было чисто, ум возвышен; все ее достояние заключалось в старой Библии, но со страниц ее говорил с девушкой сам господь: «Станут обижать тебя, вспомни историю об Иосифе; ему тоже хотели сделать зло, но бог обратил зло в добро. Если же будут преследовать тебя, глумиться над тобою, вспомни о нем, невиннейшем, лучшим из всех, над которым надругались, которого пригвоздили ко кресту и который все-таки молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!»

Девушка остановилась перед чудесным растением; зеленые листья его дышали таким сладким, живительным ароматом, цветы блестели на солнце радужными переливами, а из чашечек их лилась дивная мелодия, словно в каждой был неисчерпаемый родник чарующих созвучий.

С благоговением смотрела девушка на дивное растение божье, потом наклонилась, чтобы поближе рассмотреть цветы, поглубже вдохнуть в себя их аромат, — и душа ее просветлела, на сердце стало так легко! Как ей хотелось сорвать хоть один цветочек, но она не посмела, — он ведь так скоро завял бы у нее. И она взяла себе лишь зеленый листик, принесла его домой и положила в Библию. Там он и лежал, все такой же свежий, благоухающий, неувыдаемый.

Да, он лежал в Библии, а сама Библия лежала под головою молодой девушки в гробу, — несколько недель спустя девушка умерла. На кротком лице ее застыло выражение торжественной, благоговейной серьезности, только оно и могло отпечататься на брэнной земной оболочке души в то время, как сама душа стояла перед престолом всевышнего.

А чудесное растение по-прежнему благоухало в лесу; скоро оно разрослось и стало словно дерево; перелетные птицы слетались к нему стаями и низко преклонялись перед ним; в особенности — ласточка и аист.

— Иностранные кривляки! — говорили чертополох и крапива. — У нас это не принято! Такое ломанье нам не к лицу!

И черные лесные улитки плевали на чудесное растение.

Наконец пришел в лес свинопас надергать чертополоху и других растений, которые он жег, чтобы добыть себе золы, и выдернул в том числе со всеми корнями и чудесное растение. Оно тоже попало в его вязанку!

— Пригодится и оно! — сказал свинопас, и дело было сделано.

Между тем король той страны давно уже страдал глубокою меланхолией. Он прилежно работал — толку не было; ему читали самые ученые, мудреные книги, читали и самые легкие, веселые — ничего не помогало. Тогда явился посол от одного из первейших мудрецов на свете; к нему обращались за советом, и он отвечал через посланного, что есть одно верное средство облегчить и даже совсем исцелить больного.

«В собственном государстве короля растет в лесу растение небесного происхождения, выглядит оно так-то и так, — ошибиться нельзя». Тут следовало подробное описание растения, по которому его нетрудно было узнать. «Оно зеленеет и зиму и лето; поэтому пусть берут от него

каждый вечер по свежему листочку и кладут на лоб короля: тогда мысли его прояснятся, и здоровый сон подкрепит его к следующему дню!»

Яснее изложить дело было нельзя, и вот все доктора, с профессором ботаники во главе, отправились в лес. Но... куда же девалось растение?

— Должно быть, попало ко мне в вязанку, — сказал свинопас, — и давным-давно стало золою. Мне и невдомек было, что оно может понадобиться!

— Невдомек! — сказали все. — О, невежество, невежество, нет тебе границ!

Свинопас должен был намотать эти слова себе на ус; свинопас, и никто больше, — думали остальные.

Не нашлось даже ни единого листика небесного растения: уцелел ведь только один, да и тот лежал в гробу, и никто и не знал о нем.

Сам король пришел в лес на то место, где росло небесное растение.

— Вот где оно росло! — меланхолично сказал о нем. — Священное место!

И место огородили вызолоченною решеткою и приставили сюда стражу; часовые ходили и день и ночь.

Профессор ботаники написал целое исследование о небесном растении, и его за это всего озолотили — к большому его удовольствию. Позолота очень шла и к нему и ко всему его семейству, и вот это-то и есть самое радостное во всей истории: от небесного растения не осталось ведь и следа, и король по-прежнему ходил, повесив голову.

— Ну, да он и прежде был таким! — сказала стража.





## СТАРАЯ МОГИЛЬНАЯ ПЛИТА



**В**се домашние одного почтенного горожанина, имевшего в маленьком провинциальном городке собственный дом, собрались вечером в кружок и вели приятную беседу. Дело было как раз в ту пору года, когда вечера становятся особенно длинными, но погода стояла еще мягкая и теплая. В комнате горела лампа, длинные оконные занавеси спускались до самого пола, закрывая собою стоявшие на окнах цветы. На дворе ярко сиял месяц, но разговор шел не о нем, а о большом старом камне, что лежал во дворе у самого кухонного порога; на него опрокидывала прислуга вычищенную медную посуду, чтобы она пообсохла на солнышке, на нем любили играть и ребятишки, на самом же деле камень этот был старую могильную плитой.

— Я думаю, — сказал хозяин дома, — что она со старого монастырского кладбища. Когда монастырь упразднили, все ведь пошло в продажу — и кафедры, и доски с эпитафиями, и могильные плиты. Покойный отец мой купил много таких плит; их разбивали в мелкие куски и

мостили ими улицу, а эта вот одна уцелела, да так и осталась лежать на дворе.

— Сразу видно, что это могильная плита! — сказал старший из детей. — На ней еще можно разглядеть песочные часы и часть фигуры ангела; зато надпись почти совсем стерлась, и можно разобрать только имя «Пребен», затем большую букву «С», а пониже имя «Марта», — да и то лишь после дождя или после того, как плиту хорошенько вымоют.

— Ах, господи! Так это плита с могилы Пребена Сва-не и его жены! — сказал один старичок, который по годам мог быть дедушкой всех присутствовавших в комнате. — Да, они чуть ли не последними были погребены на старом монастырском кладбище. Славные, почтенные были люди! Я помню их еще с детских лет. Все в городе знали и любили их; они были у нас тут старейшею супружескою четой — королем с королевой. Говорили, будто у них сундуки ломятся от золота, а они одевались всегда так просто, в платье из самой грубой материи, и только белье на них всегда отличалось ослепительною белизной. Славную парочкой были старики Пребен и Марта! Любо было посмотреть на них, когда они, бывало, сидят под тенью старой липы на скамеечке, стоявшей на площадке высокой каменной лестницы их дома, и так ласково, приветливо кивают всем прохожим! Они делали много добра, и делали его с толком и по-христиански, кормили и одевали десятки честных бедняков.

Первою умерла жена. Я так живо помню этот день! Я был тогда еще мальчишкой, и мы с отцом зашли к старому Пребену как раз в самый день ее смерти. Старик был в таком горе, плакал как ребенок. Тело умершей лежало в спальне, рядом с той комнатой, где мы сидели. Кроме нас с отцом, пришли еще двое-трое соседей, и старик стал говорить нам о том, как пусто, одиноко будет теперь в доме — она ведь была душою его, — как счастливо жили они столько лет, а потом перешел к воспоминаниям о том времени, когда они только что познакомились и полюбили друг друга... Я, как сказано, был тогда еще очень мал, но все же слушал с большим вниманием, смешанным с каким-то удивлением. И не мудрено: старик с таким жаром рассказывал о днях помолвки, о красоте своей невесты, о том, к каким невинным хитростям он прибегал, чтобы встретить ее, и лицо его оживлялось все

больше и больше, щеки зарумянились! Затем он стал рассказывать о свадьбе, и глаза его заблистали еще ярче. Он словно опять переживал счастливейшие годы своей жизни... А подруга-то его уже лежала в это время в соседней комнате мертвая, и сам он был дряхлым-дряхлым стариком!..

Да, так-то оно бывает на свете! Вот и я в те времена был мальчуганом, а теперь — такой же старик, каким помню Пребена Сване! Время идет, и все на свете меняется!.. Я так живо помню день похорон старушки! Пребен шел за гробом. Еще года за два до того старики заказали своей могильную плиту; на ней были уже вырезаны и надпись и имена, недоставало только года смерти. Вечером в тот же день плиту свезли на кладбище и положили на могилу старушки. Через год плиту приподняли, — старик Пребен лег рядом с женою.

После них не осталось никаких богатств, о которых болтали люди. А то, что осталось, отошло к какой-то дальней родне, про которую тут ничего и не знали. Домик стариков, со скамеечкой на площадке лестницы, под тенью липы, был снесен по распоряжению магистрата, — больно уж он был ветх. Позже, когда пришел в ветхость и старый монастырь, кладбище упразднили, и могильная плита Пребена и Марты пошла в продажу вместе со всем остальным. И надо же было ей уцелеть! Теперь на ней играют дети, а прислуга сушит кухонную посуду! Новая же улица идет как раз над местом вечного успокоения старого Пребена и его супруги. И никто их больше не помнит!..

Тут старик, рассказывавший эту грустную историю, покачал головой.

— Забыты! Все на свете предается забвению! — добавил он.

Разговор перешел на другое, но самый младший мальчик с большими серьезными глазами вскарабкался на стул, откинул занавеси и стал смотреть на двор, где лежала вся залитая ясным лунным светом большая каменная плита. Прежде она казалась ему простым, гладким камнем, теперь же стала для него как бы страницей, вырванною из старой хроники. Старый камень хранил в себе все, что слышал сейчас мальчик о Пребене и Марте. И мальчуган смотрел на него, смотрел на ясный, светлый месяц, на чистый, прозрачный воздух, и ему казалось, что с месяца смотрит на землю лик самого творца.

— Забыты! Все на свете предается забвению! — разда-  
лось в комнате, и в ту же минуту незримый ангел поцело-  
вал ребенка в грудь и в лоб и тихо прошептал:

— Сохрани в душе зароненные туда семена. Храни их,  
пока они не созреют. Знай, дитя, что, благодаря тебе, стер-  
тая надпись старой могильной плиты вновь засияет перед  
грядущими поколениями золотыми буквами! Старые су-  
пруги опять побредут рука об руку по улице, опять бу-  
дут сидеть на скамеечке под тенью липы, такие же бод-  
рые, свежие, с румянцем на щеках, и ласково кивать го-  
ловою и бедному и богатому. Пройдут годы, и зароненные  
в твою душу семена взойдут поэтическим творением. Доб-  
рое и прекрасное не предается забвению, но вечно живет  
в преданиях и песнях!





## ГАНС ЧУРБАН

Старая история, пересказанная вновь



**Б**ыла в одной деревне старая усадьба, а у старика владельца ее было два сына, да таких умных, что и вполтину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне; это было можно, — она сама объявила, что выберет себе в мужа человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре.

Оба брата готовились к испытанию целую неделю, — больше времени у них не было, да и того было довольно: знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года — одинаково хорошо мог пересказывать и с начала и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина; значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, — думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки, — вот какой был искусник!



— Уж я-то добуду королевскую дочь! — говорили и тот и другой.

И вот отец дал каждому по прекрасному коню: тому, что знал наизусть словарь и газеты, вороного, а тому, что обладал государственным умом, и вышивал подтяжки, белого. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот быстрее и легче открывался, и собрались в путь. Все слуги высыпали на двор поглядеть, как молодые господа сядут на лошадей. Вдруг является третий брат, — всего-то их было трое, да третьего никто и не считал: далеко ему было до своих ученых братьев, и звали его попросту Ганс Чурбан.

— Куда это вы так разрядились? — спросил он.

— Едем ко двору, «выговорить» себе королеву! Ты не слышал разве, о чем барабанили по всей стране?

И ему рассказали, в чем дело.

— Эге! Так и я с вами! — сказал Ганс Чурбан.

Но братья только засмеялись и уехали.

— Отец, дай мне коня! — закричал Ганс Чурбан. — Меня страсть забрала охота жениться! Возьмет королева меня — ладно, а не возьмет — я сам ее возьму!

— Пустомеля! — сказал отец. — Не дам я тебе коня. Ты и говорить-то не умеешь! Вот братья твои — те молодцы!

— Коли не даешь коня, я возьму козла! Он мой собственный и отлично довезет меня! — И Ганс Чурбан уселся на козла верхом, всадил ему в бока пятки и пустился вдоль по дороге. Эх ты, ну, как понесся!

— Знай наших! — закричал он и запел во все горло.

А братья ехали себе потихоньку, молча; им надо было хорошенько обдумать все красные словца, которые они собирались подпустить в разговоре с королевой, — тут ведь надо было держать ухо востро.

— Го-го! — закричал Ганс Чурбан. — Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге!

И он показал дохлую ворону.

— Чурбан! — сказали те. — Куда ты ее тащишь?

— В подарок королевне!

— Вот, вот! — сказали они, расхохотались и уехали вперед.

— Го-го! Вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел! Такие штуки не каждый день валяются на дороге!

Братья опять обернулись посмотреть.

— Чурбан! — сказали они. — Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верха! И его ты тоже подаришь королевне?

— И его подарю! — ответил Ганс Чурбан.

Братья засмеялись и уехали от него вперед.

— Го-го! Вот и я! — опять закричал Ганс Чурбан. — Нет, чем дальше, тем больше! Го-го!

— Ну-ка, что ты там еще нашел? — спросили братья.

— А, нет, не скажу! Вот обрадуется-то королевна!

— Тьфу! — плюнули братья. — Да ведь это грязь из канавы!



— И еще какая! — ответил Ганс Чурбан. — Первейший сорт, в руках не удержишь, так и течет!

И он набил себе грязью полный карман.

А братья пустились от него вскачь и опередили его на целый час. У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд. В каждом ряду было по шести человек, и ставили их так близко друг к другу, что им и шевельнуться было нельзя. И хорошо, что так, не то они распорол бы друг другу спины за то только, что один стоял впереди другого.

Все остальные жители страны собрались около дворца. Многие заглядывали в самые окна, — любопытно было посмотреть, как королевна принимает женихов. Женихи входили в залу один за другим, и как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется!

— Не годится! — говорила королева. — Вон его!

Вошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь. Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все, а тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь самого себя вверх ногами, у каждого окна по три писца, да еще один советник, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету да продавать на углу по два скиллинга, — просто ужас. К тому же печку так натопили, что она раскалилась докрасна.

— Какая жара здесь! — сказал наконец жених.

— Да, отцу сегодня вздумалось жарить петушков! — сказала королева.

Жених и рот разинул, такого разговора он не ожидал и не нашелся, что ответить, а ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее.

— Э-э! — проговорил он.

— Не годится! — сказала королева. — Вон!

Пришлось ему убраться восвояси. За ним явился к королеве другой брат.

— Ужасно жарко здесь! — начал он.

— Да, мы жарим сегодня петушков! — ответила королева.

— Как, что, ка..? — пробормотал он, и все писцы написали: «как, что, ка..?»

— Не годится! — сказала королева. — Вон!

Тут явился Ганс Чурбан. Он въехал на козле прямо в залу.

— Вот так жарница! — сказал он.

— Да, я жарю петушков! — ответила королева.

— Вот удача! — сказал Ганс Чурбан. — Так и мне можно будет зажарить мою ворону?

— Можно! — сказала королева. — А у тебя есть в чем жарить? У меня нет ни кастрюли, ни сковородки!

— У меня найдется! — сказал Ганс Чурбан. — Вот посудинка, да еще с ручкой!

И он вытащил из кармана старый деревянный башмак и положил в него ворону.

— Да это целый обед! — сказала королева. — Но где ж нам взять подливку?

— А у меня в кармане! — ответил Ганс Чурбан. — У меня ее столько, что девать некуда, хоть бросай!

И он зачерпнул из кармана горсть грязи.

— Вот это я люблю! — сказала королева. — Ты скор на ответы, за словом в карман не лазишь, тебя я и возьму в мужья! Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три писца, да еще один советник? А советник-то хуже всех — ничего не понимает!

Это все она наговорила, чтобы испугать Ганса. А писцы заржали и посадили на пол кляксы.

— Ишь, какие господа! — сказал Ганс Чурбан. — Вот я сейчас угощу его!

И он, не долго думая, выворотил карман и залепил советнику все лицо грязью.

— Вот это ловко! — сказала королева. — Я бы этого не сумела сделать, но теперь выучусь!

Так и стал Ганс Чурбан королем, женился, надел корону и сел на трон. Мы узнали все это из газеты, которую издает муниципальный советник, а на нее не след полагаться.





## ИЗ ОКНА БОГАДЕЛЬНИ



**П**ротив зеленого вала, огибающего весь Копенгаген, стоит большое красное здание; в окнах его виднеются цветочные горшки с бальзаминами и мускусом. Обстановка в доме самая неказистая, бедная, да и бедные люди живут тут. Это женская богадельня.

Смотри, вот к окну подходит старая дева, обрывает у бальзамина засохшие листики и смотрит на зеленый вал, где резвятся ребяташки. О чем она думает? Прочти ее мысли — перед тобой развернется целая житейская драма.

Бедные малютки! Как они резвятся! Какие у них розовые щечки, славные веселые глазки, хоть ни чулок, ни башмаков! Они пляшут на зеленом валу, на том самом месте, которое, по преданию, прежде все обваливалось, так что образовывалась яма. В эту-то яму заманили игрушками и цветами невинное дитя и засыпали ее, пока дитя забавлялось. С тех пор вал перестал обваливаться и покрылся чудесным дерном. Ребяташки не знают об этом предании, а то они, пожалуй, услышали бы плач ребенка

под землей и роса на траве показалась бы им горючими слезами. Они не знают и истории про короля Дании<sup>1</sup>, который, проезжая по валу в виду подступившего неприятеля, клялся не покидать столицы и «умереть в своем гнезде». Тогда на вал сбежались все горожане — и мужчины и женщины — и принялись лить кипяток на головы врагов, одетых в белое и потому незаметно подкравшихся по снегу к самому валу.

Весело ребяташкам!

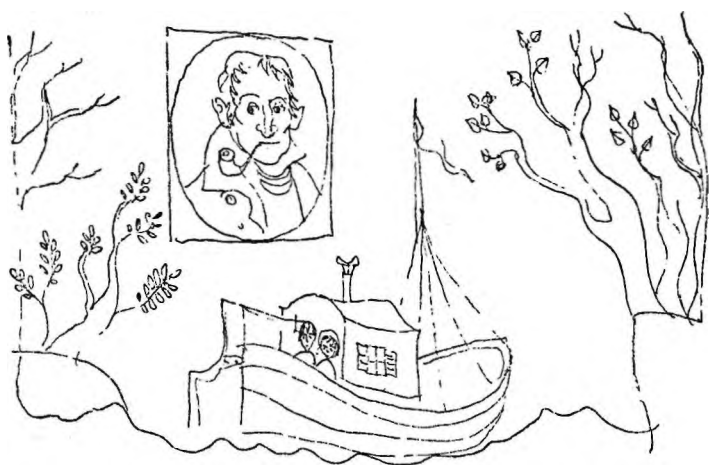
Резвись, девочка! Скоро придет время... счастливое время, настанет день конфирмации, и ты придешь сюда рука об руку со сверстницами. На тебе белое платье; недешево обошлось оно твоей матери, хоть и перешито из старого! На плечах у тебя красная шаль, которая спускается чуть не до полу, — зато видно, какая она большая... слишком даже большая. Ты в восторге от своего наряда, и сердечко твое переполнено чувством благодарности к творцу. А как хорошо тут, на валу!.. Годы идут за годами; немало приходится пережить и тяжелых, мрачных дней, но молодость берет свое, и вот у тебя есть уже *жених*. Ты и сама не знаешь, как это случилось! Вы встречаетесь, ходите раннею весною на вал и гуляете тут, прислушиваясь к праздничному звону колоколов. Еще нет ни одной фиалки, но в Розенбургском саду одно дерево уже покрыто зелеными почками; перед ним вы останавливаетесь... Дерево каждый год покрывается свежей листвой; не то с сердцем человеческим: его заволакивают облака, куда темнее тех, что покрывают северное небо. Бедное дитя! Брачным ложем твоего жениха становится гроб, и ты остаешься старою девою!

Теперь ты смотришь из окна богадельни на игры детей и видишь, как повторяется твоя история!

Вот такая драма разворачивается перед мысленным взором старой девы, которая смотрит на зеленый вал, где сияет солнышко, а краснощекие ребята без чулок и башмаков резвятся и ликуют, как птицы небесные.

---

<sup>1</sup> То есть про Фредерика III.



## ИБ И ХРИСТИНОЧКА



**Н**еподалеку от реки Гуден по Силькеборгскому лесу проходит горный кряж, вроде большого вала. У подножия его, с западной стороны, стоял, да и теперь стоит крестьянский домик. Почва тут скудная; песок так и просвечивает сквозь редкую рожь и ячмень. Тому минуло уже много лет. Хозяева домика засевали маленькое поле, держали трех овец, свинью да двух волов — словом, кормились кое-как: что есть — хорошо, а нет — и не спрашивай! Могли бы они держать и пару лошадей, да говорили, как и другие тамашние крестьяне:

— Лошадь сама себя съедает, — коли дает что, так и берет столько же!

Иеппе Иенс летом работал в поле, а зимою прилежно резал деревянные башмаки. Держал он и помощника, парня; тот умел выделывать такие башмаки, что они и крепки были, и легки, и фасонисты. Кроме башмаков, они резали и ложки, и зашибали-таки денежки, так что Иеппе Иенса с хозяйкой нельзя было назвать бедняками.

Единственный их сынишка, семилетний Иб, глядя на отца, тоже резал какие-то щепочки, конечно, резал себе при этом пальцы, но наконец вырезал-таки из двух обрубок что-то вроде маленьких деревянных башмачков — «в подарок Христиночке», — сказал он. Христиночка, дочка барочника, была такая хорошенькая, нежная, словно барышня; будь у нее и платья под стать ей самой, никто бы не поверил, что она родилась в бедной хижине, крытой вереском, в степи Сейс. Отец ее был вдов и занимался сплавкой дров из лесу на Силькеборгские угринные тони, а иной раз и дальше, в Рандерс. Ему не на кого было оставлять шестилетнюю Христиночку дома, и она почти всегда разъезжала с отцом взад и вперед по реке. Если же тому приходилось плыть в Рандерс, девочка оставалась у Йеппе Йенса.

Иб и Христиночка были большими друзьями и в играх и за столом. Они копались и рылись в песке, ходили повсюду, а раз решились даже одни влезть на кряж и — марш в лес; там они нашли гнездо кулика и в нем яички. Вот было событие!

Иб сроду еще не бывал в степи, не случалось ему и проплывать из реки Гуден в озера; вот барочник и пригласил раз мальчика прокатиться с ними и еще накануне взял его к себе домой.

Ранним утром барка отплыла; на самом верху сложенных в поленницы дров восседали ребяташки, уплетая хлеб и малину; барочник и помощник его отталкивались шестами, течение помогало им, и барка летела стрелою по реке и озерам. Часто казалось, что выход из озера закрыт глухою стеной деревьев и тростника, но подплывали ближе, и проход находился, хотя старые деревья и нависали над водою сплошною сенью, а дубы старались преградить дорогу, простирая вперед обнаженные от коры ветви, — великаны деревья словно нарочно засучили рукава, чтобы показать свои голые жилистые руки! Старые ольхи, отмытые течением от берега, крепко цеплялись корнями за дно и казались маленькими лесными островками. По воде плавали кувшинки... Славное было путешествие! Наконец добрались и до тоней, где из шлюзов шумно бежала вода. Было на что посмотреть тут и Христиночке и Ибу!

В те времена здесь еще не было ни фабрики, ни города, а стоял только старый дом, в котором жили рыбаки, и народу на тонях держали немного. Местность оживляли



только шум воды да крики диких уток. Доставив дрова на место, отец Христины купил большую связку угрей и битого поросенка; припасы уложили в корзину и поставили на корме барки. Назад пришлось плыть против течения, но ветер был попутный, они поставили паруса, и барка задвигалась, словно ее везла пара добрых коней.

Доплыв до того места в лесу, откуда помощнику барочника было рукой подать до дому, мужчины сошли на берег, а детям велели сидеть смирно. Да, так они и усидели! Надо же было заглянуть в корзину, где лежали угри и поросенок, вытащить поросенка и подержать его в руках. Держать, конечно, хотелось и тому и другому, и вот поросенок очутился в воде и поплыл по течению. Ужас что такое!

Иб спрыгнул на берег и пустился удирать, но едва пробежал несколько шагов, как к нему присоединилась и Христина.

— И я с тобою! — закричала она, и дети живо очутились в кустах, откуда уже не видно было ни барки, ни реки. Пробежав еще немножко, Христиночка упала и заплакала. Иб поднял ее.

— Ну, пойдем вместе! — сказал он ей. — Дом-то ведь вон там!

То-то, что не там. Шли, шли они по сухим листьям и ветвям, которые так и хрустели под их ножонками, и вдруг раздался громкий крик, как будто звали кого-то. Дети остановились и прислушались. Тут закричал орел: какой неприятный крик! Детишки струхнули было, да увидали как раз перед собою невероятное множество чудеснейшей голубики. Как тут устоять? И оба взапуски принялись рвать да есть горстями, вымазали себе все руки, губы и щеки! Опять послышался оклик.

— А достанется нам за поросенка! — сказала Христина.

— Пойдем лучше домой, к нам! — сказал Иб. — Это ведь здесь же, в лесу!

И они пошли, вышли на проезжую дорогу, но она не вела домой. Стемнело, жутко стало детям. В лесу стояла странная тишина; лишь изредка раздавался резкий, неприятный крик филина или другой какой-то незнакомой детям птицы... Наконец дети застряли в кустах и расплакались. Наплакавшись, они растянулись на сухих листьях и уснули.

Солнышко было уже высоко, когда они проснулись. Дрожь пробрала их от утренней свежести, но на холме между деревьями просвечивало солнышко; надо было взобраться туда, решил Иб: там они согреются, и оттуда же можно будет увидеть дом его родителей. Увы! Дети находились совсем в другом конце леса, и до дому было далеко! Кое-как вскарабкались они на холм и очутились над обрывом; внизу сверкало прозрачное, светлое озеро. Рыбки так и толклись на поверхности, блестя на солнце чешуей. Такого зрелища дети и не ожидали. Вдобавок, края обрыва все поросли орешником, усыпанным орехами; в некоторых гнездышках сидело даже по семи! Дети рвали, щелкали орехи и ели нежные ядрышки, которые уже начали поспевать. Вдруг — вот страх-то! — из кустов вышла высокая старуха с коричневым лицом и черными как смоль волосами; белки ее глаз сверкали, как у негра; за спиной у нее был узел, в руках суковатая палка. Это была цыганка. Дети не сразу разобрали, что она им говорила, а она вытащила из кармана три ореха и сказала, что это волшебные орехи — в каждом спрятаны чудеснейшие вещи!

Иб поглядел на нее; она смотрела так ласково; он собрался с духом и попросил у нее орехи. Она отдала и нарвала себе полный карман свежих.

Иб и Христиночка таращились на волшебные орехи.

— Что ж, в нем карета и лошади? — спросил Иб, указывая на один.

— Да еще золотая, и лошади тоже золотые! — ответила старуха.

— Дай его мне! — сказала Христиночка.

Иб отдал, и старуха завязала орех в шейный платочек девочки.

— А в этом есть такой хорошенький платочек, как у Христины? — спросил Иб.

— Целых десять! — ответила старуха. — Да еще чудесные платья, чулочки и шляпа!

— Так дай мне и этот! — сказала Христина.

Иб отдал ей и другой, и у него остался лишь один, маленький, черненький.

— Этот оставь себе! — сказала Христина. — Он тоже хороший.

— А что в нем? — спросил Иб.

— То, что для тебя будет лучше всего! — сказала цыганка.

И Иб крепко зажал орех в руке. Цыганка пообещала детям вывести их на дорогу, и они пошли, но совсем не туда, куда надо. Из этого, однако, вовсе не следовало, что цыганка хотела украсть детей.

Наконец уж дети наткнулись как-то на лесничего Крэна. Он знал Иба и привел детей домой, где все были в страшном переполохе. Детей простили, хоть они заслуживали хороших розог, во-первых, за то, что упустили в воду поросенка, а во-вторых, за то, что убежали.

Христина вернулась домой в степь, а Иб остался в лесном домике. Первым его делом в тот же вечер было вытащить из кармана свой орешек. Он прищепил его дверью, и орех раскололся, но в нем не оказалось даже зернышка — одна черная пыль, земляца, вроде нюхательного табака. Орех-то был с червоточинкой, как говорится.

— Так я и думал! — сказал себе Иб. — Как могло бы «то, что для меня лучше всего», уместиться в таком крошечном орешке? И Христина не получит из своих ни платьев, ни золотой кареты!

Пришла зима, пришел и Новый год.

Прошло несколько лет. Иб начал готовиться к конфирмации и ходить к священнику, а тот жил далеко. Раз зашел к ним барочник и рассказал родителям Иба, что Христиночка поступает в услужение, — пора ей зарабатывать свой хлеб. И счастье ей везет: она поступает к хорошим, богатым людям — подумайте, к самим хозяевам постоянного двора в Гернинге! Сначала она просто будет помогать хозяйке, а потом, как привыкнет к делу и конфирмуется, они оставят ее у себя совсем.

И вот Иб распрощался с Христиной, а их давно уже прозвали женихом и невестой. Христиночка показала Ибу на прощанье те два орешка, что он когда-то дал ей в лесу, и сказала, что бережет в своем сундучке и деревянные башмачки, которые он вырезал для нее еще мальчиком. С тем они и расстались.

Иба конфирмовали, но он остался жить дома с матерью, прилежно резал зимою деревянные башмаки, а летом работал в поле; у матери не было другого помощника — отец Иба умер.

Лишь изредка, через почтальона да через рыбаков, получал он известия о Христине. Ей жилось у хозяев отлич-

но, и после конфирмации она прислала отцу письмо с поклонами Ибу и его матери. В письме говорилось также о чудесном платье и полдюжине сорочек, что подарили ей хозяева. Вести были, значит, хорошие.

Следующею весною в один прекрасный день в дверь домика Иба постучали, и явился барочник с Христиной. Она приехала навестить отца, — выдался случай доехать с кем-то до Тэма и обратно. Она была прехорошенькая, совсем барышня на вид и одета очень хорошо; платье сидело на ней ловко и очень шло к ней, словом — она была в полном параде, а Иб встретил ее в старом, будничном платье и от смущения не знал, что сказать. Он только взял ее за руку, крепко пожал, видимо очень обрадовался, но язык у него как-то не ворочался. Зато Христиночка щебетала без умолку; мастерица была поговорить! И, здороваясь, она поцеловала Иба прямо в губы!

— Разве ты не узнаешь меня? — спрашивала она его.

А он, даже когда они остались вдвоем, сказал только:

— Право, ты словно важная дама, Христина, а я такой растреп! А как часто я вспоминал тебя... и доброе старое время!

И они пошли рука об руку на кряж, любовались оттуда рекою и степью, поросшею вереском, но Иб все не говорил ни слова, и только когда пришло время расставаться, ему стало ясно, что Христина должна стать его женой; их ведь еще в детстве звали женихом и невестою, и ему даже показалось, что они уже обручены, хотя ни один из них никогда и не обмолвился ни о чем таком ни словом.

Всего несколько часов еще оставалось им провести вместе: Христине надо было торопиться в Тэм, откуда она на следующее утро должна была выехать обратно домой. Отец с Ибом проводили ее до Тэма; ночь была такая светлая, лунная. Когда они дошли до места, Иб стал прощаться с Христиной и долго-долго не мог выпустить ее руки. Глаза его так и блестели, и он наконец заговорил. Немного он сказал, но каждое его слово шло прямо от сердца:

— Если ты еще не очень привыкла к богатой жизни, если думаешь, что могла бы поселиться у нас с матерью и выйти за меня замуж, то... мы могли бы когда-нибудь пожениться!.. Но, конечно, надо обождать немного!

— Конечно, подождем! — сказала Христина и крепко пожала ему руку, а он поцеловал ее в губы. — Я верю тебе, Иб! — продолжала она. — И думаю, что люблю тебя сама, но все же надо подумать!

С тем они и расстались. Иб сказал ее отцу, что они с Христиной почти сговорились, а тот ответил, что давно ожидал этого. Они вернулись вместе к Ибу, и барочник переночевал у него, но о помолвке больше не было сказано ни слова.

Прошел год. Иб и Христина обменялись двумя письмами. «Верный — верная — до гроба», подписывались они оба. Но раз к Ибу зашел барочник передать ему от Христины поклон и... да, тут слова как будто застряли у него в горле... В конце концов дело, однако, выяснилось. Христине жилось очень хорошо, она была такою красавицей, все ее любили и уважали, а старший сын хозяев, приезжавший навестить родителей — он занимал в Копенгагене большое место в какой-то конторе, — полюбил ее. Ей он тоже понравился, родители, казалось, были не прочь, но Христину, видно, очень беспокоило то, что Иб так много думает о ней... «И вот она хочет отказаться от своего счастья», — закончил барочник.

Иб не проронил сначала ни словечка, только весь побелел как полотно, затем тряхнул головою и сказал:

— Христина не должна отказываться от своего счастья!

— Так напиши ей несколько слов! — сказал отец Христины.

Иб и написал, но не сразу; мысли все что-то не выливались у него на бумагу, как ему хотелось, и он перечеркивал и рвал письмо за письмом в клочки. Но к утру письмо все-таки было написано. Вот оно:

«Я читал твое письмо к отцу и вижу, что тебе хорошо и будет еще лучше. Посоветуйся с своим сердцем, Христина, подумай хорошенько о том, что ожидает тебя, если выйдешь за меня. Достатков больших у меня ведь нет. Не думай поэтому обо мне и каково мне, а думай только о своем счастье! Я тебя не связывал никаким словом, а если ты и дала его мне мысленно, то я возвращаю тебе его. Да пошлет тебе бог всякого счастья, Христиночка! Господь же утешит и меня!

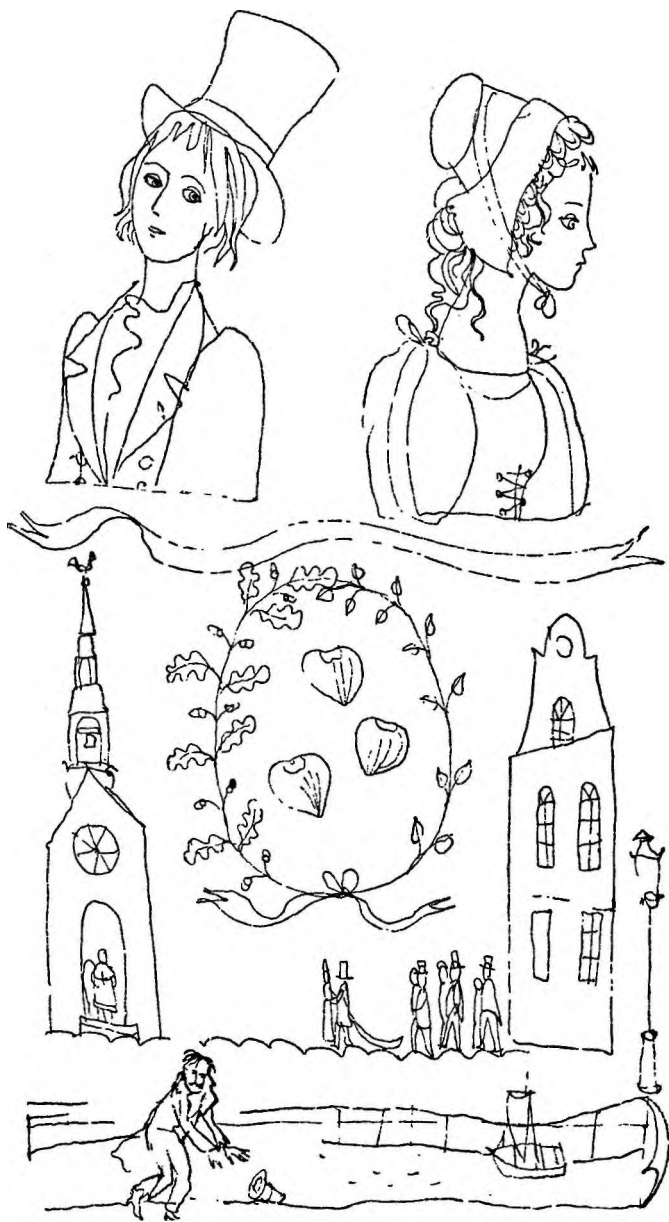
*Вечно преданный друг твой  
Иб».*

Письмо было отправлено, и Христина получила его. Около Мартынова дня в ближней церкви огласили помолвку Христины; в одной из церквей в Копенгагене, где жил жених, тоже. И скоро Христина с хозяйкой отправились в столицу, — жених не мог надолго бросать свое дело. Христина должна была, по уговору, встретиться со своим отцом в местечке Фундер — оно лежало как раз на пути, да и старику было до него недалеко. Тут отец с дочерью свиделись и расстались. Барочник зашел после того к Ибу сообщить ему о свидании с дочерью; Иб выслушал его, но не проронил в ответ ни словечка. Он стал таким задумчивым, по словам его матери. Да, он много о чем думал, между прочим и о тех трех орехах, что дала ему в детстве цыганка. Два из них он отдал Христине; то были волшебные орехи: в одном была золотая карета и лошади, в другом — чудеснейшие платья. Вот и сбылось все. Вся эта роскошь и ждет ее теперь в Копенгагене! Да, для нее все вышло, как по писаному, а Иб нашел в своем орешке только черную пыль, землю. «То, что для тебя будет лучше всего», — сказала ему цыганка; да, так оно и есть: теперь он понимал смысл ее слов — в черной земле, в могиле, ему и будет лучше всего!

Прошло еще несколько лет; как долго тянулись они для Иба! Старики хозяева постоянного двора умерли один за другим, и все богатство, много тысяч риксдалеров, досталось сыну. Теперь Христина могла обзавестись даже золотой каретой, а не только чудесными платьями.

Потом целых два года о Христине не было ни слуху ни духу; наконец отец получил от нее письмо, но не радостные оно принесло вести. Бедняжка Христина! Ни она, ни муж ее не умели беречь денег, и богатство их как пришло, так и ушло; оно не пошло им впрок — они сами того не хотели.

Вереск в поле цвел и отцветал, много раз заносило снегом и степь, и горный кряж, и уютный домик Иба. Раз весною Иб шел по полю за плугом; вдруг плуг врезался во что-то твердое — кремень, как ему показалось, и из земли высунулась как будто большая черная стружка. Но когда Иб взял ее в руки, он увидал, что это не дерево, а металл, блестящий в том месте, где его резануло плугом. Это было старинное, тяжелое и большое золотое кольцо героической эпохи. На том месте, где теперь расстилалось вспаханное поле, возвышался когда-то древ-



ний могильный курган. И вот пахарь нашел сокровище. Иб показал кольцо священнику, тот объяснил ему, какое оно дорогое, и Иб пошел к местному судье; судья дал знать о драгоценной находке в Копенгаген и посоветовал Ибу лично представить ее куда следует.

— Лучше этого земля не могла дать тебе ничего! — прибавил судья.

«Вот оно! — подумал Иб. — Так все-таки земля дала мне то, что для меня лучше всего! Значит, цыганка была права!»

Иб отправился из Орхуса морем в Копенгаген. Для него это было чуть не кругосветным плаванием, — до сих пор он ведь плывал лишь по своей речке Гудсен. И вот он добрался до Копенгагена. Ему выплатили полную стоимость находки, большую сумму: целых шестьсот риксдалеров. Несколько дней бродил степняк Иб по чужому, огромному городу и однажды вечером, как раз накануне отъезда обратно в Орхус, заблудился, перешел какой-то мост и вместо того, чтобы идти к Западным воротам, попал в Христианову гавань. Он, впрочем, и теперь шел на запад, да только не туда, куда надо. На улице не было ни души. Вдруг из одного убогого домика вышла маленькая девочка. Иб попросил ее указать ему дорогу; она испуганно остановилась, поглядела на него, и он увидел, что она горько плачет. Иб сейчас же спросил — о чем; девочка что-то ответила, но он не разобрал. В это время они очутились у фонаря, и свет упал девочке прямо в лицо — Иб глазам своим не поверил: перед ним стояла живая Христиночка, какую он помнил ее в дни ее детства!

Иб вошел вслед за малюткой в бедный дом, поднялся по узкой, скользкой лестнице на чердак, в маленькую каморку под самой крышей. На него пахло тяжелым, удушливым воздухом; в каморке было совсем темно и тихо; только в углу слышались чьи-то тяжелые вздохи. Иб чиркнул спичкою. На жалкой постели лежала мать ребенка.

— Не могу ли я помочь вам? — спросил Иб. — Малютка зазвала меня, но я приезжий и никого здесь не знаю. Скажите же, нет ли тут каких-нибудь соседей, которых бы можно было позвать к вам на помощь?

И он приподнял голову больной.

Это была Христина из степи Сейс. Много лет при Ибе не упоминалось даже ее имени — это бы потревожило его,



тем более что слухи о ней доходили самые неутешительные. Молва правду говорила, что большое наследство совсем вскрыжало голову мужу Христины; он отказался от места, поехал за границу, прожил там полгода, вернулся обратно и стал прожигать денежки. Все больше и больше наклонялась телега и наконец опрокинулась вверх дном! Веселые друзья-собутыльники заговорили, что этого и нужно было ожидать, — разве можно вести такую сумасшедшую жизнь? И вот однажды утром его вытащили из дворцового канала мертвым!

Дни Христины тоже были сочтены; младший ребенок ее, рожденный в нищете, уже умер, и сама она собиралась последовать за ним... Умиравшая, всеми забытая, лежала она в такой жалкой каморке, какою могла еще, пожалуй, довольствоваться в дни юности, в степи Сейс, но не теперь, после того как успела привыкнуть к роскоши и богатству. И вот случилось, что старшая ее дочка, тоже Христиночка, терпевшая холод и голод вместе с матерью, встретила Иба!

— Я боюсь, что умру, оставляю мою бедную крошку круглой сиротой! — простонала больная. — Куда она денется?!

Больше она говорить не могла.

Иб опять зажег спичку, нашел огарок свечки, зажег его и осветил жалкую каморку.

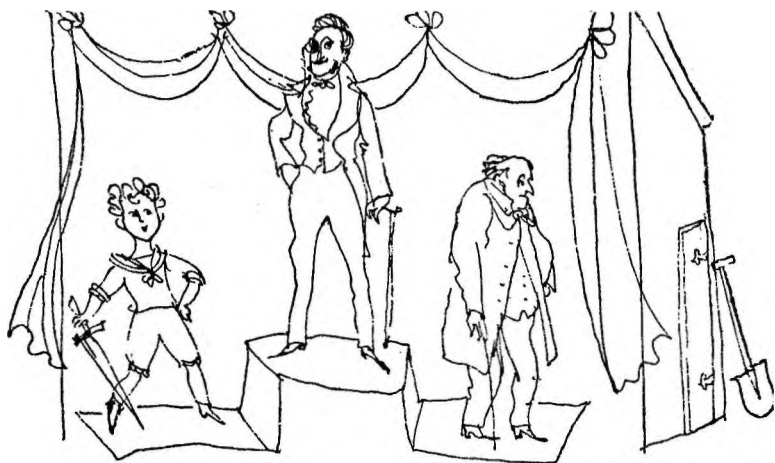
Потом он взглянул на ребенка и вспомнил Христиночку — подругу детских лет... Да, ради той Христиночки он должен взять на себя заботы об этой, чужой для него девочке! Умиравшая взглянула на него, глаза ее широко раскрылись... Узнала ли она его? Неизвестно; он не услышал от нее больше ни единого слова.

Мы опять в лесу, у реки Гуден, близ степи Сейс. Осень; небо серо, вереск оголился, западные ветры так и рвут с деревьев пожелтевшие листья, швыряют их в реку, разметывают по степи, где по-прежнему стоит домик, крытый вереском, но живут в нем уже чужие люди. А у подножия горного кряжа, в защищенном от ветра месте, за высокими деревьями, стоит старый домик, выбеленный и выкрашенный заново. Весело пылает огонек в печке, а сама комнатка озаряется солнечным сиянием: оно льется из двух детских глазок, из розового смеющегося ротика

раздается щебетание жаворонка; весело, оживленно в комнате: тут живет Христиночка. Она сидит у Иба на коленях; Иб для нее и отец и мать, настоящих же своих родителей она забыла, как давний сон. Иб теперь человек зажиточный и живет с Христиночкой припеваючи. А мать девочки поконится на кладбище для бедных в Копенгагене.

У Иба водятся в сундуке деньжонки; он достал их себе из земли, — говорят про него. У Иба есть теперь и Христиночка!





## ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕМЧУЖИНА



**Т**о был богатый, счастливый дом! Все в доме — и господа, и слуги, и друзья дома — радовались и веселились: в семье родился наследник — сын. И мать и дитя были здоровы.

Лампа, висевшая в уютной спальне, была задернута с одной стороны занавеской; тяжелые, дорогие шелковые гардины плотно закрывали окна; пол был устлан толстым, мягким, как мох, ковром; все располагало к сладкой дремоте, ко сну, к отдыху. Не мудрено, что сиделка заснула; да и пусть себе — все обстояло благополучно. Гений домашнего очага стоял у изголовья кровати; головку ребенка, прильнувшего к груди матери, окружал словно венчик из ярких звезд; каждая была жемчужиной счастья. Все добрые феи принесли новорожденному свои дары; в венце блестели жемчужины: здоровья, богатства, счастья, любви — словом, всех благ земных, каких только может пожелать себе человек.

— Все дано ему! — сказал гений.

— Нет! — раздался близ него чей-то голос. То говорил ангел-хранитель ребенка. — Одна фея еще не при-

несла своего дара, но принесет его со временем, хотя, может быть, и не скоро. В венце недостает последней жемчужины!

— Недостает! Этого не должно быть! Если же это так, нам надо отыскать могущественную фею, пойти к ней сейчас же!

— Она явится в свое время и принесет свою жемчужину, которая должна замкнуть венец!

— Где же обитает эта фея? Где ее жилище? Скажи мне, и я пойду за жемчужиной!

— Хорошо! — сказал ангел-хранитель ребенка. — Я сам провожу тебя к ней, все равно, где бы ни пришлось нам искать ее! У нее нет ведь постоянного жилища! Она появляется и в королевском дворце и в жалкой крестьянской хижине! Она не обойдет ни одного человека, каждому принесет свой дар — будь то целый мир или пустяк! И к этому ребенку она придет в свое время! Но, по-твоему, выжидание не всегда впрок, — хорошо, поспешим же отправиться за жемчужиной, последнюю жемчужиной, которой недостает в этом великолепном венце!

И они рука об руку полетели туда, где пребывала в тот час фея.

Они очутились в большом доме, но в коридорах было темно, в комнатах пусто и необыкновенно тихо; длинный ряд окон стоял отворенным, чтобы впустить в комнаты свежий воздух; длинные белые занавеси были спущены и колыхались от ветра.

Посреди комнаты стоял открытый гроб; в нем покоилась женщина в расцвете лет. Покойница вся была усыпана розами, виднелись лишь тонкие, сложенные на груди руки да лицо, хранившее светлое и в то же время серьезное, торжественное выражение.

У гроба стояли муж покойной и дети. Самого младшего отец держал на руках; они подошли проститься с умершею. Муж поцеловал ее пожелтевшую, сухую, как увядший лист, руку, которая еще недавно была такою сильною, крепкою, с такою любовью вела хозяйство и дом. Горькие слезы падали на пол, но никто не проронил ни слова. В этом молчании был целый мир скорби. Молча, подавляя рыдания, вышли все из комнаты.

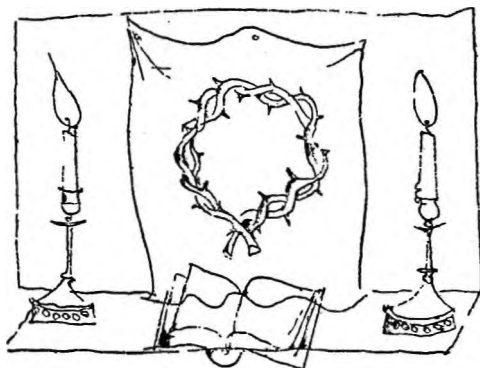
В комнате горела свеча; пламя ее колебалось от ветра и вспыхивало длинными красными языками. Вошли чужие люди, закрыли гроб и стали забивать крышку гвоз-

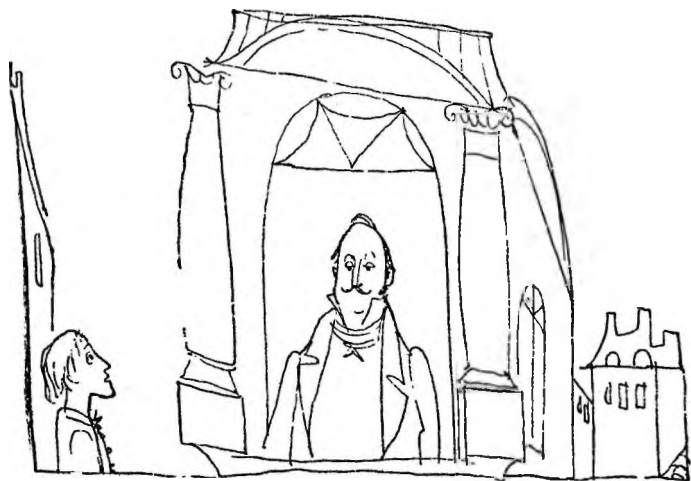
дями. Гулко раздавались удары молота в каждом уголке дома, ударяя по сердцам, обливавшимся кровью.

— Куда ты привел меня? — спросил гений домашнего очага. — Тут нет феи, чей дар, жемчужина, принадлежал бы к лучшим благам жизни!

— Она тут! — сказал ангел-хранитель и указал на фигуру, сидевшую в углу. На том самом месте, где сживала, бывало, при жизни мать семейства, окруженная цветами и картинами, откуда она, как благодетельная фея домашнего очага, ласково улыбалась мужу, детям и друзьям, откуда она, ясное солнышко, душа всего дома, разливала вокруг свет и радость — там сидела теперь чужая женщина в длинном одеянии. То была скорбь; теперь она была госпожой в доме, она заняла место умершей. По щеке ее скатилась жгучая слеза и превратилась в жемчужину, отливавшую всеми цветами радуги. Ангел-хранитель подхватил ее, и она засияла яркою семицветною звездой.

— Вот она, жемчужина скорби, последняя жемчужина, без которой не полон венец земных благ! Она еще ярче оттеняет блеск и красоту других. Видишь в ней сияние радуги — моста, соединяющего землю с небом? Теряя близкое, дорогое лицо здесь, на земле, мы приобретаем друга на небе, по которому будем тосковать. И в тихие звездные ночи мы невольно обращаем взор к небу, к звездам, где ждет нас иная, совершенная жизнь. Взгляни на жемчужину скорби: в ней скрыты крылья Психеи, которые уносят нас из этого мира!





### «ПРОПАЩАЯ»



**Г**ородской судья стоял у открытого окна; на нем была крахмальная рубашка, в манишке красовалась дорогая булавка, выбрит он был безукоризненно — сам всегда брился. На этот раз он, впрочем, как-то порезался, и царапинка была заклеена клочком газетной бумаги.

— Эй ты, малый! — закричал он.

«Малый» был не кто иной, как прачкин сынишка; он проходил мимо, но тут остановился и почтительно снял фуражку с переломанным козырьком, — тем удобнее было совать ее в карман. Одет мальчуган был бедно, но чисто; на все дыры были аккуратно наложены заплатки; обут он был в тяжелые деревянные башмаки и стоял перед городским судьей навтыжку, словно перед самим королем.

— Ты славный мальчик! — сказал городской судья. — Почтительный мальчик! Мать, верно, полощет белье на речке, а ты тащишь ей кое-что? Вишь, торчит из кармана! Скверная привычка у твоей матери! Сколько у тебя там?

— Полкосушки, — ответил мальчик тихо, испуганно.

— Да утром ты отнес ей столько же? — продолжал городской судья.

— Нет, это вчера! — сказал мальчуган.

— Две полкосушки — вот уже и целая! Пропащая она женщина! Просто беда с этим народом! Скажи своей матери, что стыдно ей! Да гляди, сам не сделайся пьяницей! Впрочем, что и говорить; конечно, сделаешься! Бедный ребенок... Ну, ступай!

Мальчик пошел; фуражка так и осталась у него в руках, и ветер развевал его длинные белокурые волосы. Вот он прошел улицу, свернул в переулок и дошел до реки. Мать его стояла в воде и колотила вальком разложенное на деревянной скамье мокрое, тяжелое белье. Течение было сильное; мельничные шлюзы были открыты — простыню, которую женщина полоскала, так и рвало у нее из рук, скамья тоже грозила опрокинуться, и прачка просто из сил выбивалась.

— Я чуть-чуть не уплыла сама! — сказала она. — Хорошо, что ты пришел, надо мне подкрепиться маленько. Вода холодная-прехолодная, а я вот уже шесть часов стою тут! Принес ты что-нибудь?

Мальчик вытащил бутылочку; мать приложила ее ко рту и хлебнула.

— Как славно! Сразу согрешься, точно поешь чего-нибудь горяченького, а стоит-то куда дешевле! Хлебни и ты, мальчуган! Ишь ты, какой бледный! Холодно тебе в легоньком платьишке! Осень ведь на дворе! У! Вода прехолодная! Только бы мне не захворать! Дай-ка мне еще глотнуть, да глотни и сам, только чуть-чуть! Тебе не надо привыкать к этому, бедняжка мой!

И она обошла мостки, на которых стоял мальчуган, и вышла на берег. Вода бежала с рогожки, которою она обвязалась вокруг пояса, текла с подола юбки.

— Я работаю изо всех сил, кровь чуть не брызжет у меня из-под ногтей!.. Да пусть, только бы удалось вывести в люди тебя, мой голубчик!

В это время к ним подошла бедно одетая старуха; она прихрамывала на одну ногу, и один глаз у нее был прикрыт большим локоном, отчего изъян был еще заметнее. Старуха была дружна с прачкой, а звали ее соседи «хромою Марен с локоном».

— Бедняжка, вот как приходится тебе работать! Стоишь по колено в холодной воде! Как тут не глотнуть

разок-другой, чтобы согреться! А люди-то считают каждый твой глоток!

И она пересказала прачке слова городского судьи. Марен слышала, что он говорил мальчику, и очень рассердилась на него, — можно ли говорить так с ребенком о его же собственной матери да считать всякий ее глоток, когда сам задаешь званый обед, где вино будет литься рекою, и вино-то дорогое, крепкое! Небось сами пьют — не считают, и все-таки они не пьяницы, люди достойные, а ты вот «пропащая»!

— Так он и сказал тебе, сынок? — спросила прачка, и губы ее задрожали. — Мать твоя — пропащая! Что ж, может быть, он и прав! Но не следовало бы говорить этого ребенку!.. Да, не впервой терпеть мне от этого семейства!

— Правда, вы ведь служили еще у родителей судьи! Давненько это было, много пудов соли съедено с тех пор, не мудрено, что и пить хочется! — И Марен рассмеялась. — Сегодня у городского судьи назначен званый обед; хотели было отменить, да уж поздно было, все было готово. Я от дворника все это узнала. С час тому назад пришел письмо, что младший брат судьи умер в Копенгагене.

— Умер! — проговорила прачка и побледнела как смерть.

— Что с вами? — спросила Марен. — Неужто вы так близко принимаете это к сердцу? Ах да, ведь вы знавали его!

— Так он умер!.. Лучше, добрее его не было человека на свете! Не много у господ бога таких, как он! — И слезы потекли по ее щекам. — О господи, голова так и кружится! Это оттого, что я выпила всю бутылку! Не следовало бы! Мне так скверно!

И она схватилась за забор.

— Ох, да вы совсем больны, матушка! — сказала Марен. — Ну, ну, придите же в себя!.. Нет, вам и взаправду плохо! Сведу-ка я вас лучше домой!

— А белье-то!

— Ну, я возьмусь за него!.. Держитесь за меня! Мальчуган пусть покараулит тут, пока я вернусь и дополощу. Сушная безделица осталась!

Ноги у прачки подкашивались.



— Я слишком долго стояла в холодной воде! И с самого утра у меня не было во рту ни крошки! Лихорадка так и бьет! Господи Иисусе! Хоть бы до дому-то добратся! Бедный мой мальчик!

И она заплакала.

Мальчик тоже заплакал и остался у реки стеречь белье. Женщины продвигались вперед шаг за шагом, прачка едва тащилась, прошли переулочек, улицу, но перед домом судьи



больная вдруг свалилась на мостовую. Вокруг нее собралась толпа. Хромая Марен побежала во двор за помощью. Судья со своими гостями смотрел из окна.

— Это прачка! — сказал он. — Хлебнула лишнее! Пропащая женщина! Жаль только славного мальчугана, сынишку ее! А мать-то пропащая!

Прачку привели в себя, отнесли домой в ее жалкую каморку и уложили в постель. Марен приготовила для больной питье — теплое пиво с маслом и с сахаром, лучшее средство, какое она только знала, а потом отправилась дополаскивать белье. Выполоскала она его очень плохо, зато от доброго сердца; собственно говоря, она только повытаскала мокрое белье на берег и уложила в корзину.

Вечером Марен опять сидела в жалкой каморке возле прачки. Кухарка городского судьи дала ей для больной славный кусок ветчины и немножко жареного картофеля;

все это пошло самой Марен и мальчику, а больная наслаждалась одним запахом.

— Он такой питательный! — говорила она.

Мальчик улегся на ту же самую постель, на которой лежала и мать; он лег у нее в ногах, поперек кровати, и укрылся старым половиком, собранным из голубых и красных лоскутков.

Прачке стало немножко полегче; горячее пиво подкрепило ее, а запах теплого кушанья подбодрил.

— Спасибо тебе, добрая душа! — сказала она М а р е н . — Когда мальчик уснет, я расскажу тебе все! Да он уж и спит, кажется! Взгляни, какой он славный, хорошенький с закрытыми глазками! Он и не знает, какво приходится его бедной матери, да, бог даст, и никогда не узнает!.. Я служила у советника и советницы, родителей судьи, и вот, случись, что самый младший из сыновей приехал на побывку домой; студент он был. Я в ту пору была еще молоденькою, шустрою, но честною девушкой, — вот как перед богом говорю! И студент-то был такой веселый, славный, а уж честнее, благороднее его не нашлось бы человека во всем свете! Он был хозяйский сын, а я простая служанка, но мы все-таки полюбили друг друга... честно и благородно! Поцеловаться разок-другой ведь не грех, если любишь друг друга всем сердцем. Он во всем признался матери; он так уважал и почитал ее, чуть не молился на нее! И она была такая умная, ласковая, добрая. Он уехал, но перед отъездом надел мне на палец золотое кольцо. Как уехал он, меня и призывает сама госпожа и начинает говорить со мною так серьезно и вместе с тем так ласково, как ангел небесный. Она объяснила мне, какое между мною и им расстояние по уму и образованию. «Теперь он глядит лишь на твое личико, но красота ведь пройдет, а ты не так воспитана, не так образована, как он. Нервня вы — вот в чем вся беда! Я уважаю бедных, и в царствии небесном они, может быть, займут первые места, но тут-то, на земле, нельзя заезжать в чужую колею, если хочешь ехать вперед — и экипаж сломается, и вы оба вывалитесь! Я знаю, что за тебя сватался один честный, хороший работник, Эрик-перчаточник. Он бездетный вдовец, человек дельный и не бедный, — подумай же хорошенько!» Каждое ее слово резало меня, как ножом, но: она говорила правду, вот это-то и мучило меня! Я поцеловала у нее руку и заплакала... Еще горше плакала

я в своей каморке, лежа на постели... Один бог знает, что за ночьку я провела, как я страдала и боролась с собою! Утром — это было в воскресенье — я отправилась к причастию в надежде, что бог просветит мой ум. И вот он точно послал мне свое знамение: иду из церкви, а навстречу мне Эрик. Тут уж я перестала и колебаться — и впрямь, ведь мы были парой, хоть он и был человеком зажиточным. Вот я и подошла к нему, взяла его за руку и сказала:

«Ты все еще любишь меня по-прежнему?»

«Люблю и буду любить вечно!» — отвечал он.

«А хочешь ли ты взять за себя девушку, которая уважает тебя, но не любит, хотя, может быть, и полюбит со временем?»

«Полюбит непременно!» — сказал он, и мы подали друг другу руки. Я вернулась домой к госпоже. Золотое кольцо, что дал мне студент, я носила на груди, — я не смела надевать его на палец днем и надевала только по вечерам, когда ложилась спать. Я поцеловала кольцо так крепко, что кровь брызнула у меня из губ, потом отдала его госпоже и сказала, что на следующей неделе в церкви будет оглашение, — я выхожу за Эрика. Госпожа обняла меня и поцеловала... Она вот не говорила, что я «пропащая». Но, может статься, я в те времена, и правда, была лучше, хоть и не испытала еще столько горя! Сыграли свадьбу, и первый год дела у нас шли отлично; мы держали подмастерья и мальчика, да ты, Марен, служила у нас...

— И какую славную хозяйкою были вы! — сказала Марен. — Оба вы с мужем были такие добрые! Век не забуду!..

— Да, ты жила у нас в хорошие годы! Детей у нас тогда еще не было... Студента я больше не видала... Ах нет, видала раз, но он-то меня не видел! Он приезжал на похороны матери. Я видала его у ее могилы. Какой он был бледный, печальный! Понятно — горевал по матери. Когда же умер его отец, был в чужих краях и не приезжал, да и после не бывал ни разу. Он так и не женился! Кажется, он сделался адвокатом. Обо мне он и не вспоминал, и если бы даже увидел меня, не узнал бы — такую я стала безобразною. Да так оно и лучше.

Потом она стала рассказывать про тяжелые дни, когда одна беда валилась на них за другою. У них было

пятьсот талеров, а в их улице продавался дом за двести; выгодно было купить его да сломать и построить на том же месте новый. Вот они и купили. Каменщики и плотники сделали смету, и вышло, что постройка будет стоить тысячу двадцать риксдалеров. Эрик имел кредит, и ему ссудили эту сумму из Копенгагена, но шкипер, который вез ее, погиб в море, а с ним и деньги.

— Тогда-то вот и родился мой милый сынок! А отец впал в тяжелую, долгую болезнь; девять месяцев пришлось мне одевать и раздевать его, как малого ребенка. Все пошло у нас прахом, задолжали мы кругом, все прожили; наконец умер и муж. Я из сил выбивалась, чтобы прокормиться с ребенком, мыла лестницы, стирала белье, и грубое и тонкое, но нужда одолевала нас все больше и больше... Так, видно, богу угодно!.. Но когда-нибудь да он сжалится надо мною, освободит меня и призрит мальчугана!

И она уснула.

Утром она чувствовала себя бодрее и решила, что может идти на работу. Но едва она ступила в холодную воду, с ней сделался озноб, и силы оставили ее. Судорожно взмахнула она рукой, сделала шаг вперед и упала. Голова попала на сухое место, на землю, а ноги остались в воде; деревянные башмаки ее с соломенной подстилкой поплыли по течению. Тут ее и нашла Марен, которая принесла ей кофе.

А от судьи пришли в это время сказать прачке, чтобы она сейчас же шла к нему; ему надо было что-то сообщить ей. Поздно! Послали было за цирюльником, чтобы пустить ей кровь, но прачка уже умерла.

— Опилась! — сказал судья.

А в письме, принесшем известие о смерти младшего брата, было сообщено и о его завещании. Оказалось, что он отказал вдове перчаточника, служившей когда-то его родителями, шестьсот риксдалеров. Деньги эти могли быть выданы сразу или понемножку — как найдут лучшим — ей и ее сыну.

— Значит, у нее были кое-какие дела с братцем! — сказал судья. — Хорошо, что ее нет больше в живых! Теперь мальчик получит все, и я постараюсь отдать его в хорошие руки, чтобы из него вышел дельный работник,

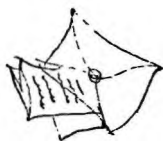
И господь бог благословил это решение.

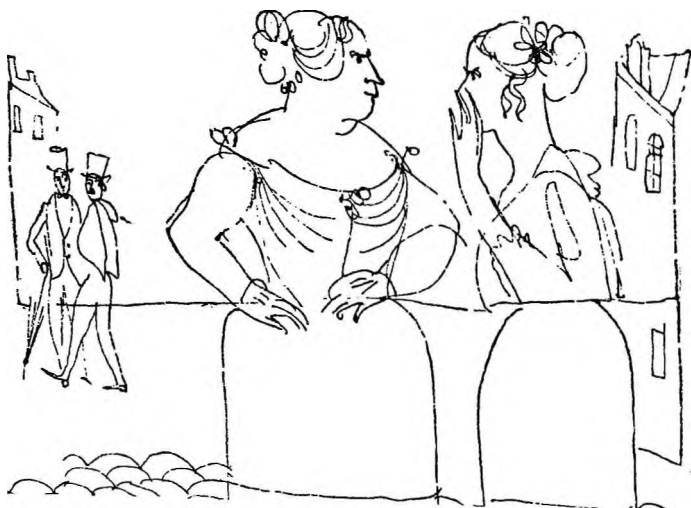
Судья призвал к себе мальчика и обещал заботиться о нем, а мать, дескать, отлично сделала, что умерла, — пропашая была!

Прачку похоронили на кладбище для бедных. Марен посадила на могиле розовый-куст; мальчик стоял тут же.

— Мамочка! — сказал он и заплакал. — Правда ли, что она была пропашая?

— Неправда! — сказала старуха и взглянула на небо. — Я успела узнать ее, особенно за последнюю ночь! Хорошая она была женщина! И господь бог скажет то же самое, когда примет ее в царство небесное! А люди пусть себе называют ее пропашею!





## ДВЕ ДЕВИЦЫ



**В**идали вы когда-нибудь девицу, то есть то, что называют девицей<sup>1</sup> дорожные рабочие — инструмент для утрамбовывания мостовой? Девица вся деревянная, шире книзу, охвачена в подоле железными обручами, сверху же суживается, и сквозь талию у нее продета палка — концы ее изображают руки девицы.

На одном дворе, при складе строительных материалов, и стояли две такие девицы вместе с лопатами, саженями и тачками. Разговор шел о том, что девиц, по слухам, не будут больше звать девицами, а штемпелями, — это новое название самое-де верное и подходящее для того инструмента, который мы исстари привыкли звать девицей.

У нас, как известно, водятся так называемые эмансипированные женщины; к ним принадлежат содержательницы пансионов, повивальные бабки, танцовщицы, что

<sup>1</sup> По-русски «баба», или трамбовка, по-датски же «девица».

стоят по долгу службы на одной ноге, модистки и сиделки. К этому-то ряду эмансипированных примыкали и две девицы. Они числились девицами министерства путей сообщения и ни за что на свете не хотели поступиться своим добрым старым именем, позволив назвать себя штемпелями.

— Девица — имя человеческое! — говорили они. — А штемпель — вещь! И мы не позволим называть себя вещью — это прямая брань!

— Мой жених, пожалуй, еще откажется от меня! — сказала младшая, помолвленная с копром — большой машиной, что вбивает сваи и, таким образом, служит хоть и для более грубой, но однородной работы с девицей. — Он готов жениться на мне, как на девице, а пожелает ли он взять за себя штемпель — еще вопрос. Нет, я несогласна менять имя!

— А я скорее дам обрубить себе руки! — сказала старшая.

Тачка же была другого мнения, а тачка ведь не кто-нибудь! Она считала себя целою четвертью кареты, — одно-то колесо у нее ведь было.

— А я позволю себе заметить вам, что название «девица» довольно вульгарно и, уж во всяком случае, далеко не так изысканно, как штемпель. Ведь штемпель — та же печать. Назвавшись штемпелями, вы примкнете к разряду государственных печатей! Разве это не почетно? Вспомните, что без государственной печати не действителен ни один закон. Нет, на вашем месте я бы отказалась от имени девицы.

— Никогда! Я уже слишком стара для этого! — сказала старшая девица.

— Видно, вы еще незнакомы с так называсмою «европейскою необходимостью»! — сказала почтенная старая сажень. — Приходится иногда сократить себя, подчиниться требованиям времени и обстоятельствам. Если уж велено девицам зваться штемпелями, так и зовитесь! Нельзя все мерить на свой аршин!

— Нет, уж коль на то пошло, пусть лучше зовут меня барышней, — сказала младшая. — Барышня все же немножко отзывает девицей.

— Ну, а я лучше дам изрубить себя в щепки! — сказала старшая девица.

Тут они отправились на работу — их повезли в тачке; обращались с ними, как видите, довольно-таки деликатно, но звали их уже штемпелями!

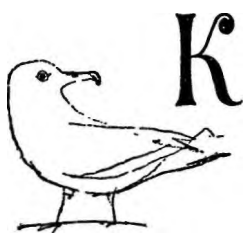
— Дев..! — сказали они, ударившись о мостовую. — Дев..! — И чуть было не выговорили всего слова: девица, да прикусили языки на половине, — не стоит, дескать, вступать в пререкания. Но между собой они продолжали называть себя девицами и восхвалять доброе старое время, когда каждую вещь называли своим именем: коли ты девица, так и звали тебя девицей! Девицами обе они и остались, — копер, эта машиница, ведь и в самом деле отказался от младшей, не захотел жениться на штемпеле.







## НА КРАЮ МОРЯ



**К** Северному полюсу было послано несколько кораблей, чтобы отыскать крайнюю точку земли, на которую может ступить нога человеческая. Уже больше года плыли корабли среди туманов и льдов, преодолевая страшные трудности. Но вот наступила зима, солнце скрылось, и настала долгая-долгая полярная ночь. Все видимое пространство сплошь покрылось льдом, и корабли были словно закованы во льдах. Вся земля была занесена снегом; из него-то и понаделали себе моряки невысоких ульеобразных жилищ. Некоторые из них были большие, величиной с наши древние могильные курганы, другие поменьше, — так что вмещали не больше двух — четырех человек. Стояла ночь, но было довольно светло. Северное сияние разбрасывало целые снопы красных и голубых искр. Вечный величественный фейерверк! Снег так и сверкал, и ночь походила скорее на затянувшийся рассвет. Когда северное сияние горело особенно ярко, к морякам являлись туземцы в диковинных одеждах из тюленьих и оленьих шкур, вывороченных

мехом наружу; приезжали они на салазках, сбитых из льдин, и привозили груды мехов. Моряки делали себе из них одеяла и постели и, зарывшись в них, отлично спали под своими снежными кровлями, не чувствуя холода. А на воле в это время трещал такой мороз, о котором мы здесь и понятия не имеем даже в самые суровые зимы. У нас в то время стояла еще осень, и моряки вспоминали среди полярной природы теплое родное солнышко и ярко-желтую осеннюю листву.

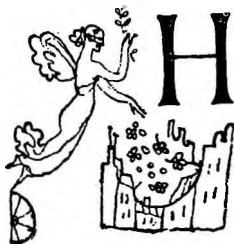
Часы показывали поздний час вечера, время было ложиться спать. В одном из снежных жилищ двое матросов и улеглись уже. Младший из них привез с собою из родного дома лучшее его сокровище — Библию, которую подарила ему на прощанье бабушка, и ночью книга всегда лежала у юноши под изголовьем. С детства знал он каждое слово в ней, каждый день прочитывал из нее страницу-другую, и не раз, лежа, как теперь, в постели, вспоминал утешительные слова священного писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Утешенный и подкрепленный верою, он закрыл глаза, заснул и увидел сон — откровение божье. Тело покоилось, душа же бодрствовала и жила напряженной жизнью. Ему чудилось, что вокруг него раздаются звуки знакомых, любимых песен, он чувствовал над собою какое-то теплое, мягкое веяние, видел вверху какой-то белый свет, словно струившийся сквозь крышу. Он поднял голову — белое сияние исходило не от стен или потолка, но лилось от больших крыльев ангела. Матрос взглянул на его кроткий, светлый лик. Ангел поднялся из страниц Библии, словно из чашечки лилии, распротер руки, и стены хижины растаяли, как легкий туман. Взору матроса открылись зеленые поля и холмы, темно-коричневые леса, чудно освещенные осенним солнышком. Гнезда аистов уж опустели, но на диких яблонях еще висели яблоки, хотя листья и опали. Ярко-красные плоды шиповника горели на солнышке, как жар; в маленькой зеленой клетке над окном крестьянской избушки насвистывал свою песенку скворец. Матрос узнал свой дом, свой родной дом! Скворец свистел зауценную песенку, а бабушка давала ему свежего мокричника, как, бывало, делывал ее внук. Молоденькая, хорошенькая дочка кузнеца брала из колодца воду и поклонилась бабушке, а бабушка поманила ее к себе письмом. Оно пришло

сегодня утром из холодных стран, с дальнего Севера, где находился ее внук — под покровом десницы господней. Женщины плакали и смеялись, читая письмо, а он, осененный крылами ангела, видел и слышал все из своей снежной хижины в минуту духовного просветления, смеялся и плакал вместе с ними! Были прочитаны из его письма и слова священного писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Дивный псалом прозвучал в воздухе, и ангел накрыл спящего своим крылом, словно мягким покрывалом; видение исчезло, в снежном домике стало темно, но Библия по-прежнему лежала под головою матроса, вера и надежда жили в его сердце. И бог был с ним, и родина была с ним всюду, даже «на краю моря».





### СВИНЬЯ-КОПИЛКА



**Н**у и игрушек было в детской! А высоко, на шкафу, стояла копилка — свинья. В спине у нее, конечно, была щель, и ее еще чуть-чуть расширили ножом, чтобы проходили и монеты покрупнее. В свинье лежали уже две серебряные монеты, да еще и много мелочи, — она была набита битком и даже не брякала больше, а уж дальше этого ни одной свинье с деньгами идти некуда! Стояла она на шкафу и смотрела на все окружающее сверху вниз, — ей ведь ничего не стоило купить все это: брюшко у нее было тугое, ну, а такое сознание удовлетворит хоть кого.

Все окружающие и имели это в виду, хоть и не говорили о том, — у них было о чем поговорить и без этого. Ящик комода стоял полуоткрытым, и оттуда высунулась большая кукла. Она была уже немолода и с подклеенною шеей. Поглядев по сторонам, она сказала:

— Будем играть в людей, — все-таки какое-то занятие!

Поднялась возня, зашевелились даже картины на стенах, показывая, что и у них есть оборотная сторона, хотя

вовсе не имели при этом в виду вступать с кем-либо в спор.

Была полночь; в окна светил месяц, предлагая всем даровое освещение. Участвовать в игре были приглашены все, даже детская коляска, хотя она и принадлежала к более громоздкому, низшему сорту игрушек.

— Всяк хорош по-своему! — говорила она. — Не всем же быть благородными, надо кому-нибудь и дело делать, как говорится!

Свинья с деньгами одна только получила письменное приглашение: она стояла так высоко, что устное могло и не дойти до нее — думали игрушки. Она и теперь не ответила, что придет, да и не пришла! Нет, уж если ей быть в компании, то пусть устроят так, чтобы она видела все с своего места. Так и сделали.

Кукольный театр поставили прямо перед ней, — вся сцена была как на ладони. Начать хотели комедией, а потом предполагалось общее угощение чаем и обмен мнениями. С этого, впрочем, и началось. Лошадь-качалка заговорила о тренировке и о чистоте породы, детская коляска — о железных дорогах и силе пара: все это было по их части, так кому же было и говорить об этом, как не им? Комнатные часы держались политики — тики-тики! Они знали, когда надо «ловить момент», но отставали, как говорили о них злые языки. Камышовая тросточка гордилась своим железным башмачком и серебряным колпачком: она была ведь обита и сверху и снизу. На диване лежали две вышитые подушки, премиленькие и преглупенькие. И вот началось представление.

Все сидели и смотрели; зрителей просили щелкать, хлопать и грохотать в знак одобрения. Но хлыстик сей-час же заявил, что не «щелкает» старухам, а только не-прсватанным барышням.

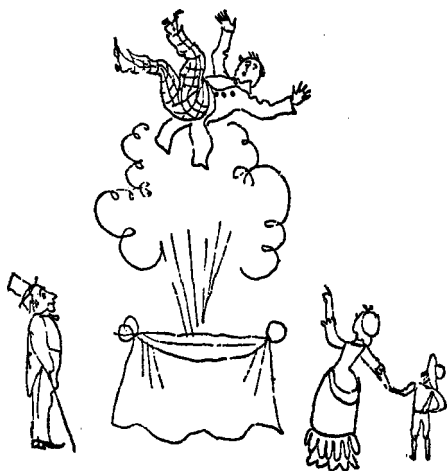
— А я так хлопаю всем! — сказал пистон.

«Где-нибудь да надо стоять!» — думала плевательница. У каждого были свои мысли!

Комедия не стоила медного гроша, но сыграна была блестяще. Все исполнители показывались публике только раскрашенную стороною; с оборотной на них не следовало и смотреть. Все играли отлично, правда, уже не на сцене: нитки были слишком длинные; зато исполнителей было виднее. Склеенная кукла так расчувствовалась, что совсем расклеилась, а свинья с деньгами ощутила в брюшке

такое благодушие, что решила сделать что-нибудь для одного из актеров — например, упомянуть его в своем завещании, как достойного быть погребенным вместе с нею, когда придет время.

Все были в таком восторге, что отказались даже от чая и прямо перешли к обмену мнениями, — это и называлось играть в людей, и отнюдь не в насмешку. Они ведь только играли, причем каждый думал лишь о самом себе да о том, что подумает о нем свинья с деньгами. А свинья совсем задумалась о своем завещании и погребении: «Когда придет время...» Увы! Оно приходит всегда раньше, чем ожидают, — бац! Свинья свалилась со шкафа и разбилась вдребезги; монетки так и запрыгали по полу. Маленькие вертелись волчками, крупные солидно катились вперед. Особенно долго катилась одна — ей очень хотелось людей посмотреть и себя показать. Ну, и отправилась гулять по белу свету; отправились и все остальные, а черепки от свиньи бросили в помойное ведро. Но на шкафу на другой же день красовалась новая свинья-копилка. У нее в желудке было еще пусто, и она тоже не брякала, — значит, была похожа на старую. Для начала и этого довольно; довольно и нам, кончим!



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Т. Сильман. Сказки Андерсена . . . . .

### СКАЗКИ И ИСТОРИИ

Огниво. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	29
Маленький Клаус и Большой Клаус. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	37
Принцесса на горошине. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	49
Цветы маленькой Иды. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	51
Дюймовочка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	59
Скверный мальчишка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	71
Дорожный товарищ. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	74
Русалочка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	94
Новое платье короля. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	116
* Ромашка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	122
Стойкий оловянный солдатик. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	126
Дикие лебеди. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	133
Райский сад. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	150
Сундук-самолет. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	165
Аисты. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	172
Оле-Лукойе. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	178
* Эльф розового куста. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	191

---

В настоящем издании сказки и истории расположены в соответствии с последним датским Собранием сказок и историй Г. Х. Андерсена (Н. С. Andersens Eventyr, udgivet af Erik Dal og Erling Nielsen. København. 1963).

Свинопас. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	196
Гречиха. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	202
Калоши счастья. <i>Перевод К. Телятникова</i> . . . . .	205
* Бронзовый кабан. <i>Перевод П. Карпа</i> . . . . .	236
Побратимы. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	247
Роза с могилы Гомера. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	257
* Ангел. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	259
Соловей. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	263
Жених и невеста. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	274
Гадкий утенок. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	277
Ель, <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	286
Снежная королева. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	295
Волшебный холм. <i>Перевод И. Разумовской и С. Само-</i> <i>стреловой</i> . . . . .	326
Красные башмаки. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	334
Прыгуны. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	341
Пастушка и трубочист. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	344
Хольгер Датчанин. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	350
Старый уличный фонарь. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	356
Соседи. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	365
Штопальная игла. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	375
* Маленький Тук. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	379
* Тень. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	384
* Старый дом. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	398
Капля воды. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	407
Девочка со спичками. <i>Перевод Ю. Яхниной</i> . . . . .	410
Счастливое семейство. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	413
История одной матери. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	417
Воротничок. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	423
Бузинная матушка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	427
Колокол. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	436
* Лен. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	442
Бабушка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	447
Птица феникс. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	450
Сон. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	452
Немая книга. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	458
Директор кукольного театра. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	462
История года. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	468
С крепостного вала. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	477
Истинная правда. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	479
Лебединое гнездо. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	482
* Веселый нрав. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	485
Сердечное горе. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	491



Всему свое место. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	494
Домовой у лавочника. <i>Перевод И. Разумовской и С. Самостреловой</i> . . . . .	503
Через тысячу лет. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	508
Под ивою. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	511
«Есть же разница!» <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	526
Пятеро из одного стручка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	530
Отпрыск райского растения. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	534
Старая могильная плита. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	538
Ганс Чурбан. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	542
Из окна богадельни. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	547
Иб и Христиночка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	549
Последняя жемчужина. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	561
* «Пропащая». <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	564
Две девицы. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	572
На краю моря. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	575
Свинья-копилка. <i>Перевод А. Ганзен</i> . . . . .	578

**Андерсен Г. Х.**

**А-65** Сказки и истории. В двух томах. Т. 1. Пер. с датск. Вступит. статья Т. Сильман. Худож. Г. А. В. Траугот. Л., «Худож. лит.», 1977.

584 с. с ил.

В первый том Андерсена вошли самые знаменитые его сказки, такие, как «Снежная королева», «Дюймовочка», «Огниво», «Новое платье короля»; включены в первый том и менее известные его сказки: «Счастлирое семейство», «Бузинная матушка», «Свинья-копилка» и многие другие.

**А**  $\frac{70304-076}{028(01)-77}$  157-77

**И (Дат)**

**Ганс Христиан**

**Андерсен**

**СКАЗКИ И ИСТОРИИ, т. 1**

**Редактор Н. Снеткова**

**Художественный редактор А. Гасников**

**Технический редактор М. Шафрова**

**Корректор В. Урес**

**ИБ № 606**

Сдано в набор 28/VII 1969 г. Подписано в печать с матриц 28/XII 1976 г. Бум. тип. № 1. Формат 84x108<sup>1/32</sup> 18,25 печ. л. 30,66 усл. печ. л. 30,219 уч.-изд. л. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1001. Цена 1 р. 15 к.

Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26



1 p. 15 н.

